

महाभारत काटोप





ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

Москва
1978

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ

*Под редакцией Евг. Быковой,
Б. Карпушкина, В. Новиковой*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1965

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

МИНИАТЮРЫ

ПЬЕСЫ

Перевод с бенгальского

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1965

И (Инд)

Т 13

Комментарии
А. Чичерова

Редактор тома
В. Новикова

Оформление художника
Н. Крылова



СЕСТРЫ

Повесть



ПОСВЯЩАЕТСЯ РАДЖШЕКХОРУ БОШУ



Перевод
Б. Карпушкина

1958

1958

1958



ШОРМИЛА

По утверждениям некоторых пандитов, женщины бывают двух пород: одни, в основном, матери, другие — возлюбленные.

Если возможно сравнение с временами года, то мать — это пора дождей, которая дает влагу, приносит плоды, умеряет зной; изливая себя щедрыми потоками, она одолевает засуху, изживает скудность.

Возлюбленная же сродни весне. Непостижимо ее волшебство, сладостны ее чары; она волнует кровь, пробирается в те сокровенные уголки сердца, где одинокая струна золотой вины безмолвствует в ожидании прикосновения, от которого вся душа затрепещет, запоет, наполнится звуками невыразимого.

Шормила, жена Шошанко, была породы матерей.

Большие спокойные глаза, глубокий сосредоточенный взгляд; налитая здоровьем, нежная, смуглая, она чем-то напоминала облако, не растратившее еще своей влаги. Все ее убранство — сари с широкой темной каймой, толстые браслеты на запястьях, выделанные в виде крокодиловых голов, красная полоска на проборе — говорило не о желании приукрасить себя, а о довольстве, об удавшейся жизни.

В мире ее супруга не было ни уголка, недоступного ее ласковой, бдительной опеке. Чрезмерная заботливость жены сделала Шошанко до того невнимательным и беспечным, что за ним приходилось смотреть, как за малым ребенком. Задевается куда-нибудь ручка — отыскать ее

должна Шормила. Она же следит, куда положит Шошанко свои часы, собираясь идти принимать ванну — сам он потом ни за что не вспомнит. Жена обращает внимание на рассеянность мужа, готового выйти из дому в носках разного цвета. Еще хуже бывает, когда Шошанко пригласит друзей, спугав числа бенгальского месяца с английским. Гости нагрянут в тот день, когда их совсем не ждут, и все хлопоты ложатся на плечи Шормилы. Шошанко хорошо знает: что бы ни случилось, жена все уладит наилучшим образом. Оттого, должно быть, допускать оплошности вошло у него в привычку. Шормила иногда ласково ворчит: «Сил моих больше нет! И когда только ты научишься все делать как следует?»

Но если бы Шошанко научился все делать как следует, не стала бы ее жизнь скучной и бесполезной, как заброшенная нива?

Вот Шошанко отправился к приятелям. Уже одиннадцать, уже полночь, а друзья все играют в бридж. Вдруг вся компания разражается смехом:

— Смотри, за тобой конвоир пришел. Ну, теперь все!

В дверях старый слуга Мохеш. Все еще темноволосый, но с седыми усами. В куртке, на плече цветное полотенце, под мышкой бамбуковая палка. Хозяйка послала его узнать, не здесь ли господин. Темно ведь, она боится, как бы по дороге не стряслось беды. И фонарь прислала.

Шошанко вскакивает, швыряет карты. А друзья подтрунивают:

— Беззащитное существо, без провожатого ходить не может.

Разговор, который имела Шормила с мужем, когда тот вернулся домой, был не из мирных. Она молча выслушала все упреки. Что поделаешь, не удержалась, никак не могла избавиться от мысли, что по дороге его подстерегают всяческие опасности.

...Вот к Шошанко кто-то пришел, возможно, по делу. А из внутренних покоев одна за другой летят записки: «Помнишь, вчера тебе нездоровилось?», «Не опоздай к обеду» и все в таком духе. Шошанко выходит из себя, а с женой ничего сделать не может. Однажды он взмолился:

— Заклинаю тебя, обратись к богу — вон как жена Чокроборти. Для одного меня твоего внимания чересчур

много. Отдай часть всевышнему, он не будет роптать, если ты станешь слишком усердствовать, но человек, прости, слаб.

— Ну, ну, вспомни, как тебе приходилось туго, пока я ездила с дядей в Хардвар.

О том, как ему приходилось туго, он сам рассказывал Шормиле подробно и красочно, зная, что некоторое преувеличение доставит ей радость. Сейчас Шошанко пришлось прикусить язык: ведь не станешь же опровергать самого себя. Нечего ему было также возразить, когда Шормила напомнила, как недавно утром он занемог и она заставила его принять десять гранов хины и выпить чаю с соком тулси, а в подобном же случае до этого он отказался принять хину, и у него поднялась температура. Это событие было записано в семейной летописи Шошанко несмываемыми буквами.

Дома Шормила с неусыпным рвением оберегала здоровье и покой мужа, вне дома она столь же бдительно охраняла его честь и достоинство.

Однажды они отправились путешествовать в Най-нитал, заранее заказав купе на всю дорогу. Подъехали к узловой станции, пересели на другой поезд и решили пойти подкрепиться. Вернулись, а железнодорожный служащий, человек неприступного вида, сообщает, что собирается поместить их в другое купе. Подошел начальник станции, назвал имя некоего знаменитого генерала и объяснил, что купе отведено ему, а им оно было отдано по ошибке. Шошанко глаза раскрыл от изумления и готов уже был перебраться на другое место, но тут Шормила встала в дверях и заявила:

— А ну посмотрим, кто это нас высадит. Позовите-ка сюда вашего генерала!

Шошанко состоял тогда на государственной службе и предпочитал держаться подальше от начальства. Он засуетился, стал уговаривать жену, мол, подумай какое дело, есть и другие купе, а Шормила ни в какую, будто и не слышит. Вот, подкрепившись, вышел из буфета и сам генерал с сигарой в зубах. Увидел грозно настроенную женщину и ретировался.

Когда все улеглось, Шошанко спросил жену:

— Знаешь, какой это большой человек?

— И знать не хочу, — ответила Шормила. — В нашем поезде он значит не больше, чем ты.

— Но если бы тебя оскорбили?

— А ты у меня зачем?

Шошанко — инженер, образование получил в Шибпуре. Каким бы ни был он нескладным в домашней жизни, на работе он предельно собран и аккуратен. Главным образом потому, что высокая планета (или, попросту говоря, начальник), чье расположение влияет на человеческую судьбу в части служебных дел, излучала скорее зловещий, а не ласковый свет, — не то что планета, определяющая отношение жены к мужу. Шошанко поднялся до должности исполняющего обязанности окружного инженера, но тут фортуна ему изменила. Его место вдруг отдали неизвестно откуда появившемуся молодому англичанину с жиденькой полоской усиков на верхней губе. Малоопытный и не слишком способный в работе, он был, однако, знаком с шефом начальника Шошанко и пользовался его протекцией.

Шошанко нетрудно было догадаться, что этот юнец будет лишь значиться в должности, а работать все равно придется ему одному. Начальник похлопал Шошанко по спине:

— Весьма сожалею, Моджумдар. Постараюсь как можно скорее подыскать тебе подходящее место.

Оба они входили в одну масонскую ложу.

Несмотря на соболезнование и заверения, Моджумдар вернулся домой с тяжелым сердцем. Здесь его раздражал каждый пустяк. То он заметил паутину в углу своего кабинета, то вдруг обнаружил, взглянув на кресло в зеленом чехле, что терпеть не может этого цвета, и, наконец, ни с того ни с сего напустился на слугу, подметавшего веранду, за то, что он пыль поднимает. Пыль, как ей и положено, всегда поднималась, однако бура из-за этого разразилась впервые.

Шошанко не стал рассказывать жене о своем позоре: того и гляди, к служебным неприятностям она добавит еще и семейные или, чего доброго, пойдет скандалить с начальством, наговорит резкостей... Особенно Шошанко был зол на этого Дональдсона. Однажды в парке Саркитхауса тот пальнул дробью по обезьяне — уж очень она

безобразничала, — но промахнулся и изрешетил пробковый шлем Шошанко. Еще немного, и не миновать беды. Те, кому довелось наблюдать эту сцену, утверждали, что пострадавший сам виноват. Шошанко еще сильнее обозлился на Дональдсона. Обиднее всего было то, что эти зубоскалы с громким хохотом изощрялись во всякого рода сопоставлениях: ведь в Шошанко угодил снаряд, предназначавшийся для обезьяны.

Шормила сама все поняла. Взглянув на мужа, она сразу заподозрила неладное, а вслед за тем без особого труда догадалась и о причине. Шормила не встала на путь агитации в конституционных рамках — она прямо устремилась к самоопределению.

— Хватит, — заявила она мужу, — уходи с работы.

Да, это был бы достойный выход из унижительного положения. Но Шошанко мысленно видел перед собой плодородную ниву постоянного жалования, а где-то на горизонте сверкала золотая полоска пенсии...

Когда Шошанко взял самую высокую вершину, на какую только можно подняться при получении степени магистра наук, его будущий тесть не стал мешкать с благим делом: в тот же год отдал за него свою дочь Шормилу. При поддержке богатого тестя Шошанко и получил инженерное образование. Раджарам видел, что зять быстро сделает карьеру, и был спокоен, предопределив ему возможность к дальнейшему неуклонному преуспеянию. Выйдя замуж, Шормила не почувствовала особых перемен. В новой семье тоже всего было предостаточно; кроме того, Шормила ввела здесь те же порядки, какие существовали и в отцовском доме, и удалось ей это потому, что в семейном двоецарствии законодательной властью обладала все-таки она. Детей у нее не было, как, пожалуй, не было и надежды иметь их. Заработком мужа она владела безраздельно, и когда Шошанко особенно нужны были деньги, ему приходилось идти на поклон к домашней Аннапурне. Если просьба признавалась необоснованной, жена ее отвергала, а муж почесывал в затылке и смирялся. Зато взамен он получал нечто более сладостное, чем деньги.

— Я бы не задумываясь ушел с работы, — сказал Шошанко. — Но тебе будет трудно.

— А проглотить обиду, стерпеть несправедливость не трудно?

— Но ведь работать нужно. Ну, уйду я, а потом ищи место неизвестно где, в каких краях.

— В краях, которых ты почему-то не замечаешь. Знаешь свою службу, которую ты, охотник до лучи, в шутку называешь Лучистаном, что рядом с Белуджистаном, а до остального мира тебе и дела нет.

— Беда с тобой! Твой остальной мир слишком велик. В нем не обозришь дорог и путей. Да и откуда взять такой большой бинокль?

— Зачем тебе бинокль! Есть у меня один родственник, Мотхур-дада, крупный подрядчик в Калькутте, можно работать с ним в доле.

— Доли будут не равны по весу, моя сторона не дотянет, а к такому дольщику уже не то уважение.

— Дотянет. Отец, как тебе известно, положил в банк деньги на мое имя, на них и проценты растут. Ты ни в чем не будешь уступать своему компаньону.

— Это исключено. Деньги твои.

Шошанко встал, намереваясь уйти во внешние покои дома, где его уже ждал посетитель. Но Шормила схватила мужа за край одежды и заставила снова сесть.

— А я разве не твоя?

Шормила не дала Шошанко опомниться:

— Вынь ручку из кармана, вот тебе почтовая бумага, пиши заявление об отставке. Мне не будет покоя, пока ты его не отправишь.

— Пожалуй, и мне тоже.

Заявление об отставке было написано.

На следующий же день Шормила отправилась в Калькутту и остановилась в доме Мотхура.

— Хоть бы когда-нибудь поинтересовался, как поживает твоя сестрица, — обиженным тоном заявила гостья.

Будь на месте Мотхура женщина, она бы сказала: «А ты мною интересуешься?» Но мужчине такой ответ не пришел в голову.

— Вздохнуть некогда, — оправдывался Мотхур, — сам о себе забываю. И потом вы живете в такой дали.

— Я прочла в газете, что ты получил подряд на строительство моста не то в Моюрбхондже, не то в Мотхургондже. И очень обрадовалась этой новости. Дай, думаю, съезжу и сама поздравлю Мотхура-дада.

— Не торопись, крошка, еще не время.

Осложнение заключалось в том, что необходим был наличный капитал. Предполагалось работать в доле с одним богатым торговцем-марваром, но тот выдвинул такие условия, по которым ему досталась бы львиная доля прибыли, а Мотхуру — жалкие остатки. Вот и приходится идти на попятную.

— Ни за что! — встrepенулась Шормила. — Если уж вести дело на паях, возьми нас в компаньоны. Было бы величайшей несправедливостью выпустить такой подряд из рук. Хочешь не хочешь, а я этого не допущу.

Соглашение не замедлило последовать. Мотхур был в восторге.

И закипели дела. Раньше Шошанко работал, повинувшись чувству служебного долга, которое не заходило дальше определенных границ. Он не был сам себе хозяин и отдачу в работе соизмерял с требованиями свыше. Теперь же Шошанко сам себе голова, в нем одном совместились требования и отдача. Дни его не похожи больше на сетку, сотканную из досуга и трудов, время уплотнилось. Его никто не подгонял, он мог в любой момент оставить одолевшие его обязанности и заботы, все зависело лишь от его желаний, но именно поэтому он трудился, не щадя себя. Шошанко с головой ушел в дела, и вид у него стал сугубо деловой — рукава засучены, на левой руке часы, пробковый шлем, цветные очки, брюки из хаки туго подтянуты кожаным ремнем, в ботинки, чтобы не уставать от ходьбы, положены толстые стельки. Сейчас только одно: во что бы то ни стало выплатить долг жене, а там уж можно будет жить не торопясь, спокойно. Наконец настал долгожданный день, но паровая машина продолжала работать на полный ход, — Шошанко ощутил настоящий вкус к работе.

Раньше семейный бюджет тек по одному каналу, теперь их образовалось два: один вел к дому, другой в банк. Хозяйство Шормилы с его доходами и расходами, как и прежде, оставалось для Шошанко царством за семью печатями. Зато и его деловая тетрадь в кожаном переплете

была для Шормилы неприступной крепостью без лазеек и щелей. Более того, с отходом орбиты деловой жизни мужа от семейного очага женины правила и наставления начали терять свою силу. Не раз Шормиле приходилось умолять:

— Да побереги ты себя, ведь надорвешься.

А он все по-своему. И чувствует себя, как ни странно, совсем неплохо. Жена печется о его здоровье, сетует, что ему и передохнуть некогда, старается создать удобства — Шошанко ни на что не обращает внимания, рано утром садится за руль подержанного форда и уезжает, просигналив рожком. Обедать приезжает в два, в половине третьего, выслушивает упреки за опоздание, ест на скорую руку и опять по делам.

Однажды его форд столкнулся с чьим-то автомобилем. Шошанко остался невредим, но машину изрядно помяло, он отправил ее в ремонт. Шормила была вне себя.

— Ты не должен сам водить автомобиль, — уговаривала она со слезами в голосе.

Шошанко лишь усмехнулся:

— Думаешь, лучше попасть в беду по чужой вине?

Как-то Шошанко отправился наблюдать за ремонтными работами и наступил на обломки старого ящика — гвоздь прошел сквозь подошву и вонзился в ступню. Шошанко отвезли в больницу, там ему перевязали ногу и сделали прививку от столбняка. Шормила разразилась слезами:

— Хоть несколько дней полежи дома.

— Дела! — бросил в ответ Шошанко.

— Но ведь...

На это он вообще ничего не ответил, собрался и ушел.

Шормила не отваживалась настаивать, не смела спорить с мужской силой, проявившейся на своем, мужском поприще. Она увещевала, просила, заклинала, но в ответ слышала одно и то же: «Дело не ждет». Шормилу одолевали беспричинные волнения. Чуть муж задержится, она уже думает, что он попал в автомобильную катастрофу. Солнце обожжет ему лицо, а Шормиле кажется, что у мужа грипп. Робко заводит разговор о докторе, но, взглянув на Шошанко, тут же умолкает — теперь она боится открыто выказать свое беспокойство.

Шошанко загорел, стал поджарым. Одежда плотно облегает тело, еще плотнее облегают его заботы, ни на

минуту не оставляя в покое, походка быстрая, слова короткие и отрывисты, словно искры. Шормила старается не отстать от мужа: всегда держит на кухне горячую пищу, чтобы муж, заглянув домой, мог поесть в любое время. В машине уложены бутылки с содовой и жестяная коробка с едой. На видном месте флакон с одеколоном — на случай головной боли. Когда машина возвращается, Шормила осматривает кабину и, к великому огорчению, убеждается, что все осталось нетронутым. Каждый раз она кладет в спальне чистую одежду, кладет так, что не заметить ее нельзя, однако у мужа не бывает времени переодеться по нескольку дней. Советоваться с ним по домашнему хозяйству почти не приходится, говорить об этом надо кратко, языком срочной телеграммы, да и то на ходу, посылая вдогонку: «О боже мой! Да выслушай же!» Ниточка, связывавшая Шормилу с делом мужа, оборвалась; деньги ей возвращены полностью, даже с процентами, которые были скрупулезно вычислены, а с нее взята соответствующая расписка.

— Да будет тебе! — воскликнула Шормила. — Даже в любви мужчина не может считать себя одним целым с женой, непременно оставит лазейку для своей мужской гордости.

На проценты с капитала Шошанко начал строить в Бхобанипуре особняк, в котором все делалось согласно его вкусам и склонностям. В голове его рождались все новые и новые планы, касающиеся удобств и комфорта в доме. Шошанко старался удивить жену. И та действительно не переставала удивляться. Когда появилась стиральная машина, Шормила ходила вокруг, рассматривала, рассыпалась в похвалах, а про себя думала: «Пусть лучше носят белье, как и раньше, к стиральщику. Всю жизнь грязное белье перевозили на ослах — зачем же мудрить и приспособливать науку к стирке».

Шормила была поражена, увидев машину для очистки картофеля.

— Ну, теперь приготовить салат — сущие пустяки!

А потом оказалось, что машина валяется где-то в чулане вместе с треснувшим котлом для варки пищи, помятым чайником и другим хламом.

Но вот особняк отстроен, кончились совместные хлоп-

поты, и Шормила, питавшая тайную нежность к этой недвижности, заметно к ней охладела: хорошо, что новая громадина из камня и дерева могла терпеть любую обиду. Носильщики, которые перетаскивали и устанавливали вещи, задышали от усталости, один даже отказался от работы. В том, как были обставлены комнаты, чувствовалась прежде всего забота о хозяине. Хотя в гостиную он теперь заходил очень редко, там были разложены подушки и подушечки, чтобы, усталый, он мог отдохнуть, а сколько стояло там ваз с цветами! Столик на трех ножках был покрыт узорчатой скатертью. Давно прошло то время, когда Шошанко днем заходил в спальню — ему не до сна, по его новому календарю даже воскресный день сродни понедельнику. Даже в праздники он находил себе занятие: чертил на кальке или сидел за расчетами. Однако от старых привычек Шошанко не отказался. Как и раньше, в особой коробочке лежал бетель, у широкой мягкой софы ожидали своего хозяина домашние войлочные туфли, на вешалке висела рубашка из тонкого шелка, дхоти с аккуратно заглаженными складками на свободном конце его. Не дай бог что-нибудь тронуть или переставить в кабинете Шошанко. Шормила отваживалась входить туда с тряпкой в руке, лишь когда мужа не было дома, и уж тогда с присущим ей пылом начинала убирать, наводя порядок среди его вещей, нужных и ненужных.

Шормила по-прежнему беззаветно служила своему мужу, но теперь ее служение во многом не касалось его прямо и непосредственно. Раньше она изливала свои заботы на него самого, теперь же они проявлялись в убранстве комнат, в устройстве сада, в шитье шелкового чехла для кресла Шошанко, в вышивании наволочек, в том, чтоб в синей хрустальной вазе на его рабочем столе всегда были свежие туберозы.

Как это ни тяжело, но Шормила должна была оставлять свои приношения поодаль от трона, на котором восседало божество, иначе беда, иначе рана в сердце. Одну из них Шормиле совсем недавно пришлось залечивать горючими слезами. Было двадцать девятое число месяца карттик, день рождения Шошанко. Самый большой праздник в жизни Шормилы. Как всегда в этот день, она пригласила друзей и знакомых, дом украсила цветами и ветками.

Покончив с утренними делами, Шошанко заехал домой.

— Это еще что такое? — изумился он. — Кукольная свадьба, что ли?

— О горе мне! Ты даже забыл, что сегодня день твоего рождения! Как хочешь, но вечером ты должен быть дома!

— Бизнес не признает никаких дней, кроме дня смерти.

— Прошу тебя, последний раз, ведь гости приглашены.

— Послушай, Шормила, не делай из меня игрушку и не устраивай игры, пригласив гостей со всего бела света!

С этими словами Шошанко быстро вышел, а Шормила заперлась в спальне и разрыдалась.

К вечеру явились приглашенные. Они с готовностью признали непреложность требований бизнеса. Если бы, скажем, Калидаса вознамерился в день своего рождения писать третий акт «Шакунталы», ему бы не было никакого оправдания, и все, конечно, поняли бы, что это простая увертка, но бизнес есть бизнес! Тут уж приходится смиряться. И гости смирились и не стали портить себе настроение. Веселью не было конца. Особенно отличился господин Налу. Он так уморительно подражал театральным актерам, что рассмешил всех, даже Шормилу.

Итак, сам день рождения отступил перед бизнесом и в глубоком почтении поклонился ему.

И Шормила, несмотря на всю боль и горечь, мысленно поклонилась знамени, которое развевалось на мчащейся колеснице дел ее мужа. Для нее они недостижимы и неприступны. Ради них он жертвует мольбами жены, общением друзей, собственным покоем. Уважая свое дело, мужчина тем самым уважает самого себя, как бы отдает дань собственной силе. Шормила стоит на берегу потока домашних дел и с трепетом и восхищением смотрит на другой берег, где свершаются деяния Шошанко. Они не знают пределов. Перешагнув границу дома, они устремились в далекие края, увлекая за собой множество людей — знакомых и незнакомых. Каждый день мужчина вступает в единоборство со своей судьбой, и если на этом тернистом пути ему встретится препятствие в виде нежных женских рук, он безжалостно разорвет их цепкие объятия. Шормила приняла эту безжалостность благоговейно. Иногда,

вопреки разуму, подчинившись тревожному голосу сердца, она переходила границы дозволенного, но тут же получала удар. Она воспринимала его как должное и с болью в душе отступала. Она лишь молила всевышнего охранять ее мужа там, куда самой ей пути заказаны.

Н И Р О Д

Семья процветала, счет в банке рос и стремительно приближался к шестизначной цифре, дела шли в гору, но тут вдруг Шормилу подкосила какая-то непонятная болезнь, что всех переполошило. Но о причине столь сильного беспокойства речь пойдет ниже.

Отец Шормилы Раджарам-бабу владел несколькими крупными поместьями в районе Барисала и в дельте Ганги, был компаньоном в кораблестроительном деле на верфях в Шалимаре. Он родился на закате старых времен, когда они уступали место нынешним. В молодости был отменным борцом, охотником, искусно владел палкой, славился игрой на барабане. Мог читать наизусть целые страницы из «Венецианского купца», «Юлия Цезаря», «Гамлета», считал идеалом стиль Маколея, восхищался красноречием Бёрка, в бенгальской литературе чтит лишь то, что было написано до «Смерти Мегхнада». В зрелом возрасте не чуждался спиртного и скоромного, как неотъемлемой принадлежности современной культуры, но к старости отказался и от того, и от другого. Раджарам-бабу все еще был крепкий, высокого роста мужчина с красивым лицом. Он тщательно следил за собой, был по-прежнему общительным и не мог отказать ни одному просителю. Набожностью он не отличался, но в его доме постоянно устраивались пышные богослужения. Пышность — для поддержания родовой чести, сами богослужения — для женщин. Стоило ему захотеть, и он безо всякого труда получил бы титул раджи. Когда его спрашивали, почему он этого не хочет, Раджарам с улыбкой говорил, что еще отец нарек его таким титулом и присовокупление еще одного скорее убавит, нежели прибавит чести. В правительственную резиденцию он ходил по особому билету через особую переднюю. Его приглашения принимали самые

высокопоставленные английские чиновники и в огромных количествах поглощали дары в виде шампанского на празднестве Кормилицы мира, которое с давних времен каждый год устраивали в его доме.

Раджарам был вдов, и с ним после замужества Шормилы остались старший сын Хемонто и младшая дочь Урмимала. Учителя находили у Хемонто блестящие способности — brilliant, как говорят англичане. Не было такого предмета, который бы ему не давался, и на экзаменах он получал самые высокие баллы. Собой он тоже был хорош и, судя по всему, обещал не посрамить отца ловкостью и силой. Стоит ли говорить, что Хемонто владел думами многих красавиц, но о женитьбе пока не помышлял, задавшись целью добиться званий в европейских университетах, для чего начал заниматься французским и немецким.

И еще — хотя в этом не было необходимости — Хемонто приступил к изучению права, но потом заболел какой-то непонятной болезнью, которую врачи никак не могли определить. Она таилась в сильном теле, как лазутчик в укрытии, ее нельзя было обнаружить, а следовательно, и повести на нее наступление. Раджарам безгранично верил одному медику-англичанину старой формации, впрочем весьма известному хирургу. Тот с помощью различных инструментов обследовал больного и пришел к заключению, что очаг болезни находится в труднодоступной внутренней полости, что нужно проникнуть туда и ликвидировать его. Хирург пустил в ход новые инструменты, вскрыл полость, но не нашел ни предполагаемого врага, ни каких-либо его следов. Исправить ошибку оказалось невозможным, юноша умер. Горе отца было безутешно. Его угнетала не столько сама смерть, сколько мысль о том, что вот так взяли и искромсали молодое, сильное, красивое тело; будто черная хищная птица, эта мысль день и ночь терзала когтями душу, окончательно подорвала силы Раджарама, и он чуть было не отправился вслед за сыном.

Выхаживать Хемонто помогал бывший его однокашник Нирод Муххуддже, совсем недавно получивший диплом врача. Он не раз говорил, что англичанин ошибся, и поставил собственный диагноз, настоятельно рекомендуя отправить больного на длительное время в места с сухим

климатом, однако не сумел сломить в Раджараме его уверенность в том, что единственно достойным соперником в борьбе с богом смерти может быть лишь доктор-англичанин. Теперь Раджарам, хоть и без достаточных к тому оснований, перенес всю свою любовь и уважение на Нирода. Его дочери он тоже вдруг показался человеком необыкновенным.

— Заметь, отец, — говорила она, — совсем молодой, а какая вера в свои силы. Какая смелость! Не побоялся вступить в спор с такой знаменитостью, да еще европейцем.

— Чтобы стать настоящим врачом, мало изучать книги, надо родиться с искрой божьей, — отвечал Раджарам. — Таких не часто встретишь, но Нирод, кажется, из их числа.

Так, появившись в дни горя и скорби, их уважение к Нироду затем росло и крепло уже само по себе, безо всяких на то причин.

Однажды Раджарам рассказал дочери об осенившей его идее:

— Знаешь, Урми, мне часто кажется, будто я слышу голос Хемонто, он просит облегчить страдания больных. Я решил построить в память о нем больницу.

— Превосходная мысль! — откликнулась Урми со свойственным ей энтузиазмом. — Отправь меня в Европу, я выучусь на доктора и смогу заведовать больницей.

Слова дочери слегка покорибили Раджараму.

— Больница будет достоянием божьим, — пояснил он, — а ты будешь служительницей. Хемонто терпел жестокие муки, тебя он очень любил, и если ты посвятишь себя этому святому делу, душе его на том свете будет покойно. Ты день и ночь ухаживала за ним, а теперь в память о нем будешь служить и людям.

Старику даже не показалось необычным, что его дочь, девушка из богатой семьи, собирается посвятить себя лечению больных — настолько он проникся сознанием важности и благости этого дела. Пусть не удалось спасти его сына, но, если удастся спасти других, его потеря не будет казаться столь невосполнимой, облегчится бремя его скорби.

— Заканчивай наш университет, — посоветовал он дочери, — а там и в Европу.

С тех пор одна мысль не оставляла Раджарама. Мысль о Нироде. Золотой юноша. Чем больше Раджарам к нему присматривался, тем больше им восхищался. Окончил курс, преодолел безбрежные просторы экзаменов — теперь пустился бороздить необъятный океан медицинской науки. Не в пример другим юношам, не предается удовольствиям и наслаждениям. Критически подходит к новейшим открытиям, проверяет их, даже в ущерб собственной практике. Презирает тех, кто слишком заботится о ней. Любит повторять вычитанную в какой-то книге сентенцию: «Карьеру сделать может каждый дурак, уважение и признание приходят к достойным».

И вот однажды Раджарам заявил Урмимале:

— Я вот о чем думаю: если бы ты стала работать в нашей больнице помощницей Нирода, дело было бы завершено, да и я был бы спокоен. Где еще найдешь такого парня, как он?

Раджарам мог пренебречь чем угодно, только не мнением Хемонто, который считал, что выдавать девушку за муж против ее воли — варварство. Сам он не был согласен с сыном. Ведь с браком связаны интересы семьи, поэтому главное здесь не веление сердца, а жизненный опыт. Но горячая любовь к сыну победила его точку зрения.

Нирод Мукхуддже был вхож в их дом. Хемонто дал ему прозвище «Сова». Когда его спрашивали почему, он отвечал: «Это человек из древних мифов. У него нет возраста, есть знания, мудрость, вот я и зову его спутником Минервы».

Нирод иногда оставался у них пить чай, начинались горячие споры с Хемонто. Гость, разумеется, заметил Урми, но никак не проявил этого главным образом потому, что не знал, как ведут себя в подобных случаях. Он умел вести спор, но не галантные беседы. В нем, возможно, и был огонь молодости, но только огонь, лишенный яркости. Нирод пренебрежительно относился к своим сверстникам, в которых молодость была ключом, и гордился своим несходством с ними. В силу всего этого никто не решался зачислить его в разряд почитателей Урмималы. И вот теперь его очевидное бесстрашие в сочетании с недавними событиями превратили ее к нему уважение в чувство, близкое к преклонению.

Когда Раджарам самым недвусмысленным образом дал дочери понять, что, если у нее нет возражений, он будет счастлив видеть ее женой Нирода, Урми кивнула головой в знак согласия и лишь прибавила, что хочет сначала закончить образование здесь и за границей.

— Вот и хорошо, — обрадовался отец. — Только нужно вначале объявить о помолвке, а там нечего беспокоиться.

Нирод не замедлил дать согласие, хотя всем своим видом показал, что для ученого брак — величайшая жертва, почти самоубийство. Видимо, для некоторого облегчения столь тяжелой участи было выдвинуто условие, что он сам будет руководить Урми в ее занятиях и во всем остальном, иными словами, будет постепенно готовить из нее будущую супругу. И делать он будет это по всем правилам науки, ошибки будут исключены, словно в лабораторном процессе.

— Всякая живая тварь выходит из мастерской природы уже готовым изделием, — развивал Нирод перед Урми свои взгляды, — но человек — сырье, и сделать себя настоящей личностью должен он сам.

— Хорошо, экспериментируйте, — кротко согласилась Урми, — препятствий вы не встретите.

— В тебе имеются разнородные силы. Их нужно сконцентрировать вокруг единственной цели в жизни, лишь тогда твое существование обретет смысл. Разбросанное нужно собрать воедино и подчинить одной цели, это будет нечто компактное, динамичное, лишь тогда данная масса может быть названа моральным организмом.

Рассуждения Нирода привели Урми в восторг. Сколько юношей, думала она, появлялось у нас за чайным столом, на теннисном корте, но никогда ни один из них не сказал ничего достойного размышления, а если слышал нечто подобное от других, то лишь зевал в ответ.

У Нирода и в самом деле была манера вести разговор с чрезвычайной серьезностью. Во всем, что бы он ни изрекал, Урми находила необыкновенный смысл. Какой интеллект!

На помолвку Раджарам позвал и своего зятя. Он решил почаще приглашать его, чтобы они поближе сошлись с Ниродом. Но вот что сказал потом жене Шошанко:

— Слишком уж скороспел. И считает нас всех не более чем школярами, да и то сидящими на последней парте.

— Ты просто завидуешь, — улыбулась Шормила. — А мне он очень понравился.

— Не поменяться ли тебе с сестрой?

— Ты тогда вздохнул бы с облегчением. Но мне это не нужно.

Нельзя сказать, чтобы и Нирод воспылал особой симпатией к Шошанко. «Он рабочий, не ученый, — подумал про себя Нирод. — Есть руки, но где голова?»

Шошанко любил подшутить над свояченицей, а после помолвки не упускал случая пройтись и по адресу ее нареченного.

— Ну вот, дождалась, пришла и тебе пора менять имя, — завел однажды разговор Шошанко.

— На английский манер? — спросила Урми.

— Нет, на чисто санскритский.

— Какое же у меня должно быть новое имя?

— Биддутлота, Молния. Ему понравится. Он наблюдал нечто подобное в лаборатории, а теперь будет иметь это и в доме.

Про себя же Шошанко вдруг подумал: «А ведь в самом деле, как ей подходит это имя!». И тут его словно цапнуло по сердцу. «Досадно, что такая девушка достанется этому сухарю».

Впрочем, трудно сказать, кому бы должна была достаться Урми, чтобы Шошанко был доволен...

Вскоре Раджарам умер. Будущий повелитель Урми-малы Нирод стал настойчиво и целеустремленно направлять ее жизнь.

Урми, быть может, и не красавица, но какое удовольствие смотреть на нее! Резвая, неугомонная, она необыкновенно чиста и лучезарна. Все ее занимает. Ее влечет к наукам, и в не меньшей степени к литературе. Она любит смотреть игру в футбол, но не забывает и о кино. В Президентском Колледже выступает приехавший из-за границы популяризатор физики, Урми не пропустит и его лекции. Слушает радио, иногда вдруг скажет: «Какая чепуха!», но слушает с любопытством. На улице заиграла музыка: жених отправляется на свадьбу — Урми мчится на веранду. Часто ходит в зоологический сад, по-

долгу стоит у клетки с обезьянами. Когда отец удил рыбу, Урми усаживалась рядом с ним. Она охотно играет в теннис и в бадминтон — этому ее научил брат. Стройностью и легкостью она напоминает лиану, которая приходит в движение при малейшем дуновении ветерка. Одевается она просто и опрятно, знает, как надеть сари, чтобы незаметно подчеркнуть красоту линий тела. Певица Урми не бог весть какая, а когда играет на ситаре, то кажется, будто ее озорные пальцы для того только и касаются струн, чтобы наделать побольше шуму. В такую минуту и не скажешь, что приятнее: слушать ее или просто на нее смотреть. Она всегда найдет о чем поговорить и любит посмеяться, часто без всякой на то причины. Урми очень общительна, и где бы она ни появилась, кажется, будто она одна заполняет собой все вокруг. Лишь при Нироде она не похожа на самое себя — и напоминает лодку с поникшим парусом, которую надо тянуть бечевой.

Говорят, что характером она вся в брата, такая же веселая и жизнерадостная, но Урми хорошо знает, что это он снял оковы с ее души. Хемонто нередко повторял: «Наши дома — это формочки, в которых изготавливают глиняных человечков. Вот почему заморскому трюкачу столько времени и с такой легкостью удается водить на ниточках триста тридцать миллионов марионеток». И еще он говорил: «Когда настанет время, я уподоблюсь Калапахару, чтобы сокрушить наше социальное идолство». Этого времени он так и не дождался, но вдохнуть жизнь в Урми все же успел.

Неожиданно на своем пути Урми столкнулась с трудностями — и вот с какими: Нирод придерживался в работе железной системы и для занятий своей невесты тоже составил строгие правила.

«Послушай, Урми, — говорил он, — нельзя так разбрасываться, с каким багажом ты окажешься в конце пути? Ты, как мотылек, порхаешь повсюду и ничего не добываешь, ничего не приносишь. Бери пример с пчелы. Надо дорожить каждым мгновением. Жизнь не забава».

В последнее время Нирод усиленно штудировал литературу по педагогике, выписанную из Имперской библиотеки. В книгах почерпнул он все эти нравоучения и преподносил их книжным языком — своих, простых слов у

него не находилось. Урми не сомневалась в том, что она преступница. Дала великий обет, а сама на каждом шагу нарушает его. Только позорит себя. Перед ней ведь Нирод. Какая удивительная твердость, какая целеустремленность и какая ярая враждебность ко всяческим удовольствиям! Заметив на столе Урми какие-нибудь рассказы или другую беллетристику, Нирод тут же конфисковал книгу. Однажды вечером он пришел проследить за занятиями Урми и узнал, что она ушла в английский театр слушать «Микадо» Салливэна. Когда был жив брат, они почти никогда не пропускали ни одного интересного спектакля. Нирод дождался ее прихода и сделал ей строгое внушение.

— Послушай, — сказал он ей по-английски, — ты ведь решила всей своей жизнью оправдать смерть брата. Или ты забыла об этом?

Бедняжку охватило раскаяние. «Как он пронизателен! — поразила ее. — Ведь и в самом деле я уже не чувствую горя с прежней остротой. Я гадкая, легкомысленная!»

Урми взяла себя в шоры. Надела грубое сари, к шоколаду не притрагивалась, хоть его довольно много скопилось в ящике буфета, — словом, начала безжалостно загонять свою непокорную душу в жестокие рамки сурового долга. Сестра ругала ее, Шошанко не жалел на Нирода самых сильных, отборных эпитетов из чужого языка, которых в словаре не найдешь.

В одном он был схож с Ниродом. Когда Шошанко, ругаясь, входил в раж, он прибегал к английскому. Нирод тоже прибегал к английскому, но в иных случаях, когда рассуждал о высоких материях.

Больше всего не нравилось Нироду, когда Урми приглашали к сестре. Она не просто ходила к Шормиле, а ходила с удовольствием. Это, безусловно, вредило их отношениям с Ниродом.

Однажды Нирод, придав лицу строгое выражение, без обиняков заявил:

— Послушай, Урми, я должен сказать тебе неприятную вещь, не обижайся на меня, но посуди сама, могли ли я иначе, ведь на мне лежит определенная обязанность по отношению к тебе. Так вот знай, что постоянное

общение с домом Шошанко пагубно отражается на становлении твоей натуры. Ты ослеплена родственными чувствами, но я отчетливо вижу, к каким печальным последствиям это может привести.

Если под натурой Урми подразумевать некую ценность, то, по крайней мере, первая закладная на нее спрятана в сундуке Нирода, и что бы ни случилось, убыток понесет не кто иной, как Нирод. Урми вняла запрету и под разными предложениями почти совсем перестала бывать в Бхобанипуре.

Всячески ограничивая себя, она стремилась хоть в какой-то мере возместить огромный долг Нироду. Он ведь в ответе за ее будущее, до конца дней он будет нести на себе это бремя, в ущерб делу всей его жизни, а что может быть непростительнее такой растраты сил и времени для ученого-подвижника?

Мучительно подавлять в себе желание, когда тебе до смерти хочется чего-нибудь. Но Урми смирилась с этой мукой; лишь временами девушка испытывала боль, но она знала, что это не блажь, и была не в силах превозмочь ее до конца. Нирод лишь направляет ее, но почему он не займет ее настоящим делом, которого она так жаждет? Ведь без него душа лишается своей красоты, а все обязанности становятся скучными и ненужными. В иные дни Урми вдруг замечала в глазах Нирода отблеск какого-то сильного чувства, казалось — еще немного, и из глубочайших тайников его сердца вырвется наружу что-то сокровенное. Но видит бог, если Нироду и было знакомо томление страсти, то поведать о нем он не умел, а потому считал предосудительным даже саму мысль об этом. Он гордился тем, что заставил сердце молчать, видя в этом проявление своей силы. Когда Нирод говорил: «Сентиментальность — не для меня», Урми хотелось плакать, но в ее положении ей не оставалось ничего другого, как с благоговением думать: «Вот он, настоящий героизм». И она еще безжалостнее укрощала свою неокрепшую душу. Но, несмотря на все свои старания, Урми не могла отделаться от одной, совершенно очевидной мысли: в порыве глубокой скорби она добровольно приняла обет, но прошло время, и сейчас ею движет уже не собственная воля, а чужая.

Нирод прямолинеен, как всегда. «Послушай, Урми, и запомни, — говорит он, — от меня не дождешься хвалы и

лести, которых так жаждут женщины. Но то истинное и ценное, что ты получишь от меня, неизмеримо больше всей этой чепухи».

Урми молчит, склонив голову, и думает: «Неужели от этого человека ничто не может быть сокрыто?»

Сердце берет свое. Урми выходит на крышу и бродит там в одиночестве. Предзакатный свет становится серым. Пройдя за домами, высокими и низкими, большими и маленькими, солнце садится за частоколом корабельных мачт, которые виднеются вдаль у причала на берегу Ганги. Длинные разноцветные облака провели последнюю границу дня. Постепенно и она исчезла. Над церковной башней взошла луна. В ее призрачном свете город кажется иллюзорным. Сердце спрашивает, неужели жизнь и впрямь так неумолимо жестока и так скупа? Неужели она не даст ни простора, ни радости? И в эти мгновения хочется совершить что-нибудь безрассудное, хочется крикнуть: «Не признаю, ничего не признаю!»

У Р М И М А Л А

В свое время Нирод провел исследование и послал свой труд в одно европейское научное общество. Пришел хвалебный отзыв, была предложена стипендия — и Нирод решил отправиться за море получать степень в тамошнем университете. При прощании не было теплых слов. Нирод лишь снова и снова повторял:

— Боюсь, как бы за это время ты не ослабила упорства в исполнении своего долга.

— Не бойтесь, — отвечала Урми.

— Я оставляю подробные записи, как строить расписание жизни, как заниматься.

— Я не отступлю от них ни на шаг.

— Вот эти книги из твоего шкафа я хотел бы отвезти к себе и запереть.

— Отвозите, — промолвила Урми, отдавая ему ключ.

Взгляд Нирода упал на ситару. Он хотел что-то сказать, но смолчал.

Наконец Нирод — так повелевал ему долг — вынужден был заявить:

— Одного я опасаясь: если ты снова зачастишь в дом Шошанко, твоя воля ослабнет, в этом можно не сомневаться. Не подумай, что я порицаю Шошанко. Человек он хороший. Немногие бенгальцы способны с таким рвением и умом делать дело. Единственный его недостаток — отсутствие каких бы то ни было идеалов. Говоря по правде, мне подчас бывает страшно за него.

Заодно были перечислены и остальные недостатки Шошанко, а раз уж на то пошло, Нирод не мог не выразить крайнего беспокойства и глубокого прискорбия, что с возрастом со всей силой проявятся и другие, пока еще незаметные его пороки. Но как бы там ни было, он очень хороший человек, о чем Нирод готов заявить во всеуслышание, однако хотел бы предупредить, что Урми обязана оберегать себя от его пагубного влияния и от тлетворной атмосферы, царящей в его доме. Если же Урми уподобится ему, это будет падением, деградацией.

— Почему вы так волнуетесь? — спросила Урми.

— Почему, ты спрашиваешь? Не обидишься? Я скажу.

— Вы же сами учили меня не бояться правды. Я знаю, это не легко, но постараюсь выслушать спокойно.

— Тогда слушай. Между тобой и Шошанко есть определенное сходство характеров. С ним легко. Как раз это тебе и нравится — верно?

«Да он всеведущ», — думает Урми. Муж сестры ей действительно очень нравится. Главным образом, за то, что умеет хохотать, дурачиться, шутить. И еще он знает, какие Урми любит цветы и какого цвета сари ей по вкусу.

— Да, нравится, это правда.

— Любовь Шормилы нежна и глубока, для нее служение — святое дело, она никогда не забывает о долге. Лишь благодаря ей Шошанко научился так работать. Но когда ты появляешься в Бхобанипуре, его не узнать. Он затевает с тобой возню, вытаскивает шпильки из твоих волос, выхватывает у тебя книгу и забрасывает на шкаф. Неожиданно он обнаруживает страсть к теннису, хотя дел по горло.

Урми должна была в душе признать, что именно всем этим ей и нравится Шошанко. Он превосходит ее в озорстве, но и она не дает ему спуска. Наблюдая за ними, се-

стра улыбается спокойно, ласково, иногда журит их, но это просто так.

— Тебе нужна такая обстановка, — продолжал Нирод, — в которой твои склонности не находили бы поддержки. Будь я рядом, все было бы в порядке, ведь мой характер диаметрально противоположен твоему. Уж я никак не мог бы пагубно влиять на твою душу.

— Я всегда буду помнить сказанное вами, — ответила Урми, наклонив голову.

— Оставляю тебе несколько книг, с особым вниманием отнесись к отмеченным мною главам, впоследствии пригодятся.

Урмимала очень нуждалась в помощи, ибо в последнее время ее все чаще одолевали сомнения и она с тоской думала: «А может быть, я сгоряча допустила ошибку и медицина совсем не мое призвание».

Книги с пометками Нирода заставят ее держаться в рамках, помогут идти против течения.

После отъезда Нирода Урми стала еще строже следить за собой. Придет из колледжа и сидит дома, как затворница. После целого дня занятий ни минуты не отдыхает, сидит за учебником, будто цепью себя приковала. Ей не читается, глаза снова и снова пробегают один и тот же абзац, и все напрасно, однако Урми не сдается. Нирод далеко, но на расстоянии он еще сильнее воздействует на нее.

Больше всего негодует на себя Урми, когда во время занятий в голову ей упрямо лезут воспоминания о прошлом. У нее было много поклонников. Одних она отвергала, к другим ее влекло. То не была любовь, но от ее предчувствия в душе повеяло нежным весенним ветром. Урми что-то напевала вполголоса, переписывала в тетрадь любимые стихи, а когда чувства рвались наружу, брала ситару. Садясь по вечерам за книгу, она вдруг ловила себя на мысли, что думает о человеке, который надоедал ей когда-то своей назойливой нежностью. Сейчас воспоминания об этой нежности волновали ее исстрадавшееся, жаждущее любви сердце, как волнует весенний цветок легкое прикосновение бабочки.

Чем усерднее гнала Урми от себя эти мысли, тем настойчивее они преследовали ее. Она всматривалась в стоявшую на письменном столе фотографию Нирода. Лицо умное — но нежности нет и следа. Он не зовет Урми — кому же откликнется ее душа? И Урми твердила про себя, как молитву: «Какая одаренность, какое подвижничество, какая чистая натура, какое огромное выпало мне счастье!»

Надо сказать, что Урми недаром восхищалась чистотой его натуры. Когда стало известно о помолвке Урми с Ниродом, нашлось немало скептиков, в том числе и Шощанко, которые не скупилась на издевки по его адресу. Раджарам-бабу, говорили они, по простоте душевной вдруг решил, что Нирод идеалист, а у того идеал — потихоньку прибрать к рукам приданое Урми — этого ему не скрыть никакими благородными фразами. Он, конечно, приносит себя в жертву, только храм его бога — Имперский банк. Мы говорили тестю, что деньги вещь полезная, что им найдут применение, может даже, на его родную дочь потратят. А он, наивный человек, заявляет: Нирод, мол, женится ради благой цели. Но вы еще увидите, как он станет описывать эту благоую цель в чековой книжке тестя.

Нирод знал, что подобные разговоры неизбежны, и сразу заявил Урмимале: «Помни, я не возьму из твоих денег ни пайсы, единственным источником доходов будет мой заработок». Раджарам-бабу хотел на свой счет отправить его в Европу — тот наотрез отказался, потому и пришлось так долго ждать другой возможности. В свое время Нирод сказал Раджараму: «Все средства, которые вы собираетесь выделить на устройство больницы, переведите на имя дочери. Я буду работать в вашей больнице безвозмездно. Врач всегда заработает себе на жизнь».

Такое благородство безмерно укрепило уважение к нему со стороны Раджарама, а в Урми вызвало чувство самой глубокой гордости. Зато Шормиле поступок Нирода, столь явно продемонстрировавшего свое бескорыстие, пришелся не по душе. «Скажите, какая гордость! — воскликнула она. — Посмотрим, надолго ли его хватит!» С тех пор стоило Нироду завести умный разговор, как Шормила тотчас же выходила из комнаты. Ради Урми она ничего не говорила, но ее молчание было красноречивее всяких слов.

Поначалу Нирод с каждой почтой присылал длинные письма, на четыре, а то и на пять страниц, в которых давал подробнейшие советы и наставления. Но вдруг пришла телеграмма: для продолжения занятий срочно требуется крупная сумма. Чувству гордости, которое до сего времени служило Урми основной поддержкой, был нанесен основательный удар, но вместе с тем она почувствовала и некоторое облегчение. Чем больше проходило времени со дня отъезда Нирода, тем упорнее и чаще искала Урми лазейку в глухой ограде долга. Она под разными предложениями обманывала себя и тут же предавалась раскаянию. Вот почему телеграмма Нирода была словно бальзам для ее исстрадавшейся души.

Урми отдала телеграмму управляющему и робко сказала:

— Дядюшка, постарайтесь эти деньги...

— Странно, странно. А мы-то думали, что к деньгам он не прикоснется.

— Но ведь за границей... — Урми не решилась продолжать.

Управляющий не любил Нирода:

— За границей характер часто меняется, дело известное, только как нам поспеть за этими переменами!

— Но он может оказаться в беде.

— Хорошо, дочка, пошлю, не тревожься. Но предупреждаю: это только начало.

Слова управляющего очень скоро подтвердились. Потребовалась еще более крупная сумма, на сей раз для поправки здоровья. Управляющий нахмурился:

— Не мешало бы посоветоваться с Шошанко.

— Что угодно, но в доме сестры об этом ничего не должны знать, — всполошилась Урми.

— Мне не хочется брать на себя ответственность.

— Но ведь рано или поздно деньги все равно попадут к нему.

— Пока не попали, нужно подумать, чтобы зря не пропали.

— А как же его здоровье?

— Разные бывают недуги, я что-то не пойму, чем он болен. Может быть, для поправки его здоровья достаточно

простой перемены климата. Давай-ка устроим ему обратный проезд.

Тут Урми еще сильнее встревожилась, как ей показалось, главным образом потому, что было бы несправедливо помешать Нироду в тот момент, когда он уже близок к достижению высокой цели.

— Ладно, пошлю ему деньги еще раз, — согласился дядюшка, — но, по-моему, это лишь повредит здоровью нашего доктора.

Намек был достаточно прозрачным, чтобы заронить в душе Урми сомнения. Как-никак управляющий Радхагобиндо был родственником Урми, и притом не очень дальним. «Придется все же рассказать сестре», — думала Урми.

Однако злключения Нирода несколько ее не огорчали. «Почему это?» — спрашивала себя девушка.

...Между тем здоровье Шормилы вызывало серьезные опасения. Ведь не так давно от какой-то непонятной болезни погиб ее брат. Доктора и на сей раз усиленно искали очаг болезни, но ничего не могли определить.

— Настоящий преступник ускользнет от сыщиков Си-Ай-Ди ¹, — с усталой улыбкой шутила больная, — а невинного изрежут, искромсают.

— Пусть осматривают, пусть выслушивают, — говорил озабоченный Шошанко, — но резать ни за что.

Как раз в это время Шошанко получил два больших подряда. Один на джутовой фабрике на берегу Ганги, другой — около Балиганджа, в новом имении мирпурского заминдара. На выполнение работ в фабричном поселке сроку было дано три месяца. Предстояло в разных местах оборудовать несколько современных колодцев. У Шошанко не было ни минуты свободной, он разрывался между работой и домом.

С тех пор как они поженились, Шормила ни разу серьезно не болела. И вот теперь Шошанко совсем потерял голову. Он вдруг мчался с работы домой, с самым беспомощным видом садился у постели больной, гладил ее по голове и спрашивал:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

¹ Си - А й - Ди — начальные буквы английского названия Департамента уголовного розыска.

— Да не тревожься ты понапрасну, — спешила утешить его Шормила, — я хорошо себя чувствую.

Звучало это не очень правдоподобно, но Шошанко так хотелось в это верить, что он принимал слова жены за чистую монету и немного успокаивался.

— Я получил большой подряд от раджи Дхенканола, — сообщил он как-то. — Нужно поговорить с его управляющим. Я бы вернулся до прихода доктора.

— Конечно, поезжай, — с укором в голосе ответила Шормила, — за мной ведь есть кому присмотреть. Я сама изведусь, если ты не поедешь, ведь это важное дело. Только умоляю тебя, не торопись домой, а то все испортишь в спешке.

Шошанко мечтал об огромном состоянии, и эта мысль не покидала его ни днем ни ночью. Его не столько привлекали сами деньги, сколько размах дела. Мужчина обязан совершить что-то великое. Богатство можно презирать, если оно служит удовлетворению пустых прихотей, но когда оно день ото дня растет и становится громадным, словно гора, все смотрят на него с почтением, а сам обладатель его испытывает подлинную радость. Сидя у постели Шормилы и тревожась за нее, Шошанко в то же время мучился мыслью о том, что без него работа идет не так, как надо. Шормила знала, что в нем говорит не мелочный расчет, а сила, энергия, стремление к чему-то великому. И Шормила гордилась мужем. Ей было приятно, что ради нее Шошанко отрывается от работы, и все же она не одобряла его.

Шормила не знала ни минуты покоя. Пока она лежит в постели, прислуга, наверно, бог знает что натворила. Наверняка в пищу кладут недоброкачественное масло, забывают согреть вовремя воду для ванной, простынь не меняют, сточную канаву очищают кое-как. Чего доброго, возьмут белье от стиральщика, не проверив его по списку, — потом и не разберешься. И Шормила украдкой вставала с постели и шла наводить порядок. После этого у нее усиливался жар, а врачи понять не могли, в чем тут дело. В конце концов, она послала за Урмималой, и когда та явилась, сказала ей:

— Твой колледж, сестрица, подождет, а ты лучше присмотри у нас за хозяйством, не то я и умереть не смогу спокойно.

Читатель, конечно, улыбнется, дойдя до этого места, и скажет: «Конец ясен». Верно. Для этого большой прощательности не требуется. Все идет своим чередом. Более того, судьба не станет прятать карты от Шормилы.

Предстоящее служение своей диди воодушевило Урмималу. Ради этого, правда, придется от многого отказаться, но что поделаешь. Зато уход за сестрой имеет прямое отношение к ее будущей работе медика.

Преисполнившись сознанием долга, Урмимала прежде всего завела тетрадь в кожаном переплете с графлеными страницами для нанесения кривых развития болезни. Затем Урми решила прочитать все, что только возможно, о болезни сестры, пусть лечащие врачи не сочтут ее дилетанткой. Кстати, для получения степени наук, среди прочих экзаменов, надо было сдать экзамен по анатомии, и подготовка к нему поможет ей без труда разобраться в медицинской терминологии. Словом, уход за сестрой не только не помешает Урмимале в выполнении ее долга, а напротив, увеличит ее упорство. Укрепившись в этой мысли, Урми набила портфель учебниками и тетрадями и так явилась в Бхобанипур. Однако ей не суждено было поработать над увесистым фолиантом по общей патологии, чтобы почерпнуть из него что-нибудь о болезни сестры, ибо даже специалисты не могли установить диагноз.

Урми, полагавшая, что в доме сестры ей уготована роль распорядительницы, сделала строгое лицо и заявила:

— Я прослежу за тем, чтобы усилия врачей не пропали впустую, но предупреждаю: меня должны слушаться беспрекословно.

Серьезный тон сестры рассмешил Шормилу.

— Откуда вдруг такая солидность? — улыбнулась она. — Какой наставник тебя ей научил? А пафос какой! Как у новопосвященной. Но только я как раз затем тебя и позвала, чтобы ты меня слушала. Твоя больница еще не построена, а мое хозяйство — вот оно. Последи пока за ним, пусть твоя диди отдохнет немного.

И она чуть не силой прогнала Урмималу от своей постели.

Так Урми оказалась на посту полномочного представителя сестры в ее домашней империи. Сейчас там царила анархия, которой следовало тотчас же положить конец.

Все домашние, независимо от возраста и положения, призваны были выполнять единственный долг, целиком посвятив себя великой цели: предотвращать малейшие погрешности в служении кумиру, вознесенному на самую высокую вершину в этом маленьком мире. Шормила по-прежнему считала своего супруга существом совершенно беспомощным. Он мог надеть рубашку, не заметив, что рукав прожжен сигарой. Это было смешно и умилительно. Как-то раз уважаемый инженер встал рано утром, умылся под краном, установленным в углу спальни чуть не рядом с постелью, и, так и не закрыв его, помчался по делам, а вернувшись домой, видит: весь пол залит водой, а ковер окончательно испорчен. Шормила с самого начала была против нелепой затеи устраивать умывальник в этом месте, заранее зная, что там каждый день будут лужи. Но разве поспоришь с великим специалистом! А у Шошанко просто страсть перенимать всякие технические усовершенствования, тем самым создавая всевозможные неудобства. Кухонную печь, например, он поставил по своему, совершенно оригинальному плану. Дверца спереди, дверца сзади, здесь труба, рядом еще одна, с одной стороны экономичная топка, поддувало с другой, причем наклонное, чтобы зола сама сбрасывалась наружу, на плите в особом порядке расположились углубления и выемки разных форм и размеров для варки, жарки, печения, кипячения. Пришлось восторгаться невиданным сооружением, но лишь во имя сохранения мира и добрых отношений. Настоящий ребенок... Ох, уж эти причуды взрослых детей! Попробуй воспрепятствовать им в чем-нибудь — беда, хоть из дому беги, а через день-другой обо всем забывают. Ничто привычное им не нравится, им подавай все из ряда вон выходящее, а женам остается лишь поддакивать. Но на деле они, разумеется, поступают по-своему. Впрочем, Шормила была вполне счастлива, несмотря на все причуды мужа.

Сколько лет они прожили вместе — и прожили неплохо. Шормила не могла представить себя вне мира Шошанко и боялась, как бы посланец Ямы не отлучил ее от этого мира. А невнимание мужа к самому себе, наверное, и после смерти не даст покоя ее душе. Хорошо еще, что есть Урми. Она хоть и не так рассудительна, как сестра,

но вполне исправно ведет хозяйство. Все это дела, которые требуют ласкового прикосновения женских рук. Без них жизнь мужчины становится пресной, бесцветной. Когда Урми очищает яблоко и режет его на ломтики, разламывает гранат и выбирает зернышки, когда ее красивые пальцы укладывают апельсиновые дольки на белое блюдо, Шормила как бы ощущает себя в своей сестре. Лежа в постели, она все время напоминает, что нужно делать:

— Наложил-ка сигарет ему в портсигар, Урми.

— Он опять забыл взять чистый платок.

— Полюбуйся, как он выпачкал ботинки в песке и цементе. И не прикажет слуге почистить их!

— Смени, милая, наволочки на подушках.

— Вон валяются обрывки бумаг, собери их в корзину.

— Сходи-ка, Урми, к нему в кабинет, он наверняка оставил на письменном столе ключ от ящика с деньгами.

— Пора высаживать рассаду цветной капусты, не забудь об этом.

— Вели садовнику подрезать розовые кусты.

— Вон пиджак сзади выпачкан известкой. Да постой, Урми, не беги, возьми щетку.

Хоть Урми, больше дружившая с книгами, и не привыкла к такой работе, здесь ей почему-то было очень интересно. Она отвлеклась от строгих законов и правил, и все, что делала сейчас, представлялось ей сплошным их нарушением. Она была свободна от благоговения и священного трепета, воцарившихся в этой семье благодаря Шормиле, поэтому домашние дела оказались для нее приятным занятием, чем-то вроде каникул. Урми попала в совершенно другой мир, и хотя над душой у нее не стоял суровый долг с поднятым указующим перстом, она успевала переделать за день немало дел, и это доставляло ей удовольствие. За ошибки и оплошности ее никто не отчитывал. И если сестра делала ей замечание, Шошанко все обращал в шутку, мол, так оно даже веселее. Вообще хозяйственные дела велись теперь без чувства серьезнейшей ответственности, не то что прежде, атмосфера в доме стала более непринужденной, погрешности против заведенных порядков уже не считались столь тяжким пре-

ступлением. От этого и Шошанко чувствовал себя легче и свободнее. Казалось, будто в доме праздник. А жизне-радостность Урми, которая ничем не тяготилась и ни от чего не огорчалась, во всем находя отраду, передалась и Шошанко: с души его будто спала часть тяжелых обязанностей и забот. Теперь, едва закончив дела или даже не успев закончить их, он спешил домой.

Что греха таить — хозяйка из Урми была не очень умелая и проворная. Но одним своим присутствием она восполнила то, чего давно не хватало в этом мирке и чему невозможно подобрать определенного названия. Придя домой, Шошанко чувствовал в воздухе какое-то неуловимое движение, отчего на душе становилось легко и празднично. И не потому, что здесь предупреждали каждое его желание и он ощущал полную беззаботность. Нет, тут было нечто другое. Урми воистину излучала сияние, и все вокруг словно ожило. Кровь в жилах измученного делами Шошанко побежала быстрее. Урмимала ощутила неведомую ей радость. До сих пор она не знала, что может приносить кому-то счастье одним своим существованием, и это умаляло ее достоинство в собственных глазах.

Шошанко теперь было все равно, вовремя ли его накормят, приготовят ли одежду, достанут ту или иную вещь, он и без этого чувствовал себя счастливым. «Что ты бьешься из-за всякой мелочи, — говорил он Шормиле. — Ну пусть я поступлюсь своими привычками, мне это даже нравится».

Шошанко сейчас напоминал реку, в которой вот-вот начнется отлив. Поток, несущий дела, почти остановился. Теперь Шошанко все реже говорил о работе, о том, что ему мешают, об убытках. А если и вырвется что-нибудь подобное, Урми улыбкой развеет плохое настроение или скажет: — Сегодня к тебе, наверное, приходил тот маклер в зеленом тюрбане, такой сердитый, и огорчил тебя.

— Откуда ты его знаешь? — изумился Шошанко.

— Я с ним очень хорошо знакома. Ты недавно уезжал, а он один сидел на террасе. Вот мы и разговорились. Его дом в Биканире, жена умерла от ожогов — загорелась москитная сетка на постели. Он ищет невесту.

— Теперь он поведется сюда, когда меня не будет дома. И не успокоится, пока не сосватает.

— Расскажи, что тебе нужно от него. Кажется, я сумею его уломать.

Цифры в тетради, куда заносятся доходы, весьма внушительные, стоит ли волноваться, если какое-то время они не будут расти. До сих пор Шошанко ничем не выдавал своей страсти к радио. Когда же теперь Урми тянет его по вечерам к приемнику, он не считает это ничем-нибудь занятием и напрасной тратой времени. Однажды рано утром пришлось добираться до Дум-Дума, чтобы посмотреть полет аэроплана, и, уж конечно, не интерес к технике был здесь главной притягательной силой. Впервые в жизни Шошанко был приобщен к покупкам на Нью Маркет. Прежде туда ходила жена. Шормила не хотела прибегать к помощи Шошанко, считая закупку рыбы, мяса, зелени и фруктов чисто женским делом. Впрочем, Урми не за тем ходила на Нью Маркет: она переходила от лотка к лотку, рассматривала товары, приценивалась, но как только Шошанко собирался сделать покупку, выхватывала у него из рук бумажник и отправляла к себе в сумочку.

Урми никак не хотела понять всей важности и срочности дел Шошанко, часто мешала ему, а когда становилась несносной, получала от него взбучку. Но это вызывало столь печальные последствия, что на примирение приходилось тратить вдвое больше времени. С одной стороны глаза, полные слез, с другой — не терпящие отлагательств дела. Вот и думай, что предпочесть. В конце концов, Шошанко решил работать в конторе, чтобы приходиться домой, уже раздлавшись с делами, но трудно было усидеть там весь день. Когда инженер по какой-либо причине задерживался, Урми дулась и молчала. Позабавившись в душе над ее скрытыми слезами, Шошанко самым невинным тоном замечал:

— Знаешь, Урми, можешь играть в молчанку, но ведь, ей-богу, не играть в теннис уговора не было.

И Шошанко шел за ракетками. Начиналась игра, он был близок к победе, но нарочно проигрывал. А на следующее утро снова сокрушался о потерянном времени.

Как-то в выходной день Шошанко сидел у себя в кабинете и мучился над сложными расчетами, то почесывая за ухом красно-синим карандашом, то ероша волосы, как вдруг к нему вошла Урми и сообщила:

— Я сговорила с этим твоим маклером поехать посмотреть храм Парсванатха. Поедем со мной. Ну, хороший!

— Нет, голубушка, только не сегодня, — взмолился Шошанко, — мне сейчас и вздохнуть некогда.

Однако это не произвело на Урми ни малейшего впечатления.

— И ты не колеблясь отдашь молоденькую беззащитную девушку в руки зеленому тюрбану? — с укором произнесла она. — Вот какой ты рыцарь!

В конце концов, Шошанко сдался, бросил расчеты и сел за руль. Узнав о подобного рода проделках, Шормила была вне себя. Ведь вторжение женщины в сферу мужских дел не заслуживает никакого прощенья. Шормила привыкла считать Урми ребенком. Но разве можно превращать кабинет в комнату для детских игр? И Шормила позвала сестру, чтобы сделать ей самое серьезное внушение. Оно, безусловно, возымело бы действие, если бы Шошанко, услышав сердитый голос жены, не подошел к дверям и не подмигнул Урми. Затем он достал колоду карт и знаками позвал Урми к себе в кабинет, чтобы научить ее игре в покер. Сейчас ему было совсем не до игр, но упреки Шормилы причинили Урми боль, и он страдал от этого сильнее самой Урми. Он и сам мог уговорами или, на худой конец, строгим внушением одернуть девушку, но примириться с тем, что это делает жена, было для него невыносимо тяжело.

Отчитав сестру, Шормила позвала мужа.

— Ты не должен потакать ее капризам, — заявила она. — Ты совсем не отдаешь себе отчета в том, что можно и чего нельзя, а работа твоя от этого страдает.

— Она же ребенок, ей здесь и поиграть не с кем, а без игр засохнуть недолго.

Однако Урми могла быть и серьезной. Когда Шошанко работал над проектом строительства здания, она подвигала стул, садилась рядом и просила объяснить ей, что он делает. Схватывала Урми все на лету, математические формулы усваивала с чрезвычайной легкостью. Довольный Шошанко давал ей задачу, и она моментально ее решала. На паровом катере джутовой компании Шошанко поехал

проверять ход работ — Урми увязалась за ним. Она спорила по поводу сделанных замеров, чем привела инженера в полный восторг: это поэтичнее самой поэзии! Имея такую помощницу, он смело может работать теперь не в конторе, а дома. Усадив Урми рядом, Шошанко продолжал работать, объясняя попутно различные подробности. Работа продвигалась медленно, но Шошанко не считал, что понапрасну тратит время.

Все это не нравилось Шормиле. Она понимала ребячество Урми, с ласковой снисходительностью прощала ей промахи в хозяйстве, однако считала, что мужские занятия не ее ума дело. Со стороны Урми это неоправданная дерзость. Вон и в «Бхагавадгите» написано, что каждый должен держаться в отведенных ему границах.

Однажды Шормила, не скрывая досады, спросила:

— Скажи, Урми, тебе и в самом деле нравится всякое там черчение, копирование, расчеты?

— Очень!

— Очень, — недоверчиво протянула Шормила. — Ты просто делаешь вид, что нравится, чтобы только ему угодить.

Пусть так. Но ведь и Шормила старается угодить Шошанко, вкусно его накормить, вовремя приготовить одежду. Правда, ее услуги не совпадают с желаниями Шошанко.

Сколько раз Шормила упрекала мужа:

— Нельзя тратить на нее столько времени, ведь делу ущерб. А Урми ребенок, что она понимает?

— Не меньше моего.

Шошанко был уверен, что такой похвалой сделал Шормиле приятное. Глупец!

Когда Шошанко, уйдя с головой в дела, стал уделять жене меньше внимания, она не только восприняла это как должное, но и ощутила гордость, namного умерив требования своего любящего, заботливого сердца. Мужчины, говорила она, подобны царям, они должны постоянно совершать что-то великое, иначе опустятся ниже женщин. Женщина оправдывает свое существование присущей ей нежностью, врожденным богатством любви, мужчина — каждодневной битвой. В прежние времена цари без видимой необходимости расширяли свои владения — не из

алчности, но чтобы проявить свою доблесть. Женщины не должны мешать им. Шормила осознала это и предоставила Шошанко полную свободу, уйдя с пути, ведущего его к цели. Как ни тяжело, пришлось постепенно ограничить круг своих забот. Шормила с прежним усердием служила мужу, только старалась скрыть это.

Увы! В последнее время он стал все чаще изменять своему делу. Прикованная к постели, Шормила не все видела, но о многом догадывалась. Да и по лицу Шошанко было заметно, что с ним творится что-то неладное. Девчонка, а за какие-нибудь две-три недели сбила с пути такого стойкого, целеустремленного человека. Позор мужа мучил Шормилу больше болезни.

Нетрудно убедиться, что издавна заведенный распорядок жизни Шошанко то и дело нарушался. Пора за стол садиться, но вдруг оказывается, что любимые блюда Шошанко не приготовлены. Следуют всяческие оправдания — и это в семье, где до сих пор никакие оправдания во внимание не принимались, где халатность считалась простительным преступлением. В этом образцовом доме наступили такие перемены, что и самые вопиющие проступки превращались в какую-то комедию. Да и кого винить? Вот Урми по наказу диди пришла в кухню наблюдать за приготовлением пищи, села в плетеное кресло и болтает с поварихой, пустившейся в воспоминания о разных случаях и событиях из своей жизни. Вдруг входит Шошанко и заявляет:

— С этим можно подождать.

— С чем, что случилось?

— Я сейчас свободен, поедem посмотреть здание Виктория Мемориал. Я объясню тебе, почему смешна его помпезность.

Урми тотчас загорается и готова принести долг в жертву столь соблазнительному предложению, но что скажет сестра? Впрочем, сестра знает: будет Урми сидеть на кухне или же улизнет оттуда, это вряд ли как-нибудь отразится на качестве приготовляемых блюд, зато отзывчивость нежного сердца украсит отдых Шошанко. Впрочем, он и без отдыха счастлив.

Это наводит Шормилу на горькие размышления. Она ворочается с боку на бок и говорит себе: «Одно я поняла

перед смертью: все я ему дала, не сумела дать лишь радости. Думала, Урмимала заменит меня, но она совершенно другая». Шормила задумчиво смотрит в окно: «Урми не заменила меня, я не могу заменить ее. Если уйду я, это будет просто утрата, если уйдет она — рухнет все».

Вдруг Шормила вспомнила, что приближаются холода и пора сушить на солнце теплые вещи. Она послала за Урми, которая в это время играла с Шошанко в пинг-понг, и когда та пришла, сказала ей:

— Вот ключи, Урми, отбери теплые вещи и вынеси их на крышу, пусть посушатся.

Не успела Урми отпереть шкаф, как явился Шошанко.

— Для этого еще будет время. Пойдем-ка лучше закончим партию.

— Но ведь диди...

— Я уговорю ее.

Шормила отпустила сестру и тяжело вздохнула. Затем позвала служанку и попросила положить на лоб холодный компресс.

Вырвавшись на волю после долгого затворничества, Урми забыла обо всем на свете, но иногда все же вспоминала о своем жизненном долге. Она несвободна, она дала обет и теперь на всю жизнь связана с человеком, который стал ее господином и направляет всю ее жизнь. Урми отнюдь не собирается отказать от данного слова. Насколько легче было, когда Нирод находился рядом! Теперь желания ее идут вразрез с обетом, осталось лишь сознание долга, отчего душа пребывает в смятении. Оправдания не найдешь. И Урмимала махнула на все рукой. Она совершает преступление за преступлением и старается забыться в новых и новых развлечениях с Шошанко. Так боль заглушают опиумом. Настанет время, говорила она себе, и все образуется само собой, а пока лучше не думать об этом. Но иногда Урми упрямо встряхивала головой, доставала из сундучка свои книги и тетради и погружалась в чтение. Но тут появлялся Шошанко, прятал все обратно в сундучок и садился на него.

— Это нечестно, Шошанко-да, — говорила Урми. — Ты отнимаешь у меня время.

— Отнимая время у тебя, я отнимаю его и у себя. Вот мы и квиты.

Урми недолго сопротивлялась, а потом вынуждена была сдаться, что, впрочем, не сильно ее огорчало. Еще несколько дней она мучилась сознанием долга, а затем успокаивалась.

— Не расхолаживай мою душу, Шошанко. Я ведь дала клятву.

— Какую же?

— Получить степень и поехать в Европу изучать медицину.

— А потом?

— Потом построить больницу и ухаживать за больными.

— А еще за кем? Ведь это несносное существо, именуемое Ниродом Мукхудже...

— Не надо, — зажала ему рот рукой Урми. — Если не хочешь окончательно рассориться со мной, не говори так.

Вспоминая, что их с Ниродом благословил отец, Урми строго внушала себе: «Я должна быть верной, должна!»

Но хранить верность было трудно еще и потому, что от другой стороны Урми не находила никакой поддержки. Она напоминала деревце, лишенное солнечного света, которое желтеет и вянет. По временам Урми раздраженно думала о Нироде: хоть бы он письма писал по-человечески.

Урми долгое время училась в монастырской школе. Уж что-что, а английский она изучила в совершенстве. Нироду было известно об этом, и он решил удивить ее своим знанием английского. Было бы куда лучше, если бы он писал по-бенгальски, но бедняга даже и не подозревал, что с английским он сильно не в ладах. Нирод выбирал самые тяжеловесные слова, соединял их в длинные книжные фразы, перегружая ими свои письма, как перегружают арбу тяжелыми мешками. Урми забавляли его письма, но смеяться она стыдилась и упрекала себя в снобизме.

Когда, еще до отъезда в Европу, Нирод давал Урми частые наставления, его манера говорить сообщала всему, что он изрекал, солидность, весомость. Его речь казалась гораздо многозначительнее тех слов, которые он про-

износил. Но в письмах, как бы длинны они ни были, все это пропадало, вымученные слова становились никчемными, а трескучие фразы не могли скрыть скудости мысли.

Серьезность Нирода, которая раньше даже нравилась Урмимале, теперь особенно коробила ее. Ведь Нирод на-чисто лишен чувства юмора, и Урми невольно сравнивала его с Шошанко.

Вот и на днях возник повод для такого сравнения. Урми искала что-то из одежды в ящике и на дне вдруг обнаружила домашние тапочки. Они напомнили ей об одном случае, который произошел четыре года назад, когда еще жив был Хемонто. Они все вместе ездили в Дарджилинг. Потехам не было конца. Хемонто с Шошанко шутили и дурачились вволю, веселье било ключом. Урми, только что научившаяся у одной из теток рукоделию, решила подарить брату ко дню рождения тапочки. Шошанко без конца подшучивал над ней:

— Дари брату что угодно, только не тапочки. Как говорил Ману, преподнести тапочки старшему — значит оскорбить его.

— Кому же Ману велел преподносить их? — спросила Урми, исподтишка взглянув на Шошанко.

— Извечное право быть оскорбляемым принадлежит мужу сестры, — с самым серьезным видом ответил Шошанко. — Ты у меня в долгу. Верни его, пожалуйста, и с процентами, которых набежало предостаточно.

— Вот уж не припомню, за что.

— И не мудрено. Ты тогда была от горшка два вершка, а посему в день свадьбы некоего счастливого с твоей диди не могла оттрепать его своими нежными пальчиками за уши, как это положено всякой порядочной свояченице. Теперь ты можешь заменить это другим, например — тапочками. Словом, я претендую на них, так и знай.

Однако претензия так и осталась претензией. Тапочки были подарены Хемонто и положены к его стопам. Через некоторое время Урми получила от Шошанко письмо, которое ее изрядно позабавило. Она до сих пор хранит его у себя и в тот день перечитала его еще раз.

«Вчера ты уехала, — писал Шошанко, — и не успели еще забыть о тебе, как твое имя было покрыто позором. Утаивать это от тебя не считаю нужным.

Многие обращали внимание на мои туфли, вернее, на пальцы, которые выглядывали сквозь дырку, словно луна сквозь разрыв облаков (смотри «Оннодамонгол» Бхаротчондро Роя! Если возникнут сомнения в точности такого сравнения, за разрешением оных обращаться к диди). Когда сегодня утром служащий моей конторы Бриндабон Нонди стал брать прах от моих ног, он изумился плачевному состоянию моих туфель, а я почувствовал себя опозоренным. «Эй, Мохеш, — спросил я стоявшего рядом слугу, — где мои новые туфли? Или они попирают землю на благословенных стопах какого-нибудь незаконного владельца?» Слуга почесал в затылке и ответил: «Когда вы поехали в Дарджилинг с Урми и ее семейством, новые туфли отправились с вами, но когда вы вернулись, то оказалось, что осталась одна туфля, а другую...» Тут он густо покраснел. «Тс-с, молчи!» — шикнул я на него: в конторе было много народу.

Воровать обувь — занятие низкое, но человек слаб, а враг силен, и всевышний, как видно, прощает тех, кто этим делом занимается. Если кража произведена с умом, неблагоприятность такого поступка ощущается не столь сильно. Но украсть одну туфлю!!! Какой позор!!!

Я постарался скрыть имя похитителя, вернее, похитительницы, но если по врожденной болтливости она поднимет шум, это станет предметом всеобщего обсуждения и осуждения. Идти на скандал из-за обуви можно лишь с чистой совестью. А заткнуть рот дерзкому хулителю вроде Мохеша ты можешь парой новеньких тапочек с отделкой. Одновременно посылаю размер ноги».

Получив письмо, Урми решила сделать тапочки, но, охладев к рукоделию, так и не закончила их. Теперь ей захотелось довести дело до конца и подарить тапочки Шошанко в годовщину поездки в Дарджилинг, которая наступала через несколько недель. Урми тяжело вздохнула — увы, где те беззаботные дни, мчащиеся на легких крыльях под смеющимся чистым небом! Отныне перед ней простерлась сплошная пустыня неумолимого долга.

Наступило двадцать шестое число месяца фальгун, праздник холи. В доме о нем как-то забыли, потому что Шошанко был завален делами. Только Урми с поклоном подошла к постели сестры и посыпала ей ноги красным

порошком, а затем отправилась на поиски очередной жертвы. В кабинете сосредоточенно работал Шошанко. Подкравшись сзади, Урми высыпала ему порошок на голову, а с головы он посыпался на бумаги. Что тут было! Шошанко схватил со стола чернильницу с красными чернилами и выплеснул ее на сари поздравительницы, затем отнял у нее порошок и вымазал ей все лицо, поднялась возня, крик, шум. Давно пора было завтракать, а Урми, звонко хохоча, все носилась по дому. Встревожившаяся Шормила послала слугу за слугой и с трудом утихомирила их.

Вечер. Из-за усыпанных цветами кустов кришноколи взошла полная луна. Налетел весенний ветер, сад зашумел, пришел в движение, заколыхались тени на земле. Урми сидит у окна. Ей не спится. В крови какое-то неуемное брожение, аромат едва распустившихся цветов манго волнует душу. В такие вечера в предчувствии близкого цветения томятся кусты малоти, и это томление словно передалось Урмимале, разлилось по всему телу. Она пошла в ванную, подставила голову под кран, обтерлась влажным полотенцем. Затем еще долго ворочалась в постели и наконец забылась беспокойным сном.

Часа в три ночи Урми проснулась. Было темно. Луна уже не освещала комнаты. Лишь на аллее свет ее играл с тенью. К горлу вдруг подступили безудержные рыдания. Урми уткнулась лицом в подушку и дала волю слезам. Это был крик души, не ведавшей ни слов, ни смысла. Урми не знала, откуда эта боль, которая мучает ее днем и не дает насладиться отдыхом ночью.

Когда Урми проснулась, комната уже была залита солнцем. Давно пора было браться за дела, но Шормила щадила сестру, уставшую, как ей казалось, после вчерашнего дня. Девушка вдруг ощутила острое раскаяние — так чувствует себя человек после поражения или проигрыша. Она подошла к Шормиле и сказала:

— Диди, все равно я не сумела заменить тебя в хозяйстве. Может быть, мне лучше вернуться домой?

Шормила не решилась отговаривать ее.

— Ну что ж, возвращайся. Ведь страдают твои занятия. Навещай нас иногда.

Воспользовавшись тем, что Шошанко в отъезде, Урми не мешкая отправилась домой.

Очень скоро Шошанко вернулся и привез для Урмималы готовальню. Они договорились, что он обучит Урми чертежному искусству. Не найдя своей ученицы, Шошанко пошел к Шормиле.

— Где Урми? — спросил он.

— Уехала домой, здесь ей трудно заниматься.

— Так ведь она знала, зачем едет сюда. Почему же вдруг сегодня возник вопрос о занятиях?

По тону мужа Шормила поняла, что он подозревает ее в чем-то. Однако не стала понапрасну спорить, только сказала:

— Попробуй вернуть ее, сошлись на меня. Я уверена, она согласится.

Дома Урми нашла письмо от Нирода, которое уже много дней дожидалось ее. Страшно было вскрыть конверт, ведь на ее совести теперь столько преступлений. Она, правда, написала ему о болезни сестры, что должно было оправдать ее в глазах Нирода, но ведь с некоторых пор это оправдание стало почти ложью. Шошанко настоял на своем и пригласил к больной сиделок на дневные и ночные дежурства. По совету врачей родственников к ней пускали очень редко. Урми знала, что даже болезнь сестры Нирод не считал бы уважительной причиной для нарушения правил и сказал бы: «Это к делу не относится». «Впрочем, он прав, — думала Урми. — Я там не нужна». И, раскаявшись, она решила: «Признаюсь ему во всем, попрошу прощения и пообещаю впредь никогда не допускать ничего подобного и не отступать от правил».

Прежде чем распечатать письмо, Урми снова достала фотографию Нирода и поставила ее на стол. Будь здесь Шошанко, он не удержался бы от язвительных насмешек. Ну и пусть. Это для нее искупление. У сестры она воздерживалась от разговоров о предстоящем замужестве, другие тоже не вспоминали о нем, потому что никто в их доме этого не одобрял. Но сейчас Урми сжала кулачки и решила всем доказать, что именно так и будет. Она надела колечко, купленное Ниродом по случаю помолвки. Колечко дешевенькое, но ей оно дороже бриллиантового. Он как бы хотел сказать: «Не меня цените по кольцу, а кольцо по мне».

Приведя себя по возможности в соответствующее состояние, Урми медленно вскрыла конверт.

Прочитав письмо, она вскочила, ей захотелось пуститься в пляс, жаль только, она не умела плясать. На постели лежала ситара — Урми схватила ее и, не настраивая, коснулась струн.

В этот момент в комнату вошел Шошанко.

— По какому поводу веселье? — спросил он. — Уж не день ли свадьбы назначен?

— Ты угадал, Шошанко, назначен!

— Окончательно?

— Окончательно!

— Значит, можно нанимать флейтистов и заказывать шондеш от Бхимнага?

— Тебе ни о чем не придется беспокоиться.

— Все сама устроишь? Ну и герой! И даже благословение невесты?

— За него я уже заплатила из своего кармана.

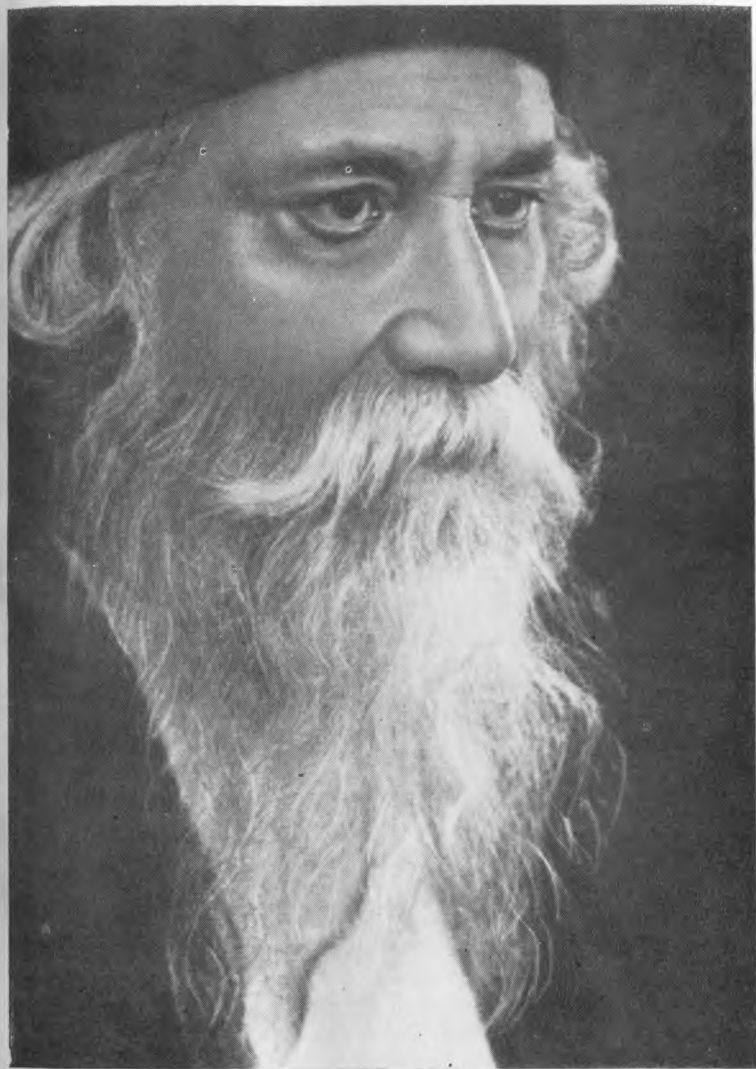
— Ты говоришь загадками, я что-то не совсем понимаю.

— Вот прочти — и все поймешь, — сказала Урми, протягивая ему письмо. Шошанко прочитал и расхохотался.

В письме сообщалось, что Нирод собирается посвятить себя сложным исследованиям, которые в Индии невозможны. Единственно по этой причине ему пришлось пойти еще на одну величайшую жертву в жизни. В общем, он не видит иного выхода, кроме как аннулировать свадебный уговор с Урми. Одна европейская леди согласна выйти за него замуж, чтобы отдать себя служению его цели. Однако дело остается делом, независимо от того, где оно осуществляется, — в Индии или здесь. Поэтому будет вполне разумным осуществить в Европе часть дела, которое намеревался финансировать Раджарам-бабу. Тем самым будет отдано должное памяти покойного.

— Если бы ты могла ему время от времени кое-что подбрасывать и таким образом держать его подальше и подольше, было бы очень хорошо. Совсем не посылать ему денег рискованно: оголодает там и явится сюда.

— Можешь сам посылать, если боишься, но от меня он не дождется ни пайсы.



Р. Тагор на Цейлоне

1934

— Не передумаешь? Не сломит он твоей гордости?

— А если и передумаю, тебе-то что?

— Если ответить тебе по-честному, ты еще больше нос задерешь. Уж лучше я помолчу — для твоей же пользы. А малый-то, однако, не из тех, у кого щеки легко краснеют, cheek¹ у него хоть отбавляй.

После долгих терзаний у Урми словно гора с плеч свалилась. Она не знала, что делать от радости. Реестр обязанностей разорвала в клочки. Заметила в переулке нищего и бросила ему свое кольцо из окна.

— Как ты думаешь, — обратилась она к Шошанко, — найдется ли барахольщик, который согласится купить эти фолианты с карандашными пометками?

— А если не найдется, что тогда?

— Вдруг в них поселился дух старых времен. Будет по ночам стоять с поднятым пальцем у моей постели.

— Тогда не зови барахольщика, я сам куплю их.

— И что ты с ними сделаешь?

— Отдам им последний долг по индусскому обычаю. Готов идти даже в Гаю, лишь бы твоей душе было спокойно.

— Ну нет, это уж слишком.

— Хорошо, тогда я построю в углу своей библиотеки пирамиду, превращу эти фолианты в мумии и буду хранить их там.

— Сегодня я не дам тебе заниматься делами.

— Весь день?

— Весь день.

— Чем же мы займем себя?

— Поедем кататься на автомобиле.

— Нужно у диди отпроситься.

— Нет, я расскажу ей, когда вернемся. Она будет ругать меня, но я все стерплю.

— Ладно, я тоже согласен терпеть ворчанье твоей диди, шин не пожалею, буду гнать машину со скоростью сорок пять миль в час, пусть лопаются, готов даже в тюрьму сесть, если сшибу с полдесятка человек по дороге, но ты должна трижды поклясться, что после этого вернешься в наш дом.

¹ Cheek (англ.) — «щека», «наглость», «нахальство».

— Вернись, вернись, вернись!

Когда они, вдоволь накатавшись, приехали в Бхобанипур, кровь все еще бурлила от бешеной скорости, все житейские обязанности, страхи и смущения отошли на задний план.

С того дня у Шошанко все пошло кувырком. Он понимал, как это опасно для дела. Ночью его одолевали тяжелые думы, он рисовал картины будущего в самом мрачном свете, а наутро вновь обретал надежду, как якша из «Облако-вестника». Однажды заглушив тревогу опьянением, приходится вновь и вновь прикладываться к вину.

Ш О Ш А Н К О

Так жили они некоторое время — с хмельным туманом в глазах, в каком-то забытии.

Долго Урми не приходила в себя, а когда наконец отрезвела — ужаснулась.

Она почему-то боялась Мотхура, всегда сторонилась его. Однажды он спозаранку явился к Шормиле и просидел у нее до полудня.

После его ухода диди позвала сестру. Лицо Шормилы было строго, спокойно.

— Знаешь, что ты натворила?

Урми перепугалась.

— Что, диди?

— Твой зять, по словам Мотхура, совсем запустил дела, целиком доверившись Джохорлалу, а тот крал материалы как только мог. При первом же дожде оказалось, что крыши на складских помещениях не крыши, а решето. Товары намокли, гниют. Наша компания пользовалась хорошей репутацией, работу от нее приняли без проверки. А теперь опозорились, и большая неустойка вышла. Мотхур выходит из дела.

Урми похолодела, лицо ее стало землистого цвета. То, что до сих пор было скрыто от ее взора, будто озарилось вспышкой молнии. Она поняла, что все это время жила как в тумане и разучилась отличать плохое от хорошего. Работа Шошанко была ее соперницей. Урми всегда подмывало оторвать его от дел, чтобы он безраздельно принадлежал

ей одной. Сколько раз так бывало — приходит человек по делу, а Шошанко в это время принимает ванну, Урми же, не думая о последствиях, посылает сказать, что сегодня он принять не сможет. Она боялась посягательств на его время, боялась, что на него навалятся дела, а ее день пропадет даром. И вот к чему это привело! Урми склонилась к ногам сестры и глухим голосом проговорила:

— Прогони меня из твоего дома, сейчас же прогони.

Она повторила это несколько раз. Сестра решила ни за что не прощать Урми, но сердце не камень.

— Не убивайся, — утешала она сестру. — Как-нибудь образуется.

Урми села.

— Диди, почему вы должны терпеть убытки? Ведь у меня тоже есть деньги.

— С ума сошла! А у меня, думаешь, нет? Я просила Мотхура не поднимать шума. Я сама заплачу неустойку. Только помни: твой зять не должен знать ни о чем.

— Прости меня, диди, прости.

Урми снова уткнулась лицом в ноги Шормилы. Та смахнула слезы и устало проговорила:

— Неизвестно, кто кого должен прощать, сестра! В жизни все так запутано. Мечты рушатся, то, чему отдаешь все силы, — рассыпается в прах.

Теперь Урми не отходила от своей диди. Сама поила ее лекарствами, умывала, кормила, укладывала спать. Урми снова взялась за учебники и читала их у постели сестры. Она больше не верила ни себе, ни Шошанко.

А Шошанко, разумеется, зачастил в комнату больной. Мужчинам свойственна слепота, и он понятия не имел о том, что жена понимает, почему он мечется, а Урми готова была сгореть со стыда. Шошанко звал ее на футбол: играет «Мохон баган» — она отказывалась. Протягивал ей газету с отмеченным карандашом анонсом Чарли Чаплина — никакого впечатления. Прежде Шошанко хоть немного занимался делами, теперь же все застопорилось окончательно.

Бесклюдные мучения бедного Шошанко поначалу и огорчали и забавляли Шормилу, но постепенно она стала замечать, что они превращаются для него в настоящую пытку. Он осунулся, под глазами легли тени. Если Урми не садилась с ним за трапезу, он не хотел есть.

Схлынуло веселье, которое еще совсем недавно плескалось в их доме, от прежней легкости не осталось и следа.

Шошанко обычно не следил за своей внешностью. Стригся чуть не наголо, причесываться считал необязательным. Сколько ни ссорилась с ним из-за этого жена — все напрасно, но стоило Урми бросить вскользь шутивное замечание, как Шошанко стал носить модную прическу и волосы его впервые познакомились с ароматическими маслами. Но теперь ему было не до прически. Он так страдал, что грешно было смеяться над ним даже втихомолку. Жалость к мужу была сильнее чувства горечи. К мукам Шормилы примешивалась боль, вызываемая недугом.

В это время на Майдане был объявлен парад гарнизона крепости. Шошанко с опаской спросил Урми:

— Хочешь посмотреть? Я позаботился о хороших местах.

Прежде чем она успела открыть рот, Шормила воскликнула:

— Хочет, конечно, хочет! Ее давно тянет прогуляться.

Не прошло и двух дней, как ободренный Шошанко спросил:

— А в цирк?

Тут уж Урми ответила сама за себя.

— А в Ботанический сад поедем?

На сей раз немедленного согласия не последовало: Урми не решалась надолго оставлять сестру.

Но Шормила пришла на помощь мужу. Он так устал за целый день, возился в пыли и песке. Ему просто необходимо подышать свежим воздухом.

По этим же соображениям не показалась неуместной и пароходная поездка в Раджгондж.

Про себя Шормила думала: «Он не перенесет, если придется пожертвовать той, ради которой он не задумываясь жертвует своими делами».

Никто ничего не сказал Шошанко, но он почувствовал молчаливое поощрение. Он как-то уверился в мысли, что Шормила не только не ревнует, но даже счастлива доставить им радость быть вместе. Для обыкновенной жен-

щины это невозможно, но ведь Шормила женщина необыкновенная.

Когда Шошанко еще состоял на службе, один художник нарисовал портрет Шормилы. До сих пор он хранился в портфеле, но теперь Шошанко достал его, вставил в дорогую раму, купленную в европейском магазине, и повесил у себя в кабинете. Под портретом он поставил вазу, в которой садовник ежедневно менял цветы.

Как-то Шошанко повел Урмималу в сад, чтобы показать ей расцветшие подсолнухи. Вдруг он схватил ее за руку.

— Ты знаешь, я люблю тебя. А твоя диди, она боги-пя. Никого в жизни я не почитал, как ее. Она неземное существо, она выше нас всех.

Шормила не раз давала понять Урмимале: если ее, Шормилы, не станет, есть сестра — это большое утешение. Шормиле больно думать о том, что ее место в семье займет другая, но думать, что место это останется пустым, просто невыносимо. Ведь тогда некому будет заботиться о Шошанко. И еще она говорила: когда в любви что-нибудь не так, все у него валится из рук, когда же на душе радостно, любое дело спорится.

У Шошанко на душе сейчас радостно. Он витает в каких-то сферах, где мирские заботы и обязанности растворились в счастливом сне. Теперь Шошанко, будто истый христианин, празднует каждый воскресный день. Однажды он сказал Шормиле:

— Джутовая компания дает свой катер. В это воскресенье я думаю поехать с Урми в Даймонд Харбор, к вечеру вернемся.

Кто-то словно ударил Шормилу в грудь, кожа на лбу собралась в складки от боли, но Шошанко ничего не заметил.

— А как же с едой? — спросила жена.

— Все договорено с рестораном.

Когда-то такие заботы лежали всецело на Шормиле, Шошанко же стоял в стороне. Теперь все наоборот.

— Ну что ж, поезжайте.

Не тратя больше ни секунды, Шошанко чуть не бегом бросился из комнаты. Шормиле хотелось плакать в голос.

Уткнувшись лицом в подушку, она без конца повторяла: «Почему я еще не умерла!»

В воскресенье была годовщина их свадьбы. До сих пор она хоть как-нибудь да отмечалась. И на этот раз Шормила, не беспокоя мужа, сама исподволь все готовила. Ничего особенного не будет, просто она попросит его надеть красное бенаресское дхоти и чадор, в которых он был в день женитьбы, а сама наденет свадебную накидку, увенчает супруга гирляндой, зажжет благовония, усадит рядом, накормит его. В соседней комнате заведут граммофон — будет играть санай. В прежние годы Шошанко к этому дню готовил жене сюрприз, купив заранее то, что ей особенно нравилось. Накануне годовщины Шормила думала: «Он, конечно, и на этот раз не забудет о подарке».

И вот каким он оказался, этот день. У Шормилы не было больше сил терпеть, и, оставшись одна в комнате, она воскликнула: «Все ложно, все неверно, чем же кончится эта игра!»

Всю ночь она не могла сомкнуть глаз, а на рассвете, услышав шум отъезжающей машины, разрыдалась: «Господи, ты тоже неверный».

С того дня больной становилось все хуже и хуже. Появились очень опасные симптомы. Шормила послала за мужем. Вечер, в комнате горит тусклая лампочка. Шормила знаком попросила сиделку выйти, усадила мужа рядом, взяла его за руку.

— Заветный дар, который я получила в жизни от всевышнего, это ты. Но всевышний не дал мне сил, достойных этого дара. Я делала все, что могла. Много делала не так, прости меня.

Шошанко порывался что-то сказать, но Шормила не дала ему и слова произнести:

— Нет, нет, ничего не говори. Я отдала в твои руки Урми. Она моя сестра, в ней ты обретешь меня и еще много такого, чего не было во мне. Нет, молчи, молчи. Перед смертью мое счастье стало совсем полным: я сумела подарить тебе радость.

В этот момент послышался голос сиделки:

— Пришел господин доктор.

— Пусть войдет, — распорядилась Шормила.

Разговор на этом окончился.

Был у Шормилы дядя, который собирал всевозможные лекарства и знал разные способы врачевания, не признанные медициной. В последнее время он служил одному саньяси, вернувшемуся из Гималаев, и, когда доктора заявили, что надежды нет, стал настойчиво предлагать средство, о котором он узнал от этого саньяси: какой-то редкий тибетский корень в толченом виде с молоком.

Шошанко, не терпевший никаких знахарей, был против, но жена уговорила его:

— Пусть не поможет, зато дядя будет спокоен.

Но средство помогло, и очень быстро. Легче стало дышать, остановилось кровохаркание.

Прошла неделя, прошло полмесяца — больная встала с постели. Когда смерть близка, объяснили доктора, организм часто делает последнее отчаянное усилие, и больной выздоравливает.

Так или иначе, но Шормила выжила. «Что же это за несчастье такое, — сокрушалась она. — Что мне теперь делать? Зачем мне исцеление — чтобы продолжались муки смерти?»

А Урми собирала вещи: больше ей здесь делать нечего.

— Ты не должна уезжать, — сказала диди.

— Должна.

— Разве в индусской общине никогда не бывало, чтобы свояченица стала второй женой?

— Как тебе не стыдно!

— Хулы боишься! Людская молва для тебя важнее веления судьбы.

Шормила позвала Шошавко.

— Нам надо ехать в Непал. Тебе ведь предлагали там от королевского дома работу. Стоит только приложить усилия, и ты получишь ее. Там не будет никаких пересудов.

Шормила никому не дала времени для сомнений и раздумий, и начались приготовления к отъезду. Урми, хмурая, пряталась по углам.

— Подумай, что будет, — сказал ей Шошанко, — если ты теперь оставишь меня.

— Я ни о чем не могу думать. Как вы решите, так и будет.

На сборы потребовалось некоторое время. Когда до отъезда оставалось уже совсем немного, Урми попросила:

— Подождите еще с неделю, мне нужно уладить дела с дядюшкой.

Урми отправилась домой.

К Шормиле явился Мотхур.

— Хорошо, что вы уезжаете, — заявил он с серьезным видом. — После нашего разговора я разделил с Шошанко дело. С меня он снял всякую ответственность. В последнее время в связи со свертыванием работ он несколько дней занимался подсчетами. Твоих денег не хватило, остались еще долги, для покрытия которых, видимо, придется продать дом.

— Надвигалась такая беда, а он и знать ничего не знал?

— Беда, она, как гром: пока не грянет, не услышишь. Он понимал, что почти разорен, но если бы действовал тогда осмотрительно, многое можно было бы спасти. А он занесся. Надеясь побыстрее выправить дела, он стал тайком от меня играть на угольной бирже на повышение, а цены снизились, пришлось все спустить чуть ли не задаром. Вот и оказалось, что капитал его сгорел, как ракета, остался один пепел. Ну, бог даст, найдет работу в Непале, о чем тогда и думать.

Шормила не боялась бедности. Она знала, что в трудное время больше понадобится мужу. Шормила была уверена, что сможет скрасить трудную жизнь. У нее еще оставались драгоценности, на которые некоторое время можно жить вполне сносно. Мелькнула робкая мысль, что, если Урми будет его женой, к нему перейдет ее состояние. Но просто поддерживать существование — как этого мало! То большое, что муж столько времени создавал своими силами, своими руками и ради чего Шормила день за днем сознательно отказывала своему сердцу в

его многих и настойчивых просьбах, эта олицетворенная мечта двух жизней растаяла, как мираж, бесславное крушение надежд обескрылило ее. «Если б я умерла тогда, — думала она про себя, — мне бы не пришлось быть свидетельницей этого позора. Я испила до дна чашу, уготованную мне судьбой, но как он перенесет позор и бедность, не раскается ли во всем? Может быть, однажды он не сумеет простить ту, которая ослепила его, и пища из ее рук покажется ему ядом? Ему будет стыдно, когда хмель пройдет, но корить он станет не себя, а вино. И если наконец единственной опорой существования окажется собственность Урми, его будет жечь горечь унижения».

Закончив все расчеты с компаньоном, Шошанко неожиданно для себя обнаружил, что его предприятие поглотило все сбережения Шормилы, о чем она, уладив дело с Мотхуром, ему не сказала.

Шошанко вспомнил, как, распроставшись со службой, он когда-то на занятые у Шормилы деньги открыл свое дело. Теперь, распроставшись с погубленным делом, он снова собирается поступить на службу, задолжав той же Шормиле. Этот долг он уже не сможет выплатить, живя на одно жалованье.

До отъезда в Непал оставалось несколько дней. Однажды ранним утром Шошанко, не сомкнувший всю ночь глаз, вдруг вскочил с постели и, хватив крепко сжатыми кулаками по туалетному столику, крикнул: «Не поедем ли в какой Непал! Останемся здесь, в Калькутте, под презрительными взглядами общества. И здесь я сумею возродить дело».

Решение было твердым.

А Шормила в это время сидела и составляла в тетрадке списки вещей, которые необходимо взять с собой. Вдруг послышался крик: «Шормила! Шормила!» Бросив тетрадку, она с трепещущим сердцем побежала в комнату мужа в предчувствии неожиданной беды.

— Что случилось?

— Мы не едем в Непал. Что нам общество? Здесь останемся.

— Да что случилось?

— Дело ждет.

Знакомые, столько раз слышанные слова! У Шормилы учащенно забилося сердце.

— Я не трус, Шорми! Неужели ты думаешь, что я буду спасаться от ответственности бегством? Я еще не пал так низко.

Шормила подошла к мужу и взяла его за руку:

— Да скажи наконец, что произошло.

— Ты знаешь: я снова у тебя в долгу.

— Ну и что же?

— Отныне я, как и раньше, начну выплачивать этот долг. Даю тебе слово вернуть утерянное. Верь мне, как верила когда-то.

Шормила положила голову на грудь мужа:

— И ты верь мне. Прибди меня к своему делу, подготовь меня, научи быть достойной его.

Снаружи послышался голос: «Письма!»

Два письма, написанные рукой Урми. Одно на имя Шошанко:

«Сейчас я на пути в Бомбей. Уезжаю в Европу. По завету отца буду овладевать медициной. Для этого мне нужно шесть-семь лет. За это время само собой срастется все то, что я переломала в вашей семье. За меня не бойся, страшно за тебя!»

Другое письмо для Шормилы:

«Сто тысяч поклонов к твоим ногам, диди. Я нечаянно совершила преступление, прости. Буду счастлива, если это все же не преступление, и на большее счастье не надеюсь. А в чем счастье, разве узнаешь. Что делать, если мне оно не суждено. Боюсь ошибиться».



САД ЖИЗНИ

Повесть



Перевод
Е. Смирновой-Бросалиной

Под редакцией
Ф. Мендельсона



I

Нироджа лежит на высоко взбитых подушках, отбросив к ногам белый шарф; прозрачная ткань окутывает ее ноги, словно легкое облако, набежавшее на молодой месяц. Лицо Ниру изжелта-бледно, вокруг глаз, прикрытых густыми ресницами, нездоровые тени, руки в синих прожилках так худы, что браслеты едва не соскальзывают с них.

Пол в комнате выложен белым мрамором. Портрет Рамакришны Парамахансы, кушетка, треножник да вешалка для одежды — вот и вся обстановка. В углу, в медном кувшине — ветвь жасмина: от его нежного аромата воздух в комнате кажется свежее.

Окно на восток открыто. Из него видна изгородь, почти сплошь затянутая душистым вьюнком, а за ней оранжерея в нижнем саду. Невдалеке, на озере, работает насос, и вода с бульканьем бежит по канавкам вдоль цветочных гряд. Из душистой манговой рощи доносится замирающее пение кукушки. Полдень. «Донн! Донн!» — бьют часы у садовых ворот. Этот звон неумолим, как зной. Теперь до трех садовники свободны. Гулкие удары болью отзываются в сердце Нироджи. Беспредельная тоска и усталость овладевают ею.

Входит старая няня, чтобы закрыть окно.

— Оставь, не надо, — говорит Ниру. Из окна ей виден сад, где солнечные блики щедрой россыпью ложатся на траву и листву деревьев. Ниру смотрит туда не отрываясь.

Ее муж, Адитто, составил себе состояние на торговле цветами. Они оказались разными людьми, но со дня свадьбы их соединяло одно: уход за садом, который был дорог им обоим. Каждому новому цветку, каждому побегу они радовались вместе, и эти общие радости и волнения наполняли их жизнь. Каждый сезон они ждали душистого расцвета дерева или кустарника с таким жадным нетерпением, как заброшенный на чужбину странник ждет по праздникам писем от близких друзей.

Теперь эти картины живы только в памяти Ниру. Все это было совсем недавно, а Ниру кажется, будто века прошли и где-то за дальними далями осталась ее та, прежняя, жизнь.

В западной части сада высится старейший ним. Когда-то рядом росло еще одно такое же дерево, но оно давно высохло, его спилили, а из пня сделали небольшой стол. Там рано поутру пили они, бывало, чай, и солнечные лучи, прорываясь сквозь густую листву, падали к их ногам, а бурундуки и птица шаликх сидели тут же, ожидая подачки. Потом они дружно принимались за работу в саду. Адитто привешивал к поясу садовые ножницы и нахлобучивал фуражку с длинным козырьком, а Ниру работала, прикрываясь от солнца затканым цветами шелковым зонтиком. Зато как вознаграждались ее труды, когда приходили друзья! Как часто доводилось ей слышать:

— Твоим лилиям, дорогая, можно позавидовать!

Иногда какой-нибудь невежда спрашивал:

— Это у вас солнечный шар?

И торжествующая Ниру, весело смеясь, отвечала:

— Что вы, это же ноготки!

Бывало и так, что кто-нибудь из знатоков говорил:

— Как вам удалось вырастить такие цветы мотия? У вас, наверное, волшебные руки, — они подобны цветам тогора.

И внимание ценителя бывало вознаграждено: провожаемый свирепыми взглядами садовника Холлы, он уносил с собой несколько горшочков с саженцами.

Сколько раз водила она восхищенных гостей по своим зеленым владениям — сначала цветник, потом — плодовый сад, потом — огород. А при расставании дарила им розы, магнолии, алые гвоздики и корзиночки с папая,

тонкокожими лимонами и лесными яблонями — их знаменитыми лесными яблонями. А потом наступал сезон кокосового молока, и тогда каждый день Ниру слышала похвалы утоляющих жажду: «До чего же вкусно!»

— Это с наших пальм, — говорила Ниру.

— Сразу видно! — слышалось в ответ.

Ниру вспомнила терпкий аромат дарджилингского чая, смешанный с запахом всякий раз нового, только что распустившегося дерева, — сад цвел круглый год, — и у нее защемило сердце. Она тяжело вздохнула. Знать бы, у какого демона вымолить снова те яркие, золотые дни? К кому обратиться несмирившееся сердце? Ведь она не из тех безответных, кто покорно склоняет голову перед судьбой! Кого винить в ее горе? И что это — детская шутка всевышнего или великое его безумство? Кто посмел так бессмысленно растоптать ее счастье?

Их первые десять лет были безоблачно-ясными. Подруги завидовали Ниру: им казалось, что она получила гораздо больше, чем заслуживала. Да и приятели Адитто тоже называли его счастливымчиком.

Первое, что покачнуло лодку семейного счастья Ниру, был случай с собакой Долли.

До появления Ниру Долли была всем сердцем предана одному Адитто и его дому. Потом ей пришлось делить свою привязанность между обоими супругами. Но и тут Ниродже повезло: ее доля оказалась несравнимо большей. Обычно вид наемного экипажа у двери дома приводил собаку в неистовое волнение: в знак протеста она принималась бурно махать пушистым хвостом и пыталась впрыгнуть в коляску без разрешения. Но стоило жене хозяина шевельнуть пальцем, как прыжки прекращались, словно по волшебству. С протяжным вздохом ложилась тогда Долли у порога, прикрыв хвостом обиженную мордочку. Когда хозяйева где-нибудь задерживались, собака тоскливо бродила вокруг дома, поскуливала, то и дело поднимая голову, принюхивалась и глаза ее выражали немой вопрос. И вот эта Долли чем-то заболела и вскоре умерла на коленях у хозяйки, не сводя с нее жалобного взгляда.

Ниру безгранично верила в прочность своего счастья. Она не допускала и мысли о том, что кто-то, будь то сам

всвышний, может посягнуть на ее благополучие. Она знала твердо: жизнь ее сложилась на редкость удачно, и до этого случая у нее не было повода думать иначе. И вдруг — Долли! Ее неожиданная смерть была первой трещиной в крепости их счастья. Это событие Ниру приняла за недоброе предзнаменование. Покровитель Семейного Очага стал казаться ей взбалмошным и жестоким — редким вспышкам его расположения больше доверять нельзя.

Они давно потеряли надежду на то, что у Ниру может быть ребенок. Но как раз тогда, когда Ниру, стремясь утолить свою потребность в материнстве, горячо взялась за воспитание мальчика Гонеша и тот уже не знал, куда деться от ее забот и поучений, она забеременела. Поглощенная мыслями о будущих своих обязанностях, вся уйдя в созерцание заалевшей перед ней зари новой жизни, просиживала Ниру за шитьем целые дни.

Наконец пришло время. Акушерка сразу догадалась, что дело плохо. Адитто был так взволнован, что доктор отослал его прочь и просил не впускать. Сделали операцию. Ребенок был извлечен мертвым, мать удалось спасти. С этого дня Ниру больше не вставала. В ее неподвижном, обескровленном теле жизнь текла устало и неохотно, словно пересыхающая река жарким летом. Былая энергия и жизнерадостность — куда все подевалось?!

Перед постелью — распахнутое настежь окно. Время от времени знойный ветер доносит запах цветов мучкундо и душистое дыхание апельсинового дерева. Они, словно голоса тех далеких весенних дней, вопрошают: «Как живется тебе, наша Ниру? Как живется тебе?»

Но самым горьким для нее стал тот день, когда она узнала, что Адитто пригласил для присмотра за садом свою дальнюю родственницу, Шоролу. Увидев в окно, как Шорола, сдвинув широкополую шляпу, дает указания садовникам, Ниру возненавидела свои, ставшие теперь такими бесполезными, руки и ноги. В былые дни она сама каждый год приглашала Шоролу к себе на праздник Новых Саженцев. Как чудесно все это было: сначала — спорая работа, потом — купанье в озере, ужин на банановых листьях, музыка... Садовников тогда угощали шондешом, простоквашей, жареным рисом. Из-под высокого тамаринда долго слышались их веселые голоса. Незаметно

бежало время! Вода в озере покрывалась рябью от легкого ветерка, в ветвях бокуловых деревьев начинали петь птицы, и вместе со счастливой усталостью приходила ночь.

Теперь в сердце Ниру, прежде таком отзывчивом, осталась одна горечь. Чужим казалось ей нынче собственное немощное тело, неузнаваемым сделался и характер. Ее раздражительность, ее капризы измучили всех домашних. Этому новому в ней существу доброта и благородство были неведомы. Иногда на какое-то мгновение она явственно ощущала собственную черствость, и тогда стыд душил ее, но перебороть себя Ниру не могла. Только одного боялась смертельно: как бы Адитто не догадался о происшедшей в ней перемене. Вдруг он обнаружит, что душа ее пуста, как изъеденный летучей мышью плод!

Пробило два. Садовники давно ушли. Сад опустел. Остановившийся взгляд Ниру был устремлен туда, где в слепящих лучах беспощадного солнца пустота сменялась пустотой.

II

— Рошни! — позвала Ниру.

Вошла няня — еще крепкая женщина, с редкими седыми волосами, с тяжелыми медными браслетами на сильных руках. В резких движениях ее жилистого тела, в выражении худого лица чувствовалась привычная суровость, словно ей предстояло вынести приговор, от которого зависело благополучие этой семьи. Рошни растила Ниру и всю свою любовь отдала ей одной. Ко всем остальным, включая самого Адитто, она относилась с настороженной враждебностью.

— Принести тебе попить, доченька? — спросила она.

— Нет. Посиди здесь.

Скрестив худые ноги и приподняв острые голени, Рошни опустила на пол. Ниру хотелось выговориться, и старую няньку она позвала потому, что от нее можно было ничего не утаивать.

— Сегодня утром я слышала, как хлопнула дверь, — начала Ниру. Нянька не ответила, но по ее сердитому

виду можно было догадаться, что и она это отлично слышала.

— Он выходил в сад вместе с Шоролой? — задала Ниру ненужный вопрос. Ответ был давно известен им обоим, и все же каждый день Ниру спрашивала об одном и том же. Нянька, скривив губы, молча махнула рукой.

— И меня будил он на заре, и я начинала работу в саду в это же время, — проговорила, словно про себя, Ниру, глядя в окно. — Не так уж давно это было.

И хотя Ниру не ждала никакого ответа, Рошни не выдержала.

— Как будто без нее сад засох бы! — выкрикнула она.

— И всегда я сама отправляла утром тележку с цветами на Нью Маркет, — продолжала думать вслух Ни-роджа. — Сегодня тоже уехала тележка, я слышала. Кто же выбирал цветы для продажи, а, Рошни?

И на этот давно знакомый вопрос ничего не ответила нянька, только плотнее сжала губы.

— Как бы там ни было, а пока я распоряжалась в саду, работники не слонялись без дела...

Нянька поднялась с колен и ворчливо сказала:

— Что и говорить! Зато теперь они тащат обеими руками.

— Неужели?

— Очень мне надо врать! Думаешь, много цветов доходит до городского рынка? Господин только за порог, а у ворот уже целый цветочный базар!

— И никто ничего не замечает?

— Кому охота замечать!

— Почему же ты не скажешь об этом хозяину?

— При чем тут я? Не к лицу мне вмешиваться в чужие дела. Сказала бы сама, ведь это все твое.

— Хорошо, хорошо. Подожди, пусть пройдет еще несколько дней, нехватка обнаружится, и тогда они попадутся. Скоро все поймут, много ли стоят заботы мачехи по сравнению с материнскими. А пока помолчим.

— Ладно, только вот что, детонька, этому твоему Холле никакого дела нельзя поручить, прямо беда.

Будь он просто бездельником, Рошни, конечно, не возмущалась бы так, но он к тому же в последнее время

стал пользоваться совершенно незаслуженной симпатией хозяйки, а уж этого старая нянька простить никак не могла.

— Не вини его, — сказала Ниру. — Легко ли ему мириться с новой госпожой! У него — семь поколений садовников, а у нашей драгоценной сестрички — одни книги за плечами. Стоит ли удивляться, если он ей не подчиняется? Не желает он понимать ее странных приказов. Сколько раз уж приходил ко мне жаловаться. Я ему говорю — не обращай внимания, знай помалкивай.

— Недавно хозяин совсем было собрался его уволить.

— За что?

— Сидит себе покуривает, а у него перед носом корова объедает куст. «Чего же ты ее не гонишь?» — кричит хозяин, а тот ему: «Мне — гнать корову?! Пусть лучше она меня прогонит! Зачем грех на душу брать?»

Ниру рассмеялась:

— Вот, вот, он всегда так. Зато предан мне душой и телом.

— Господин ради тебя готов все ему простить — и корову, и даже носорога. А все-таки, что ни говори, не дело так дурака валять...

— Помолчи лучше, Рошни. Ты думаешь, я не понимаю, отчего он не прогнал корову? Да ведь у него каждый день сердце кровью обливается от обиды. А вот он и сам идет. Позови-ка его!

Вскоре садовник Холлодхор вошел в комнату.

— Ну, были сегодня новые приказы? — спросила Ниру.

— А как же! — отвечал Холла. — Прямо смех и грех.

— Что за приказы, скажи?

— Оттуда, где раньше был дом для садовников, велено взять битый кирпич и выложить им землю под деревьями. Вот так-то! Я говорю, засохнут тогда деревья в жару! Да разве меня кто слушает?

— Надо было хозяину сказать.

— Я ему и сказал. Да только хозяин грубо так крикнул: молчи, мол! Отпустите меня, хозяйка, сил моих больше нет!

— Я и то смотрю, чего это ты в корзине мусор таскаешь.

— У тебя я давно служу, перед тобой хоть до земли поклонюсь — все сделаю, как скажешь. А это куда ж годится! Как в родной деревне про меня подумают? Разве я кули, чтобы камни таскать?!

— Хорошо, ступай. Если молодая хозяйка опять прикажет носить кирпич, скажи, что я запретила. Ну, что стоишь?

— Да вот, из деревни письмо пришло, буйвол наш подыхать собрался, — скребя в затылке, проговорил Холла.

— Ничего, не сдохнет, прекрасно проживет еще. На вот, возьми две рупии и уходи. — С этими словами Ниру достала из стоявшей на треножнике шкатулки деньги и протянула их садовнику.

— Что тебе еще?

— Да жене моей одежду бы какую старую... Век тебя благодарить будет!!

Его измазанные бетелем губы растянулись в улыбке.

— Достань, Рошни, вон то сари!

Нянька яростно затрясла головой:

— Что ты, как можно, дочка, это же из Дакки, ручной работы!

— Ну и пусть из Дакки. Для меня теперь все сари одинаковы. Может, и надеть больше не придется...

— Ни к чему это, — сказала решительно нянька. — Лучше дадим ему вон то, с красной каймой. Ой, смотри, Холла, будешь еще досаждать госпоже, выгоню тебя, да еще и хозяину пожалуюсь!

Обняв ноги Ниру, старик запричитал:

— Ой, несчастная моя судьба, ой, горе мое!

— Что еще с тобой случилось?

— Я ведь няню твою уважаю, тетушкой зову. Матери у меня нет, так я всегда надеялся, что хоть няня твоя любит беднягу Холлу. А теперь она не дает мне пользоваться твоими милостями. Несчастная моя судьба, только она одна и виновата. Разве лежала бы ты больная, разве отдала бы меня другой хозяйке, если б не злая судьба?

— Успокойся, любит тебя твоя тетушка. Перед твоим приходом она как раз тебя хвалила. Ну-ка, Рошни, дай ему поскорее это сари, а то он опять захнычет.

С недовольным видом нянька вынула сари и сердито кинула садовнику. Холла нагнулся, поднял одежду, степенно сделал пронам, потом со словами: «Я, пожалуй, заверну его в эту тряпицу, госпожа, а то у меня руки грязные, как бы не запачкать», — не ожидая согласия, снял с вешалки полотенце и торопливо вышел.

— Рошни, ты точно знаешь, что господин уехал? — спросила Ниру.

— Сама видала, так торопился — даже шляпу забыл надеть.

— Началось. Сегодня забыл принести мне цветы, завтра еще что-нибудь забудет — и так каждый день, пока не выбросит меня на помойку, словно уголь перегоревший или золу...

В дверях появилась Шорола, и нянька сразу ушла, сурово поджав губы. В руках Шоролы была орхидея: белый, с тонкой лиловой каймой цветок, похожий на огромную бабочку со сложенными крылышками. Высокая, стройная и очень смуглая, Шорола не была красавицей, но ее необыкновенно ясные и ласковые глаза приковывали к себе внимание каждого, кто видел ее впервые. На ней было грубое сари, узел небрежно уложенных волос почти касался плеч. Простотой наряда она словно показывала, что не хочет замечать праздника своей юности.

Нироджа не смотрела на нее. Девушка тихонько приблизилась и положила цветок на постель.

— Кто просил тебя принести это? — резко спросила Ниру, не пытаясь скрыть раздражения.

— Адит-да.

— Почему же сам не принес?

— Сразу после чая ему пришлось уехать на Нью Маркет.

— К чему такая спешка?

— Ночью там взломали контору и украли деньги.

— Неужели не мог задержаться на какие-то пять минут?

— Вчера вечером вам было плохо, и вы заснули только под утро. Он подошел к вашим дверям, но потом

вернулся. Просил меня, если сам не сможет приехать к полудню, отдать вам этот цветок.

Каждый день, перед тем как приняться за дело, Адит-то сам выбирал какой-нибудь цветок и приносил жене. И каждый день Ниру с нетерпением ждала его. А сегодня он передал цветок через Шоролу. Неужели не понимает такой простой вещи, что цветы лишь тем ей и дороги, что их приносит он. Ведь и вода Ганги из водопровода — уже не святая вода!

Нироджа с презрением оттолкнула орхидею.

— Знаешь, сколько это стоит на рынке? — бросила она Шороле. — Лучше отошли цветок туда, незачем зря губить товар.

Голос ее вдруг прервался, и Шорола сразу догадалась обо всем. Она поняла, что своим ответом только разожжет гнев Ниру, и промолчала. Минуту спустя Нироджа неожиданно спросила:

— Ты знаешь, как называется этот цветок?

Наверное, лучше было бы сказать «нет», но профессиональная гордость девушки была задета, и она ответила: «Амарилис».

Нироджа зло рассмеялась:

— Хорошо же ты знаешь цветы, нечего сказать! Это Грандифлора.

— Может быть, — поспешила согласиться Шорола.

— Что значит «может быть»? Не «может быть», а точно! Или ты хочешь сказать, что я ошибаюсь?

Шорола видела, что Нироджа намеренно привела неверное название и хочет вызвать ее на спор, чтобы на ней сорвать душившую ее ярость. Она решила молчаливо уступить и уже направилась было к дверям, когда большая окликнула ее.

— Послушай, где ты была все утро?

— В оранжерее.

— А что ты там делаешь чуть не каждый день? — задыхаясь, проговорила Ниру.

— Адит-да просил меня отсадить от старых орхидей новые.

— Ты же ничего не понимаешь в орхидеях, только все испортишь, — насмешливо проронила Ниру. — Лучше

предоставь все Холле, я сама его учила. Разве он не справляется, когда ему приказывают?

И на это отвечать не следовало. Смысл замечания Ниру был предельно ясен: под ее началом старый садовник работал прекрасно, Шорола же сама ничего не умеет и не хочет делать, поэтому и у Холлы все из рук валится. Выходило, что Холла работает плохо только потому, что обижен равнодушием Шоролы к саду.

Садовник рассчитал верно: его лень и нерадивость под началом новой хозяйки доставляли удовольствие прежней.

Совсем как в колледже во время бойкота, когда несданные экзамены ценятся выше полученного диплома.

Шорола могла бы обидеться, но не стала: она поняла, какая буря бушует в душе Ниру. Всю нерастрченную материнскую любовь она отдавала этому саду, и так было не год, не два — десять лет! А теперь она беспомощно лежала здесь, совсем рядом, и вместе с тем бесконечно далеко от своего детища. Вон ее сад, все время перед глазами — ни на минуту не дает забыть о жестокой разлуке...

— Да закрой же окно! — вырвалось у Ниру.

Шорола опустила занавес, потом спросила:

— Принести апельсиновый сок?

— Ничего не нужно. Можешь идти.

— Пора принять лекарство, — нерешительно напомнила девушка.

— Ни к чему. Тебе еще приказывали что-нибудь сделать в саду?

— Да, подрезать розы.

— Нашли время! — насмешливо сказала Ниру. — Интересно, кто надоумил его?

— Из пригорода очень много заказов на цветы, поэтому Адит-да хотел заняться прививкой до начала дождливого сезона, но я была против.

— Ах, ты была против? Хорошо! Пошли ко мне Холлу. Шорола ушла. Появился садовник.

— Ты что ж, заделался важным господином? — набросилась на него Ниру. — Руки у тебя отвалятся, если ты розы подрежешь? Или думаешь, что молодая хозяйка

у тебя на службе? Чтобы к возвращению господина розы были подвязаны и привиты! Не уйдете, пока все не сделаете. Песок с золой для удобрения возьмете с правого берега озера.

«Ну вот, — удовлетворенно подумала Ниру. — Хоть я и лежу здесь, Холла теперь все сделает по-моему!»

Старик неожиданно расплылся в лъстивой улыбке:

— Вот, госпожа, прими от меня этот медный кувшип. Сам Хорсундор Майти его сделал. Ты-то в таких вещах разбираешься! Тебе для цветов пригодится.

— Сколько он стоит? — спросила Нироджа.

— Э, не говори о цене! — укоризненно воскликнул Холла. — Как я могу с тебя брать деньги? Мы люди бедные, но не бессовестные. Ты же и кров и еду мне даешь...

Вынув цветы из стоявшей рядом вазы, Холла сунул их в кувшип и уже пошел к выходу, но вдруг остановился.

— Да, я уже вроде говорил, что моя племянница замуж выходит? Уж ты не забудь про свадебные браслеты. Тебя же осудят, если медные подаришь. Я — садовник в богатом доме, значит, вся деревня будет смотреть, в чем племянницу замуж выдаю.

— Хорошо, не беспокойся об этом, — проговорила Ниру. — Теперь ступай.

Холла ушел. Нироджа резко отвернулась и, спрятав лицо в подушках, горестно зашептала:

— Рошни, Рошни, я становлюсь такой же мелочной, как этот старик!

— Что ты, доченька, будет тебе, — принялась успокаивать ее нянька.

— Проклятая судьба — сначала тело мне искалечила, а теперь и душу точит, — продолжала, словно про себя, Ниру. — За что все это? Будто я не вижу, какими глазами смотрел на меня Холла! Нашептал мне, получил бакшиш и ушел, надо мной же посмеиваясь. Верни его! Отчитай как следует, пусть не смеет больше наушничать!

Но когда нянька встала, чтобы выполнить ее приказание, Ниру торопливо крикнула:

— Оставь, не надо, пусть уходит!

III

Вскоре пришел навестить больную ее дальний родственник, Ромен.

— Я от Адитто, сестра, — начал он. — Твой муж просил передать, что сегодня в конторе тьма народу, поэтому он будет обедать в ресторане и вечером немного задержится.

— Неужели ты только для этого и примчался? Или в конторе все посыльные поумирали? — с улыбкой спросила Ниру.

— Повидать тебя — для меня вполне достаточный предлог. А потом, разве простой посыльный может оценить эту честь — прибыть к тебе гонцом?

— Бог мой, ты расточаешь комплименты не там, где нужно. И вообще ты, по-моему, ошибся дверью. Твоя любезная садовница сейчас в апельсиновой роще, иди-ка лучше туда!

— Сначала принесу дань Лакшми этого сада, потом уж пойду искать садовницу. — С этими словами Ромен вынул из кармана книгу и передал Ниру.

— А, «Оковы слез»! Как раз то, что я хотела, — радостно проговорила Ниру. — Благословляю тебя, и пусть садовница цветника твоего будет окована твоими улыбками. Это я про ту, которую ты называешь подругой снов своих и мечтаний. Ах, любовь, любовь!

Ромен неожиданно прервал ее:

— Послушай, сестра, ответь мне на один вопрос. Только откровенно.

— Ну, в чем дело?

— Ты сейчас поссорилась с Шоролой?

— Откуда ты взял?

— Я заметил ее у пруда. Она просто сидела молча. Но я-то знаю, женщины не то что мужчины — они не любят сидеть без дела. Мне никогда раньше не приходилось видеть Шоролу в таком состоянии. «Где твои витают мысли?» — спросил я ее. «Там, где горячий ветер гонит сухие листья», — ответила она. «Ты увливаешь», — сказал я, — говори яснее!» А она мне: «Есть вещи, которые словами не выразить». Чувствую — опять говорит не то. Тут я вспомнил строчку из песни: «Чьи слова страдать тебя

заставили?» — «Может, твоего Адитто!» — вырвалось у нее. «Вряд ли, говорю, Адитто как-никак мужчина. На садовников он может и накричать, но на Ту — Которая Оберегает Цветы — конечно, нет!»

— Ладно, поболтали, и будет, — оборвала его Ниру. — Теперь поговорим серьезно. Очень тебя прошу, женись поскорей на Шороле. Это же святое дело — спасти девушку от безбрачия.

— Скажу тебе прямо, святые дела меня мало трогают, но эта девушка трогает, — и очень.

— Тогда за чем же дело стало? Или она не согласна?

— Об этом я ее никогда не спрашивал. В мечтах — да, но в действительности ей не суждено стать моей спутницей.

Ниру порывисто сжала руку юноши.

— Почему не суждено? Это должно быть и это будет! — воскликнула она. — Перед смертью я хочу видеть тебя пристроенным — иначе, клянусь, мой дух не даст вам покоя.

Удивленный горячностью Ниру, Ромен несколько минут пристально вглядывался в ее лицо. Потом медленно покачал головой:

— Знаешь, диди, я хоть и младший из родственников, но ведь я и сам уже не так чтобы очень молод. Видела, наверное, как ветер носит семя, пока не занесет на удобное место, а там уж оно пускает корни, и его оттуда не вырвешь, как ни старайся. Вот так и со мной.

— Ты лучше не учи меня, а сам прислушайся к моим советам. Я тебе старшая, и я тебе говорю: женись! И поскорее! В этом месяце, в фальгуне, как раз есть благоприятный день.

— По моему календарю все триста шестьдесят пять дней — благоприятные. Время у меня есть, да только места нет для этого: совсем недавно я был в тюрьме, сейчас снова иду по довольно скользкой дорожке — похоже, опять в тюрьму. На таком пути вестники бога любви обычно не встречаются.

— Неужели современные девушки так боятся тюрьмы?

— Может, и не боятся, а все-таки по этой дороге рука об руку трудно сделать даже те несколько шагов,

которые предписывает свадебный обряд! В таком пути нужно быть сильным, а для этого женщина должна быть не рядом, а в сердце. В сердце она и останется для меня навсегда.

Появилась Шорола с чашкой молока в руках. Она поставила ее на треножник и сразу же направилась к дверям.

— Пстой, не уходи! — окликнула ее Ниру. — Посмотри-ка, чья это карточка?

— Моя, — ответила Шорола.

— Давний снимок. Тогда вы оба еще работали в саду твоего дяди. Тебе тут можно дать лет пятнадцать. И сари надето совсем на маратхский манер.

— Откуда она у вас?

— Я как-то заметила ее на столе у мужа, но хорошенько не рассмотрела. А сегодня вот попросила принести. Не правда ли, братец, с тех пор Шорола еще больше похорошела? Как тебе кажется?

— Ну, ту Шоролу я ведь почти и не знал. Для меня она всегда была вот такая, как сейчас. Мне не с чем сравнивать.

— Здесь у нее такой вид, будто она хранит какую-то важную тайну, — продолжала Ниру, — и эта тайна — словно облако, которое сначала было легким и белым, а потом оказалось грозовой тучей. Она очень романтична, правда, брат?

Снова Шорола двинулась к дверям, и снова Ниру задержала ее.

— Ну-ка, Ромен, погляди на нее, как мужчина: как тебе кажется, что в ней прежде всего привлекает внимание?

— По-моему, все сразу.

— Конечно же, ее огромные глаза: они заглядывают в самую душу! Не уходи, Шорола, побудь еще немножко. Нет, ты погляди, какая у ней стройная и гибкая фигура!

— Ты ее на аукционе, что ли, расхваливаешь, сестра? Если так, то имей в виду, уговаривать меня нечего, я и так все вижу.

Но Нироджа с воодушевлением профессионального оценщика продолжала:

— Взгляни на ее руки, — нежные, красивые и в то же время сильные! Признайся, видел ты когда-нибудь такие руки?

— Ну, боюсь, мой ответ покажется тебе слишком прямым и грубым, — рассмеялся Ромен.

— Неужели ты не захотел бы завладеть этими руками?

— Так ведь я ими владею — правда, не всегда, только время от времени. Например, когда они подают мне чай в этом доме, я гораздо больше удовольствия получаю от самих рук, чем от чая. Мне, простому смертному, довольно и такой малости.

Шорола решительно направилась к дверям, но Ромен преградил ей дорогу:

— Скажи мне одно слово, и я тебя отпущу.

— Ну?

— Сейчас полнолуние. Я хочу, как случайный путник, отдохнуть в твоём саду. Черные времена настали, — мне никак не удастся вдосталь наговориться с тобой. Случайные встречи здесь, в этой комнате, в счет не идут. Словом, сегодня я хочу спокойно посидеть с тобой под деревьями.

— Приходи, — просто сказала Шорола.

Ромен обернулся к постели:

— Я ухожу, сестра.

— Иди, ты здесь больше не нужен. Свое дело твоя сестра, кажется, сделала.

IV

После ухода Романа Ниру долго лежала неподвижно, закрыв лицо руками. Она думала о том, что и ей когда-то было знакомо опьянение любви. Сколько весенних ночей сердце ее замирало от счастья! Нет, она не была, подобно тысячам других жен, просто предметом обихода в доме мужа! И сейчас, лежа в постели, Ниру снова и снова вспоминала, как Адитто, ласково притянув ее к себе за локон, называл ее госпожой волшебного дворца счастья. Десять лет не тускнели краски их дворца, десять лет была полна до краев чаша жизни. «Когда-то там, где

проходила женщина, выростали цветы, а от оброшенной ею слезы зацветали деревья, — замечал он, бывало. — В мой сад вернулись времена Калидасы! Вдоль тропинок, по которым ты ходишь каждый день, тоже распускаются цветы, а в весеннем воздухе опьяняюще пахнет розами. Если бы не ты, — говорил он часто, — торгашеский дух, как демон Вритра, завладел бы этим цветущим раем. Но на мое счастье, в этом саду Индры властвуешь ты, моя Индрани».

Увы, она все еще молода, но счастье и радость ушли безвозвратно. Индрани уже не подняться на трон. В те далекие дни сердце ее не знало ни ревности, ни подозрений. Тогда она была у Адитто одна. Одна, как утренняя звезда в предрассветном небе. Кого ей было бояться? А теперь? Стоит лишь вдали мелькнуть легкой тени, как все в ней начинает трепетать от страха. От прежней веры в себя нет и следа. Взять хоть бы Шоролу. Ну что в ней особенного? Стоит ли из-за нее волноваться? И все равно Ниру места себе не находит от подозрений. Кто знал, что так рано пробьет ее час! Сколько счастливых и радостных дней похитил у нее всевышний, проникнув как вор в ее дом!

— Послушай, Рошни!

— Что, дочка?

— Наш хозяин раньше называл меня волшебницей его расписного дворца. Всего десять лет миновало, и роспись не могла еще потускнеть, но где он, дворец нашего счастья?

— Где ж ему еще быть? Тут он. Вот прошлую ночь ты совсем не спала, сосни-ка лучше, а я разотру тебе ноги.

— Скоро полнолуние, Рошни. Раньше мы никогда не спали в лунные ночи. Бродили по саду. Вдвоем. Ах, эти бессонные ночи тогда — и сейчас! Сейчас я была бы рада уснуть, но проклятый сон все не идет и не идет.

— Помолчи немножко, он и придет.

— Послушай, теперь они тоже гуляют по саду, когда светит луна?

— Я видела, как они срезали цветы для утренней продажи. Где у них время гулять-то?

— В саду почует много садовников; значит, они их нарочно не будили?

— Так ведь без тебя разве их кто добудится?

— Слышала? Кажется, подъехал экипаж.

— Да, хозяин вернулся.

— Дай-ка мне зеркало. И передай вон ту большую розу. Где коробка с английскими булавками? Ох, какая я желтая сегодня! А теперь уходи скорее!

— Ухожу, но только выпей сначала молоко, доченька, а?

— Не хочу, пусть стоит.

— Ты сегодня и лекарства-то не принимала ни разу.

— Не болтай попусту, лучше открой окно и уходи.

Нянька ушла. В тишине звонко пробило три. Солнце приняло медно-красный оттенок, тени стали длиннее. Задул южный ветер, и было слышно, как плещется о ступени вода в пруду. Нироджа скорее угадывала, чем видела, что садовники снова принялись за работу.

В комнату быстро вошел, почти вбежал, Адитто. В руках — охапка цветущего раkitника. Душистая масса цветов легла на ноги Ниру. Он присел на постель, сжал ее руку:

— Как долго я не видел тебя!

Ниру не выдержала: судорожные рыдания сотрясли ее тело. Адитто опустился на колени, обнял ее и, целуя мокрые от слез щеки, прошептал:

— Ты должна знать: я перед тобою ни в чем не виноват!

— Откуда мне знать? Мое время уже прошло...

— Зачем вспоминать про время? Ты для меня все та же.

— Я теперь всего боюсь. Никак не могу с собой справиться.

— А хорошо, когда немножко боишься. Разве нет? Признайся, ты просто хочешь помучить меня. Женщины это ох как умеют!

— Зато мужчины умеют забывать.

— Да разве можно тебя забыть?!

— Да, можно. Из-за своей злосчастной болезни я каждый день даю тебе такую возможность.

— Как раз наоборот. Становишься забывчивым в счастье, но не в горе.

— Ну, скажи правду, ты ведь сегодня утром просто забыл заглянуть ко мне?

— Что ты такое говоришь! Мне пришлось спешно уехать, но я места себе не находил, пока не вернулся.

— Как ты неудобно сидишь! Присядь ко мне на постель.

— Что, хочешь помешать мне сбежать?

— Вот именно. В жизни и в смерти — я всегда должна быть уверена, что ты возле меня.

— Нет, лучше ты хоть иногда сомневайся во мне — тогда сильнее будешь любить.

— Не хочу я никаких сомнений. Не хочу — и все. Кому еще доставался такой муж? Чем тебя подозревать, лучше сгореть со стыда.

— Тогда давай я буду ревновать тебя — иначе какая же это любовная драма?

— Ну, ревнуй, пожалуйста. Правда, тогда получится уже комедия.

— Значит, ты сегодня все-таки рассердилась?

— Перестань! Наказывать тебя я не стану — сам себя накажи.

— Зачем? Если ты не будешь хоть иногда на меня злиться, я решу, что наша любовь умерла.

— Наоборот, когда я на тебя обижусь, знай, что это совсем не я, что это злой дух вселился в меня.

— Всех нас иногда навещает злой дух. Он почему-то дает о себе знать в самое неожиданное время. Только успеешь призвать себя к благоразумию, а он уже тут как тут.

Вошла Рошни.

— Вот, молодой господин, доченька сегодня и молока не пьет, и лекарства не принимает, и растирать себя не дает. Никакого сладу с ней нет, — сказала она, махнув рукой, и ушла.

Адитто поднялся.

— Вот теперь я действительно сержусь! — серьезно произнес он.

— Ну, хорошо, сердись сколько хочешь, я виновата. Только потом прости.

— Шорола! Шорола! — позвал Адитто, направляясь к дверям. Услышав это имя, Ниру почувствовала, что холодеет. Ей показалось, что ее протянутая к цветку рука наткнулась на острый шип. Появилась Шорола.

— Что же ты целый день не могла дать Ниру лекарства? И покормить тоже не могла? — сердито спросил Адитто.

Ниру перебила его:

— Не ругай ее. Она не виновата. Я сама упрямылась и не хотела есть. Меня брани. А ты иди, Шорола, ступай отсюда. Зачем тебе зря выслушивать упреки.

— Сначала пусть принесет лекарство. И приготовит молоко.

— Бог мой, целый день ей приходится гнуть спину в саду, а ты еще хочешь навязать ей обязанности сиделки! Пожалел бы ее хоть немного. Позови лучше няньку.

— Разве нянька сможет все сделать как следует?

— Как будто это так сложно! Конечно, сможет. И еще лучше, чем Шорола.

— Но...

— Никаких «но»! Рошни! Рошни!

— Не волнуйся так. Я вижу, ты хочешь, чтобы тебе стало хуже.

— Я сейчас позову Рошни, — сказала Шорола и вышла из комнаты. Она ни слова не сказала Ниру и этим повергла Адитто в глубокое удивление. «Может, ей и вправду очень достается?» — подумал он. Когда лекарство было принято, Адитто попросил няньку снова позвать Шоролу.

— С языка у тебя не сходит Шорола. Ты ее совсем замучаешь, бедняжку, — заметила Ниру.

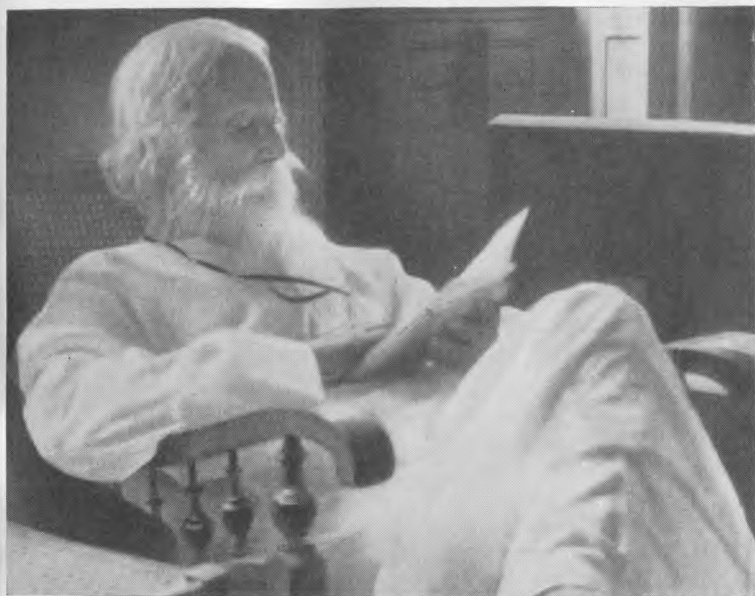
— У меня к ней дело.

— Оставь, пожалуйста, сейчас дела.

— Оно не займет много времени.

— Шорола еще девчонка, стоит ли с ней говорить о делах. Позови лучше Холлу.

— Знаешь, с той поры, как я на тебе женился, я постиг одну простую истину: женщины гораздо более деловиты, чем мужчины. Мужчины — лодыри до мозга костей. Мы трудимся только из-под палки, вы же вкладываете в работу душу. Я подумываю, не написать ли мне на эту



Р. Тагор в Джорашанко
1934

тему диссертацию. Из моего дневника я мог бы почерпнуть тысячи примеров.

«А что делать женщине, которую всевышний оторвал от дела всей ее жизни? — подумала Ниру. — Проклинать бога? Это же как землетрясение: оно не оставило камня на камне от возведенного мною здания, и теперь в разрушенном доме живут одни привидения».

Вошла Шорола.

— Оранжерею привела в порядок? — обратился к ней Адитто.

— Да.

— Всю?

— Всю.

— А как дела с розами?

— Садовник готовит для них грунт.

— Грунт? Я уже давно сам приготовил. Нашла кому поручить — Холле! Вот он и будет ковыряться сто лет. Ниру поспешно прервала его.

— Принеси мне, пожалуйста, апельсиновый сок с медом и имбирем, — попросила она Шоролу, и та, кивнув головой, вышла.

— Сегодня ты, как всегда, поднялся на рассвете? — спросила она мужа.

— Ты угадала.

— И так же звонко били часы?

— Конечно!

— А под нимом был накрыт стол для чая, как и прежде? Ты все сохранил, как было, любимый?

— Все-все. Иначе я бы давно представил тебе на рассмотрение проект домашних реформ.

— И там по-прежнему стоят два кресла?

— Конечно! И все тот же веселый сервиз с синей каемочкой, и серебряный молочник, и сахар в белом маленьком горшочке, и поднос с драконом — все, как раньше.

— Зачем тебе это второе, пустое кресло?

— Мне так хочется. И точно такая же россыпь звезд была сегодня на бледнеющем небе — только луна уже скрылась за горизонтом. Я принес бы и ее сюда, если бы только мог.

— Почему ты не пригласил к чаю Шоролу?

Адитто, конечно, следовало бы сказать: «Кроме тебя, мне никого не хотелось бы там видеть», — но вместо этого он спокойно ответил:

— По утрам она обычно читает свои молитвы, — не то что я, безбожник.

— А после чая ты пошел в оранжерею вместе с ней?

— Да, там надо было кое-что ей объяснить, а потом пришлось сразу уехать.

— Послушай, почему бы тебе не выдать ее замуж за Ромена?

— Какой из меня сват!

— Нет, кроме шуток. Ее так или иначе нужно пристроить, а где ты найдешь жениха лучше Ромена?

— И жених есть, и невеста есть, — одно только неизвестно — есть ли между ними любовь. Со стороны мне кажется, что в этом вся загвоздка.

— Никакой бы загвоздки не было, прояви ты к этому делу хоть малейший интерес, — запальчиво проговорила Ниру.

— Не понимаю, какой толк от моего интереса, — ведь не мне на ней жениться! Попробовала бы лучше сама ваяться этим.

— Как-нибудь в саду предоставь ей свободу, дай передохнуть, и ты увидишь — ее взгляд сам упадет, на кого нужно.

— Ну, знаешь, для «благоприятного взгляда» цветы и деревья не помеха: он проникает через подобные преграды совершенно свободно. Это ведь своего рода рентгеновский луч.

— Ерунду ты говоришь. Тебе, видно, просто не хочется этой свадьбы.

— Вот теперь ты попала в самую точку. Ты подумала, что станет с моим садом без Шоролы? Нельзя забывать об интересах дела... Что с тобой? Тебе хуже? — воскликнул с тревогой Адитто.

— Ничего особенного, — сдавленно проговорила Ниру. — Не стоит из-за меня так тревожиться.

Адитто собирался встать, но она удержала его:

— Ты помнишь, оранжерея была нашим первым детищем. А как мы работали там вместе, как день ото дня

она становилась все краше — ты не забыл? И теперь ты со спокойной душой позволяешь ее губить!

— Что ты имеешь в виду? — изумленно проговорил Адитто. — Откуда ты взяла?

— Но ведь Шорола ничего не смыслит в садоводстве! — воскликнула Ниру.

— Кто? Это Шорола-то не смыслит? А ты знаешь, что человек, научивший меня всему, что я умею, был ее дядей? Именно в его саду я и приучался к делу. Правда, дядя любил говорить, что есть два чисто женских дела — за садом ходить да коров доить. Шорола была его первой помощницей.

— А ты — помощником?

— Ну да. Тогда мне еще нужно было бегать в колледж, и я не мог отдавать саду столько времени, сколько она. И дядюшка сам занимался ее образованием.

— Насколько я знаю, из-за этого сада дядюшка и разорился. А теперь эта девушка здесь. Я потому и боюсь. Поверь мне, она принесит несчастье. И лоб у нее какой-то несообразно большой, как поле, и скачет она, будто лошадь. Нехорошо, когда у женщины мужской нрав. Это всегда приводит к беде.

— Объясни мне наконец, что с тобой сегодня, Ниру? Что ты такое говоришь? Дядюшка знал толк в садоводстве, но ничего не смыслил в коммерции. В искусстве выращивать цветы ему не было равных, но и торговать себе в убыток он тоже умел, как никто другой. Его любили, но не ценили. Разве мог я думать, что как раз в то время, когда я получил от него капитал для начала собственного дела, он сам был почти разорен? Единственное, что меня успокаивает, это то, что я успел выплатить ему все сполна, прежде чем он умер.

В это время Шорола принесла апельсиновый сок и тотчас же вышла. Ниру не притронулась к питью.

— Почему ты не женился на Шороле? — внезапно спросила она.

— Еще что выдумала! У меня никогда и в мыслях не было ничего подобного!

— И в мыслях не было? До чего поэтично ты выражаешься,

— В первый раз я почувствовал поэтическое вдохновение, когда встретился с тобой. С ней же мы просто резвились, как дикари, под сенью деревьев. Друг о друге мы, во всяком случае, не думали. Вот если бы я воспитывался по-современному, вся моя жизнь, наверное, сложилась бы иначе.

— Чем тебе не нравится современное воспитание?

— Злой Духшасана сдирал последний лоскут с тела, а современная цивилизация то же самое проделывает с душой. Оглянуться не успеешь, а она уже коварно закрыла тебе глаза на все прекрасное. Ароматы цветов для нее вещь слишком тонкая. Чтобы почувствовать запах, ей надо оборвать все лепестки.

— Но Шорола ведь совсем недурна!

— Для меня Шорола есть Шорола. Как она выглядит — на это я никогда не обращал внимания.

— Но признайся, она тебе нравилась?

— Конечно! Что я, камень, чтобы не замечать такую девушку? Сын дяди учился в Рангуне на адвоката, и дядя не мог рассчитывать на него как на продолжателя своего дела. Все свои надежды он возложил на Шоролу. Дядюшка думал, что сад настолько завладеет ею, что вытеснит все мысли о замужестве. Но он умер, Шорола осталась одна, а сад перешел в руки кредиторов. Помнишь, я тогда места себе не находил? Кто был больше ее достоин счастья? Как можно было ее не любить? Я и сейчас еще помню, как звонко она умела смеяться. А походка — казалось, она не ходила, а летала, словно птица. Все сгнуло от тяжести утраты... Однако Шоролу и это не сломило. Она и мне не давала унывать, и сама держалась стойко...

— Замолчи же наконец! — прервала его Ниру. — Хватит, ты мне об этом уже рассказывал. Она выше всяких похвал. Почему бы тебе не устроить ее тогда старшей учительницей женской школы в Барашате? Они давно просят порекомендовать кого-нибудь.

— В Барашат? Отчего уж тогда не на Андаманские острова?

— Я не шучу. Поручай ей что угодно, но не допускай к оранжерее.

— Почему, в чем дело?

— Я тебе уже говорила, в орхидеях она ничего не смыслит.

— А я говорю, что она разбирается в этом лучше меня. Орхидеи были дядюшкиным коньком. Он посылал за ними своих людей на Целебес, на Яву, в Китай. В свое время он считался лучшим знатоком орхидей.

Все это Ниру знала сама, и тем горше ей было слышать об этом еще раз.

— Хорошо, пусть она понимает в них больше, чем я, и даже больше, чем ты. Но оранжерея принадлежит только нам с тобой, там нет места Шороле. Если тебе уж так хочется, отдай ей хоть весь сад! Но эту малую частичку оставь мне, только мне одной. За столько лет могу я попросить тебя хоть об этом? Я же не виновата, что лежу здесь...

Не договорив, Ниру упала лицом на подушки и безутешно разрыдалась.

Адитто остолбенел. У него было такое чувство, будто все это время он крепко спал и только теперь вдруг проснулся, словно его кто-то толкнул. Он понял, что это не внезапный каприз. Видимо, смерч горя давно зародился в самой глубине ее сердца, долго набирал силу и теперь наконец вырвался наружу.

Глупец! Он думал, заботы Шоролы о саде обрадуют Нироджу: ведь никто не умел так, как она, подбирать цветы и украшать ими клумбы. Адитто вдруг вспомнил, что однажды, когда он похвалил Шоролу, заметив при этом, что сам он никогда бы не смог устроить такую изгородь из цветов, Нироджа сухо улыбнулась и сказала:

— Похвалы, мой дорогой, портят людей.

И еще Адитто вспомнил, как бурно радовалась Нироджа, когда Шорола путала названия растений, как, смеясь, повторяла неверное слово, сказанное девушкой. Нироджа отыскивала в английских книгах и выучивала сложные, никому не известные названия цветов и потом с невинным видом спрашивала о них Шоролу, а когда та ошибалась, ликовала: «Вот так ученая! — говорила она. — Любой знает, что этот цветок называется касия Джованика! Даже мой садовник Холла!»

Некоторое время Адитто сидел задумавшись. Потом взял Нироджу за руку:

— Не плачь, Ниру! Скажи, что мне делать? Ты не хочешь, чтобы Шорола ухаживала за садом?

Нироджа вырвала руку:

— Я ничего не хочу, ничего. Это твой сад. Делай с ним, что хочешь, держи кого угодно. Какое мне до этого дело!

— Что ты говоришь, Ниру? Этот сад мой, так же как и твой? С каких это пор ты стала разделять нас?

— С тех пор, как мне достался этот жалкий угол, а тебе весь остальной мир. Ну, скажи, могу я сравниться с твоей великолепной Шоролой, я, больная? Есть ли у меня силы, чтобы угождать тебе, заниматься твоим садом?

— Но ведь раньше ты сама приглашала Шоролу, советовалась с ней. Помнишь, несколько лет назад вы скрещивали батавский лимон с коломбским, хотели поразить меня своими успехами!

— Тогда она, по крайней мере, не зазнавалась. А теперь, когда господь обрек меня на жизнь во мраке, ты вдруг открыл в ней все ее достоинства, только и слышишь от тебя: она знает это, она знает то, разве ты разбираешься, как она, в орхидеях! Прежде ты ничего подобного не говорил. Как же можешь ты теперь, когда я больна и несчастна, сравнивать нас? Ну могу ли я быть теперь равной ей?

— Ниру, таких слов я не ожидал от тебя. Мне даже кажется, что это говорит не моя Ниру, а кто-то совсем другой.

— О нет, это Ниру. Просто до сих пор ты не понимал ее. И это самое тяжкое для меня наказание. Когда после свадьбы я узнала, как дорог тебе этот сад, я посвятила ему всю свою жизнь. Поступи я иначе, мы бы поссорились с твоим садом, просто я не смогла бы с ним примириться. Я и сад — мы были как две жены одного мужа. Ты ведь знаешь, о чем я больше всего мечтала... знаешь, что всю себя я отдала ему, была предана ему всею душой.

— Конечно, знаю. Все мое тебе дорого.

— Ах, оставь. Теперь в наш сад без всякого труда проник другой человек, и ты отнесся к этому совершенно спокойно. Неужели с таким же спокойствием ты мог бы

рассечь мне грудь и вложить туда чужое сердце? Ведь этот сад — мое тело? Я бы никогда так не поступила.

— А что бы ты сделала?

— Ты хочешь знать? Тогда слушай. Я скорее пошла бы на то, чтобы сад пропал и я разорилась, или стала бы держать десятерых садовников вместо одного, чем допустила бы сюда женщину, особенно такую, которая считает, что знает садоводство лучше меня. Ее самомнение постоянно меня оскорбляет, и в этом твоя вина, а ведь я умираю и уже ничего не в силах сделать. Знаешь, почему так произошло?

— Ну?

— Потому что ты любишь ее больше, чем меня.

Некоторое время Адитто сидел, молча ероша волосы. Потом растерянно проговорил:

— Ниру, ты знаешь меня десять лет. Все у нас с тобой было: и горе и радость. И если после всего ты можешь говорить такие вещи, мне нечего тебе отвечать. Я лучше уйду. Иначе тебе станет хуже. Я буду возле японской беседки. Если понадобится — пошли за мной.

V

На противоположной стороне пруда, за деревом чалта, восходит луна. На воду легли черные тени. А на этом берегу листья дерева башонти еще окрашены багрянцем и похожи на глаза ребенка, только что пробудившегося ото сна. Дерево усыпано золотистыми цветами, и воздух напоен его пьянящим ароматом. В ветвях дерева джамруд вспыхивают светлячки. На помосте гхата неподвижно сидит Шорола. Ветра нет, ни один листок не шелохнется, а вода в пруду словно серебряное зеркало, обрамленное черной рамкой тени.

— Можно подойти? — послышался голос позади Шоролы.

— Можно, — ласково ответила девушка. Ромен опустился на ступени у ее ног.

— Ромен-да, — забеспокоилась Шорола, — иди сюда, наверх,

— Но ведь ты знаешь, когда речь идет о богине, в первую очередь вспоминают ее стопы. Если для меня найдется место рядом с тобой, я сяду, только после. А сейчас дай мне твою руку, я поздороваюсь с тобой, как истый англичанин.

И Ромен поцеловал руку Шоролы:

— Здравствуй, моя королева.

Потом он поднялся наверх и помазал лоб Шоролы красной краской.

— В чем дело, зачем это ты?

— Забыла? Сегодня праздник Кришны! Здесь у вас в саду все расцвечено, каждая ветка. Душа человека весной тоже цветет, но красок ее не видно. Вот я и решил хоть немного украсить тебя, а то, чего доброго, придется тебе, лесная нимфа, отправиться в изгнание в лес.

— Пожалуй, состязаться с тобой в остроумии мне не под силу.

— Зачем состязаться? Знаешь, как у птиц, самец поет, а самка молча слушает его. В ее молчании и заключен ответ. А теперь позволь мне сесть рядом с тобой.

Некоторое время оба молчали, потом Шорола вдруг сказала:

— Ромен-да, научи меня, как попасть в тюрьму.

— Видишь ли, в нашем мире множество дорог ведет в тюрьму, и попасть в нее куда легче, чем ее избежать. Полиция не дает теперь засиживаться дома.

— Нет, я серьезно. Я много думала и решила, что только там я обрету настоящую свободу.

— Скажи откровенно, что случилось.

— Я скажу тебе все. Но если бы ты видел Адит-да, то сам бы все понял.

— Кое о чем я догадываюсь.

— Сегодня перед вечером я сидела на веранде и просматривала иллюстрированный цветной каталог, полученный из Америки. Обычно в половине пятого Адит-да, выпив свой чай, звал меня в сад работать. А сегодня, смотрю, он какой-то рассеянный бродит, даже на садовника не обращает внимания. Направился было ко мне, но тут же повернул назад, словно испугавшись. Такой сильный, большой мужчина, внимательный, строгий хозяин, и вдруг какая-то виноватая улыбка на лице. Его словно под-

менили, ничего он не замечает и все думает, думает. Наконец он все же подошел ко мне. В другое время он бы непременно показал мне часы, напомнив, что пора работать. И я бы тотчас встала. А сегодня он не произнес ни слова, подвинул стул и сел рядом со мной. Потом спросил: «Каталог смотришь?» — взял его у меня и стал перелистывать, но я сразу заметила, что ничего он там не видит. Вдруг он как-то странно посмотрел на меня, кажется, хотел что-то сказать, но тут же снова опустил глаза и сказал совсем не то, что хотел: «Смотри, Шори, какая большая настурция». Голос его звучал устало! Долго сидел он так, перелистывая страницы. Потом снова глянул на меня, захлопнул книгу, положил ее мне на колени и встал. «Ты не пойдешь в сад?» — спросила я его, а он отвечает: «Нет, дружок, у меня дела». И он ушел, но я видела, что уходит он с трудом, сам того не желая.

— А ты не догадываешься, что он хотел сказать тебе?

— Он хотел сказать, что вот лишилась ты когда-то одного сада, а сейчас тебе и из другого велят уходить.

— В таком случае, Шори, придется мне подождать с тюрьмой.

Шорола улыбнулась:

— Разве в силах я удержать тебя, если сам Великий Император распахивает перед тобой ее ворота?!

— Но разве можно допустить, чтобы ты оказалась на улице, а я, всем на удивление, позванная кандалами, отправился в тюрьму? Нет, в моем возрасте пора научиться благоразумию.

— Что же ты сделаешь?

— Объявлю войну твоей неблагоприятной звезде, прогоню ее из твоего гороскопа. А потом возьму себе отпуск, такой большой, чтобы можно было до самых Андаманских островов доехать.

— Я ничего не хочу скрывать от тебя. Недавно я поняла одну вещь. Я скажу, только не обижайся, пожалуйста.

— Вот если ты не скажешь, тогда я непременно обижусь.

— Мы воспитывались с Адит-да вместе, но не как браг с сестрой, а как два брата. Вместе вскапывали землю, подрезали деревья. Моя мать умерла вслед за его

матерью от тифа. Мне тогда было шесть лет. А спустя два года умер мой отец.

Дядя лелеял надежду, что свою жизнь я посвящу саду, — говорила Шорола. — Так он меня и воспитывал. Он никогда не думал о людях плохо и был уверен, что друзья когда-нибудь вернут взятые у него деньги и он сам сможет расплатиться с долгами. Но Адит-да оказался единственным, кто возвратил ему свой долг. Может, ты уже кое-что об этом слышал, но мне хотелось самой рассказать тебе все подробно.

— Ты правильно сделала. Теперь я вижу все в ином свете.

— Ну, а потом, как ты знаешь, все пошло прахом. Лишь в одном мне повезло: меня прибило к берегу рядом с Адитто. Мы встретились с ним как родные, как задушевные друзья. С той поры я живу под его кровом, так же как раньше он жил под моим. Могу сказать не стыдясь, — помогаю ему немало. Наверное, поэтому я не чувствовала себя стесненно в этом доме. Казалось, снова вернулись отношения беззаботной поры нашего детства. И так могло бы быть всегда... Могло быть. Да что теперь говорить об этом!

— Нет уж, прошу тебя, говори все до конца.

— Ты как-то шути сказал, что я уже не маленькая. И в то же мгновение мне стало ясно, что прежних отношений сестры и брата между мной и Адитто уже не может быть. Теперь ты знаешь все, Ромен-да, мне не хотелось от тебя таиться. Поначалу неприязнь Ниру была мне непонятна. Я давно привыкла не обращать на себя внимания и не думать о себе. Но тут после одной из ее вспышек я заглянула себе в душу и поняла, что пропала. Понимаешь, о чем я говорю?

— Твоя детская привязанность обернулась вдруг совсем не детским чувством?

— Да, и я не знаю, как мне быть! — воскликнула Шорола, хватая Ромена за руку.

Юноша молчал. Она заговорила снова:

— Моя вина растет с каждым днем.

— Вина? По отношению к кому?

— К Ниру.

— Слушай-ка, Шорола. Я терпеть не могу прописных истин. Поразмысли здраво — и ты сама доберешься до сути дела. Вы ведь с Адитто знаете друг друга уже давно. В те времена Ниру и в помине не было.

— Что ты говоришь, Ромен-да! Разве можно заботиться только о себе? Надо и об Адит-да подумать.

— Как раз это я и делаю. Ты, что же, воображаешь, что ему приятно, когда на тебя все время нападают?

— Это ты, Ромен? — слышалось за его спиной.

— Да, брат, — ответил Ромен, вставая.

— Нянька сказала, что Ниру зовет тебя.

Ромен ушел, вслед за ним поднялась было и Шорола, но Адитто удержал ее.

Девушка взглянула ему в лицо, и сердце ее сжалось от нестерпимой боли. Адитто нельзя было узнать. Этого не знающего усталости большого и сильного человека словно вдруг сломило. Он был растерян и походил на корабль, потерявший управление в бурю.

— Мы с тобой вместе вступали в жизнь, — медленно начал Адитто. — Сейчас даже не верится, до чего просто и легко нам тогда жилось. Казалось, ничто не может разделить нас, правда, Шори?

— Неделимое в арифметике становится делимым в высшей математике. От этого никуда не денешься, Адитто.

— Это разделение чисто внешнее. Сердца не разделишь. А теперь меня вынуждают расстаться с тобой. Никогда не думал, что это будет так тяжело. Ты уже знаешь, Шори, что нам нужно расстаться?

— Знаю, милый, знаю раньше, чем ты.

— Ты перенесешь это, Шори?

— Ничего не поделаешь, придется.

— Наверное, женщины вообще терпеливее нас.

— Так всегда было: мужчины сражались, женщины терпели. Слезы и терпение — это все, что нам остается.

— Но мне не вынести разлуки с тобой, я не допущу этого ни за что. Это жестоко, несправедливо! — И он поднял судорожно сжатый кулак, словно угрожая невидимому врагу.

Шорола задумчиво погладила его по руке.

— Здесь дело не в справедливости, дорогой мой, — медленно проговорила она. — Просто, когда семейные узы

начинают душить, они душат сразу нескольких человек. Разве можно здесь винить кого-нибудь одного!

— Ты-то все вытерпишь, знаю. Сейчас мне вспомнился один случай. У тебя и теперь чудесные волосы, а раньше были еще лучше. Ты ими страшно гордилась, да и другие всегда восхищались. Однажды мы поссорились. Днем, когда ты уснула, я подкрался с ножницами и отрезал небольшую прядь. Ты проснулась, вскочила, глаза у тебя потемнели. Крикнула: «Думаешь, ты победил?» — вырвала из моих рук ножницы и отрезала себе волосы. Потом, когда удивленный дядюшка спросил у тебя, что это значит, ты небрежно ответила: «Жарко стало». Он улыбнулся и больше ничего не сказал, не спросил, не выругал, а просто взял ножницы и подравнял тебе волосы. Он был весь в тебя, вернее — ты в него...

Шорола рассмеялась:

— Какие пустяки! И ты увидел в этом доказательство моей доброты? Напрасно! Ведь в тот раз я задела тебя гораздо сильнее, чем ты меня. Не так ли?

— Да, так. При виде твоих срезанных кос я еле удержался от слез, а на следующий день мне было стыдно показываться тебе на глаза. Ты первая заглянула в комнату, где я просидел весь день, схватила за руку и как ни в чем не бывало потянула за собой в сад. А помнишь, весной, когда внезапная буря сорвала навес над моей постелью? Тогда ты пришла и...

— Оставь, не к чему вспоминать все это, Адит-да, — с тяжелым вздохом прервала его девушка. — Те дни уже не вернуть.

Она поспешно встала. Адитто сжал ее руки в своих.

— Не уходи! — задыхаясь, проговорил он. — Хотя сейчас не уходи! Ведь скоро тебе придется уйти совсем.

Но тут же он перебил себя:

— Но зачем, зачем тебе уходить? Что мы такое сделали? Ревнует! Десять лет брака — и теперь — на тебе! Было бы из-за чего! Не зачеркивать же начисто из-за этого те двадцать три года, что мы знаем друг друга!

— Оставим в покое прошлое. А тебе не кажется, что в последнее время причины для ревности у нее были? Не зачем себя обманывать. Нужно смотреть правде в глаза. Между нами не должно быть неясности.

Адитто устало молчал. Потом проговорил:

— Что ж, пусть все будет ясно. Я понял, что без тебя мир для меня пуст. Никто не в силах отнять у меня тебя, кроме того, кто поручил нас друг другу на заре нашей жизни.

— Молчи, Адит-да, и так тяжело. Дай мне немного подумать.

— Думай — не думай, к прошлому не вернешься. Ведь тогда, под опекой дяди, мы ни о чем не раздумывали, а были счастливы. Слишком много пережито с тех пор, сейчас тех дней уже не воскресишь. Я говорю только о себе; говорить за тебя, Шори, не имею права.

— Не надо так, Адит-да. Твои слова делают меня слабой и преграждают всякий путь к спасению.

— Никакого пути к спасению нет, я не позволю тебе уйти, — проговорил Адитто, сжимая руки девушки в своих. — Знаю только одно: я тебя люблю. Это так же верно и просто, как то, что я дышу. Двадцать три года эта любовь жила где-то в тайниках памяти, но наконец, милостью создателя, я все понял. Теперь подавлять и скрывать ее — преступление.

— Молчи, молчи, ради бога! Во имя сегодняшней ночи пожалей меня и не мучь больше.

— Это меня нужно жалеть, Шори. До последнего вздоха я не перестану каяться, что был так долго слеп. Почему я не узнал тебя, почему так непоправимо ошибся и женился на другой? Только ты не вздумай сделать то же — я знаю, что женихов у тебя всегда было довольно...

— Если бы не желание дяди сделать из меня садовода, то, может быть...

— Нет, нет! В глубине души ты всегда знала правду и, даже не сознавая того, была верна ей всегда. Но почему ты меня оставила в неведении? Как могла допустить, чтобы наши пути разошлись?

— Перестань! Чтобы забыть ту, о которой тебе нужно помнить, ты начинаешь ссориться со мной. Какой смысл сейчас упрекать друг друга? Но завтра, так или иначе, мы должны что-то решить.

— Хорошо, молчу, молчу. Пусть в эту светлую почь за меня говорят цветы. — И он достал из сумки, которую

всегда носил у пояса, кисть душистых цветов. — Ты их любишь, я знаю. Можно приколоть их к твоему платью? Вот, у меня даже булавка есть.

Шорола не протестовала. Но Адитто явно не торопился окончить свою работу, и девушка встала. Несколько мгновений Адитто неподвижно стоял перед ней, глядя ей в лицо долгим, пристальным взглядом. Так в ясные тихие ночи смотрит на землю молчаливый месяц. Потом прошептал:

— Как ты прекрасна, Шори, как ты прекрасна!

Шорола резко вырвалась из его рук и убежала. Не двигаясь, Адитто долго смотрел ей вслед. Потом опустился на место, где только что сидела девушка. Подошел слуга, сказал, что ужин готов.

— Не хочу, — коротко ответил Адитто.

VI

— Ты звала, сестра? — негромко спросил Ромен из-за двери.

— Да, входи, — с трудом проговорила Ниру, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно.

Свет в комнате был погашен, окно распахнуто настежь. На постель, на лицо Ниру и на припесенные Адитто цветы падал лунный свет; все остальное скрывалось в тени. Ниру полусидела, облокотившись на подушки и глядя в сад за окном. Там, позади оранжереи, смутно темнела аллея высоких деревьев. В саду царил тишина, только легкий ветер чуть слышно шелестел в листве. Нахло цветущим манго, откуда-то издали слабо доносился гул барабанов и обрывки песни, — это в хижинах возчиков готовились к весеннему празднику холи. На полу стоял поднос с остатками сладостей и горсткой красного порошка — подарок привратника. В доме — ни звука: все боялись потревожить покой Ниру. Только птицы пересвистывались в ветвях, словно каждой хотелось оставить за собой последнее слово.

Ромен осторожно присел возле постели. Боясь заплакаться, Нироджа долгое время не решалась заговорить. Дрожали губы, от сдерживаемых рыданий перехватывало

горло. Наконец ей удалось справиться с собой; только руки продолжали судорожно сжимать несколько смятых цветков раkitника. Ниру молча протянула юноше письмо, Ромен узнал почерк Адитто.

«После стольких лет совместной жизни ты сочла возможным усомниться в моей верности, — писал Адитто. — Неловко и ни к чему обсуждать это всерьез. В теперешнем твоём состоянии все мои поступки ты истолковываешь превратно, беспричинная тревога вредит твоему здоровью. Поэтому, пока ты не успокоишься, нам лучше не видеться.

Теперь о Шороле. Я понял, что ты добиваешься ее удаления из нашего дома. Вероятно, на это придется пойти. Я подумал и решил, что иного выхода нет. Но я знаю твердо одно: всем, что у меня есть, я обязан ее дяде. Именно он, а не кто другой, указал мне мое призвание, Шорола была его сокровищем, его самой большой привязанностью. А теперь она разорена, одинока, беспомощна. Бросив ее, я совершил бы нечто непоправимое. И этого я не сделаю даже из любви к тебе.

Я решил открыть новый питомник для семян и саженцев. В Маниктале можно приобрести помещение и землю. Этот питомник я и поручу Шороле. Правда, у нас нет сейчас денег, чтобы начать дело. Придется заложить дом и сад. Только очень прошу тебя, не сердись. Ведь дядя Шоролы в свое время ссудил мне деньги без всяких процентов, хотя, кажется, для этого ему пришлось самому залезть в долги. Мало того, он снабдил меня семенами и саженцами редких деревьев и кустарников. И притом — бесплатно. Не получи я все это, пришлось бы мне до сих пор тянуть ляжку служащего, снимая за тридцать рупий в месяц какое-нибудь плохонькое жилье. И на тебе, конечно, я не смог бы жениться. После разговора с тобой я все спрашиваю себя: кто кого, собственно, приютил: я Шоролу или она меня? Если бы не ты, я, может быть, и не вспомнил бы об этом. Но теперь и тебе не следует этого забывать. Не смей думать, что она для меня обуза! Я перед ней в неоплатном долгу, и сколько бы она ни спросила, все будет мало. Я всегда думал, что вам с ней не придется встретиться. Но сейчас я отчетливо, как никогда раньше, понял: узы, соединяющие меня с ней, не из тех, что легко разорвать. Я не в силах сказать больше:

не хватает слов, чтобы передать, как мне тяжело. По-старайся все же понять меня. Ведь до сих пор еще не было так, чтобы мое горе оставляло тебя равнодушной».

Ромен перечитал письмо дважды, не произнося ни слова.

— Скажи хоть что-нибудь, Ромен-да! — задыхаясь, проговорила Ниру, но он продолжал молчать. Тогда Ниру, упав на постель, стала биться головой о подушки.

— Я плохо поступила, плохо, плохо! — словно в бреду, выкрикивала она. — Но неужели никто из вас не понимает, почему я вдруг потеряла голову?!

— Успокойся! Не то тебе станет хуже. Ты губишь свое здоровье.

— Мое здоровье! Что мне теперь до себя, когда болезнь уже разбила мне жизнь! А мое недоверие к мужу? Откуда, ты думаешь, оно? От собственной немощи, оттого, что я сама перестала верить в себя — вот откуда! Разве я теперь та Ниру, которую он называл своей милой садовницей, Лакшми своего сада? Ведь сейчас у меня отняли этот сад. Какими только нежными именами не называл меня муж! Случалось, что он поздно возвращался, и я ждала его с едой. Тогда он звал меня Аннапурной. А как хвалил он меня, когда я сама готовила ему ужин! Бывало, вечером он садился на ступеньки возле пруда, я протягивала ему убранный цветами серебряную тарелочку с бетелем, и он, смеясь, величал меня Хранительницей Бетелевой Шкатулки. Тогда он не умел обходиться без моих советов. Я была его Домоправителем, его Советником. Я была словно река со многими притоками, несущая свои воды океану. И вдруг в одно мгновение пересохли все источники, не стало в реке воды и открылось ее каменистое русло.

— Ты скоро поправишься, сестра, и тогда снова сможешь заняться своим любимым делом.

— Зачем тешить себя напрасными надеждами? Я слышала, что сказал врач. Поэтому и цепляюсь так отчаянно за свой прежний счастливый мир.

— А нужно ли это, милая? Ты всю себя отдала, столько сил вложила в создание этого мира. Что может быть выше этого? И получила ты за это сполна, — какой жеи-

щине выпадало на долю столько счастья? Если доктор сказал правду и день разлуки близок, будь щедра до конца и оставь мужу все, что было дано тебе. Не наноси ущерба доброй славе, которая сопутствовала тебе всю жизнь. Оставь по себе в этом доме светлую память.

— Да пойми же ты, у меня сердце разрывается. Бедное мое сердце! Оно горит, Ромен, оно горит! Наверное, у меня хватило бы сил оставить позади счастье прежних лет и уйти с улыбкой. Но как подумаю, что для меня уже никогда не блеснет огонек надежды на встречу — смерть сразу кажется страшной и хочется убежать от нее. Почему этой Шороле должно достаться все, чем владела я?! Неужели такова воля всевышнего?

— Не сердись, если я скажу тебе правду, Ниру. Я не совсем тебя понимаю. Почему с легким сердцем не отказаться от того, что тебе самой уже не понадобится? Разве твоя любовь — проклятье? Подумай, ведь ты собираешься своею рукой погасить в этом доме свет уважения к себе. Ты уйдешь, тебе будет все равно, но что скажут о тебе твои ближние? Не омрачай скупостью последние минуты своей ясной жизни!

Ниру безмолвно рыдала. Ромен не пытался ее успокоить. Наконец всхлипывания прекратились, и Ниру с трудом приподнялась на локте.

— Сделай мне одолжение, брат, — тихо попросила она.

— Только скажи, я готов.

— Послушай, когда у меня уже нет сил плакать, я смотрю на портрет Пармахансы. Но мое сердце глухо к его святым словам: я слишком ничтожна, чтобы их постичь. Подыщи мне хорошего наставника, иначе мне не обрести освобождения. Мирские привязанности оплетают меня. После смерти моя душа не найдет покоя и будет вечно метаться в тех стенах, где я когда-то была счастлива. Избавь же меня от этого, пожалуйста, избавь, прошу тебя!

— Но ты ведь знаешь, сестра, я самый отъявленный нечестивец и безбожник, не поклоняюсь ничему и не чту никого. Как-то после долгих уговоров мой друг затащил меня к гуру, но я сбежал прежде, чем тот опутал меня

своими сетями. Ведь даже в тюрьме рано или поздно отбываешь свой срок, а это заключение, эта тюрьма разума бессрочна.

— Ты сильный человек, Ромен, поэтому тебе не понять, чего я боюсь. Мне одно ясно: чем сильнее я барахтаюсь, тем глубже погружаюсь в трясины. У меня нет больше сил...

— Послушай, что я скажу тебе, сестра: ты не перестанешь мучиться, пока не избавишься от мысли, будто кто-то собирается тебя ограбить. Так ты никогда не успокоишься. Но попробуй твердо сказать себе: «Я оставляю все сама по доброй воле. То, что мне дорого больше всего на свете, я отдаю самому дорогому для меня человеку». В тот же миг ты почувствуешь, что страшная тяжесть больше не давит тебя, и сразу испытаешь огромное облегчение. Тогда тебе не нужен будет никакой гуру. Только скажи: «Я отдала все! Все, что имела! Я покойна и готова к долгому пути. Узы обид, страданий больше не связывают меня с миром».

— Говори, говори еще, Ромен-да. Как ты угадал, что гнетет меня? Видишь ли, раньше я была счастлива, я знала, что пужна. А теперь? Теперь я ничего не могу дать ему, никакой радости. И это для меня — самое страшное. Ну конечно, я готова отдать ему все! Сейчас же, сию минуту, зови его скорей!

— Подожди немного, милая. Тебе надо собраться с мыслями, успокоиться. Тогда тебе будет легче.

— Нет, нет, я не могу больше ждать! С той минуты, как он сказал, что уходит из дому, моя постель кажется мне погребальным костром. Если он тотчас же не вернется, я не переживу этой ночи, у меня разорвется сердце. И Шоролу позови. Я не побоюсь, я хочу сейчас же вырвать эту стрелу из своей груди.

— Не сегодня, Ниру; сейчас уже поздно.

— Я и боюсь, что будет слишком поздно. Позови их сейчас!

Нироджа моляще сложила руки и, глядя на изображение Парамахансы, воскликнула:

— Дай мне силы, господин мой! Даруй мне освобождение, отпусти недостойную грешницу! Горе заслонило от меня моего господина, из-за этого я забыла слова мо-

литв и святые обряды... Прощу тебя, Ромен-да, обещаю исполнить мою просьбу!

— Какую?

— Помоги мне на несколько минут перебраться в домашнюю молельню.

— Хорошо.

— Няня!

— Что, доченька?

— Сведи меня в молельню.

— Да что ты! Господин доктор...

— Господину доктору со смертью не справиться, так пусть не преграждает мне путь к богу!

— Отведи ее, нянька. Так будет лучше.

Когда Нироджа, бережно поддерживаемая Рошни, ушла, в комнату заглянул Адитто.

— Что такое? Где Ниру? — воскликнул он.

— Она молится.

— Молится? Ведь молельня далеко. И доктор запретил ей двигаться.

— Не мешай ей. Есть вещи важнее лекарств. Она положит к алтарю цветы и вернется.

Отослав письмо Ниродже, Адитто не подозревал, что те несколько строк, которые судьба незримо вписала в книгу его жизни, внезапно проступят с такой отчетливостью, что прочесть их ни для кого не составит труда. Вначале он собирался сказать Шороле, что им все же придется расстаться. Но когда он открыл рот, то произнес нечто совершенно противоположное. И потом, сидя на освещенных луною ступенях у пруда, Адитто признался себе, что понял истину слишком поздно. Правда, ни малейших угрызений совести он не испытывал. Он чувствовал бы себя гораздо хуже, если бы ему пришлось лгать. К тому же, — и это он знал твердо, — у него все равно ничего бы не вышло: он не мог долго скрывать свои мысли и чувства. Теперь будь что будет! В одном Адитто был убежден: без Шоролы, без ее помощи, пустота и одиночество задушат его и он станет конченным человеком.

— Я знаю, Ромен, что тебе уже все известно, — наконец проговорил он.

— Да.

— Скоро я со всем этим покончу, хватит играть в прятки.

— Но ты ведь не один. И свалить с себя груз — еще не значит избавиться от него. Существует еще и Ниру. Узы брака развязать нелегко.

— Я не хочу, чтобы между мной и Ниру стояла ложь. Согласись, ведь наша долгая дружба с Шоролой не может быть преступлением.

— Положим, что так.

— И разве мы виноваты, что не распознали глубокой любви, скрывавшейся под дружескими чувствами?

— Вас никто не обвиняет.

— Но, скрывая это теперь, я окажусь последним лгуном и предателем. Поэтому лучше во всем сознаться.

— Не нужно делать из этого тайну, но и поднимать лишний шум тоже не стоит. Все, что ей следует знать, Ниру и так уже знает, а через какое-то время этот узел страданий распутается сам собой. Так постарайся не причинять никому лишнего горя. Дай высказаться Ниродже, и ты сам поймешь, как нужно ей отвечать.

В этот момент в комнату вошла Ниру, и Ромен удалился. Увидев Адитто, молодая женщина без сил опустилась к его ногам.

— Прости меня, прости меня, — повторяла она прерывающимся от слез голосом, — я так виновата. Только не уходи, не бросай меня!

Адитто взял ее на руки и бережно уложил на постель.

— Чем ты так взволнована, Ниру? — проговорил он.

Но Ниру не могла вымолвить ни слова. Адитто тихонько погладил ее по голове. Нироджа схватила его руку, крепко прижала к своей груди.

— Скажи, что прощаешь, — прошептала она. — Иначе я и после смерти не найду покоя.

— Вспомни, Ниру, между нами и раньше случались ссоры, но это никогда не мешало нам понимать друг друга.

— До сих пор ты никогда не уходил из дому. Почему же теперь вдруг ушел? Как ты мог быть таким жестоким?

— Я был неправ. Извини меня, Ниру.

— Все ты не то говоришь. Пойми, от тебя одного все мои печали и радости. Я попробовала тебя осуждать — и видишь, до чего дошла. Ромен обещал мне позвать Шоролу. Ее еще нет?

При упоминании о Шороле Адитто почувствовал тревогу. Ему захотелось любым способом отложить этот разговор до следующего дня.

— Ночь уже. Лучше подожди до завтра, — проговорил он, запинаясь.

— Шш, мне кажется, они уже у дверей. Входите же! — крикнула она.

Ромен и Шорола остановились на пороге. Девушка коснулась ее ног в почтительном приветствии.

— Сядь рядом со мной, прошу тебя, — проговорила Нироджа и, взяв Шоролу за руку, усадила возле себя. Затем она достала из-под подушки шкатулку с украшениями, вынула оттуда жемчужное ожерелье и надела на шею Шороле. — Я всегда хотела, чтобы в этом ожерелье меня положили на погребальный костер, — медленно сказала она. — Но так будет лучше. Носи его до последнего своего часа. Вот он знает, сколько раз по праздникам надевала я это ожерелье. На твоей шее оно будет напоминать ему о тех днях.

— Что ты, диди, я недостойна такого подарка! Не нужно, пожалуйста, не нужно! — воскликнула Шорола.

Нироджа считала, что этот подарок должен свидетельствовать о ее великодушии, и сама не сознавала, что невольно дала волю тайной ревности. Шорола же не знала, куда деваться от стыда и обиды, и Адитто это сразу понял.

— Лучше дай его мне, Шорола! — поспешно сказал он. — Никому оно не может быть так дорого, как мне. Я не хочу расставаться с ним.

— Бог ты мой! — воскликнула Ниру. — Я ничего не могу объяснить как следует! Я слышала, ты собралась уходить от нас. Так вот, я этого не допущу. Пусть ожерелье будет знаком того, что я оставляю на тебя весь дом. Ну вот я и передала тебе свои обязанности. Теперь могу умереть спокойно.

— Но ты ошибаешься, диди. Пожалуйста, не нужно связывать меня обещаниями, из этого ничего хорошего не получится.

— Что ты сказала?

— То, что думала. До сих пор на меня действительно можно было положиться. Но теперь, — говорю это при всех, — мне доверять не стоит. Я не хочу у других отнимать то, в чем судьба отказала мне самой. Прими мой поклон и прощай. Я не чувствую себя виноватой. Во всем виноват только тот, кому я молилась утром и вечером. Но теперь и с этим покончено.

Шорола умолкла и стремительно выбежала из комнаты. Адитто последовал за ней.

— Что происходит, Ромен? Скажи наконец, в чем дело?

— Я же просил тебя не звать их сегодня.

— Но почему? Почему? Я ведь говорила от чистого сердца! Неужели она ничего не поняла?

— Она поняла все отлично. Поняла, что ты говорила неискренне. Нехорошо получилось...

— Бог мой, почему я разучилась говорить искренне! Даже горе не научило меня! Кто поможет мне, кто спасет? Ведь у меня никого нет.

— А я? Я позабочусь о тебе. Сейчас постарайся заснуть.

— Не могу. Какой там сон! Если он снова уйдет из дому, я засну уже навсегда.

— Он не может уйти сейчас. Не может и не захочет. Вот прими снотворное. Я побуду рядом, пока ты не уснешь.

— Нет, нет, Ромен, иди посмотри, куда они пошли. Или я сама пойду за ними... Пусть даже умру...

— Хорошо, хорошо, будь по-твоему, — проговорил Ромен, выходя из комнаты.

VII

Увидев рядом с собой Адитто, Шорола воскликнула:

— Зачем ты ушел?! Зря ты это сделал. Вернись. Я не допущу, чтобы и ты запутался вместе со мной.

— Это от тебя уже не зависит. Все и так запутано. Плохо ли, хорошо, но то, что случилось, не наших рук дело.

— Об этом потом, а сейчас вернись и успокой больную.
— Но нам же надо поговорить о новом питомнике..
— Только не сейчас. Дай мне несколько дней подумать спокойно. Сейчас я просто не в силах что-либо решить.

В это время к ним подошел Ромен.

— Иди-ка, брат, дай ей лекарство, и пусть она заснет, — проговорил он. — Поторопись. И не позволяй ей говорить. Уже очень поздно.

Адитто ушел, и тогда Шорола внезапно спросила:

— Кажется, у вас завтра митинг в парке Шрадхановдо?

— Да, а что?

— Ты на нем будешь?

— Надо бы, но теперь не придется.

— Почему?

— Не все ли равно?

— Тебя же назовут трусом.

— Мнение моих противников меня не трогает.

— Тогда послушай: я помогу тебе. Только на митинг все-таки придется пойти.

— Что ты задумала?

— Я пойду с тобой и понесу знамя.

— Ага, теперь понимаю!

— Пусть вмешивается полиция, а ты оставайся в стороне. Тебе ясно?

— Хорошо, мешать не стану.

— Значит, договорились?

— Договорились.

— Тогда выходим вместе завтра в пять.

— Только ведь потом эти негодля-полицейские вместе нас не оставят.

К ним снова подошел Адитто.

— Так быстро?! — удивленно спросила Шорола.

— Она двух слов не успела сказать и тут же заснула, а я потихоньку вышел.

— Ну, мне пора, у меня еще много дел, — сказал Ромен.

— Не забудь приготовить для меня жилье, — улыбнувшись, проговорила Шорола.

— Не бойся, все будет в порядке. Место знакомое, — в тон ей ответил Ромен и ушел.

Шорола сидела, Адитто молча стоял перед ней. Наконец она тихо сказала:

— Прошу тебя, сегодня не говори мне больше ничего.

— Хорошо.

— И выслушай, пожалуйста, меня. Только обещай не прерывать.

— Обещаю, если смогу.

— О том, чтобы остаться здесь, не может быть и речи. Конечно, я была бы рада ухаживать за ней, но сейчас она этого не вынесет. Значит, мне пришлось бы жить здесь наперекор ее желанию. Подожди, не перебивай! Ты слышал, доктор сказал, что дни ее сочтены. Постарайся эти дни ничем ее не ранить. Пусть хоть последние часы моя тень не омрачает ее жизни.

— Но что я могу, если сам стал твоею тенью?

— Нет, нет! Не смей говорить о себе так плохо! Ты же не избалованный мальчишка, у которого характер мягче глины? Я ведь знаю, ты не такой! — Она схватила его за руку: — Прошу тебя, ухаживай за ней, как это делала бы я. Будь с ней великодушен. Заставь позабыть про ту, которая появилась, чтобы разбить ее счастье.

Адитто стоял неподвижно.

— Обещай мне это!

— Хорошо, но и ты обещай мне кое-что.

— Мы с тобой отличаемся тем, что я всегда прошу о выполнимом, а ты — о невозможном.

— То, о чем я прошу, — возможно.

— Тогда говори.

— Сотни раз я повторял это про себя, теперь наконец произнесу вслух. Мне нечего стыдиться. Я готов с радостью выполнить все, о чем ты просишь, если буду уверен, что потом ты заполнишь пустоту вокруг меня... Почему ты молчишь?

— Разве можно знать, какие могут возникнуть препятствия?

— Эти препятствия — в тебе самой? Скажи сейчас.

— Не мучай меня. Неужели ты не понимаешь, что есть вещи, о которых нельзя говорить, — они гасят любой свет.

- Хорошо. Понял и ухожу.
- И не обернешься?
- Нет. Но мне хочется, чтобы на губах твоих сохранилось невысказанное обещание.
- Оставь. Не придавай этому такого значения.
- Хорошо. Но могу я хотя бы спросить, что ты будешь делать и где собираешься жить?
- Об этом позаботился Ромен-да.
- Ты хочешь жить у него? Разве у этого бродяги есть своя крыша?
- Не беспокойся. Это вполне надежное убежище. Правда, не он там хозяин, но протестовать никто не будет.
- Я буду знать, где это?
- Обязательно, даю тебе слово. Но обещай, что пока не станешь пытаться встретиться со мной.
- И ты будешь спокойна?!
- Не знаю. А если и нет, то никто, кроме всевышнего, этого не узнает.
- Неужели ты так и уйдешь, ничего не кинув в плоску нищего?

Глаза Адитто лихорадочно блестели. Шорола подошла совсем близко и подняла голову навстречу склоненному над ней лицу.

IX

- Рошни!
- Да, дочка?
- Почему не видно Шоролы?
- Ой! Неужели ты не знаешь, что ее забрали?
- За что?
- Она сговорилась с привратником и залезла в дом к жене вице-короля.
- Зачем?
- Говорят, хотела украсть из шкатулки королевскую печать.
- Для чего это ей понадобилось?
- Ну, с печатью-то все можно сделать. Даже и самого вице-короля повесить можно. Этой печатью вся страна запечатана.

— А где Ромен-да? Что с ним?

— Он все устраивал, он ее и спрятал в охотничьем домике, — пойдет теперь на пятьдесят лет камень дробить. Что я хотела у тебя спросить, доченька: перед уходом Шорола подарила мне свое желтое сари. Сказала: «Возьми для невестки». Я даже расплакалась, — ведь сколько ей доставалось от меня... Так не отберут у меня это сари, как ты думаешь?

— Нет, нет, не бойся. А сейчас принеси мне газеты. Но вот газеты просмотрены.

«Почему же Адитто ничего не сказал? — с удивлением думала Нируджа. — Неужели он настолько презирает меня? Эта девчонка попала в тюрьму — и все-таки сумела победить. А я? Будь я здорова, могла бы я сделать то же самое? Могла бы с улыбкой пойти на смерть?»

— Ну что, Рошни, видала теперь, какова ваша Шорола? И это называется «девушка из хорошего дома».

— Правда твоя, госпожа. И вспоминать-то про нее не хочется! Подумать только, воровством занялась. Ай-йй-йй!

— А все это показное благородство! Да что там говорить — у ней, как у всех растратчиков, конец один: начала с распродажи сада, кончила тюрьмой. Уж они такие: умирать будут, а со спесью не расстанутся.

Рошни вспомнила шафрановое сари и сказала:

— А все же, дочка, сердце у нее доброе.

Ниру вдруг будто ударили. Словно разом пробудившись ото сна, она торопливо заговорила:

— Верно, Рошни. Я, конечно, не права. Это из-за болезни я стала такой злой. Господи, мне хочется умереть со стыда! Ну, конечно, Шорола — прекрасная девушка, и она никогда не лжет. Таких теперь днем с огнем не найдешь. Она в сто раз лучше меня. Сейчас же позови мне Гонеша!

— Сумеешь передать это письмо Шороле-диди в тюрьму? — спросила Ниру.

— Конечно, сумею, — ответил Гонеш, счастливый оказанным ему доверием. — Но только, госпожа, хорошо бы мне знать, про что вы ей там пишете, — а то вдруг письмо попадет в руки полиции?

Ниру медленно прочла: «Я преклоняюсь перед тобой. Когда ты выйдешь из тюрьмы, то увидишь, что наши с тобой дороги слились в одну».

— Вот тут про дороги как-то неясно написано. Лучше бы сначала посоветоваться с нашим адвокатом, — важно заметил Гонеш и вышел.

«Помоги, научи меня, Ромен-да!» — как молитву, повторяла про себя Ниру.

Х

С лекарством и чашкой в руках в комнату вошел Адитто.

— Что такое? — спросила Ниру.

— Доктор велел давать тебе это каждый час.

— И не нашлось в доме слуг, чтобы принести? Тогда взял бы сиделку на дневное время, если тебе так уж нужно, чтобы я глотала все это.

— Не хочется лишать себя предлога повидать тебя лишний раз.

— Мне будет гораздо приятнее, если ты улучишь минутку для работы в саду. Я лежу, а он с каждым днем все больше зарастает.

— Ну и пусть. Поправляйся сначала, потом вместе все расчистим.

— Я понимаю, Шоролы нет, и тебе одному ничего не хочется делать. Но возьми себя в руки — иначе тебя ждут убытки.

— Я не думаю о выгоде. Ты первая всегда заставляла меня забывать о том, что садоводство — это мой заработок. Потому оно и доставляло мне столько радости. А сейчас мне все равно.

— Зачем отчаиваться? До сих пор у тебя все шло успешно. Не стоит так падать духом от временных неприятностей.

— Включить вентилятор?

— Не суетись. Это не мужское дело. Своей заботой ты меня только беспокоишь. Если тебе некуда девать время, отправляйся в Сельскохозяйственный клуб.

— Ты любишь красные лилии, но сегодня я не нашел ни одной... В этом году все очень плохо цветет, должно быть, из-за засухи.

— Не болтай чепухи. Позови мне лучше Холлу — попробую лежа тут заняться делами. Или ты хочешь сказать, что из-за моей болезни должен пропасть весь сад? Тогда слушай: вели выкопать все однолетние цветы и кустарники и подготовь там землю. У меня под лестницей хранится ядичек с проросшими семенами. Ключ от камеры у Холлы.

— Но он ни слова не говорил мне об этом!

— А зачем ему говорить? Разве мало вы и так его обижали? Молодые господа терпеть не могут старых слуг.

— Ну, если я начну сейчас говорить, что я о нем думаю, то мы непременно поссоримся.

— Увидишь, как быстро изменится сад, когда я припрусь за него с помощью Холлы. Дай-ка мне план сада. И мой садовый дневник. Сейчас я все тут размечу на плане.

— А мне ты не позволишь участвовать в этом?

— Нет. Перед тем как уйти, я хочу оставить себя в стройных рядах кустов и деревьев и в пышных клумбах цветов. Вот эту пальмовую аллею вдоль дороги я уничтожу совсем и посажу тут кустарник. Не качай головой, увидишь, как все будет хорошо. И этот газон тоже убери, — вместо него будет стоять мраморный алтарь.

— Подойдет ли сюда мраморный алтарь? Мне кажется, это будет дешевой роскошью...

— Помолчи. Очень даже подойдет. И тебе не захочется спорить, когда ты увидишь. Пускай хоть на несколько дней сад станет моим, только моим. А потом я подарю его тебе. Ты думал, у меня уже нет сил? Хорошо, я покажу тебе, что я могу. Мне нужны три садовника и несколько рабочих, понял? Однажды ты сказал, что я ничего не смыслю в планировке сада. Посмотрим! Помни же, помни всю жизнь: этот сад мой, мой, только мой и я останусь в нем навсегда.

— А я? Что делать мне?

— Займись магазином. Там тебе дела хватит.

— И нельзя находиться возле тебя?

— Теперь мне это уже ни к чему. Сейчас я могу думать только об одном человеке, но и это не имеет значения.

— Хорошо. Дай знать, когда захочешь видеть меня, и я приду. Да, я принес жасмин, он будет вот тут на постели.

Адитто поднялся, но Ниру схватила его за руку.

— Не уходи, подожди минутку. Ты знаешь, что это за цветы? — спросила она, указывая на букет в вазе.

— Нет, — ответил Адитто, уверенный, что этот ответ обрадует ее.

— Зато я знаю. Хочешь скажу? Петунья! А ты думаешь, будто я дурочка и ничего не смыслю.

— Ты же моя половина, — улыбнулся Адитто, — и если глупишь, то так же, как я. Мы и глупость поделим поровну.

— Я свою долю уже истратила. Вон тот привратник, который покуривает трубочку у стены напротив, будет так же стоять там, когда меня уже не станет, угольная тележка по-прежнему будет каждый день развозить уголь и возвращаться пустой, а сердце мое уже не будет биться. — Она судорожно сжала руку Адитто: — Неужели от меня ничего не останется? Совсем ничего? Ты много читал, много знаешь, скажи мне правду!

— Я знаю не больше тех, кто писал об этом. И так же, как они, я доходил только до врат смерти. Еще никому не удавалось заглянуть дальше.

— Но ты-то сам как думаешь? Я уйду совсем? Совсем-совсем?

— Если возможно наше существование в этом мире, то почему не допустить такую возможность и в том?

— Да, да, конечно. Ведь не может получиться, что сад останется, а меня не будет. Вечерами в меркнушем свете дня будут так же слетаться птицы в свои гнезда и так же будут качаться ветви перед моими глазами. Помни же, я здесь, я живу. Ведь сад — это я, я сама! И когда ветер растреплет твои волосы, знай, это будет прикосновение моих пальцев. Слышишь?

— Да, — тихо отозвался Адитто; скажи он это громко, от нее не укрылась бы нотка недоверия в его голосе.

— Все твои умные писаки, — продолжала возбужден-

но Ниру, — ничего не смыслят. Слушай меня, я знаю лучше: я буду жить здесь всегда и всегда буду возле тебя! Так же как теперь, и даже лучше, я буду видеть каждое дерево в саду. Только это никому уже не будет нужно. Никому!

Она с усилием приподнялась и села, облокотившись на подушки. Теперь ее тон изменился.

— Пожалей меня, прошу тебя, — жалобно воскликнула она. — Я так люблю тебя! Обещай, что никогда не прогонишь меня из дома, куда с такой любовью когда-то ввел сам. И так же, как и прежде, мысленно будешь дарить мне все цветы. Я не смогу здесь остаться, если ты обойдешься со мной жестоко. И не отбирай у меня сад, а то мне придется вечно скитаться в холодной пустоте.

Из глаз Ниру хлынули слезы. Адитто пересел к ней на постель, прижал ее голову к своей груди и стал тихо гладить по волосам.

— Не убивайся так, Ниру, тебе станет хуже, — проговорил он.

— Мне все равно. Кроме тебя и вот этого сада, мне больше ничего не нужно. Послушай, что я скажу, только не сердись, пожалуйста. — Голос ее вдруг задрожал и оборвался. Кое-как справившись с собой, Ниру продолжала: — Я была несправедлива к Шороле. Этого больше не будет, клянусь тебе. За то, что было — прости. Только ты люби меня, одну меня, слышишь? Тогда я на все для тебя готова.

— От болезни у тебя помутился разум, Ниру. Ты напрасно тревожишься.

— Подожди. Сегодня ночью я поклялась, что утром обниму Шоролу, как сестру. Помоги мне выполнить клятву. Только скажи, что любишь, — и я стану щедрой и доброй ко всем.

Адитто, не отвечая, покрывал поцелуями ее лицо и лоб. Глаза Ниру затуманились... Немного погодя она проговорила:

— Я считаю дни, которые остались до освобождения Шоролы. Только бы мне не умереть раньше! Хотя... я и сейчас не очень уверена, что встречу ее с открытым сердцем. А теперь зажги свет. Почитай мне «Эшу» Борала.

Она вынула из-под подушки книгу, и Адитто начал читать.

Ниру уже засыпала, когда в комнату с письмом в руках вошла нянька. Ниру вздрогнула и очнулась. Ее сердце билось глухо и тяжело. Один из друзей сообщал Адитто, что тюрьма переполнена и несколько заключенных освободили досрочно. Среди них оказалась Шорола. Радостное волнение охватило Адитто. Он задержал дыхание, стараясь ничем не выдать свою радость.

— От кого это? О чем? — долетел до него вопрос Ниру.

Боясь, что у него дрогнет голос, Адитто молча протянул ей письмо. Ниру пристально взглянула на мужа. И, хотя Адитто не произнес ни слова, она сразу догадалась обо всем. Что-то сжало ей горло... Через некоторое время она твердо сказала:

— Что ж, дольше ждать нельзя. Пусть она придет теперь же. Приведи ее ко мне.

— Что такое? Что с тобой, Ниру? Нянька, доктора, быстрее! Где он?

— В гостиной.

— Скорее зови его! Ах, вот и вы, доктор! Подумайте, только сейчас она так бодро и весело говорила — и вдруг потеряла сознание.

— Помогите, доктор, мне еще нельзя умирать, — раздался ее голос, — сначала я должна увидеть Шоролу. А то будет плохо. Хочу благословить ее. Благословить на прощанье.

Ниру закрыла глаза. Крепко стиснула руки.

— Я сдержу свое слово, Ромен-да, я умру щедрой, — послышался шепот.

Сознание стало покидать ее, мир сделался смутным и расплывчатым. Затем, как в гаснущем светильнике, огонек жизни вспыхнул снова.

— Когда придет Шорола? — спросила она. Потом прошептала: — Няня!

— Что, милая?

— Позови скорее Ромена.

И еще раз шевельнулись ее губы:

— Что будет со мной дальше, Ромен-да? Я готова, я отдам все, что имею.

Десять вечера. В углу комнаты Ниру тихо светится ночник. Ветер пахнет чампаком. За окном стеной чернеет сад; в небе над ним — созвездие Ориона. Думая, что Ниру забылась, Адитто оставил Шоролу за дверью и осторожно подошел к постели. Ему показалось, что кто-то неслышно шепчет молитву. Он увидел измученное лицо, на котором жизнь и смерть были рядом.

— Шорола здесь, — шепнул он, нагнувшись. Глаза чуть приоткрылись, и он явственно расслышал, как Ниру сказала:

— Выйди!

Когда он шагнул за порог, с уст ее слетело еще одно слово: «Роме-да», но ей никто не ответил.

Шорола подошла к постели. Она протянула руку, чтобы почтительно коснуться ног Ниру, но вдруг тело больной изогнулось, словно его ударило молнией, и ноги конвульсивно дернулись в сторону.

— Я не смогла, — послышался странный, разбитый голос, — я не смогла и не смогу!

Глаза умирающей разгорелись, как вечерние звезды. С неизвестно откуда взявшейся силой она неожиданно схватила Шоролу за руку, и голос ее стал пронзительным:

— Нет тебе здесь места, ведьма, воп отсюда! Я, я сама буду здесь, я останусь здесь навсегда!

И вдруг, полураздетая, бледная, как призрак, она поднялась с постели и встала перед Шоролой. Странно и зловеще звучали ее слова:

— Беги отсюда скорее! Беги! Беги! А не то днем и ночью я буду метать в тебя стрелы и высосу всю кровь до последней капли!..

И тут она рухнула на пол.

Когда, услышав ее голос, в комнату вбежал Адитто, страшный стон, отнявший последние силы Ниру, вместе с дыханием замер на ее губах.



РАССКАЗЫ

1911—1933





*Переводы
под редакцией
Е. Алексеевой и С. Цырина*





СЫН РАШМОНИ

I

Рашмони приходилось быть не только матерью, но и отцом. А все потому, что муж ее — Бхобаничорон не проявлял никакой строгости к сыну Калиподу. Но, как известно, баловать ребенка вредно.

Бхобаничорона нередко спрашивали, почему он так любит сына. Ответ всегда бывал один. Вы спросите почему? Чтобы понять это, надо вернуться к прошлому.

Отец Бхобаничорона — Обхойачорон происходил из богатого знатного рода, известного в Шанияри. Когда после смерти первой жены, от которой у него был сын Шьямачорон, он, будучи уже в годах, женился вторично, его новый тесть записал поместье Алонди на имя своей дочери.

«Если дочь овдовеет, — думал он, учитывая преклонный возраст зятя, — ей не придется зависеть от сына первой жены».

Первое его предположение вскоре сбылось. Не успел Бхобаничорон появиться на свет, как Обхойачорон скончался. Уверившись в том, что дочь вступила во владение своим наследством, и не беспокоясь больше о ее судьбе, тесть и сам отправился в мир иной.

В то время Шьямачорон был уже немолод. Бхобаничорон родился всего на год позже его старшего сына, и Шьямачорон растил его вместе со своими детьми. Он не

взял ни пайсы из денег матери Бхобаничорона, каждый год представлял мачехе подробный отчет в делах и брал у нее расписку.

Его благородство поражало всех. Конечно, многие считали, что подобная шепетильность ни к чему и что она равносильна глупости. В деревне никому не нравилось, что часть неделимого отцовского состояния попала в руки второй жены. Если бы Шьямачорон уничтожил завешание отца с помощью какой-нибудь уловки, соседи стали бы восхвалять его мужество. Нашлось немало почтенных людей, которые давали ему советы, как половчее это проделать. Но Шьямачорон, нарушив исконные права наследования, оставил имущество мачехи в полной неприкосновенности.

По этой причине, а также в силу своей любвеобильности, — мачеха Шьямачорона — Броджошундори любила его как родного сына и безгранично ему доверяла. Не раз ставила она ему в упрек, что он относится к ее состоянию как к чужому. «Сынок, — говорила она, — к чему мне все эти счета? Это все твое, не возьму же я с собой наследство на небо».

Но Шьямачорон пропускал ее упреки мимо ушей.

Со своими детьми он был очень строг, однако эта строгость на Бхобаничорона не распространялась. Все в один голос твердили, что Шьямачорон любит его больше собственных сыновей. Из-за этого Бхобани ничему не учился. Дожив до солидного возраста, он так и остался ребенком и во всем полагался на старшего брата. О делах ему не приходилось беспокоиться, лишь время от времени он подписывал бумаги, даже не интересуясь, зачем нужна его подпись. Впрочем, если бы он и попытался узнать, то все равно ничего бы не понял.

Тем временем старший сын Шьямачорона — Тарапод стал правой рукой отца и приобрел большой опыт в делах. После смерти отца Тарапод сказал Бхобаничорону: «Дядя, мы не сможем жить вместе. Кто знает, вдруг поссоримся из-за чего-нибудь, — тогда семье конец».

Бхобаничорону и не снилось, что настанет день, когда ему придется заботиться о себе самому. Он привык считать неделимой семью, в которой рос с детских лет, и страшно огорчился.

Тарапода же нисколько не волновали ни честь семьи, ни переживания родственников. И Бхобаничорону пришлось задуматься над тем, что казалось ему невозможным: как произвести раздел имущества. Его озабоченность немало удивила Тарапода. «В чем дело, дядя? — спросил он. — Стоит ли над этим ломать голову? Имущество давно поделено. Дедушка поделил его при жизни».

Бхобаничоран был ошеломлен.

— В самом деле? А я ничего об этом не знал.

— Странно! — удивился Тарапод. — Не знали? Да об этом знают все. Дедушка с самого начала отделил вас, записав поместье Алонди на ваше имя для того, чтобы между нами не было никаких недоразумений.

«Вполне возможно», — подумал Бхобаничорон.

— А этот дом? — спросил он.

— Если хотите, можете оставить его за собой, мы как-нибудь и в городе проживем.

Бхобаничорон был поражен великодушием Тарапода, видя, с какой легкостью тот расстаётся с отцовским домом.

В городском доме Бхобаничорон никогда не был и не испытывал к нему никакой привязанности.

Когда Бхобани рассказал обо всем матери, та хлопнула себя ладонью по лбу.

— О, боже, как же так! Ведь поместье Алонди я получила в дар, чтобы ни от кого не зависеть. Оно не так уж и велико. Разве тебе не полагается доля отцовского наследства?

— Но Тарапод говорит, что отец ничего не оставил нам, кроме этого поместья.

— Так я ему и поверю. Глава семьи собственноручно написал завещание в двух экземплярах. Один из них хранится у меня в сундучке.

Открыли сундук. Дарственная на имение Алонди была на месте, завещание исчезло.

Пригласили на совет Боголачорона, сына местного священнослужителя. Он был дельцом и, по общему мнению, отличался блестящим умом. Итак, отец вершил небесные дела жителей деревни, а сын — земные. Не знаю, как жители, но отец и сын преуспевали.

— Завещание не обнаружено, — заявил Боголачорон, — значит, наследство поровну делится между двумя братьями.

В это время представила завещание другая сторона. Из него следовало, что Бхобаничорон не получает ничего. Все состояние было завещано внукам. Это завещание было составлено в то время, когда у Обхойачорона еще не родился второй сын.

Избрав Боголачорона своим кормчим, Бхобани пересек океан судебных тяжб. Когда же он добрался до берега и заглянул в свой сундук, то обнаружил, что гнездо золотой совы богини Лакшми опустело, только на дне лежат два-три золотых перышка. Отцовское состояние досталось Тараподу. А того клочка имения Алонди, который сохранился после разорительной тяжбы, хватит только на то, чтобы кое-как сводить концы с концами, о поддержании родовой чести нечего было и думать. Хорошо, что старый дом достался ему. Бхобани считал это большой победой. Тарапод переехал в город, и с тех пор семьи больше не встречались.

II

Предательство Шьямачорона поразило Броджошундори в самое сердце. Как мог он украсть завещание отца и тем самым нарушить его волю? Она частенько повторяла со вздохом: «Этот грех не простится».

— Я ничего не понимаю в судах и законах, — чуть ли не каждый день заверяла она Бхобаничорона, — но послушай, что я тебе скажу, ты еще увидишь завещание моего мужа.

Постоянно слыша от матери эти слова, Бхобаничорон преисполнился радужных надежд. Поскольку сам он был ни к чему не способен, эти заверения действовали на него успокоительно. Он не сомневался в том, что предсказания добродетельной женщины сбудутся и принадлежащая ему часть наследства сама собой вернется к нему. После кончины матери эта уверенность укрепилась в нем, потому что смерть сделала ее в глазах Бхобаничорона святой. Ни нужда, ни лишения, ни отказ от прежних

привычек, казалось, не трогали его. Он считал все это временным и каким-то нереальным. Поэтому, когда вместо рваного даккского дхоти ему пришлось купить дешевое, из грубой ткани, он лишь усмехнулся. Праздник Пуджи он уже не справлял с прежней пышностью, и гости, тяжело вздыхая, вспоминали былые времена. А Бхобаничорон продолжал в душе смеяться. «Они не знают, — думал он, — что все это ненадолго, а потом мы отпразднуем Пуджу с такой пышностью, что все ахнут».

Он так ясно представлял себе весь этот блеск, что не замечал бедности.

Главным его собеседником был слуга Нотабихари. Сколько раз они обсуждали во всех подробностях, как отпразднуют Пуджу, когда наступят лучшие дни. Они даже спорили о том, кого приглашать и вызывать ли из Калькутты театральную труппу.

Слуга был скуп, и это проявлялось при составлении списка гостей, за что Бхобаничорон не раз отчитывал его.

Словом, Бхобаничорон не сомневался в том, что богат. Его тревожило лишь то, что не было наследников. У него до сих пор не было детей. Когда благожелатели, обремененные дочерьми, предлагали ему взять вторую жену, он не отказывался. Но не потому, что ему хотелось чего-то новенького; он считал, что с годами жена не становится хуже так же, как слуги или рис.

Когда же у него родился сын, все в один голос заявили: в этот дом вернется счастье и это первый признак — сам покойный хозяин Обхойачорон вновь появился на свет, глаза у ребенка миндалевидные, совсем как у него. Сочетание светил в гороскопе ребенка тоже предвещало возвращение богатства.

После рождения сына Бхобаничорон переменялся. Раньше он легко мирился с бедностью, она была для него своего рода забавой. Теперь же у него появился долг по отношению к ребенку, родившемуся по воле планет для того, чтобы вновь зажечь родовой светильник в доме знаменитых Чоудхури из Шанияри. Бхобаничорон не переставал горевать, что сын его впервые в истории рода лишен всех благ, которые полагались ему с самого дня рождения. «Я не смог дать ему того, что получали

все в роду и что получил я сам, — думал он, — я его обманул».

Лишения, которые выпали на долю Калипода, отец пытался восполнить непомерной любовью.

Жена Бхобаничорона — Рашмони была человеком иного склада. Ее совершенно не волновала родовая честь Чоудхури из Шанияри. Муж знал об этом и про себя снисходительно улыбался: можно простить это женщине, родившейся в обыкновенной вишнуйтской семье. В силах ли она понять, что такое родовая честь Чоудхури?!

Рашмони и сама это признавала. «Я из бедной семьи, — говорила она, — что мне гордость и честь, был бы жив Калипод, это мое самое большое богатство».

Ей не было дела до разговоров о том, что завещание обнаружится и благодаря Калиподу снова наполнится пересохшее русло похищенного богатства. Не было человека, с которым ее муж не говорил бы о потерянном завещании. Только с женой он этого не обсуждал. Правда, раза два он попытался заговорить с ней, но ничего у него не получилось. Она и слышать не желала ни о прошлом, ни о будущем, ее занимало только настоящее.

А нужд хватало. Вести хозяйство было нелегко. Уходя, Лакшми оставляет в доме часть своей ноши, не заботясь о том, смогут ли ее нести. Семья была почти разорена, но приживальщики не уходили. А Бхобаничорон был не тем человеком, который, испугавшись нужды, может указать кому-нибудь на дверь.

Время всей своей тяжестью легло на плечи Рашмони. Никто не помогал ей. Когда семья жила в достатке, приживальщики наслаждались счастьем и бездельем. Фамильное древо Чоудхури бросало прохладную тень на их пиршественное ложе, и плоды его сами сыпались им в рот. Поэтому любую просьбу о помощи они воспринимали как величайшую обиду. От кухонного чада у них болела голова, а если нужно было куда-нибудь сходить, их приковывал к постели неведомо откуда взявшийся ревматизм, и даже дорогие снадобья, приобретенные у знахаря, не могли облегчить их страданий. Кроме того, Бхобаничорон говорил, что нельзя превращать в слуг тех, кому даешь приют, тогда пропадает весь смысл гостеприимства, — в доме Чоудхури это не принято.

Итак, Рашмони не знала покоя ни днем, ни ночью. К каким только уловкам ни прибегала она, чтобы заткнуть многочисленные прорехи в хозяйстве. Вечная борьба с нищетой, стремление сэкономить каждую пайсу ожесточают человека. Его не выносят даже те, ради кого он гнет спину. Рашмони приходилось не только готовить пищу, но зачастую и добывать ее, а нахлебники, наслаждавшиеся послеобеденным сном, ругали ее стряпню, да и самое Рашмони.

На Рашмони лежали не одни только домашние дела, ей приходилось следить за теми крохами, что остались от их земельных владений, проверять счета, заботиться о сборе податей и делать многое другое. Никто еще не был так строг с податями и всеми остальными платежами. Деньги в руках Бхобаничорона являли собой полную противоположность Абхиманью — они умели находить путь лишь наружу, искусство пробираться внутрь было им неизвестно. Заставить кого-нибудь расплатиться с долгами было выше его сил. Рашмони же не прощала никому даже четверти пайсы из того, что ей причиталось. Поэтому не только арендаторы, но даже сборщики податей, которым надоела ее дотошность, не упускали случая отругать ее за мелочность, присущую ее роду. Иногда Бхобаничорон робко возражал против скупости и грубости жены, которые, как он говорил, вредили чести его всемирно известного рода. Рашмони пренебрегала этими упреками и делала все по-своему, неся на своих плечах всю тяжесть вины, и охотно признавала, что родилась в семье бедняка и нравы богачеев ей чужды. Никто не любил ее ни в доме, ни в деревне. Подвязав край сари к поясу, она ураганом носилась по дому, успевая переделать все дела. и никто не осмеливался помешать ей.

Она никогда ни о чем не просила Бхобаничорона, напротив, ее постоянно одолевал страх, что муж вдруг решит во что-нибудь вмешаться.

— Ни о чем не беспокойся, тебя это не касается, — говорила она ему. Главное, не подпускать мужа к делам. И поскольку с самого рождения он отлично приспособился к полному бездействию, жене не приходилось его уговаривать. У Рашмони долго не было ребенка, и в ее чувстве к беспомощному, непрактичному мужу слились

любовь жены и материнская нежность. Он был для нее взрослым ребенком.

После смерти свекра она осталась и главой семьи, и хозяйкой дома. Она с такой решительностью ограждала мужа от дурного влияния сына священнослужителя и от других напастей, что приятели Бхобаничорона боялись ее как огня. Ей не присуще было приличествующее женщинам умение скрывать свою резкость, смягчать прямоту суждений и, как подобает, хранить застенчивость в мужском обществе.

До сих пор Бхобаничорон подчинялся ей во всем, только не в том, что касалось сына.

Рашмони смотрела на сына иными глазами, чем Бхобаничорон. О муже она думала: «Бедняга родился в богатой семье, что он может сделать с собой!» Его нельзя обречь на лишения. И несмотря на нехватки, она выбивалась из сил, чтобы, насколько это возможно, обеспечить мужа всем тем, к чему он привык. Она была скупа в расчетах с чужими людьми, что же касается Бхобаничорона, то щедрость ее не знала границ, она делала все, чтобы он не чувствовал нужды. А если не могла чего-нибудь купить, говорила:

— Ах, проклятая собака! Сунула морду в кушанье, и все пришлось выкинуть.

И она принималась упрекать себя за воображаемую неосторожность. В другой раз она ругала Ното, который по глупости потерял только что купленную одежду. Бхобаничорон тут же вступался за любимого слугу, спасая его от гнева супруги. Случалось даже такое — Бхобаничорон с улыбкой признавался, что Ното сам помогал ему надевать эту одежду, а потом... Бхобаничорону не хватало воображения, чтобы придумать, что случилось потом, и Рашмони сама добавляла недостающие подробности.

— Наверняка ты оставил одежду в гостиной. А туда заходят все, кому не лень. Вот и украли.

Однако отношение к мужу ни в коей мере не распространялось на сына. Она носила его под сердцем. Какие тут могут быть господские привычки! Он станет самостоятельным, трудолюбивым, деловым человеком, легко будет переносить все несчастья и сам заработает себе на жизнь. Ему не пристало быть капризным и привередли-

вым. Во всем, что касалось еды и одежды, Рашмони держала Калипода в черном теле. На завтрак ему давала только жареный рис и патоку, а от холода его защищал неуклюжий балахон. Пригласив учителя, Рашмони велела ему не допускать никаких послаблений и относиться к сыну построжее.

Тут-то все и началось. С некоторых пор нерешительный Бхобаничорон стал проявлять непокорность, но Рашмони делала вид, что ничего не замечает. Она была сильной стороной, и волей-неволей Бхобаничорону пришлось сдаться, однако в душе его назревал протест. Можно ли спокойно смотреть на то, как ребенка из такого дома одевают в какой-то безобразный балахон и кормят жареным рисом с патокой?

Бхобаничорон до сих пор не забыл, какой восторг он испытывал, надевая в праздник Пуджи новую одежду. В прежние времена даже слуги в их доме отказались бы от дешевенького наряда, который Рашмони ухитрилась купить для Калипода по случаю Пуджи. Сколько раз Рашмони пыталась объяснить мужу, что Калипод доволен тем, что имеет, ведь он ничего не знает о прежней жизни.

— Ну что ты понапрасну расстраиваешься? — говорила она. Но Бхобаничорон был вне себя оттого, что бедняга Калипод понятия не имеет о величии своего рода и потому стал жертвой обмана. И когда Калипод, получив в подарок какую-нибудь ничтожную вещицу, прибежал к отцу похвастаться и танцевал от радости и гордости, это еще сильнее уязвляло Бхобаничорона, и он спешил уйти.

После судебного процесса, который затеял Бхобаничорон, в доме священнослужителя завелись деньги. Не довольствуясь этим, его сын каждый год к празднику Пуджи привозил из Калькутты всевозможные дешевые безделушки и несколько месяцев бойко ими торговал. Невидимые чернила, тросточка, по желанию превращающаяся в удочку или зонтик, бумага для писем с картинками, купленные на аукционе подпорченные пестрые шелка и атлас, сари со стихотворными изречениями вместо каймы, — все это сводило с ума деревенских жителей. Узнав о том, что в нынешние времена ни один богатый дом в Калькутте не обходится без подобных вещей, если не хочет уронить своей чести, тщеславные жители деревни не

останавливались ни перед какими расходами, только бы не прослыть деревенщиной.

Однажды Боголачорон привез заводную куклу, изображавшую английскую леди, кукла могла подниматься со стула и обмахиваться веером.

Калипод воспыал необычайной страстью к истомленной зноем англичанке. Но, хорошо зная мать, он не сказал ей ни слова, лишь с грустью поведал о своем желании Бхобаничорону. Бхобаничорон не задумываясь пообещал ему игрушку, но, когда узнал цену, лицо его вытянулось.

Деньги хранились у Рашмони, нельзя было потратить ни пайсы без ее ведома, и Бхобаничорон как нищий пришел к дверям своей Аннапурны. Сначала он пространно рассуждал на тему, не относящуюся к делу, и совершенно неожиданно выпалил то главное, из-за чего пришел.

— Ты сошел с ума, — лаконично ответила Рашмони. Бхобани немного помолчал.

— Послушай, — проговорил он после некоторого раздумья, — ты каждый день даешь мне топленое масло к рису и пайош, а ведь это лишнее.

— Как лишнее? — возмутилась Рашмони.

— Знахарь говорит, что от этого увеличивается желчный пузырь.

— Уж твой знахарь все знает!

— Послушай, что я тебе скажу, — продолжал Бхобаничорон, — не давай мне лепешек по вечерам, хватит с меня риса. От лепешек тяжесть в животе.

— Что-то я не замечала, чтобы они приносили тебе вред. Ты, можно сказать, вырос на этих лепешках.

Бхобаничорон согласился бы на любую жертву, но перед ним была стена. Цены на масло росли, а количество жареных лепешек оставалось неизменным. Когда к обеду подают пайош, вполне можно обойтись без кислого молока, но господа в этом доме привыкли есть и то, и другое, и для Рашмони это было свято. Увы! Надежда Бхобаничорона на игрушечную леди, которая сможет проникнуть в дом благодаря сокращению расходов на кислое молоко, пайош, топленое масло и жареные лепешки, развеялась как дым.

Однажды Бхобаничорон как бы случайно заглянул к сыну священнослужителя и после продолжительной

беседы на отвлеченную тему навел справки об игрушечной леди. Он знал, что скрывать от Боголачорона свои денежные затруднения бесполезно, но признаться даже намеком, что он не в состоянии купить сыну пугляковую игрушку, у него не хватало духу. С трудом преодолев смущение, он достал из-под чадора завернутую в кусок ткани дорогую старинную шаль и сдавленным голосом проговорил:

— Тяжелые времена настали, наличных денег почти нет, вот я и подумал, нельзя ли под залог получить эту куклу для Калипода.

Боголачорон не стал бы возражать, будь эта вещь подешевле, но присвоить шаль, он знал, ему не удастся — жители деревни его осудят, да и на язык Рашмони лучше не попадаться. Пришлось Бхобаничорону спрятать шаль под чадор и ни с чем вернуться домой.

— Папа, а где моя кукла? — каждый день спрашивал отца Калипод.

Бхобаничорон всякий раз отвечал с улыбкой:

— Подожди немного, до седьмого дня Пуджи.

Но изображать на лице улыбку становилось все труднее.

Наступил четвертый день Пуджи. Бхобаничорон под каким-то предлогом заглянул на женскую половину.

— Ты знаешь, — сказал он жене как бы между прочим, — Калипод тает прямо на глазах.

— Чепуха! С чего бы это? Я что-то не замечала у него никакой хвори.

— Не замечала! Он все время молчит. О чем-то думает.

— Посиди он молча хоть минуту, я бы вздохнула с облегчением. А думает он наверняка о том, как бы устроить какую-нибудь новую каверзу.

И в этой своей части крепость была неуязвима, — ядро даже не подарало камня. Бхобаничорон вздохнул и вышел, почесывая в затылке. Он сел перед домом и жадно затянулся трубкой.

На пятый день Пуджи кислое молоко и пайош остались на тарелке. Вечером Бхобаничорон съел только шондеш, запив его водой, к лепешкам даже не притронулся.

— Совсем пропал аппетит, — объяснил он.

На этот раз в крепостной стене обнаружилась брешь. На шестой день Рашмони отозвала Калипода в сторонку и ласково обратилась к нему:

— Ты такой большой, а по-прежнему капризный! Как тебе не стыдно! Ведь мечтать о том, что недоступно, почти то же, что красть. Разве ты не знаешь?

— При чем тут я, — захныкал Калипод, — это папа сказал, что купит.

Тогда Рашмони принялась объяснять Калиподу, почему отец пообещал ему куклу. Он очень любит Калипода, и ему больно было отказать. Но покупка игрушки разорит их. Рашмони впервые говорила так с Калиподом. Раньше она делала все без лишних слов, ей не нужно было смягчать своих приказаний. Поэтому Калипод удивился, что мать так терпеливо и ласково его уговаривает, и хотя он был еще ребенок, но сумел понять, сколько доброты скрывается в сердце матери. Взрослые читатели без труда представляют себе, как трудно вырвать из сердца любимую игрушку. Калипод загрустил и принялся чертить палочкой по земле.

Тогда Рашмони сурово сказала:

— Можешь сердиться, можешь плакать, но чего нельзя, ты не получишь.

И, не теряя времени, она вернулась к домашним делам.

Калипод вышел во двор. Бхобаничорон сидел в одиночестве и курил. Завидев Калипода, он поспешно встал и удалился. Калипод догнал его: «Папа, а моя игрушка...»

Сегодня улыбка не появилась на лице Бхобаничорона, он обнял сына и сказал:

— погоди, сынок, дело у меня. Вернусь, тогда поговорим.

Калиподу показалось, что отец украдкой вытер глаза. В это время в одном из домов по соседству играли на флейте, готовились к празднику. В грустной мелодии, казалось, изливалось свои слезы само новорожденное солнце осени. Калипод стоял возле дома и ждал. Отец шел не спеша, сгорбившись, будто нес на себе тяжелое бремя отчаяния. Сразу видно было, что никакого дела у него нет.

Калипод вернулся на женскую половину и сказал матери:

— Мне не нужна эта кукла с веером.

Мать, которая в это время ловко дробила щипцами орех бетеля, просияла. Неизвестно, о чем говорили между собой мать и сын, но Рашмони, отодвинув в сторону щипцы и грудку дробленых и целых орехов, тут же отправилась к Боголачорону.

Бхобаничорон вернулся поздно. Когда, умывшись, он сел за стол, по выражению его лица можно было догадаться, что и сегодня кислое молоко и пайош останутся нетронутыми и даже рыбы головы получит кошка.

Тогда Рашмони поставила перед мужем картонную коробку, перевязанную веревкой. Она хотела раскрыть свою тайну после обеда, когда Бхобаничорон отправится отдыхать, но ей пришлось поспешить, чтобы кислое молоко, пайош и рыбы головы удостоились должного внимания. Появившись из коробки, кукла тотчас же принялась усердно разгонять летний зной. Кошке пришлось остаться ни с чем.

— Сегодня обед тебе особенно удался, — сказал жене Бхобаничорон. — Я давно не ел такого вкусного рыбного супа. А до чего великолепно кислое молоко, и передать нельзя.

На седьмой день Пуджи Калипод получил долгожданное сокровище. Весь день он не отрывался от своей леди, вызывая зависть у сверстников. В других обстоятельствах леди с ее однообразными движениями быстро наскучила бы ему, но он знал, что на восьмой день Пуджи ему придется расстаться со своим идолом, и любовь его не угасала. Рашмони за две рупии взяла куклу напрокат, и на восьмой день Калипод с тяжелым вздохом отнес ее Боголачорону. Счастливое воспоминание надолго сохранилось в его душе, и он продолжал мечтать о грациозной леди.

С тех пор мать стала во всем советоваться с Калиподом, а Бхобаничорон к каждому празднику мог без труда делать Калиподу такие подарки, что сам удивлялся.

Калипод начал понимать, что в этом мире за все приходится платить, и платить дорого. Он взрослел на глазах и сделался правой рукой матери. Без чьих-либо советов

и назиданий Калипод хорошо усвоил: не надо увеличивать и без того тяжкую семейную ношу.

Мальчик знал, что жизнь ему предстоит нелегкая, и с жаром взялся за учебу. Когда он выдержал экзамен на получение стипендии, Бхобаничорон решил, что учиться ему больше не надо, пусть приучается к хозяйству.

Но Калипод сказал матери:

— Я ничего не добьюсь, если не уеду учиться в Калькутту.

— Ты прав, сынок, — ответила мать. — Поезжай.

— Денег посылать мне не надо, — заявил Калипод. — Буду жить на стипендию и подыскивать работу.

Бхобаничорона уговорили с большим трудом. Он страшно огорчился бы, узнав, что у них не такое уж большое хозяйство, которое требует присмотра, поэтому Рашмони пришлось отказаться от этого веского довода.

— Калипод должен выйти в люди, — сказала она.

Но разве Чоудхури не выходили в люди? А ведь они боялись чужбины больше смерти. Бхобаничорон не мог допустить и мысли, чтобы такого мальчика, как Калипод, одного послать в Калькутту. Но в конце концов, даже самый умный и уважаемый человек в деревне — Боголачорон согласился с доводами Рашмони.

— В один прекрасный день, — сказал он, — Калипод станет адвокатом и отомстит за кражу завещания. Таково веление судьбы, и противиться ему не следует.

Эти слова утешили Бхобаничорона. Он достал старые бумаги, завернутые в полотенце, и принялся излагать Калиподу историю похищенного завещания. В последнее время Калипод отлично справлялся с обязанностями министра у Рашмони, но на отцовском совете он не получил признания, хотя поддакивал отцу. Дело в том, что его не очень-то волновало прошлое величие семьи. В глазах Бхобаничорона поездка в Калькутту была не менее значительной, чем поход Рамы, который шел освободить Ситу. Калипод должен был не просто сдать экзамен и получить степень, а вернуть в дом Лакшми.

Перед отъездом Рашмони надела на шею сыну талисман и сказала, вложив ему в ладонь банкноту в пятьдесят рупий:

— Береги эти деньги, они пригодятся тебе в нужде и в беде.

Калипод знал, с каким трудом эти деньги выкроены из семейного бюджета, и решил свято хранить их как благословение матери.

III

Теперь от Бхобаничорона не так часто слышали об украденном завещании. Главной темой его разговоров стал Калипод. Он обходил всю деревню, чтобы рассказать о нем, а когда от Калипода приходило письмо, читал его в каждом доме. Величие Калькутты волновало воображение Бхобаничорона, потому что никто из их рода никогда не бывал в этом городе.

— Наш Калипод учится в Калькутте и знает обо всем, что там происходит, — говорил он. — Например, возле Хугли строится второй мост через Гангу. И все эти важные новости для него самая обыкновенная вещь. Вы только послушайте! На Ганге строится новый мост — я сегодня получил письмо от сына, он сообщает мне обо всем.

Бхобаничорон снимал очки, хорошенько протирал стекла и, снова водрузив их на нос, не торопясь, прочитывал соседу письмо от первой до последней строки.

— Представьте себе, — говорил он соседу. — Чего только не творит время! В наш нечестивый век даже грязные собаки и шакалы смогут перейти через Гангу.

Подобное посягательство на величие Ганги было, разумеется, достойно сожаления, но от радости, что Калипод сообщил ему об этом выдающемся достижении Калиюги и что невежественные жители деревни смогли узнать об этом благодаря ему, Бхобаничорон без труда забывал свои тревоги насчет пагубных путей всего сущего в нынешние времена. Встречая знакомых, он кивал в знак приветствия и тотчас же заявлял:

— Говорю вам, дни Ганги сочтены.

Втайне он лелеял надежду, что, когда Ганга начнет пересыхать, он первым узнает эту новость.

Надо сказать, что Калиподу нелегко жилось в Калькутте. Он ютился у чужих людей, давал уроки, по ночам переписывал счета и учился. Ему удалось сдать вступи-

тельные экзамены и получить стипендию. Бхобаничорон задумал устроить пиршество по поводу столь выдающегося события.

«Лодка почти достигла берега, — думал он, приободившись, — теперь уже можно тратить деньги не задумываясь».

Но его желание не получило никакой поддержки со стороны Рашмони, и пиршество не состоялось.

Калипод нашел себе пристанище в общежитии одного из колледжей. Владелец общежития разрешил ему воспользоваться непригодной для жилья каморкой на нижнем этаже. За право есть два раза в день и жить в этой сырой и темной комнате Калипод должен был заниматься с сыном хозяина. Каморка обладала одним несомненным достоинством — Калипод жил один. И хотя воздух там был спертым, занятия проходили успешно. Впрочем, приередничать не приходилось.

Калипод не общался со студентами, снимавшими в общежитии комнаты, в особенности с теми, кто жил на Олимпе второго этажа. Однако встреч с ними нельзя было избежать. Очень скоро Калипод понял, как страшно, когда небеса поражают молнией тех, кто живет на земле.

Здесь нужно рассказать о человеке, который восседал на троне Индры в этой обители богов студенческого общежития. Звали его Шойлендро. Он, сын богатого человека, мог жить где угодно, но ему нравилось в общежитии.

Домашние просили его снять в Калькутте квартиру и поселиться там с родственниками. Шойлендро наотрез отказался. Он заявил, что родственники помешают его занятиям. Но дело было, конечно, не в этом. Шойлендро очень любил компанию. А родственники устроены так, что одним общением с ними не отделаешься; с этим надо обходиться так, с другим иначе, — словом, приходится им угождать, а то осудят. Поэтому общежитие было для Шойлендро самым удобным местом. Там много людей и никому не надо угождать. Одни приходят, другие уходят, смеются, болтают; они, как вода в реке, текут, нигде не задерживаясь.

По мнению Шойлендро, добр тот, кто всегда готов посочувствовать другому. Подобная точка зрения весьма удобна. Чтобы сочувствовать, вовсе не надо быть

добрым, а чтобы прослыть добрым, вовсе не надо быть щедрым.

Впрочем, Шойлендро нельзя было упрекнуть в скупости.

В сущности, он был не злым человеком. Охотно выручал друзей из беды, но стоило кому-нибудь отказаться от его помощи, как доброта его оборачивалась жестокостью, он мстил.

Шойлендро часто водил друзей в театр, устраивал для них пиршества, ссужал деньгами и тут же об этом забывал. Когда без памяти влюбленный молодожен перед тем, как поехать домой на праздник Пуджи, расплачивался с хозяином общежития и оставался без гроша в кармане, ему не приходилось беспокоиться о покупке душистого мыла и эссенций, достойных прелести его юной жены, а также ситцевых кофточек, только что привезенных из Англии. Целиком полагаясь на Шойлена, он говорил:

— Брат, ты должен одобрить мой выбор.

Приведя Шойлендро в лавку, он выбирал самые дешевые и плохие вещи.

— Как тебе не стыдно, — набрасывался на него Шойлен, — ну что у тебя за вкус!

И он покупал все самое красивое и дорогое.

— Вот это покупатель! — восклицал лавочник. — Знает толк в товарах.

Когда вставал вопрос о цене, Шойлендро небрежно расплачивался, не обращая внимания на робкие возражения друга.

Таким образом Шойлен был всеобщим благодетелем. Но как уже говорилось, тот, кто отказывался от его помощи, не мог рассчитывать на пощаду, настолько сильна была в Шойлене страсть творить добро.

Одетый в рваную фуфайку бедняга Калипод, как обычно, сидел в своей каморке на грязной циновке и, раскачиваясь взад-вперед, зубрил. Он должен был любой ценой получить право на стипендию.

Перед отъездом в Калькутту мать заклинала его не водиться с сыновьями богатых людей и не увлекаться развлечениями. Но дело было не только в наказе матери, а еще в том, что Калипод не хотел расставаться со своей

бедностью. Он никогда и близко не подходил к Шойлену, хотя знал, что тот в одно мгновение может разрешить все его проблемы. Даже в самые трудные минуты он не обращался к Шойлену, довольствуясь своей жизнью в нищете, нужде и одиночестве.

Бедняк, а держится поодаль, — этого Шойлен не мог стерпеть. Кроме того, неприкрытая бедность Калипода была оскорбительна. Поднимаясь к себе, жители второго этажа не могли не видеть его одежды и постели. Эта нищета казалась им почти преступной. К тому же Калипод носил талисман и по вечерам молился. Жителей второго этажа забавляли эти странные деревенские обычаи. Приятели Шойлена не раз, когда Калипод уходил, заглядывали в его каморку, пытаясь разгадать тайну этого одинокого, тихого человека, но их попытки ни к чему не привели. Долго находиться в его комнате было не только неприятно, но и вредно для здоровья, поэтому им пришлось оставить его в покое.

Однажды было решено угостить бедняка козлятиной. Ему было послано любезное приглашение. Калипод написал в ответ, что его желудок не принимает козлятины и что он привык к другой пище. Шойлен и вся его свита были очень разгневаны этим отказом.

В течение нескольких дней в комнате, находившейся как раз над каморкой Калипода, так шумели, так громко пели и играли, что Калипод никак не мог сосредоточиться. Днем он, сколько мог, читал учебник, сидя под деревом в Голдигхи, а ночью вставал затемно и занимался при светильнике.

Из-за скверного питания и жилья, а также от переутомления у Калипода начались головные боли. Иногда он по нескольку дней не вставал с постели. Калипод знал: если это дойдет до отца, то ему никогда больше не видать Калькутты. Отец мог даже сам сюда примчаться. Бхобаничорон же считал, что Калипод живет в таком довольстве, какое деревенским жителям и не снилось. Ему представлялось, что в Калькутте сами собой возникают всевозможные удовольствия и развлечения, подобно тому как в деревне вырастают деревья и кусты, и что каждый может свободно ими пользоваться. Калипод не пытался рассеять это заблуждение. Даже в дни, когда головные

боли особенно мучили Калипода, он не забывал аккуратно писать отцу. Но от дьявольского шума, который поднимали приятели Шойлена, чаша страданий Калипода переполнилась. Он метался на постели, призывая мать и отца. Калипод почему-то считал, что чем больше горя и унижений выпадет на его долю, тем вернее будет его помощь семье.

Калипод старался как можно сильнее съезжиться, чтобы не попадаться никому на глаза, но это несколько не улучшило его положения. Однажды он обнаружил, что одна из его старых туфель, купленных на Китайском базаре, исчезла, а вместо нее стоит дорогой английский ботинок. Идти в колледж в разных ботинках было невозможно. Он не стал жаловаться, выставил чужой ботинок за дверь, а сам купил старые ботинки у сапожника и отправился на занятия. Однажды к Калиподу явился какой-то юноша и спросил:

— Не вы ли случайно захватили мой портсигар? Я нигде не могу его отыскать.

— Я не заходил в вашу комнату, — вспыхнул Калипод.

— А, вот он где! — Юноша вытащил из угла дорогой портсигар и, ни слова не сказав, убежал наверх.

«Если сдам экзамены и получу стипендию, непременно перееду куда-нибудь», — твердо решил Калипод.

Каждый год студенты пышно справляли праздник Сасвати. Основные расходы брал на себя Шойлен, остальные деньги собирались по подписке. В прошлом году, видимо, из презрения, Калипода обошли при сборе денег. Нынче же ему принесли подписной лист с единственной целью унижить его. Калипод никогда не прибегал к помощи этих людей и не желал из милости принимать участие в их постоянных развлечениях. Не знаю, что было у него на уме, когда ему принесли подписной лист, только он дал пять рупий. Ни от одного из всей своей свиты Шойлен не получил такой суммы.

До сих пор Калипода презирали за скупость, но его неожиданная щедрость привела всех в бешенство.

— Откуда такая спесь? — думали они. — Ни для кого не тайна, как он живет. Видно, хотел утереть всем нос! Не дай Калипод своих пяти рупий, праздник в честь

Сарасвати не пострадал бы, чего нельзя сказать про самого Калипода. Калипод питался где попало и не мог даже заикнуться о том, что его плохо накормили. Он всецело зависел от слуг на кухне, и ему нужны были деньги, чтобы умилостивить их. И вот эти-то несколько рупий исчезли вместе с грудой засохших цветов, принесенных в жертву богине.

Головные боли у Калипода усилились. Он, правда, не провалился на экзаменах, но стипендии не получил, и ему пришлось в ущерб занятиям взять еще одного ученика. Каморки, за которую не надо было платить, он тоже не мог оставить, несмотря на все неприятности.

Обитатели второго этажа надеялись, что после каникул Калипод не вернется. Но в положенное время дверь каморки на нижнем этаже открылась, и Калипод в своем вечном клетчатом пиджаке из дешевого китайского шелка, надетом поверх дхоти, вошел в свою пещеру. Носильщик из Шиялдохо опустил на пол жестяной сундучок и большой, испачканный грязью узел и присел на корточки перед дверью. Поторговавшись, Калипод наконец расплатился с ним.

В недрах этого узла были всевозможные лакомства, приготовленные матерью Калипода из незрелого манго, плодов юобы и джамболана. Калипод знал, что любопытные обитатели второго этажа заглядывают в его каморку. Но это мало его беспокоило, просто он боялся, что какая-нибудь вещь, приготовленная с такой любовью, попадет в руки этих насмешников. Лакомства, которые дала ему с собой мать, были для него нектаром, но все это ценилось только в деревне. Заклеенные тестом горшочки, плошки и кувшинчики с крышками, в которых хранились эти лакомства, тоже были далеки от городской роскоши — не стекло и не фарфор, а простая глина. Мысль о том, что какой-нибудь горожанин поесмотрит на них с презрением, была ему невыносима. Раньше Калипод довольствовался тем, что держал все эти вещи под своим ложем, прикрывая их старыми газетами. На этот раз он завел замок и запирал дверь, даже когда выходил на несколько минут.

Это привлекло всеобщее внимание.

— Должно быть, у него немало сокровищ! — заметил Шойден. — Прослезисься, забравшись в эту каморку, Не

иначе, как здесь открылся филиал Бенгальского банка. И нам, разумеется, не верят: вдруг мы соблазнимся знаменитым клетчатым пиджаком. Ей-богу, придется купить ему что-нибудь поприличнее, это однообразное зрелище меня раздражает.

Шойлен ни разу не заходил в темную каморку Калипода с покрытыми плесенью стенами и осыпавшейся штукатуркой. При одном взгляде на нее Шойлена хватывала дрожь. В особенности по вечерам, когда полуодетый Калипод при слабом свете светильника сидел на постели, склонившись над книгой. Душа Шойлена разрывалась от жалости.

— Видно, на этот раз Калипод привез с собой драгоценности, похищенные у семи раджей, — сказал он своим дружкам. — Разузнайте, что он там прячет.

Эта затея вызвала всеобщий восторг.

Замок на двери у Калипода был плохонький, любой ключ подходил к нему. И вот однажды, когда Калипод вечером отправился на урок, веселые молодые люди, хихикая, проникли с фонарем в его каморку. Под кроватью они обнаружили горшочки с маринованным манго, соусами, сгущенным манговым соком и прочими лакомствами. Им было невдомек, что это-то и есть тайное богатство Калипода.

Затем под подушкой был обнаружен ключ с колечком. Им открыли жестяной сундучок. Посмотрели — ничего интересного: убогая одежда, книги, тетради, ножницы, нож, ручка. Они хотели удалиться, как вдруг под грудой одежды увидели какой-то предмет, завернутый в платок. Под платком оказался сверток, обмотанный рваной тряпкой. Под тряпкой — несколько слоев бумаги, а внутри банкнота в пятьдесят рупий.

От громкого хохота задрожали стены. Молодые люди решили, что из-за этой бумажки недоверчивый Калипод и кушил замок. Прихлебатели Шойлена были поражены жадностью и подозрительностью этого нищего.

Вдруг им почудился на улице его кашель. Они поспешно захлопнули крышку сундучка и убежали, унеся с собой деньги, едва успев навесить на дверь замок.

Шойлен очень смеялся, когда увидел сокровище Калипода. Пятьдесят рупий для него ничто, но, судя по

поведению Калипода, никому и в голову не приходило, что у него могут оказаться такие деньги. И сколько предосторожностей из-за каких-то пятидесяти рупий! Интересно, как поведет себя этот скряга, узнав о пропаже!

Калипод вернулся с урока поздно и усталый не заметил в комнате никаких перемен. Тем более что голова у него разламывалась от боли и он знал, что это на целых несколько дней.

На следующее утро он вытащил из-под кровати свой сундучок, чтобы достать одежду, и обнаружил, что он не заперт. Калипод обычно не страдал рассеянностью, но тут решил, что забыл его запереть. Ведь если бы в комнате побывали воры, на двери не висел бы замок.

Калипод открыл сундучок, и сердце у него упало. Он поспешно вынул оттуда все содержимое и убедился, что денег, которые дала ему мать, нет. Платок, тряпка и бумага лежали на дне. Калипод снова все тщательно перерыл — денег не было. Между тем на лестнице началось усиленное хождение. Жители второго этажа проходили мимо каморки Калипода с деловым видом и словно невзначай бросали взгляд в его сторону. Сверху донесся хохот.

Вконец измученный головной болью, Калипод выбился из сил и как мертвый свалился на постель. Сколько материнской муки было в этих деньгах, ценой каких лишений и жертв мать скопила их! Когда-то он ничего этого не понимал и лишь усугублял страдания матери, но в тот день, когда мать наконец открыла ему тайну их тяжелой жизни, он испытал такую гордость, которой не испытывал никогда. В этой банкноте для Калипода воплотились великая любовь и святое благословение. Бесценной жертвой поднялся этот дар на поверхность бездонного моря материнской любви, и кража казалась Калиподу дьявольским проклятием. На лестнице то и дело слышались шаги. Этому беспричинному движению не было конца. Совсем как река, которая, весело журча, протекает мимо охваченной пожаром деревни.

Услышав наверху смех, Калипод вдруг догадался, что воры здесь ни при чем. Наверняка деньги взяли дружки Шойлендро, чтобы позабавиться. Было бы не так обидно, если бы их украли воры. А эти молодые люди, кичащиеся

своим богатством, оскорбили его мать. За все время Калипод ни разу не поднимался на второй этаж. Но сегодня он в своей рваной фуфайке, босиком, взволнованный до глубины души, не помня себя от головной боли, с пылающим лицом устремился наверх.

Было воскресенье, и друзья, сидя на веранде, весело беседовали. Калипод ворвался к ним и, задыхаясь от гнева, закричал:

— Отдайте мои деньги!

Он, несомненно, получил бы деньги назад, если бы попросил. Но его безумный гнев рассердил Шойлена. Будь здесь привратник из его дома, он наверняка приказал бы ему вывести грубияна за ухо. Все вскочили со своих мест и завопили в один голос:

— Что вы говорите, сэр? Какие деньги?

— Вы взяли деньги из моего сундука!

— Что за наглость! Он обвиняет нас в краже!

Подвернись что-нибудь Калиподу в эту минуту под руку, произошло бы кровопролитие. Но несколько человек схватили его. Калипод рычал, как тигр, попавший в сеть.

Он был бессилен против этой несправедливости, потому что не имел никаких доказательств. Любой человек отмахнулся бы от его подозрений, решив, что он безумный. И кто обвинил его в наглости? Те самые люди, которые нанесли ему смертельную рану.

Шойлен вынул банкноту в сто рупий:

— Отдайте этому нищему.

— Ты сошел с ума, — возразили его приближенные. — Пусть сперва поубавит спесь, пусть пришлет извинение в письменной форме, тогда можно будет подумать.

В обычный час друзья отправились спать — они не страдали бессонницей. Никто не знал, как провел эту ночь Калипод. Наутро все забыли о нем. Но когда спустились по лестнице, услышали разговор в его комнате. Может быть, он советуется с адвокатом? Дверь была заперта изнутри на задвижку. Молодые люди приложили ухо к двери и услышали бессвязное бормотанье.

Поднялись наверх и сообщили новость Шойлену. Когда он подошел к двери, то, кроме бормотанья, услышал еще: «Отец, отец!»

Что, если он сошел с ума из-за этих денег?

— Калипод-бабу!

Ответа не было. Все то же невнятное бормотание.

— Калипод-бабу! Откройте дверь, ваши деньги нашлись, — закричал Шойлен.

Дверь не открылась.

У Шойлена и в мыслях не было, что дело пойдет так далеко. И хотя открыто он не раскаялся, на душе у него скребли кошки.

— Придется взломать дверь, — сказал он. Кто-то посоветовал вызвать полицию.

— Мало что может натворить помешанный? Вспомнить, что с ним было вчера — просто страх берет.

— Нет, — возразил Шойлен, — пусть лучше кто-нибудь сбегает за доктором Онади.

Доктор Онади, живший неподалеку, не замедлил явиться. Он приложил ухо к двери, прислушался и сказал:

— Он, кажется, бредит.

Взломали дверь, вошли в комнату и увидели — постель измята, а Калипод мечется на полу без сознания и бредит. Воспаленные глаза широко открыты, изо рта течет алая струйка.

Тщательно осмотрев больного, доктор спросил:

— У него есть родные?

Шойлен побледнел.

— Что вы хотите этим сказать? — испуганно спросил он.

— Надо бы сообщить родным, — серьезно ответил доктор, — симптомы очень неприятные.

— Мы с ним едва знакомы, — сказал Шойлен, — и нам ничего не известно о его родственниках. Постараемся разузнать. Но что делать сейчас?

— Прежде всего больного надо перенести в какую-нибудь приличную комнату на втором этаже и обеспечить ему круглосуточный уход.

Шойлен взял Калипода к себе. Он запретил друзьям всякие сборища и приказал им убираться из комнаты. Потом положил на лоб Калиподу ледяной компресс и стал обмахивать его опахалом.

Чтобы избежать насмешек и издевательств, Калипод скрывал все, что касалось его родителей. Даже письма отпосыл и получал сам, для чего каждый день заходил на почту.

Чтобы узнать адрес родителей Калипода, пришлось снова залезть в его сундучок. В нем лежали две пачки писем, аккуратно перевязанные ленточкой. В одной пачке — письма от отца, в другой — от матери. Отцовских писем было больше.

Шойлен унес письма к себе, запер дверь и стал читать. Адрес на конвертах заставил его вздрогнуть. Шанияри, дом Чоудхури, шесть ана. Впизу имя. Бхобаничорон Дебшорма.

«Бхобаничорон Чоудхури!»

Застыв с письмом в руках, он глядел на Калипода. Недавно один из его приятелей сказал, что между Шойленом и Калиподом большое сходство. Это замечание пришлось ему не по душе и было решительно опровергнуто всеми остальными. Сейчас Шойлен понял, что слова эти сказаны были не без основания. Его дед Шьямачорон приходился братом Бхобаничорону. О том, что произошло в семье, в их доме никогда не говорили. Он понятия не имел о том, что у Бхобаничорона есть сын Калипод. Калипод! Его родной дядя!

Шойлен стал припоминать — его бабушка, жена Шьямачорона, до конца своей жизни говорила о Бхобаничороне с необыкновенной нежностью. Стоило ей произнести его имя, как на глазах у нее выступали слезы. Бхобани хоть и приходился ей деверем, но был младше ее сына. Она воспитывала его как собственного ребенка. Когда семья распалась, вся душа ее изнывала от желания узнать что-нибудь о Бхобаничороне. Она часто говорила своим детям: «Чует мое сердце, вы обманули Бхобаничорона, ведь он такой глупенький, доверчивый, мой свекор слишком его любил, чтобы лишить наследства».

Слова ее выводили сыновей из себя. Шойлен вспомнил, что и сам он очень сердился на бабушку, а заодно и на Бхобаничорона, поскольку бабушка была на его стороне. Ничего не знал Шойлен и о бедственном положении

Бхобаничорона. Но теперь он все понял и испытал чувство необыкновенной гордости из-за того, что Калипод, несмотря на тысячу соблазнов, не примкнул к его свите. Случись все иначе, Шойлен сгорел бы со стыда.

IV

Шойлен не мог оставить Калипода в общежитии. Слишком много оскорблений выпало там на его долю. Посоветовавшись с врачом, он снял для больного хороший дом.

Получив письмо Шойлена, Бхобаничорон нашел себе спутника и примчался в Калькутту. Перед отъездом Рашмони вручила ему почти все их сбережения.

— Смотри, — сказала она, — чтобы мальчик ни в чем не нуждался. Если надо будет, сообщи, я приеду.

Рашмони осталась дома, потому что женщине из рода Чоудхури не пристало срываться с места и ехать в Калькутту. Она принесла жертву богине Кали и, позвав звездочета, попросила его отвратить беду.

Сердце Бхобаничорона готово было разорваться от горя, когда он увидел сына. Калипод все еще был без сознания, отца звал «господин учитель», а то вдруг начал кричать: «Отец, отец!» Бхобаничорон держал его за руку: «Я здесь, сынок, я приехал».

Но Калипод не узнавал его.

Пришел доктор.

— Жар стал меньше, — сказал он, — может быть, дело пойдет на поправку.

Бхобаничорон и мысли не допускал, что Калипод не выздоровеет. Ведь, еще когда он был ребенком, все говорили, что ему суждено осуществить невозможное. Для Бхобаничорона это были не просто слова, этой верой он жил. Калипод не должен умереть, небо этого не допустит.

Поэтому в словах доктора он услышал гораздо больше, чем тот хотел сказать, и написал Рашмони очень спокойное письмо.

Бхобаничорон удивлялся, глядя на Шойлендро. Ну кто бы подумал, что Шойлен им не родной человек? Жи-

гель Калькутты, образованный, воспитанный молодой человек, а с каким почтением относится к его сыну!

«Вероятно, так уж принято у калькуттских молодых людей, — думал он. — Да это и не удивительно: откуда у наших деревенских образование и манеры».

Жар с каждым днем уменьшался, и Калипод постепенно пришел в себя. Увидев у постели отца, он вздрогнул: теперь от него ничего не скроешь. Но еще больше его волновало, как бы отец не стал объектом насмешек. Калипод не мог понять, где он находится. Ему даже показалось, что он грезит.

Но Калипод был слишком слаб, чтобы думать. Должно быть, отец, узнав о его болезни, приехал в Калькутту и снял для него комнату. Как это случилось, откуда он достал деньги и что будет потом, до этого Калиподу пока не было дела. Он должен выздороветь; Калиподу казалось, что весь мир хочет этого.

Как-то раз, когда отца в комнате не было, Шойлен принес блюдо с фруктами. Опять насмехается, — решил Калипод. Первое, о чем он подумал, — надо защитить от его оскорблений отца.

Поставив блюдо на стол, Шойлен низко поклонился и сказал:

— Я очень перед вами виноват, простите меня.

Калипод не знал, куда деваться. По лицу Шойлена он понял, что в словах его нет и тени неискренности. Когда Калипод впервые появился в общезитии, прекрасное лицо Шойлена, озаренное блеском юности, сразу же привлекло его, но, стыдясь своей бедности, он не решился к нему приблизиться. Как бы он был счастлив, если бы они были равными, если бы он мог подойти к нему просто, как друг; но, даже когда они бывали рядом, их разделяла пропасть. Когда Шойлен, благоухая тонкими духами, поднимался или спускался по лестнице и аромат проникал в темную каморку Калипода, Калипод прерывал занятия и не отрываясь смотрел на улыбающееся лицо Шойлена, на котором заботы не оставили еще своих следов. В это мгновение сырая каморка озарялась лучами красоты и богатства. Все знают, какую зловещую роль в его жизни сыграл Шойлен. И когда тот поставил

перед ним на постель блюдо с фруктами, Калипод тяжело вздохнул и поднял глаза на это красивое юное лицо. Он не произнес слов прощения — медленно протянул руку к блюду и стал есть, — этим все было сказано.

Калипод с каждым днем все больше изумлялся — его отец отлично поладил с Шойленом. Шойлен звал его дедушкой, и оба непринужденно шутили друг с другом. Главным объектом их шуток была бабушка. Бхобаничорон так давно не смеялся, эти шутки, словно весенний ветер, всколыхнули в его душе сладостные воспоминания юности. Шойлен признался, что, воспользовавшись состоянием больного, похитил и съел деревенские лакомства, приготовленные бабушкой. Калипод был счастлив, узнав об этом. Лакомства его матери понравились бы этому светскому человеку еще больше, если бы только он знал, сколько любви в ее сердце! Болезнь стала для Калипода источником радости, никогда еще он не был так счастлив. «Ах, если бы мама была здесь! — думал он иногда. — Какой бы лаской она окружила этого веселого, красивого юношу».

Одна только тема в этих беседах у постели больного омрачала радость. Бедность сделала Калипода гордым, и он считал, что стыдно кичиться своим прошлым богатством. Он не хотел ставить никаких «но», когда говорил: «Мы бедны».

Да и сам Бхобаничорон не очень-то гордился прошлыми временами. Но те годы были самыми счастливыми в его жизни. Вероломство тогда еще не коснулось их семьи. Когда жена Шьямачорона, исполненная нежности Ромашундори, была хозяйкой в доме, она, словно Лакшми, осыпала милостями всех, кто стоял у дверей ее храма. Воспоминания счастливой юности окрасили в золотой цвет закат жизни Бхобаничорона. И когда бы ни возник разговор о прошлом, неизбежно вставал вопрос об исчезновении завещания. Бхобаничорон приходил тогда в страшное волнение. Он был уверен, что завещание найдется и предсказания его добродетельной матери сбудутся. Калипод во время подобных разговоров терялся. Он считал, что у отца это чистое помешательство. С матерью они даже поощряли его, но ему совсем не хотелось, чтобы Шойлен заметил у отца эту слабость. Сколько раз Ка-

липод говорил ему: «Ведь твои подозрения ни на чем не основаны».

Но возражения приводили к обратному результату. Стремясь доказать, что его подозрения вполне справедливы, Бхобаничорон начинал все подробно описывать, и Калипод не в силах был его остановить.

Кроме того, Калипод заметил, что эта тема почему-то не нравится Шойлену. Тот горячился и пытался разбить доводы Бхобаничорона. В любом вопросе Бхобаничорон готов был согласиться с ним, но здесь он никому не уступал. Его мать собственной рукой положила в сундук завещание отца и другие документы, а она была грамотной. Позднее, когда она открыла сундук, документы оказались на месте, а завещание исчезло. Что же это, если не кража?

— Но, отец, — говорил Калипод, чтобы его успокоить. — Люди, которым досталось твое имущество, тебе все равно что сыновья, они твои племянники. Так что все осталось в роду твоего отца — разве это так уж плохо?

Тут Шойлен покидал комнату, ему тяжело было слушать. Как ужасно, что Шойлен считает его отца корыстолюбцем. Если бы только Калипод мог объяснить Шойлену, что дело совсем не в корысти.

Шойлен давно бы рассказал Калиподу и его отцу, кто он, но мешали разговоры об украденном завещании. Трудно было поверить, что его родители похитили завещание, в то же время он не мог не признать, что с Бхобаничоронном обошлись несправедливо, лишив его законной доли отцовского наследства. Теперь он больше не пускался в споры, хранил молчание и при первой же возможности уходил.

К вечеру Калипода немного лихорадило, болела голова, но он не обращал на это внимания. Ему не терпелось вернуться к занятиям. Однажды стипендия ускользнула от него, больше это не должно повториться. Тайком от Шойлена, пренебрегая строжайшим запретом врача, он стал заниматься.

— Поезжай домой, — сказал он отцу, — мама там одна. Я уже совсем здоров.

— Калипод прав, — сказал Шойлен. — Причин для беспокойства я не вижу. Легкое недомогание скоро пройдет. Кроме того, я здесь.

— Все это верно, — сказал Бхобаничорон. — В моем приезде никакой нужды не было, да разве сердцу прикажешь? А твоя бабушка, если пристанет, от нее не отвяжешься.

— Дедушка, — засмеялся Шойлен, — ты совсем избаловал бабушку своей любовью.

— Хорошо тебе говорить, а вот женишься, тогда посмотрим, каким ты будешь мужем.

Бхобаничорон так привык к заботам Рашмони, что их не могли заменить даже всевозможные удобства, предоставляемые Калькуттой. Поэтому долго упрашивать его не пришлось.

Утром он увязал вещи, но, войдя в комнату, увидел, что Калипод весь горит. Вчера он до ночи читал учебник логики и потом не сомкнул глаз до утра.

Калипод был еще очень слаб, и новая вспышка болезни встревожила врача. Отозвав Шойлена в сторону, он сказал:

— Плохи его дела.

— Послушай, дедушка, — сказал тогда Шойлен Бхобаничорону, — и тебе неудобно, и больной, по-моему, не получает нужного ухода. Не вызвать ли бабушку?

Как бы старался Шойлен скрыть от него истинное значение этих слов, Бхобаничорон задрожал от страха.

— Делай, как считаешь пужным, — проговорил он.

Получив письмо, Рашмони взяла с собой Боголачорона и поспешила в Калькутту. Она видела Калипода живым всего несколько часов. В бреду он то и дело звал мать, и сердце ее разрывалось от горя. Однако, опасаясь, что Бхобаничорон не перенесет этого удара, она не покорилась скорби. Сын ее как бы растворился в муже, и она воплотила все свои заботы о двоих в одном.

— Я больше не вынесу, — взмолилась ее душа, но что было делать?

V

Поздняя ночь. Истрадавшаяся Рашмони ненадолго забылась сном, но Бхобаничорону не спалось. Некоторое время он беспокойно ворочался на постели, потом, тяжело вздыхая, принялся молиться. Взяв дрожащей рукой

светильник, он вошел в пустую угловую комнату, где Калипод делал уроки, когда учился в деревенской школе. На постели до сих пор лежало рваное покрывало, разрисованное самой Рашмони, испещренное чернильными пятнами, на нем — самодельные тетради и обрывки Royal Reader, на стене углем вычерчены геометрические фигуры. Увы, крохотный башмачок Калипода, с давних пор валявшийся в углу и не привлекавший ничего внимания, сейчас, казалось, заслонил собой весь огромный мир.

Бхобаничорон поставил светильник в нишу и сел на постель. Глаза его были сухи, но что-то мешало дышать, грудь готова была разорваться от страшной боли. Он открыл дверь, выходящую на восток, и, держась за решетку, выглянул наружу.

Ночь, моросит дождь. У стены — густые заросли. Там, перед окнами своей комнаты, Калипод мечтал разбить садик. И по сей день пышно цветет посаженная им пассифлора, густая листва ее покрыла бамбуковую изгородь.

Боль в сердце стала острее. Никаких надежд. Придет лето, наступит Пуджа, начнутся каникулы, но никто не придет в опустевший дом.

О боже! Бхобаничорон опустил на землю. Калипод уехал в Калькутту, чтобы избавить отца от бедности, но лишил его и той последней ценности, которой он владел. Дождь зашумел сильнее.

Вдруг в зарослях послышались шаги. Сердце Бхобаничорона затрепетало. В душе проснулась безумная надежда. Ему почудилось, будто Калипод пришел взглянуть на свой сад. Но ведь он промокнет под таким ливнем. Необъяснимая тревога охватила Бхобаничорона. Кто-то подошел к решетке и остановился перед домом. Лицо незнакомца закрыто чадором, но ростом он примерно с Калипода.

— Сынок, ты пришел! — Бхобаничорон вскочил, чтобы отпереть дверь, выбежал из дому, обошел весь сад, промок до нитки, но никого не увидел.

— Калипод! — крикнул он в ночную тьму. Никто не откликнулся, только старый слуга Ното вышел из хлева и с большим трудом увел хозяина в дом.

Утром, подметая комнату, Нотобихари подобрал на полу какой-то сверток и принес его Бхобаничорону. Развернув его, Бхобаничорон увидел перед собой старинный документ. Нацепил очки на нос и, едва прочитав первую строку, бросился к Рашмони.

— Что это? — спросила Рашмони.

— Завещание, — ответил Бхобаничорон.

— Кто его принес?

— Человек, который приходил ночью.

— Что же теперь будет? — спросила Рашмони.

— Мне больше ничего не нужно, — ответил Бхобаничорон и разорвал завещание на клочки.

Когда новость обошла всю деревню, Боголачорон гордо заявил, покачивая головой:

— Разве я не говорил, что завещание найдется?

— Но вчера, — возразил ему лавочник Рамчорон, — с десятичасовым поездом приехал господин приятной наружности. Он зашел ко мне в лавку и спросил, как пройти к дому Чоудхури. В руках у него был какой-то пакет.

Однако Боголачорон с презрением отмахнулся от его слов.



С Д Е Р Ж А Л С Л О В О

1

Редко мать любит сына так, как любил Бонгшибодон своего брата Рошика. Стоило тому не прийти вовремя из школы, как Бонгши спешил на поиски. Кусок не шел ему в горло, прежде чем он не накормит брата. Малейшие неприятности Рошика огорчали его до слез.

Бонгши был на шестнадцать лет старше Рошика. Все их братья и сестры умерли, остались только они двое — старший и младший. Мать скончалась, когда Рошику был всего год, не прошло и трех лет, как не стало отца. Забота о мальчике легла на плечи брата.

Ткачество было наследственной профессией в их роду. Еще прадед Обхирам Бошак славился как ткач. Он выстроил в деревне храм, где до сих пор возвышается изваяние Радханатха. Но вот явился из-за океана железный дьявол и метнул огненную стрелу в старый ткацкий станок. В доме ткача поселился злой дух, именуемый голодом, и под свист пара протрубил свою победу.

Но старый ручной станок не сдавался: взад-вперед сновал челнок и тянул за собой нитку, однако это уже не радовало ветреную Лакшми — железный дьявол силой и хитростью покорил ее.

В одном только еще везло Бонгши: ему покровительствовали господа из Танагора. Чтобы справиться

с заказами для их многочисленных семейств, Бонгши приходилось держать помощника.

Девушки в их общине ценились высоко, тем не менее Бонгши при желании все же мог ввести в дом жену. Но этого не случилось из-за Рошика, — мальчик на праздник Пуджи получал такие наряды, которые не посрамили бы даже театрального принца. Бонгши тратил уйму денег на брата, себе же во всем отказывал.

Но без жены не сохранишь честь рода. Бонгши выбрал в жены девочку из подходящей семьи и стал копить деньги. Он решил, что трехсот рупий наличными и ста рупий на украшения будет достаточно для невесты. Времени впереди было много, еще, по крайней мере, лет пять. Девочке шел всего пятый год.

Но в его гороскопе линию сбережений пересекала линия звезды Рошика, а эта звезда отнюдь не благоприятствовала Бонгши.

Рошик был предводителем всех малышей своего квартала и своих сверстников. Люди, у которых всего в избытке, обладают какой-то особой притягательной силой в глазах тех несчастных, кого судьба обделила. Даже находиться рядом с ними, и то счастье. Не думайте, что эти баловни судьбы очаровывают своей щедростью. **Вовсе нет.**

Но было бы несправедливым утверждать, что все это относилось и к Рошику. Весь секрет состоял в том, что Рошик был мастером на все руки. Даже дети самых знатных родителей не могли не восхищаться им. Все у него получалось. Он не был скован предрассудками. Так что не только дети, но и взрослые то и дело обращались к мальчику с просьбами. Но был у Рошика один недостаток: ему все быстро падоело, — и тут уж не помогали никакие уговоры, они лишь раздражали Рошика. Однажды на праздник Дивали приехали пиротехники. После этого целых два года Рошик каждый праздник Пуджи пускал фейерверк у себя в деревне. Но на третий год фейерверка не было — к тому времени Рошик увлекся игрой на фисгармонии. Его подбил на это бродячий актер, одетый в широкий халат со множеством медалей. И теперь Рошик старательно разучивал мелодии Лакхнау.

Капризы его таланта, то доступного всем, то вдруг недостигаемого, придавали ему еще большую привлекательность. Нечего и говорить, что старший брат души не чаял в младшем. «Какой необыкновенный ребенок родился в нашей семье, — думал он. — Только бы ничего с ним не случилось». Непрошенные слезы навертывались на глаза, и он снова и снова просил Радханатха взять его из этого мира раньше, чем Рошика.

Каждое новое желание талантливого ребенка моментально удовлетворялось, а свадьба Бонгши отодвигалась все дальше и дальше. Шли годы. Бонгши исполнилось тридцать, а он не скопил еще и ста рупий. Девушку отдали в другой дом. И Бонгши решил, что род их продолжит Рошик.

Если бы девушки в их деревне сами выбирали себе женихов, о Рошике не пришлось бы беспокоиться. Все девочки любили Рошика: и Бидху, и Тара, и Шоши, и Шудха. И если в голову ему вдруг приходила фантазия лепить из глины, они готовы были поссориться из-за того, кому достанется глиняная фигурка. Но одна девочка — Шоуробхи — всегда держалась в стороне. Очень тихая, она молча наблюдала за его работой, подавала глину, палочки — словом, все, что было нужно. Ей так хотелось угодить Рошику! Зная, что тот любит жевать бетель, она непременно запасалась им. Рошик выстраивал перед ней игрушки и говорил: «Ну, Шоури, бери, что хочешь». От смущения девочка не решалась двинуться с места, и Рошик сам выбирал ей подарок. Увлечение лепкой сменилось страстью к фисгармонии, и теперь все дети мечтали хоть разок нажать на клавишу, но Рошик был неумолим. В отличие от остальных, Шоуробхи никогда ничем не досаждала Рошику. Она тихонько сидела в своем полосатом сари, подперев рукой подбородок. Ее большие глаза были широко открыты.

— Иди сюда, Шоури, нажми на клавишу, — приглашал ее Рошик, но девочка лишь застенчиво улыбалась, тогда он брал ее руку и тыкал ею в клавиши.

Гопал — брат Шоуробхи был одним из самых ярких поклонников Рошика. Не в пример сестре он не отличался застенчивостью, бесцеремонно заявлял о своих желаниях и не терпел отказа. Причем он требовал, чтобы

желания его удовлетворялись немедленно. Рошик не любил, когда к нему приставали, но к Гопалу был снисходителен.

В конце концов, Бонгши решил женить Рошика на Шоуробхи, хотя девочка была более знатного рода и за нее пришлось бы дать самое меньшее пятьсот рупий.

2

Бонгши работал не разгибая спины, но ни разу не обращался к брату за помощью. Пусть мальчик развлекается — Бонгши радовался успехам своего любимца. А Рошик не переставал удивляться. «Как может брат весь день просиживать за станком? — думал он, — я бы ни за что не смог». Бонгши обходился очень малым, и Рошик считал брата скупым, даже стыдился его. С самого детства он причислял себя к людям другого сорта, и сам Бонгши поощрял его в этом мнении.

Потеряв всякую надежду жениться, Бонгши все свои помыслы сосредоточил на будущей жене Рошика. Он не мог долго ждать, каждый месяц промедления казался ему невыносимым. В своем воображении он уже видел свадьбу брата — музыка, огни, Рошик в наряде жениха. Так мираж в пустыне дразнит изнемогающего от жажды путника.

И все же деньги он копил с большим трудом. Чем сильнее он стремился к заветной цели, тем дальше она отодвигалась. Силы его иссякали, он буквально надрывался, не зная отдыха даже ночью.

Он работал при копилке, когда вся деревня уже спала и лишь время от времени выли шакалы, эти стражи богини ночи. Никто не заботился о нем. Питался он более чем скромно. Одежда его изнасилась до дыр, за два года он никак не мог купить себе ничего теплого и все откладывал: «Этот год как-нибудь проживу, а на следующий возьму что-нибудь у кабулийца в рассрочку на год. К тому времени поднакоплю денег». Но время шло, денег не было, а здоровье Бонгши окончательно расстроилось. Наступил день, когда ему пришлось сказать брату:

— Я больше не могу один управляться со станком,

В ответ Рошик скорчил недовольную гримасу, Бонгши не сдержался — болезнь сделала его раздражительным.

— Надо работать, — сказал он брату, — мы потомственные ткачи, а ты только и знаешь развлекаться! Что будет с тобой дальше?

Упрек был вполне заслуженным и не очень обидным, но Рошику показалось, что никто еще не был более несправедлив к нему. В этот день он почти ничего не ел дома, а, вооружившись удочкой, отправился на рыбную ловлю на Чондонидахо. Наступили холода, и полдень был тихим. По обрывистому берегу весело прыгала сорока, неподалеку, в манговой роще, ворковал голубь, у самого берега, на осоке, сидела стрекоза, подставив солнцу свои прозрачные крылышки. Накануне Рошик договорился с Гопалом, что научит его драться на палках. Сейчас Гопал потерял на это всякую надежду. Рассердившись, он схватил горшок с червями, принесенный Рошиком, и стал яростно трясти его. Рошик наградил Гопала звонкой пощечиной.

Потом пришла Шоуробхи и села поодаль на траву, ожидая, когда Рошику понадобится бетель.

— Шоури, — вдруг обернулся к ней Рошик, — я очень хочу есть. Может быть, принесешь мне чего-нибудь?

Счастливая девочка бросилась домой и вскоре принесла в сари жареный и засахаренный рис. В тот день Рошик даже не подошел к брату.

Бонгши скверно себя чувствовал, и настроение у него было плохое. А тут еще ночью ему приснился отец. Видимо, и на том свете отец беспокоится, как бы не погиб их род.

На следующий день Бонгши заставил брата приняться за работу. Теперь речь шла не о вкусах и склонностях, а об обязанностях по отношению ко всему роду. Рошик сел за станок, но работа у него не спорилась: то и дело рвалась нитка. Бонгши думал, что через несколько дней брат набьет себе руку.

Но талантливый Рошик к этому не стремился, тем более что его сжигали стыд и досада: он, Рошик, сидит за ткацким станком! И это видели его почитатели, которые за ним пришли...

Через приятеля брат известил Рошика, что вопрос о свадьбе его с Шоуробхи улажен. Этой новостью Бонгши

надеялся смягчить сердце брата. Но не тут-то было. «Брат решил облагодетельствовать меня!» — возмутился Рошик и резко изменил свое отношение к бедной Шоуробхи. Теперь она даже не смела приблизиться к нему со своим бетелем. Девочка оплакивала свою несчастную судьбу. К фисгармонии ее тоже не подпускали. Рошик ни о чем больше не просил ее. Жизнь утратила для Шоуробхи всякий интерес, свет стал ей не мил.

До сих пор Рошик вполне довольствовался своей деревней, лесом, храмом Радханатха, рекой с ее переправой, болотом и прудом. Его интересы не шли дальше той части деревни, где жили кузнецы и плотники, или базара. Везде он был своим человеком, мог в любое время появляться один или с компанией. Его никогда не влекло за пределы деревни. Теперь же деревня надоела ему. Душа жаждала новых впечатлений. Бонгши не перегружал его, но всякая работа отравляла Рошику жизнь. Он слишком дорожил своим досугом.

3

Как раз в это время сыну танагорского бабу подарили велосипед. Как-то Рошик попробовал покататься и за короткое время в совершенстве овладел этим спортом. Колеса велосипеда казались ему крыльями, приделанными к ногам. Сколько в этом свободы, радости! Поистине великолепно! Словно метательный снаряд, велосипед уничтожал всякое понятие о расстоянии; в колесах будто воплотился ураганный ветер, который подхватывал человека и уносил вдале; велосипед казался Рошику всесильным оружием богов, которым во времена «Рамаяны» и «Махабхараты» иногда пользовались люди.

Жизнь без велосипеда казалась Рошику бессмысленной. И не так уж дорого он стоил. Каких-нибудь полтора рупий. За полтора рупий человек приобретал такое могущество — да ведь это почти даром! Подумать только, сколько пришлось выстрадать творцу из-за колесницы Вишну или возницы Аруны! А Индра! Чтобы добыть коня, он должен был взволновать целое море! Велосипед же можно так легко получить, он стоит в магазине

и ждет, чтобы за него заплатили какие-то полторы сотни рупий!

Зарок никогда ничего не просить у брата был нарушен. Но просьбу свою Рошик выразил не так, как обычно:

— Одолжи мне полтораста рупий, — сказал он брату.

Давно уже Рошик ни с чем не обращался к брату, усугубляя душевной мукой его физические страдания, и теперь Бонгши был на седьмом небе от радости. «Да пропади все пропадом, — подумал он, — разве можно отказывать себе во всем, дам ему». Но род? Ведь тогда погибнет род! Что останется от накопленных денег, если он отдаст полтораста рупий? В долг! Подумать только — Рошик вернет деньги! Да если бы это оказалось возможным, Бонгши мог бы спокойно умереть.

Бонгши собрал всю свою волю.

— О чем ты говоришь? — спросил он. — Откуда у меня столько денег?

Между тем Рошик заявил друзьям, что не женится, пока не получит денег.

— Хорошенькое дело! — вздохнул Бонгши, когда ему передали слова брата, — и невесте дай, и жениха не обидь. Да в такой переплет у нас никто не попадал во всех семи поколениях.

В знак протеста Рошик больше не подходил к станку. «Мне нездоровится», — говорил он, хотя болезни не было и в помине. Бонгши почувствовал себя глубоко оскорбленным.

«Пускай, — решил он, — я никогда больше не заставляю его работать».

И он стал трудиться из последних сил.

Как раз в это время был объявлен бойкот иностранным товарам и спрос на местные ткани возрос. Они поднялись в цене. К станкам вернулись даже те ткачи, которые успели сменить профессию. Неутомимый челнок, сновал взад вперед, словно запряженная крысами колесница, на которой восседает покровитель ткачей Ганеша. Теперь Бонгши не мог допустить, чтобы станок бездействовал хоть минуту. Если бы Рошик помогал ему, они скопили бы нужные деньги за полгода, а не за два. Но брат не

помогал. И больному Бонгши не оставалось ничего другого, как самому работать.

Рошик все время где-то пропадал. Но вот однажды вечером, когда руки Бонгши уже не слушались его, а поясница нестерпимо ныла, он вдруг услышал звуки фисгармонии и знакомый мотив. Когда-то Бонгши гордился талантами брата. Но сейчас произошло невероятное. Бонгши вышел во двор и увидел, что Рошик играет какому-то незнакомцу. Кровь бросилась в голову больного, измученного Бонгши, и он не стал выбирать выражений.

— Да если я теперь хоть когда-нибудь кусок съем у тебя, — крикнул ему в ответ Рошик, — то пусть...

— Не болтай, — одернул его брат, — я-то знаю, на что ты способен — изображать из себя господина, играть песенки да франтить...

Он круто повернулся, ушел в дом и в изнеможении лег на циновку.

Но Рошик впервые в жизни не развлекался. В Танагоре гастролировал цирк, и Рошик решил поступить в труппу. Вот одному из актеров он и демонстрировал свое мастерство.

Никогда еще с губ Бонгши не слетали такие суровые слова. Ему и самому казалось, что это не он, а кто-то другой бросал эти жестокие упреки. Он больше не будет копить денег. При одной мысли о них Бонгши вскипел от гнева — собственно, из-за них все и произошло. В жизни у него есть только одно сокровище — его брат. Ему вспомнился маленький Рошик, едва выговаривавший «дада». Чего стоило Бонгши уберечь нитки от его шаловливых пальчиков. Он всегда охотно шел на руки к брату, таскал его за волосы, дергал за нос, пытался укусить своим беззубым ротиком. Сердце Бонгши защемило. Он несколько раз слабым голосом позвал брата. Тот не отзывался. Тогда Бонгши вышел во двор. Фисгармония лежала на земле. Рошик сидел поодаль, один в темноте. Бонгши отвязал от пояса мешочек.

— Возьми, — произнес он прерывающимся голосом. — Эти деньги я копил для тебя, хотел привести тебе жену. Но я не могу видеть твоих слез, купи себе эту двухколесную повозку, покупай, что хочешь.

Рошик встал.

— Не надо мне твоих денег, — зло сказал он. — Я куплю двухколесную повозку на собственные деньги и сам приведу себе жену.

И тут же, не дав Бонгши ответить, он убежал. После случившегося братья больше не разговаривали друг с другом.

4

Гопал — главный почитатель Рошика — теперь сторонился его: ловил рыбу один, демонстративно усевшись против Рошика, и не уговаривал своего бывшего друга, как раньше, пересесть к нему. О Шоуробхи и говорить не приходится. Она твердо решила на всю жизнь поссориться с Рошиком, но никак не могла известить его о своем намерении и частенько плакала от обиды, забившись куда-нибудь в уголок.

Но однажды в полдень к их дому подошел Рошик и позвал Гопала. Когда тот вышел, Рошик ласково потрепал его за уши, даже слегка пощекотал. Гопал оттолкнул его и полез было в драку, но, в конце концов, сдался. Вскоре мальчики весело болтали.

— Хочешь, я подарю тебе фисгармонию? — спросил Рошик.

Фисгармонию! Возможно ли в наш век дарить такие подарки?! Однако Гопал не стал церемониться. Он умел прибрать к рукам все, что бы ему ни приглянулось, и с фисгармонией обошелся именно таким образом, на всякий случай предупредив Рошика, что тот ее назад не получит.

Пока Рошик звал Гопала, он надеялся, что еще кое-кто услышит его. Однако никто больше не появлялся. Тогда Рошик спросил:

— А где Шоури? Позови ее!

Гопал пошел за сестрой.

— Шоури занята, — сообщил он, вернувшись. — Ей надо сушить горох.

Рошик в душе усмехнулся:

— Что ж, посмотрим, как она это делает.

Он вошел во двор, огляделся. Никакого гороха не было. Около глиняного забора спиной к ним стояла Шоуробхи.

Заслышав шаги, девочка хотела спрятаться, но не успела. Рошик подошел к ней, взял за плечи.

— Шоури, ты сердилась? — спросил он, пытаясь вернуть ее к себе.

Но девочка вырвалась из его рук и забилась в угол.

— Шоури, одеяло готово! То самое, помнишь? Смотри!

Однажды Рошик решил сшить из лоскутков одеяло, причем в выборе рисунка руководствовался собственной фантазией, а не готовыми узорами, которыми обычно пользовались девочки. Шоуробхи с восхищением следила за его работой. Ей казалось, что в целом мире не сыщешь подобной красоты. Работа шла уже к концу, но шитье вдруг надоело мальчику, и он его забросил. Шоуробхи очень огорчала неусидчивость Рошика. Сколько раз она уговаривала его дошить одеяло. Для этого потребовалось бы часа два, не больше. Но разве согласишься с ним? И вот теперь, спустя столько времени, он вдруг вспомнил об одеяле!

Когда Рошику удалось наконец повернуть Шоуробхи к себе, девочка поспешно прикрыла лицо краем сари — он не должен видеть ее мокрые от слез щеки!

Мирные отношения были восстановлены не сразу, но переговоры все же увенчались успехом — Шоуробхи даже принесла ему бетель. Тогда Рошик развязал узел и прямо на земле расстелил одеяло. Сердце девочки замерло от восторга.

— Возьми, для тебя старался, — сказал Рошик.

Девочка глазам своим не верила: никто еще не дарил ей таких чудесных подарков! Видя нерешительность сестры, Гопал прикрикнул на нее. Ему была чужда сентиментальность. А застенчивость он считал чистейшим притворством. Без долгих разговоров Гопал свернул одеяло и унес домой. Конфликт был улажен. И Гопал и сестренка радовались, что теперь все пойдет по-прежнему.

В тот день Рошик помирился со всеми друзьями. Но к брату он не зашел. Бонгши лежал в постели, когда пришла вдова, стряпавшая им.

— Что сегодня готовить? — спросила она.

— Мне ничего не надо, — ответил Бонгши, — нездоровится что-то. Спроси у Рошика, что он хочет.

Оказалось, что Рошик уже предупредил, чтобы его не ждали к обеду.

— Наверное, приглашен куда-нибудь, — сказала женщина.

Бонгши тяжело вздохнул, накрылся с головой и отвернулся.

Так прошел последний день Рошика в деревне. Вечером ему предстояло уйти с цирком. Ночь выдалась холодная. Взошла ущербная луна. Народ с ярмарки почти весь разошелся, только по дороге, пересекавшей поле, возвращались домой жители дальних селений. Слышался их говор. Медленно проехала порожняя телега, запряженная буйволами. Возница, закутавшись, дремал. В деревне жгли солому — дым стлался в холодном безветренном воздухе, клубился в бамбуковых зарослях. Когда Рошик дошел до края поля и исчезли последние деревья, темневшие в лунном свете, его охватила тоска. Можно было вернуться, но сердце Рошика еще не смягчилось. Он должен смыть оскорбление, нанесенное братом. Он ест его хлеб! Нет, Рошик вернется в родную деревню только на велосипеде, купленном на собственные деньги. Прощай, пристань на Чондонидахо, прощай, пруд «Счастья», аромат горчичных полей в месяце фальгун, жужжанье пчел в манговых садах в месяце чойтро, прощайте, дружба, радости, забавы. Впереди чужой, неведомый мир, неведомая судьба.

5

Рошику казалось, что он охотно взялся бы за любую работу, только бы не видеть ткацкого станка. Стоит ему покинуть тесный мир семьи, и все уладится. Поэтому Рошик без колебаний отправился в путь. Его не пугали трудности, он не думал о том, скоро ли сбудутся его желания. Едва он вышел из деревни, как все стало представляться ему легко осуществимым, так горы издали кажутся близкими: какие-нибудь полчаса — и можно достичь вершины. Рошик никому не сказал, куда отправляется. Потом узнают, когда вернется.

Несколько позднее Рошик понял, что, когда делаешь что-нибудь даром, люди бывают благодарны, если же ста-

раешься ради денег, никто спасибо не скажет. Следуя своим вкусам и наклонностям, можно достичь совершенства. И это вдохновляет. Если в лодке нет паруса, ветер не понесет ее по волнам. Тогда берутся за весла и шест. В работе же личные склонности — помеха. Прежде цирк казался Рошику воплощением веселья. Но стоило ему наняться туда на работу, как веселье исчезло. А что может быть хуже работы, которая не приносит человеку радости, против которой изо дня в день восстает душа? Жизнь Рошика превратилась для него в настоящую пытку. Ему часто снился дом. Иногда он просыпался среди ночи, и ему казалось, будто он дома и рядом брат. В холода Бонгши осторожно, чтобы не разбудить, укрывал его своим одеялом. И теперь в полудреме Рошик сердился, что брат почему-то медлит. Потом он просыпался, вспоминал, что брата здесь нет и что тот, наверное, мучается, вспоминая о Рошике. Он решал завтра же возвратиться домой, но наступало утро, и он спова клялся, что не вернется, пока не купит велосипеда. Должен ведь он доказать, что он мужчина и что не зря назвали его Рошиком¹.

Однажды хозяин оскорбил его, обозвав ткачом. В тот же день мальчик покинул труппу и ушел с пустыми руками, оставив весь свой жалкий скарб — какие-то тряпки, горшки и тарелки — в счет долга. Целый день он ничего не ел, а к вечеру остановился у реки, где на берегу мирно паслись коровы, и стал с завистью на них смотреть. Земля им родная мать, кормилица. А человеку она — мачеха, потому-то Рошик и мучается от голода. Мальчик напился из пригоршни. «И реке этой хорошо, — подумал он, — не надо ни еды, ни питья, ни жилья». Скоро ночь, а она безмятежно катит свои воды. Рошик пристально посмотрел в воду. Может быть, в этот момент ему захотелось отдать свою постылую жизнь этим бес печным волнам?

Неожиданно у реки появился юноша с поклажей на голове. Он уселся на земле возле Рошика, вытащил завя-

¹ Рошик — означает разумный, провидательный, понимающий.

занную в край дхоти лепешку и, намочив ее в воде, собрался ужинать. Рошик с любопытством взглянул на парня: босой, в рубашке поверх дхоти, с чалмой на голове — сразу видно, из благородных, а на голове несет тюк, как простой носильщик. Рошик был в недоумении. Юноши разговорились, и вскоре Рошик получил свою долю лепешки. Его новый знакомый оказался студентом калькуттского колледжа. Студенты открыли магазин, где торгуют тканями ручного производства, и он пришел на ярмарку за товаром. Звали его Шубодх, и принадлежал он к касте брахманов. Юноша был лишен каких бы то ни было предрассудков — весь день он толкался на ярмарке, а вечером ужинал размоченной лепешкой.

Глядя на Шубодха, Рошик устыдился собственной слабости, и в то же время у него появилась надежда. Оказывается, можно ходить вот так босиком и носить тяжести на голове, как простой носильщик. Так вот он, выход из положения! «Зачем же было голодать, — сокрушался Рошик, — ведь при желании я мог заработать».

И когда Шубодх снова взялся за тюк, Рошик остановил его:

— Дайте я понесу!

Шубодх воспротивился, и тогда Рошик сказал:

— Я сын ткача, к работе привык и могу сделать это не хуже вас, а вы возьмите меня с собой в Калькутту.

Раньше Рошик ни за что не решился бы сознаться в том, что он ткач.

Шубодх так и подпрыгнул.

— Ты ткач? Отлично! Я как раз ищу ткача. Теперь на вас такой спрос, что никто не соглашается идти учителем в нашу ткацкую школу.

Так Рошик стал учителем. Экономя на жилье, он скопил немного денег, но на велосипед все еще не хватало. А о свадебной гирлянде для невесты и говорить нечего.

Между тем школа могла исчезнуть так же неожиданно, как она возникла. Все шло прекрасно, пока господа из комитета ограничивались заседаниями, но стоило им взяться за дело, как разыгрался скандал: они навезли из разных мест станки совершенно разного типа и изготовили

такую продукцию, что ни один комитет не знал, как от нее избавиться.

Рошик весь извелся. Душа его рвалась домой. Перед глазами неотступно стояли картины деревенской жизни: он отчетливо представлял себе мельчайшие детали: вот дурачок — сын жреца, вот соседский рыжий теленок, с правой стороны дороги, если идти вдоль реки, растут два дерева — они переплелись корнями и напоминают двух борцов, а под деревьями заброшенная хижина, вот болото, с трех сторон, где мелко, салят рис, а где поглубже — в землю вбиты колья для рыболовных сетей, на одном из них сидит чайка; из деревни доносятся вечерние песни. Воздух неподвижен и напоен ароматами! А какие чудесные у него друзья! Непоседа Гопал и Шоуробхи с широко раскрытыми ласковыми глазами, всегда с бетелем, завязанным в край сари!..

Он помнил все радости и печали, картины прошлого преследовали его, звали. В городе не оценили его талантов. Ручные изделия уступали фабричным, и никто больше не восхищался его мастерством. Преподавание в школе ткачей, это жалкое подобие работы, не давало ему никакого удовлетворения. Огни театральной рампы сгубили бы его как мотылька, если бы не желание во что бы то ни стало скопить деньги... Тянуло Рошика домой еще и потому, что туда ему были закрыты все пути. Его надежды на школу ткачей рухнули, за работу в последние два месяца ему вообще не платили. Терпение его лопнуло. После целого года мытарств он решил вернуться к брату, пусть с повинной головой, пусть пристыженный.

Как раз в это время в доме рядом с его жильем пышно отпраздновали свадьбу. Рошик видел жениха, слышал звуки флейты, и ночью ему приснилось, будто он стоит в зарослях бамбука, а на нем свадебный головной убор и красное шелковое одеяние. Деревенские ребяташки дразнят Шоуробхи: «Смотри, вон твой жених пришел!» Девочка плачет. Рошик хочет прогнать детей, но в своем высоком головном уборе не может пробиться сквозь деревья. Проснувшись, Рошик почувствовал жгучий стыд: ему давно выбрали невесту, а он до сих пор не может ввести ее в свой дом. Это ли не доказательство его ничемности! Нет! Так вернуться в деревню он не может!

Судьбу Рошика можно было сравнить с погодой: в засуху, если и набежит тучка, она быстро прольется дождем и земля даже не напитается влагой, а в сезон дождей небо надолго заволакивается тучами и дождь льет не переставая.

Джанки Нонди, очень богатый человек, прослышал об учителе-ткаче, и вот однажды у школы остановился его экипаж, запряженный парой рысаков. О чем Джанки говорил с Рошиком, неизвестно, но на следующий же день тот оставил свой пансион и перебрался в большой трехэтажный дом Джанки.

Джанки вел дела посреднической конторы по торговле с Англией. Рошик не понимал, зачем он вдруг понадобился Джанки — тот взял его на весьма скромную должность, но положил очень хорошее жалованье. Для такой работы вовсе не надо было специально искать человека, а тем более оказывать ему такое внимание. Соприкоснувшись с жизнью, Рошик узнал себе настоящую цену и поэтому ничем, кроме счастливого расположения звезд, не мог объяснить благосклонности к нему Джанки.

Однако все было гораздо проще, чем он предполагал. Но расскажем прежде о Джанки. В довольно трудные для него времена, когда он еще учился в колледже, был у него друг Хормохон Бошу, который входил в «Брахмо Самадж». Отец Хормохона работал в посреднической конторе, куда его устроил покровитель их семьи, английский купец, очень благоволивший к нему. А Хормохон в свою очередь устроил туда Джанки.

Джанки был беден и потому, как и Хормохон, горел желанием реформировать общество. После смерти отца он расторгнул брачный договор своей сестры и занялся ее образованием. Шли годы, и вот девушка достигла того возраста, когда по законам касты ткачей она уже не могла выйти замуж. Выручил Джанки сам Хормохон, по касте писец, — он женился на его сестре.

Когда много лет спустя Хормохон и его жена умерли, все дело перешло в руки Джанки. Он больше не снимал квартиры, а поселился в собственном трехэтажном

особняке. Джанки теперь стыдился своих старых никелированных часов и щеголял золотыми.

По мере того как росло состояние Джанки, его юношеские стремления все больше и больше казались ему ребячеством. Он бы охотно вычеркнул эту страницу из книги своей жизни и занял бы высокое положение в общине. Свою дочь, решил Джанки, он выдаст только за человека своей касты. Не один жених польстился на его деньги, но всякий раз, как дело доходило до его родственников, поднимался скандал и свадьба расстраивалась. В конце концов, Джанки примирился с мыслью о женихе необразованном. Любой ценой, даже ценой счастья собственной дочери он должен завоевать благосклонность бога своей общины.

Именно в это время до Джанки дошли слухи об учителе-ткаче. Юноша происходил из семьи Бошаков из Танагора, имя его предка Обхирама Бошака было всем хорошо известно, и хотя богатством юноша не мог похвастаться, род его был древнее рода Джанки.

Джанки показал Рошика жене, и тот ей понравился. — Образованный? — поинтересовалась она.

— Слава богу, нет, — ответил Джанки, — образованных трудно склонить к нашей вере.

— А деньги у него есть?

— Нет, и это тоже слава богу.

— Но ведь родственников все равно придется звать, — заметила жена.

— Нет, — ответил муж, — хватит с меня, сколько раз из-за них расстраивалась свадьба. Вначале пусть женится, а потом выберем подходящий момент и наладим отношения с родственниками.

И вот, когда Рошик день и ночь думал о возвращении домой и мечтал чудом разбогатеть, панацея от всех несчастий вдруг оказалась у него в руках.

— Надо известить твоего брата о свадьбе, — сказал Джанки.

— Незачем, — ответил Рошик. Он решил обо всем сообщить брату позже, когда все уже будет кончено. Пусть знает, на что способен никчемный Рошик.

Выбрали благоприятный день и сыграли свадьбу. Себе в подарок Рошик первым делом потребовал велосипед.

Стоял конец месяца магха. В полях цвели горчица и лен. Повсюду варили мелассу, и от этого воздух, казалось, стал густым. Амбары были полны риса и бобов, на скотных дворах возвышались стоги соломы. Пастухи уже перебрались со стадами за реку, на пастбища. Паром бездействовал — вода спала и теперь реку переходили вброд.

Рошик ехал домой франтом, на нем была английская рубашка и дхоти из Дакки. Поверх рубашки черный шерстяной пиджак, на ногах — модные носки и лакированные английские штиблеты. По большаку он гнал велосипед во весь дух, но на проселочной дороге сбавил скорость. В деревне Рошика никто не узнал, тем более что он ни с кем не здоровался. Прежде всего ему хотелось повидаться с братом. Но провести деревенских ребятишек ему не удалось. Как только он подъехал к своему дому, они бросились к Шоуробхи, жившей неподалеку.

— Приехал жених Шоуробхи! Жених Шоуробхи! — кричали они.

Гопал был дома. Он тут же выскочил на улицу, но велосипед Рошика уже стоял возле дома Бонгши.

Наступил вечер. В доме было темно, на дверях висел замок, казалось, дом жаловался: «Никого нет. Никого нет». У Рошика вдруг защемило сердце, перед глазами поплыл туман. Ноги задрожали. Он стоял, прислонившись к двери, в горле пересохло. Страх охватил Рошика. Из храма донесся звон колоколов, и Рошику почудилось, будто кто-то из потустороннего мира прощается с ним. Дувал, сарай, запертая дверь, изгородь, наклонившаяся финиковая пальма казались ему призрачными картинами прошлого.

Подошел Гопал. Рошик, бледный, повернулся к нему. Тот опустил глаза.

— Брата нет! — вскричал Рошик и опустился на землю. Гопал сел рядом.

— Брат Рошик, — проговорил он, — пойдем к нам.

Но Рошик оттолкнул его и ничком упал на землю.

— Брат! Брат! Брат! — причитал он.

Но брат, прежде такой заботливый, не отозвался.

Пришел отец Гопала и уговорил наконец Рошика пойти к ним. Войдя во двор, Рошик заметил Шоуробхи: она осторожно пристраивала у стены дома какую-то вещь, накрытую подаренным им одеялом. Заслышав шаги, девочка исчезла в доме. Оказалось, что в одеяло был завернут велосипед. Рошик все понял, к горлу подступил комок, но глаза оставались сухими.

Когда Рошик покинул деревню, Бонгши работал день и ночь, пока не скопил нужной суммы. Сбылась его мечта. Теперь он мог внести деньги за Шоуробхи и купить велосипед. И как загнанная лошадь, доскавав до места, падает замертво, так и он обессилел, когда, выслав последний взнос, получил по почте велосипед. Станок его остановился. Бонгши позвал отца Гопала и сказал ему:

— Вот тебе деньги за Шоури, подожди еще год Рошика. И еще отдай ему эту двухколесную повозку и скажи, пусть не сердится на своего несчастного брата за то, что тот не сразу выполнил его желание.

Когда-то Рошик поклялся не прикасаться к деньгам брата. Всевышний услышал его клятву, и вот теперь, вернувшись домой, Рошик не мог принять подарка Бонгши. Ему захотелось все бросить и посвятить свою жизнь станку, тому самому станку, на котором его брат, не щадя себя, ткал его благополучие. Но увы, было поздно. В Калькутте он навсегда принес себя в жертву золотому тельцу.



СЕМЬЯ ХАЛДАРОВ

Никаких веских причин для раздоров в этом доме не было. Люди жили здесь хорошие, семья процветала. И все же разыгрался скандал.

Если бы все случилось по причинам разумным, мир уподобился бы арифметической тетрадке, в которой нет ошибок, а если и закралась одна, ее легко устранить с помощью резинки.

Божество, распоряжающееся человеческими судьбами, пожалуй, не лишено чувства юмора; а вот знает ли оно в совершенстве математику — неизвестно, во всяком случае, склонности к этой науке оно не питает. Верша человеческие судьбы, это божество никогда не прибегает к простым арифметическим действиям: сложению и вычитанию! Нет, единственное, что им движет, — это абсурдность. И вот в доме все неожиданно переворачивается вверх дном. На семью вдруг обрушивается ураган несчастий. Так в мире рождаются трагедии.

В истории, о которой пойдет речь, все произошло именно таким образом. В нежные заросли лотоса забрел слон. И лотосы оказались втоптаннами в грязь.

Самым достойным человеком в семье, о которой я собираюсь рассказать, был, конечно, Боноярилал. Он и сам это прекрасно сознавал, ибо собственная добропорядочность не давала ему ни минуты покоя. Он постоянно ощущал ее толчки, как пароход — работу машины в трюме. Хорошо, если его добропорядочность находила выход, иначе она крушила все на своем пути.

Монохорлал, отец Боноярилала, был истинным вельможей прежних времен. Он стремился быть украшением того общества, к которому принадлежал, причем украшением дорогим, а до всего прочего ему не было дела. Вокруг, не зная отдыха, трудились люди, он же неизменно пребывал в безделье и покое.

Как часто подобные люди с легкостью, словно магнит, притягивают к себе честных тружеников.

Объяснить это можно лишь тем, что и по сей день на земле рождаются люди, чей удел — весь век прислуживать, нести на себе бремя чужих дел — так уж они устроены. Работать для себя они не любят, а вот окружить заботой какого-нибудь субъекта, создать ему уют и оберегать от невзгод, всячески способствуя его преуспению в обществе, — наивысшее наслаждение для этих простаков. Они словно женщина, забывшая собственных детей ради чужих.

Был в услужении у Монохорлала некий Рамчорон, всю свою жизнь посвятивший заботам о господине. Он с радостью освободил бы своего хозяина от обязанности дышать, сам уподобившись кузнечным мехам. С первого взгляда могло показаться, что Монохорлал несправедлив к своему слуге.

Уронит, скажем, Монохорлал трубку от кальяна, и тут же зовет Рамчорона, хотя и сам мог без труда поднять ее. Однако Рамчорону доставляло особое удовольствие быть незаменимым в таких пустяках.

Точным подобием Рамчорона был и управляющий Нилконтхо. Все поместье лежало на нем. И если Рамчорон, обласканный господином, был добродушен и оброс жирком, то Нилконтхо, превратился в скелет, лишенный какой бы то ни было плоти. Словно злой дух голода, стоял он на страже у врат в господскую сокровищницу. Состояние, которым владел Монохорлал, было кумиром для Нилконтхо.

Нилконтхо и Боноярилал давно недолюбливали друг друга. С большим трудом Боноярилалу удалось выпросить у отца разрешение на покупку драгоценностей для своей жены. Ему хотелось выбрать украшения по своему вкусу. Но не тут-то было. Все покупки делал сам Нилконтхо. Кончилось тем, что Боноярилал заподозрил Нилконтхо в

нечестности, в том, что он вошел в сделку с ювелиром. У людей твердой воли никогда не бывает недостатка во врагах. Боноярилал от многих слышал, что состояние Нилконтхо растет пропорционально обманам, которые он совершил.

А ведь вражда между старшим сыном Монохорлала и его управляющим возникла из-за каких-то нескольких рупий. Наделенный трезвым умом, Нилконтхо понимал, что ссора с Боноярилалом грозит ему в будущем неприятностями. Но преданность господским деньгам взяла верх над его опасениями. Даже приказ самого господина не мог заставить его зря потратить деньги. Тем более что расходы Боноярилала почти никогда не диктовались необходимостью.

На неразумные поступки мужчин толкает всегда одна и та же причина. Так было и с Боноярилалом. О внешности его жены — Киронлекхи существовало много различных мнений. Но нет нужды останавливаться на каждом из них. В сложившихся обстоятельствах единственно существенным было мнение Боноярилала.

Все женщины семьи Халдаров считали привязанность Боноярилала к жене чрезмерной. И все потому, что мужа не баловали их любовью.

Шли годы, а Киронлекха по-прежнему выглядела девочкой. Ни внешностью, ни манерами она не походила на старшую невестку из знатного дома.

Она была очень миниатюрна. И Боноярилал ласково называл ее «молекулой».

Но порою это казалось ему недостаточным, и тогда он называл жену «атомом». Но, как известно, атомная энергия сила не малая.

Кирон никогда ничего не требовала от мужа и казалась ко всему равнодушной. Бесчисленные родственницы и приживалки в доме доставляли молодой женщине уйму хлопот. Она не понимала, что первая любовь жаждет уединения и самоотверженности. Ее чувство к Бонояри было лишено пылкости. Киронлекха спокойно принимала дары мужа, сама же ничего не желала. А Боноярилал без конца ломал голову над тем, как доставить удовольствие жене. Когда жена сама требует подарков, муж обычно торгуется с ней. Но нельзя же торговаться с самим

собою! И подарки добровольные всегда обходятся дороже. Боноярилал никогда не мог понять, пришелся ли подарок ей по душе. На его вопрос Киронлекха неизменно отвечала: «Очень нравится, спасибо». Но такой ответ не мог рассеять подозрений, терзавших Боноярилала. Тогда Кирон говорила:

— Ну и характер у тебя! Чего ты хочешь? Мне все нравится!

Боноярилалу приходилось читать, что равнодушие к земным благам — великая добродетель. Но в собственной жене эта добродетель его лишь огорчала.

Кирон не только принесла Боноярилалу счастье, она покорила его. И ему, в свою очередь, хотелось завоевать сердце жены. Но Кирон это удалось без труда, ей помогли очарование молодости и умение быть нежной. Мужчине это не так просто. Чтобы покорить женщину, он должен что-то совершить. А его лишили этой возможности.

Если мужчина не владеет ничем, кроме богатства, а богатство своего рода сила, он утешается тем, что демонстрирует его великолепие перед супругой, иными словами как павлин распускает хвост. И всякий раз в любовных делах Боноярилала Нилконтхо был помехой. Боноярилал, хоть и был старшим сыном, не пользовался никакой властью в доме. Нилконтхо завоевал доверие Монохорлала и держал его в руках. Но не от унижения страдал Боноярилал, а оттого, что не мог пополнить колчан бога любви.

Когда-нибудь все состояние перейдет в его руки. Но ведь молодость не вечна! И узорчатый кубок весны не всегда будет наполняться нектаром! Тогда деньги не станут жертвой безрассудного расточительства, с каждым днем их будет все больше, как снега на горных вершинах, но радости они не принесут. Деньги нужны именно сейчас, когда ничто не мешает тратить их.

Боноярилал увлекался тремя вещами: борьбой, охотой и санскритом. Его записную книжку заполнили популярные санскритские стихи неизвестных поэтов. В ненастье, тихими лунными ночами и в дни, когда дул южный ветер, эти стихи оказывались весьма кстати. К счастью, Нилконтхо был не властен уничтожить их помпезность. Ведь никакая бухгалтерия не несет ответственности даже за са-

мую неправдоподобную гиперболу. Ничтожный процент золота в серьгах Кирон с лихвой восполнился обилием стихов, которые читал ей муж монотонным голосом. Огромного роста, широкий в кости, Боноярилал обладал внешностью борца и в гневе бывал страшен. Но душу имел нежную. словно мать, опекал он своего младшего брата Боншилала, когда тот был совсем маленьким. В сердце Бонояри жила неистребимая жажда излить на кого-нибудь свою нежность.

Такое же чувство питал он и к Кирон. Она казалась ему хрупкой, словно солнечный луч, затерявшийся в густой тени, и вызывала умиление.

Ему страстно хотелось одеть ее в дорогие наряды, украсить драгоценностями. То было стремление не к радости обладания, а к радости созидания, — всякий раз ему хотелось видеть Киронлекху новой. Увы, повторение санскритских двустийши ни в коей мере не могло утолить этой его жажды. Боноярилал не мог проявить властность, свойственную мужской натуре, он даже не мог окружить предмет своей любви роскошью.

И вот этот сын богача, имевший все, о чем другие только мечтают, — знатность, красавицу жену, молодость, — стал вдруг причиной скандала в семье.

Однажды на женской половине господского дома появилась Шукхода, жена Модху, одного из арендаторов Монохорлала, и, рыдая, упала в ноги Киронлекхи. Дело в том, что несколько лет назад рыбаки, объединившись, как это не раз они делали, взяли под расписку в конторе Монохорлала тысячу рупий на покупку невода. Когда рыба ловилась, выплачивать долг не составляло труда, и рыбаки не замечали, что проценты слишком высоки. Но последние три года рыбы в реке становилось все меньше. Рыбаки с трудом сводили концы с концами и сами запутались в долговых сетях. Пришлые рыбаки покинули эту местность. Но Модху сбежать не мог: он арендовал здесь землю, и весь долг приходилось платить ему одному. Вот он и решил искать защиты у Киронлекхи, умолять спасти его от разорения.

Все знали, что от Монохорлала ничего не добьешься, он и мысли не допускал, что кто-то может вмешаться в дела Нилконтхо.

Кирон тоже понимала, что, сколько бы Бонояри ни гневался и ни петушился, он не в силах отменить приказ Нилконтхо. И она попыталась убедить Шукходу, что бессильна помочь им.

— Сама посуди, милая, чем я могу тебе помочь, — несколько раз повторяла она. — Мы с мужем не имеем к этим делам никакого отношения. Пусть лучше Модху обратится к хозяину.

Оказалось, что Модху уже пытался это сделать, но Монохорлал обычно поручал разбор всех жалоб тому же Нилконтхо и никогда не отменял его решений. Поэтому жалобщик попадал в затруднительное положение. Стоило ему пожаловаться вторично, как помещик приходил в ярость: он испытывал отвращение к любого рода делам.

Когда Шукхода рыдала в ногах у Киронлекхи, Боноярилал в соседней комнате смазывал свое охотничье ружье и все слышал. Сердце его готово было разорваться, когда жена снова и снова ласково повторяла, что они с мужем не в силах помочь Модху.

Наступил первый день полнолуния месяца фальгун. К вечеру подул сильный ветер и стало немного прохладнее. Настойчиво кричала кукушка, словно взывая к кому-то равнодушному. Воздух был напоен ароматом, словно ярмарка цветов.

В саду, куда выходили окна женской половины дома, цветущие деревья канчон несли к небу свой пьянящий аромат. Кирон надела яркое сари, украсила узел своих волос венком жасмина. Она и для Боноярилала приготовила по-весеннему яркое дхоти и гирлянду из жасмина. Так уж у них с мужем повелось. Третий час ночи был на исходе, а Боноярилал все не приходил. Сегодня он отверг кубок юношеской страсти. Терзаемый сомнениями, он не смел вступить в райский чертог любви. Он не властен облегчить страдания Модху, только Нилконтхо властен!

Так стоит ли украшать труса?

Боноярилал вызвал Нилконтхо к себе и приказал ему простить Модху долг. На это управляющий ответил, что если дать поблажку Модху, то и другие должники под любыми предлогами не станут платить денег. Видя, что ему не переспорить управляющего, Боноярилал крикнул:

— Ничтожный вы человек!

— Не будь я ничтожен, мне незачем было бы искать покровительства богатых господ, — спокойно согласился Нилконтхо.

— Вор! — продолжал кричать Боноярилал.

— И это верно! Таким, как я, всевышний ничего не ссудил, и нам приходится жить на чужой счет.

Нилконтхо спокойно выслушал все ругательства, которые обрушил на него Боноярилал, а потом сказал:

— Я посоветуюсь с адвокатом, он сейчас у нас. И если понадобится, снова зайду к вам.

Тогда Боноярилал решил привлечь на свою сторону младшего брата и вместе с ним пойти к отцу. Он понимал, что один ничего не добьется. Ему уже приходилось ссориться с отцом из-за Нилконтхо, и отец сердился на него.

Когда-то любимцем Монохорлала был старший сын. Теперь им стал Бонши. Именно поэтому Боноярилал и хотел, чтобы Бонши вместе с ним пожаловался на Нилконтхо.

Бонши был что называется примерным сыном. Из всей семьи ему одному удалось сдать целых два экзамена в колледж. И сейчас он готовился к экзамену по праву. Юноша просиживал за книгами дни и ночи; один бог ведает, что из прочитанного оставалось у Бонши в голове, но здоровье его явно пострадало.

Несмотря на теплый весенний вечер, окно в комнате Бонши было плотно закрыто. Юноша особенно остерегался смены времен года. На столе горела керосиновая лампа, на полу у стула высилась стопка книг, несколько книг лежало на столе.

В нише на полочке выстроились в ряд пузырьки с лекарствами.

Бонши отказался идти с братом к отцу.

— Ты боишься Нилконтхо! — загремел Боноярилал.

Бонши хранил молчание. Он и в самом деле заискивал перед управляющим.

Большую часть года юноша проводил в Калькутте, а жизнь там была гораздо дороже, и ему не хватало высылаемых денег. Поэтому Бонши старался не злить Нилконтхо.

Обозвав брата жалким трусом и подлипалой управляющего, Боноярилал один отправился к отцу.

Монохорлал возлежал в саду на берегу пруда, наслаждаясь вечерней прохладой. Приближенные ублажали своего господина рассказом о том, как запутался в окружном суде на перекрестном допросе, устроенном заезжим калькуттским адвокатом, сосед-помещик Окхил Моджумдар.

В сочетании с ароматной прохладой весеннего вечера рассказ о злключениях соседа казался Монохорлалу особенно приятным.

Неожиданное вторжение Боноярилала испортило все удовольствие. Надо было заранее все обдумать и завести разговор издалека, но Боноярилал был разгневан и сразу выпалил, что Нилконтхо позорит их семью, что он мошенник и живет на хозяйские деньги. Свои обвинения он не мог подкрепить доказательствами, да они и не соответствовали истине. Нилконтхо не только не воровал, но приумножил их состояние. Боноярилал был убежден, что отец слепо верит управляющему. И это было самым большим его заблуждением. Монохорлал знал, что управляющий не упустит случая поживиться за его счет. Но это не умаляло его уважения к Нилконтхо. Так уж повелось в мире. Богачам с избытком хватает того, что остается после воровства их служащих. Да и справится ли с хозяйством тот, кто не умеет ловчить? Нет, такая работа не для честного Юдхистхиры!

— Не твоего ума это дело судить Нилконтхо, — раздраженно прервал сына Монохорлал. — Один Бонши не огорчает меня. А как старательно он учится! Вот из него настоящий человек выйдет!

После этого разговора злключения Окхила Моджумдара уже не радовали Монохорлала. Напрасно дул весенний ветерок, напрасно отражался свет луны в темных водах пруда.

Только Бонши и Нилконтхо провели этот вечер не без пользы. Так и не открыв окон, Бонши допоздна просидел за учебниками, а Нилконтхо полночи совещался с адвокатом.

Погасив свет, Кирон села у открытого окна. Сегодня она раньше обычного управлялась с хозяйством: Бонояри-

лал еще не ел, хотя время ужина давно миновало, и Кирон ждала его. О Модху она давно забыла. Ее ни капельки не опечалило то, что Боноярилал не в силах помочь рыбаку. Не все ли равно: обладает он властью или нет.

Кирон дорожила честью семьи Халдаров. Боноярилал был старшим сыном, и это ее вполне устраивало. Достаточно того, что они принадлежат ко всеми уважаемому и знатному роду.

До поздней ночи Боноярилал мерил шагами веранду. Об ужине он и не вспомнил, но когда пришел к себе, раскаялся: Кирон, голодная, ждала его. От этого Боноярилалу стало еще больнее: он снова вспомнил о своей беспомощности и кусок не шел ему в горло.

— Я сделаю для Модху все, что в моих силах! — горячо воскликнул он.

— Ну подумай, — сказала Кирон, удивившись взволнованности мужа, — чем ты ему можешь?

Боноярилал решил сам заплатить долг Модху, но у него никогда не было денег. Если продать ружье и кольцо с брильянтом, размышлял он, наберется нужная сумма. Но в деревне ему не дадут настоящей цены, да и всякие разговоры пойдут. Поэтому он под каким-то предлогом уехал в Калькутту, а накануне отъезда вызвал Модху и заверил его, что бояться нечего.

Между тем Нилконтхо догадался, что Модху добился поддержки Боноярилала, и весь свой гнев обрушил на крестьянина. Вечные притеснения уничтожили в рыбаках чувство собственного достоинства.

Не успел Боноярилал возвратиться из Калькутты, как к нему, запылавшись, прибежал Шоруп, сын Модху, и с воплями и плачем повалился в ноги.

— Что случилось? — спросил Боноярилал.

Шоруп рассказал, что накануне вечером Нилконтхо посадил его отца под замок.

Бонояри задрожал от гнева.

— Сейчас же беги в полицию! — приказал он Шорупу.

О, ужас! Заявить в полицию на самого господина управляющего! Нет, Шоруп не сделает этого. В конце концов, Боноярилал все же заставил его отправиться

в полицию. Полицейские освободили Модху, а Нилконтхо и еще несколько приближенных Монохорлала арестовали.

Монохорлал не на шутку встревожился. В довершение ко всему «доброжелатели» из суда без конца тянули из него деньги, ссылаясь на то, что полиции якобы надо давать взятки. Вызванный из Калькутты адвокат оказался юнцом, едва сдавшим экзамены. Зато причитающийся ему гонорар доходил до его карманов в весьма уменьшенном виде. Со стороны же Модху выступал очень известный адвокат из окружного суда. Кто оплачивал его, хранилось в тайне. Нилконтхо присудили к шести месяцам тюрьмы. Апелляция в верховный суд не помогла.

Не зря продал Боноярилал ружье и кольцо. Модху был на свободе, Нилконтхо — за решеткой. Но после такого скандала, Модху, разумеется, нельзя было оставаться в родной деревне.

— Живи и ничего не бойся, — подбадривал его Боноярилал. Неизвестно, на что он надеялся, наверное, на собственное упрямство.

Модху не пытался скрыть причастности Боноярилала к случившемуся. И скоро об этом все узнали. Слухи дошли и до Монохорлала.

Взбешенный отец через слугу передал Боноярилалу, чтобы тот никогда не смел показываться ему на глаза. Боноярилал не нарушил приказа.

Кирон с удивлением наблюдала за мужем. Какой позор! Отец не желает даже разговаривать с ним, старшим сыном. Еще бы! Он засадил в тюрьму преданнейшего слугу, опозорив его перед всем миром. И все из-за какого-то ничтожного рыбака!

Происходило что-то невероятное. В роду Халдаров рождалось много старших сыновей, и никогда семья не ощущала недостатка в Нилконтхо. Они несли на своих плечах все заботы, а господа с легкой душой посвящали себя охране семейной чести. Всегда было только так.

Пошатнувшееся положение старшего сына в семье отразилось и на чести старшей невестки. Теперь у Кирон появилась настоящая причина презирать мужа. После стольких безоблачных дней поблекло ее яркое весеннее сари, увял жасминовый венок, украшавший волосы.

Шли годы, но Кирон оставалась бесплодной. Нилконтхо уговорил хозяина вторично женить сына и присмотрел для Боноярилала невесту. Он уже почти договорился о свадьбе. Ведь Боноярилал был старшим сыном Халдаров, а это важнее всего остального. Он не мог остаться без наследника! Сердце Кирон сжалось от горя. Но в душе она сочла это вполне справедливым. Она не была в обиде на Нилконтхо и кляла лишь свою судьбу. Она никогда не осудила бы мужа, если бы он, смирившись с новой женитьбой, не ударил в гневе управляющего и не поругался с отцом. Тогда еще Кирон почувствовала презрение к мужу, забывшему о чести семьи. Как мог он, отпрыск такого знатного рода, пренебречь своим семейным долгом! Он вправе быть жестоким! Что ему за дело до страданий молоденькой жены или несчастного рыбака!

Пора бы Боноярилалу знать, что нарушения раз навсегда заведенного порядка люди не прощают. Мужу надо было вести себя так, как это подобает старшему сыну семьи Халдаров. Всем это было ясно, только не ему.

Подобными рассуждениями Кирон часто досаждала своему деверю. Бонши, хоть и страдал плохим пищеварением, а от глотка свежего воздуха начинал кашлять и чихать, в остальном был уравновешенным и разумным малым. Оторвавшись от книги по юриспруденции, он клал ее на стол вниз страницами и соглашался с Кирон:

— Да это чистое безумие!

А Кирон, кивая головой, продолжала:

— Если твой старший брат спокоен, все идет хорошо. Но стоит ему разозлиться, и его уже не остановишь. Ну посоветуй, как мне быть?

Ничто так не огорчало Боноярилала, как полное единодушие жены с остальными членами семейства. Ему, мужчине, оказалось не под силу вызвать хотя бы сочувствие в душе этой нежной, будто полураскрывшийся цветок чампака, женщины.

Если бы Кирон в эти дни поддержала мужа, рана в его сердце не разрослась бы до таких ужасающих размеров.

Защита Модху, дело само по себе нехитрое, под ударами и угрозами, сыпавшимися со всех сторон на Боноярилала, превратилась для него в настоящую муку. Все

остальное казалось ему теперь ничтожным. Тем временем в добром здравии, будто он гостил у зятя, вернулся из тюрьмы Нилконтхо и как ни в чем не бывало принялся за работу.

Нилконтхо понимал, что никто из крестьян не будет уважать его, если он не выгонит Модху из деревни.

Собственно, Нилконтхо было все равно, уважают его крестьяне или нет, но он понимал, что иначе ему с ними не справиться. И он стал потихоньку точить мотыгу, чтобы как травинку выкорчевать Модху.

На этот раз Боноярилал действовал открыто. Он заявил управляющему, что ни за что не даст выселить Модху. Боноярилал уплатил весь долг рыбака, а потом, не видя иного выхода, пошел к судье и заявил, что Нилконтхо опять что-то затевает против Модху.

Друзья старались образумить Боноярилала: говорили, что отец может отречься от него и даже выгнать из дому.

Правда, пока Монохорлал хранил молчание, ему очень не хотелось поднимать шума. Была еще жива мать Боноярилала, да и родственники по-разному смотрели на происходящее.

Но вот однажды утром на хижине Модху оказался замоч. Никто не знал, куда он исчез. Во избежание скандала Нилконтхо дал Модху деньги из господской казны и отправил его вместе с семьей в Бенарес. Полиция была в курсе дела, и всё обошлось. Затем Нилконтхо пустил слух, будто Модху, его жена, сын и дочь в первую ночь новолуния стали жертвой богини Кали, а тела их в мешке были брошены в Гангу.

Люди содрогнулись от ужаса, но теперь еще сильнее благоговели перед Нилконтхо. Казалось, у Боноярилала нет больше причин для возмущения, однако отношения его с семьей так и не наладились.

Прежде Боноярилал очень любил Бонши, но теперь брат стал ему чужим, он всецело принадлежал семье Халдаров, и его Кирон, с ее задумчивой красотой, словно лиана, обвившая его сердце, тоже была собственностью семьи Халдаров.

Раньше Боноярилалу казалось, что украшения, купленные Нилконтхо, недостойны Кирон. Но теперь он по-

нял, что нет больше той Кирон, которую он находил во всех стихах, начиная от Калидасы и кончая Амару и Чау-ром, есть лишь старшая невестка дома Халдаров.

Увы, все так же дул весенний ветерок, шумел по ночам весенний дождь, и боль неразделенной любви, рыдая, блуждала в опустошенном сердце.

Не все жаждут любви. Многим хватает и того жалкого ее подобия, которое они обретают в узких рамках семьи, тогда все идет хорошо. Но другие не желают довольствоваться крохами пищи, которые получает птенец в яйце, и разбивают скорлупу, стремясь вырваться на волю. Им нужен простор, где бы они собственными силами могли добывать себе пищу. Таким был и Боноярилал. Но на пути его высилась каменная стена семьи Халдаров, — если он попытается пробить ее, то неминуемо разобьет голову.

Шли дни, похожие один на другой. Боноярилал сильнее прежнего увлекался охотой. Внешне никаких изменений в его жизни не произошло. Как обычно, он приходил есть на женскую половину дома, после еды беседовал с женой. Кирон до сих пор не могла простить Модху — из-за него ее муж потерял свое положение в семье — и то и дело в сердцах принималась ругать рыбака: «Подлец он, дьявольское отродье, нечего таким помогать». Боноярилал пытался возражать жене, но это лишь подливало масла в огонь, и, в конце концов, он устал перечить ей. Словом, Боноярилал подчинялся заведенному в доме порядку, и Кирон вполне это устраивало. Но сам Боноярилал видел, как тускла и бесцветна его жизнь, и всегда испытывал чувство неудовлетворенности.

Тем временем стало известно, что жена Бонши ждет ребенка. Все в доме ликовали. Кирон не выполнила своего долга, и вот наконец вина ее будет искуплена. Быть может, богиня Шоштхи смилостивится и пошлет сына.

Родился мальчик. Младший сын выдержал экзамены не только в колледже, но и в семье. Его и раньше любили в доме, а теперь стали боготворить.

Все баловали ребенка, и больше всех Кирон. Она ни на секунду не выпускала его из своих объятий и пребывала в таком восторге, что почти забыла о вероломстве Модху.

Боноярилал очень любил детей. Существа крохотные и слабые, вызывали в нем чувство глубокой нежности и умиления. Но каждого человека всевышний наделил чертами, противными всему существу этого человека, иначе как объяснить страсть Боноярилала к охоте на птиц.

Мечте Боноярилала увидеть у груди Кирон ребенка не суждено было сбыться. И когда у брата родился сын, нечто похожее на зависть шевельнулось в его душе. Но он быстро подавил в себе это недостойное чувство. Боноярилал привязался бы к малышу, но этому помешала Кирон, всецело завладевшая ребенком. Боноярилал все больше и больше отдалялся от жены. Он прекрасно понимал, что Кирон наконец обрела то, к чему так стремилась ее душа. Муж был временным жильцом в ее сердце; но вот явился настоящий хозяин, и жильцу остался лишь крохотный уголок.

Когда Боноярилал увидел, на какую самозабвенную любовь способна Кирон, он сказал себе: «Ты не смог завоевать ее души, хотя делал все, что в твоих силах».

С рождением малыша семья Бонши стала для Кирон еще ближе. Она и за советами обращалась только к деверю. Презрение Боноярилала к рассудительному, но хилому и трусливому брату все росло. Он давно уже примирился с тем, что в семье отдают предпочтение не ему, а Бонши, как самому достойному человеку. Когда же он понял, что и Кирон того же мнения, он всем своим существом восстал против собственной судьбы и всего мира.

Неожиданно накануне экзаменов в колледже из Калькутты пришла весть, что Бонши заболел лихорадкой и состояние его почти безнадежно. Боноярилал помчался в город, день и ночь проводил он у постели больного, но спасти его не смог.

Смерть стерла все обиды из памяти Боноярилала, поток слез очистил душу, и Бонши снова стал для него тем маленьким братишкой, которого он прежде так любил.

Вернувшись домой, Боноярилал мечтал всю свою жизнь посвятить заботам о маленьком племяннике. Но Кирон не доверяла ему ребенка, помня, как вначале он был равнодушен к малышу.

Кирон давно была убеждена, что чувства, естественные для большинства людей, совершенно не свойственны

ее мужу. Мальчик был единственной надеждой семьи, ее сокровищем, и все это понимали, все, кроме ее мужа. Кирон боялась, как бы ненавидящий взгляд мужа не навлек несчастья на ребенка. Бонши умер, Кирон была бесплодна, поэтому мальчика нужно было беречь как зеницу ока. К заботам Боноярилала о малыше относились очень настороженно.

Ребенка называли Хоридашем. Без конца опекаемый всеми, Хоридаш рос хилым и болезненным. Он с ног до головы был увешан амулетами, опекуны ни на миг не оставляли его в покое. С Боноярилалом малыш виделся редко. Больше всего ему нравилось играть хлыстом дяди. Стоило ему увидеть Бонояри, как он начинал кричать: «Хлы, хлы, дядя». И, к его огромной радости, Бонояри выносил из дому хлыст и начинал со свистом рассекать им воздух. Иногда он катал мальчугана на своей лошади, и тогда с воплями сбегался весь дом. Если же Кирон видела, что муж с Хоридашем забавляется ружьем, она тут же уводила ребенка. Но, увы, запретный плод сладок. И вопреки всему и всем, дядя и племянник привязались друг к другу.

Долгое время жизнь Халдаров текла спокойно, но вот в их дом снова пришла смерть. Сначала скончалась жена Монохорлала. Затем, как раз накануне благоприятных для свершения брачных церемоний дней, когда Нилконтхо с согласия своего господина подыскал ему достойную невесту, Монохорлал неожиданно умер. Хоридашу в ту пору было восемь лет. Перед смертью Монохорлал вверил заботам Кирон и Нилконтхо единственного наследника Халдаров, а о старшем сыне даже не вспомнил.

В завещании, извлеченном из шкатулки, говорилось, что все состояние остается Хоридашу, а опекуном назначается Нилконтхо, который будет вести дела Халдаров. Боноярилалу положена была пенсия в двести рупий ежемесячно.

Бонояри предчувствовал, что никто в семье не доверит ему ни ребенка, ни состояние. Все родные считали его никчемным. Итак, отныне он имеет право только есть и спать в угловой комнатенке!

— Я не желаю жить подачками Нилконтхо, — заявил он Кирон. — Давай уедем в Калькутту.

— Боже, что ты говоришь! — воскликнула Кирон. — Ведь это имущество твоего отца! Хоридаш тебе вместо сына! Ты просто злишься, что все завещано ему.

Какой ужас! До чего ожесточился ее муж! Он завидует невинному младенцу! Кирон всей душой одобряла завещание. Она ни минуты не сомневалась: попади имущество в руки Боноярилала, всякие там Модху, рыбаки и неприкасаемые выманили бы у него все без остатка, и Хоридашу, надежде рода Халдаров, пришлось бы бедствовать. А Нилконтхо, верный страж богатства Халдаров, не даст угаснуть этому светочу семьи, не истощит источника его пламени.

Боноярилал видел, как Нилконтхо прошел на женскую половину дома и, переходя из комнаты в комнату, тщательно переписывал вещи, а сундуки запирали на ключ.

Наконец он добрался до спальни Кирон и стал вносить в список личные вещи Боноярилала.

Нилконтхо всегда свободно проходил на женскую половину дома, и Кирон не стеснялась его. И сейчас, воспользовавшись случаем, она перестала оплакивать покойного свекра и, утирая слезы, принялась помогать управляющему. Боноярилал не стерпел.

— Вон из моей комнаты! — прорычал он, словно лев.

— Воля ваша, — вкрадчиво ответил Нилконтхо. — Но хозяин завещал мне знать счет всем вещам. Теперь Хоридаш всему господин.

Кирон была вне себя: «Что это он! Разве Хоридаш нам чужой! И не стыдно ему присваивать вещи, можно сказать, сына родного. Умрет — с собой ничего не возьмет! А детям не сегодня-завтра добро пригодится!»

Все опостылело Боноярилалу, даже пол будто колючками впивался ему в ступни. Степы огнем жгли глаза. И во всем этом огромном доме не было никого, кто понял бы его муки. Боноярилал хотел бросить все и бежать куда глаза глядят. Но мысль, что после этого Нилконтхо спокойно и безраздельно будет всем распоряжаться, была нестерпима. Боноярилал не успокоится, пока не отомстит ему!

«Посмотрим, убережет ли он состояние», — говорил себе Боноярилал.

Боноярилал прошел в комнату отца. Там никого не было. Все ушли на женскую половину дома пересчитать кухонную утварь и женские украшения. Даже самый осторожный человек может совершить оплошность. Нилконтхо оставил открытой шкатулку, из которой вытащил завещание. А там хранились очень ценные бумаги — по сути дела все состояние Халдаров.

Не подозревая ничего такого, Боноярилал все же предположил, что пропажа этих бумаг затруднит судебное разбирательство, если таковое будет по завещанию отца. Завернув бумаги в платок, Боноярилал пошел в сад и там сел на мощеной площадке под деревом чампак, чтобы все спокойно обдумать.

Нилконтхо пришел к Бонояри поговорить о кремации Монохорлала, которая была назначена на следующий день.

Всем своим видом Нилконтхо выражал подобострастие, но в лице управляющего Боноярилал прочел что-то такое (или это только ему померещилось), что привело его в бешенство. Ему казалось, будто Нилконтхо издевается над ним.

— Сожжение... — начал Нилконтхо.

— При чем тут я! — крикнул Боноярилал, не дав ему договорить.

— Как при чем? — воскликнул Нилконтхо. — Ведь старший сын должен совершить последний похоронный обряд.

— Не велика честь. Я нужен семье лишь для подобного рода дел, ни на что другое я не гожусь, — взорвался Боноярилал. — Убирайся отсюда, не зли меня!

Нилконтхо ретировался. Но, глядя ему вслед, Боноярилал снова подумал, что тот насмехается над ним. Боноярилалу казалось, что даже слуги над ним потешаются. Может ли злее посмеяться над человеком судьба, он — старший сын, был чужим в семье. Нищий у дороги и тот счастливее его!

Прихватив бумаги, Бонояри вышел из дому. Соседями и в то же время врагами Халдаров были помещики Банруджо из Протаппура.

«Отдам им эти бумаги, пусть все идет прахом!» — решил Боноярилал.

Но в это время с верхнего этажа раздался нежный детский голосок:

— Дядя, возьми и меня с собой!

«Только злое сочетание светил в такой миг могло внушить мальчику эти слова, — невольно подумал Боноярри. — Ведь я и его увлекаю в бездну! Что ж, пусть все гибнет!»

Но не успел Боноярри дойти до сада, как услышал истошные крики и шум. Возле ярмарки горела хижина вдовы. Равнодушие не было присуще Бонояррилалу. Оставив пакет под деревом прямо на земле, он бросился к месту пожара.

А когда вернулся, пакет с бумагами уже исчез.

«И на этот раз Нилконтхо перехитрил меня, — решил Бонояррилал, уязвленный в самое сердце. — Не надо было мне ввязываться в эту историю с пожаром».

Убежденный в вероломстве Нилконтхо, Бонояррилал вихрем ворвался к нему в контору. Поспешно захлопнув шкатулку, Нилконтхо встал и почтительно приветствовал Бонояррилала. «Бумаги в шкатулке!» — мелькнуло в голове Бонояррилала.

Ни слова не говоря, он открыл шкатулку, перерыл все, что в ней было, вытряхнул на пол, но нашел лишь бухгалтерские книги да счета.

— Ты был в саду? — задыхаясь от гнева, спросил он.

— Да, господин. Я видел, как вы побежали, и вышел узнать, что случилось.

— Бумаги, завязанные в мой платок, ты взял?

— Нет, господин.

— Врешь! Отдай их или плохо тебе придется!

Но угрозы Бонояррилала не возымели никакого действия. Он не мог объяснить управляющему, о каких бумагах идет речь, потому что сам их похитил. И теперь терзался, обзывая себя в душе беспечным идиотом.

Затем Бонояррилал снова бросился к дереву чампак. Он клялся, что не уедет, пока не найдет бумаг. Но как и где их искать, не знал. И как мальчишка топал с досады ногами, упрямо приговаривая:

— Найду, найду, найду...

Вконец обессиленный, он опустился на землю. Как он одинок! Никого у него нет. Его лишили средств к су-

ществованию, и теперь весь век ему суждено бороться с собственной судьбой и всем миром. У него отняли все — честь, любовь, уважение, ему осталось одно: погибнуть. Но пусть вместе с ним погибнут и другие.

Измученный этими печальными мыслями, Боноярилал уснул.

Пробудившись, Боноярилал не сразу сообразил, где он находится. Но в следующий момент увидел Хоридаша.

— Дядя, что ты потерял, скажи!

Боноярилал оцепенел и был не в силах ответить хоть слово.

— А если я найду то, что ты потерял, что ты мне подарить? — продолжал мальчик.

«Не может быть, это что-нибудь другое», — Боноярилал ушам своим не верил.

— Все отдам, — пошутил он, зная, что у него нет ничего.

Тогда Хоридаш вынул из-под рубашки бумаги, завернутые в платок. На платке был нарисован тигр, и Боноярилал не раз показывал его племяннику. Мальчик давно мечтал о таком платке. Воспользовавшись тем, что слуги глазят на пожар, Хоридаш выбежал в сад и сразу заметил брошенный под деревом дядин платок.

Боноярилал прижал мальчика к груди, и из глаз его полились слезы. Ему вспомнилось, как когда-то он решил отстегать только что купленного пса, чтобы заставить его слушаться. Но хлыст куда-то запропастился, и когда, устав от поисков, он присел отдохнуть, к нему подбежал пес с хлыстом в зубах, — радостно виляя хвостом, он положил хлыст к ногам хозяина. После этого случая Боноярилал не мог заставить себя ударить собаку.

— Что тебе подарить, Хоридаш? — спросил Боноярилал, украдкой утирая слезы.

— Твой платок, дядя, — не задумываясь, ответил мальчик.

— Ладно. А теперь садись ко мне на плечи.

Так вместе с Хоридашем Боноярилал появился на женской половине дома. Кирон стелила на полу одеяло, весь день сушившееся на веранде.

— Поставь его на пол сейчас же. Уронишь! — испуганно закричала она,

— Не бойся, — сказал Боноярилал, пристально глядя в лицо жены, — ничего не случится.

Он опустил мальчика на пол и подвел к жене. Потом отдал бумаги.

— В них все состояние Хоридаша, — произнес он. — Береги их.

— Откуда они у тебя? — удивилась Кирон.

— Я украл их. — И, обняв мальчика, Боноярилал добавил: — Бери платок, дружочек. Это самое дорогое, что есть у твоего дяди. Бери же!

Боноярилал снова внимательно взглянул на Кирон. Она уже не была той хрупкой девочкой, которую он так любил. Он и не заметил, как она располнела. Вот теперь наконец у нее был вид, достойный старшей невестки Халдаров.

Что ж, вместе со всем остальным Бонояри предаст забвению и стихи Амару.

Той же ночью Боноярилал исчез, оставив коротенькую записку: «Иду искать работу».

Все в округе были возмущены: уехать, не дождавшись похорон отца!



ХОЙМОНТИ

Отец невесты не спешил. Зато отец жепиха не соглашался ждать ни дня. Невеста и так засиделась в девушках, а если свадьбу отложить, ни под каким видом нельзя будет скрыть этого печального обстоятельства. Возраст невесты и в самом деле перешел все допустимые границы, но это окупалось богатым приданым.

Женихом был я. Именно поэтому моего мнения никто не спрашивал. Свое дело я сделал: сдал экзамены в колледже и получил стипендию. Тем не менее обе жертвы бога брака Праджапати пребывали в волнении.

Женившись, мужчина не испытывает особого восторга. Жена для него, примерно, то же, что человек для тигра, хоть раз отведавшего человеческого мяса.

Любой мужчина — независимо от положения и возраста, лишившись жены, спешит восполнить потерю. Мне кажется, страшатся брака лишь студенты. В то время как седые головы отцов, осаждаемых свахами, успевают потемнеть с помощью краски, черные волосы их сыновей при одном лишь намеке на женитьбу за одну ночь раздумий могут побелеть.

Но должен признаться, во мне предстоящая свадьба не вызвала такого ужаса. Напротив: в душе своей я ощутил дуновение теплого южного ветра, который принес с собой мечты о неведомом. Но не преступно ли мечтать в то время, когда тебе надлежит выучить целую кучу конспектов книги Барка о французской революции. Если

бы хоть на миг мне пришла в голову мысль, что эти мои писания будут одобрены комитетом по учебникам, я был бы, пожалуй, осторожнее в выражениях.

Но, позвольте, что это со мной? Я, кажется, не собирался писать ни рассказа, ни романа и не предполагал, что в первых же строках прозвучат нотки печали. Мне так хотелось, чтобы темные тучи страданий тех лет пролились бурным весенним ливнем.

Увы, мне не удалось написать учебник для детей на бенгальском языке, так как я не стал знатоком великолепной санскритской грамматики, я даже не научился сочинять стихи; родной язык не занял в моей жизни места столь значительного, чтобы я мог выразить на нем свои сокровенные мысли. Вот почему так громко хохочет сидящий во мне саньяси, справляя над собой погребальный обряд. Это единственное, что ему осталось. Слезы его иссякли. Но ведь и жгучий зной месяца джойштхо — это бесслезные рыдания лета.

Я не назову настоящего имени той, что стала женой мне. О нем не будут спорить археологи. Медная пластинка, на которой оно навечно запечатлено, — мое сердце.

Неужели оно когда-нибудь исчезнет? Но в мир бессмертия, где оно становится вечным, историков все равно не пустят.

И все же в рассказе мне придется как-то ее называть. Что ж, назову Росинкой. Ведь роса — это и смех и слезы, это исчезнувшие поутру слова зари.

Росинка была всего на два года моложе меня. Не стану утверждать, что отец мой был противником ранних браков. Зато отец Росинки прослыл бунтарем. Он ни во что не ставил все наши обычаи и много читал по-английски. А мой отец был ярым приверженцем существующего общества и уважал все его установления, ибо тоже много читал по-английски. Оба — и тесть и отец, были настроены весьма воинственно, так что с женитьбой моей все обстояло не так просто. Отец согласился на взрослую невесту лишь потому, что приданое было прямо пропорционально ее возрасту. Росинка была единствен-

ной дочерью, и отец надеялся, что деньги тестя обеспечат мое будущее.

Тесть же, судя по всему, выдавая дочь замуж, не преследовал никакой особой цели. Служил он у раджи одного из горных княжеств на западе. Мать Росинки умерла, когда та была совсем крошкой. Тесть и не заметил, как дочь стала взрослой. А в местах, где они жили, не оказалось ни одного правоверного индуса, который вразумил бы ее отца.

Росинке минуло семнадцать лет. В нашем обществе считают, что это очень много. Однако там, в горном княжестве, никто не напомнил ей об этом, и она жила по-прежнему беззаботно.

В то время мне было девятнадцать лет, и я только что перешел на третий курс колледжа. Пусть спорят до одурения о том, готов ли девятнадцатилетний юноша выполнить свой долг перед обществом. Я же считаю, что если он способен выдержать экзамены в колледже, то уж тем более способен вступить в брак.

Вестницей предстоящей женитьбы явилась фотография. Я как раз зубрил уроки, когда один мой родственник, любитель позубоскалить, поставил передо мной на стол снимок Росинки.

— Ну-ка, изучи это произведение, — сказал он, — придется поломать голову.

Фотограф, видимо, попался неопытный. Росинка росла без матери, никто не постарался получше причесать ее, перевязать золотым шнуром узел ее волос, нарядить в модный жакет, словом, не было сделано ничего, чтобы как-то украсить девушку и обмануть родных жениха. У девушки было самое обыкновенное лицо, самые обыкновенные глаза, самое обыкновенное сари, из-под которого виднелись босые ноги, и сидела она на самой обыкновенной скамейке. Фоном служил полосатый, весь в пятнах ковер и маленький столик, на котором стояла ваза с цветами.

Но вот волшебная палочка моего сердца коснулась портрета, и девушка завладела всеми моими помыслами. Ее черные глаза, проникая в душу, читали мои сокровенные мысли. А ее босые ноги, выглядывавшие из-под неровной кромки сари, умиляли меня до слез.

Один за другим уходили листки календаря, вот уже осталось позади несколько благоприятных для свершения брачного обряда дней, но мой будущий тесть все не брал отпуска. А тут еще близились месяцы, неблагоприятные для свадьбы. Таким образом, граница моей холостяцкой жизни грозила отодвинуться с девятнадцати к двадцати годам. И я уже стал злиться на тестя и его раджу.

Короче говоря, свадьбу сыграли как раз накануне целой полосы неблагоприятных дней. На всю жизнь запомнились мне звуки свадебной флейты. Я и сейчас не могу без волнения вспомнить ни одной минуты того дня. Навсегда останутся у меня в памяти мои девятнадцать лет.

В самый разгар свадьбы нежная рука девушки легла на мою руку. Что могло быть восхитительней! Душа пела: «Она моя, она моя!»

Кого же я получил в жены? Чудо, исполненное бесконечной таинственности, имя которому женщина.

Тестя моего звали Гоуришонкор. Живя в Гималаях, он был чем-то сродни им: его суровое лицо неожиданно озаряла светлая, как солнце, улыбка. Поток любви неизменно увлекал тех, кто находил путь к его сердцу.

Накануне отъезда тесть позвал меня к себе.

— С самого рождения девочка была со мной, — сказал он. — Тебя я узнал совсем недавно. Но я верю тебе. Счастье, если ты поймешь, какое тебе досталось сокровище. Большого я дочери и не желаю.

— Не беспокойтесь, сват, — заверили Гоуришонкора мои родители. — У вашей дочери теперь будут и отец и мать.

Прощаясь, тесть сказал с улыбкой:

— Я уезжаю, дочка. Вот тебе новый отец. Что бы ты ни потеряла, ни разбила или ни испортила у него в доме — я не в ответе.

— Вовсе нет, — возразила Росинка. — Платить за это все равно будешь ты!

Гоуришонкор любил поесть и особое пристрастие питал к кушаньям отнюдь не диетическим. Дочь всегда старалась удерживать его от соблазна. Она и сейчас взволнованно повторяла:

— Папа, дай мне слово. Даешь?

— Люди клянутся, чтобы потом со вздохом облегчения нарушить клятву, — отшучивался он. — Потому самое безопасное — не связывать себя словом.

Потом он прошел с Росинкой в ее комнату, плотно закрыв за собой дверь. Неизвестно, о чем они там говорили.

Расставаясь, ни отец, ни дочь не пролили ни одной слезы, чем немало удивили обитательниц женской половины дома. Вот что значит жить в Центральной Индии, а не в Бенгалии! Никакой любви между отцом и дочерью!

Сосватал меня и Росинку друг моего тестя господин Бонмали. Он был и нашим хорошим знакомым.

— У вас никого нет, кроме дочери, поселились бы где-нибудь рядом, — уговаривал он Гоуришонкора.

— Если я что-нибудь отдаю, то насовсем, — отвечал мой тесть. — Видеться теперь с дочерью — только расстраиваться. Сначала отказаться от прав на нее, а потом пытаться восстановить их — не обман ли это?

Затем он увел меня в комнату, где никого не было, и смущенно сказал:

— Моя девочка очень любит книги и гостей. Я не хочу докучать твоему отцу и время от времени буду посылать тебе деньги. Как ты полагаешь, он не обидится?

Вопрос тестя застал меня врасплох. Чтобы отец рассердился, когда в наш дом прибывают деньги? Не такой уж у него скверный характер!

Гоуришонкор неловко, будто взятку, сунул мне в руку бумажку в сто рупий и поспешно вышел из комнаты, не дав мне толком проститься с ним. Глядя ему вслед, я заметил, как он вынул из кармана платок.

А я долго сидел не двигаясь и думал о том, что моя жена и ее отец не похожи на нас. Они люди совершенно иного склада.

Я видел, как женились многие мои друзья. Не успевал брахман дочитать свадебные мантры, они уже считали жену своей собственностью. У нее могли быть свои достоинства и недостатки, иногда она даже вызывала волнение, но никогда ни в чем не мешала за пределами дома. На собственной свадьбе я понял, что мужчина

женится лишь для того, чтобы иметь семью и детей, так предписывают мантры, в сущности же жена и муж совершенно чужие друг другу. Прожив весь век с женой, мужчина обычно совсем не знает ее души, хотя ни он сам, ни жена об этом даже не подозревают. В отличие от остальных, я преклонялся перед женой, она была для меня не вещью, а настоящим сокровищем.

Росинка... нет, это имя совсем не подходит ей. Она не похожа на прощальную слезу мимолетной зари, она вечна, как солнце. Так стоит ли скрывать ее имя! Ее звали Хоймонти.

Вскоре я убедился, что эта семнадцатилетняя девушка, озаренная сиянием юности, была по-детски невинна и чиста, как снег на горных вершинах в лучах утреннего солнца.

Я так боялся, что не завоюю сердца ученой и взрослой девушки. Но вскоре понял: ключ к нему — это книги. Трудно даже сказать, когда ее детскую светлую душу затуманило чувство, когда глаза ее потемнели от страсти, когда всем сердцем, всем существом своим она отдалась любви.

Так складывались наши отношения с Хоймонти. Но существовала еще и другая сторона дела, о которой пора рассказать подробнее.

Тесть мой, как я уже упоминал, служил у одного раджи. Много разных слухов ходило о состоянии Гоуришонкора, но никто не называл суммы меньшей, чем сто тысяч рупий. И чем больше, по слухам, становилось состояние тестя, тем ласковее относились в нашей семье к Хоймонти.

Хоймонти очень хотелось войти во все тонкости ведения хозяйства, но моя мать не давала ей ни к чему прикоснуться. Мало того, она не спросила, какой касты служанка, приехавшая с Хоймонти, дабы не услышать неблагоприятного ответа, впрочем, в свои комнаты родители ее не пускали.

Возможно, все и дальше шло бы так, если б однажды вдруг не помрачнело лицо моего отца. Мой тесть дал за дочью пятнадцать тысяч рупий наличными и на пять

тысяч драгоценностей. Но от одного из своих деловых друзей отец узнал, что эти пятнадцать тысяч Гоуришонкор взял в долг и не под малые проценты. Состояние в сто тысяч рупий оказалось фикцией!

Гоуришонкор никогда не вел с отцом разговоров о своем богатстве, но отец почему-то решил, что тот обманул его.

Кроме того, отец считал тестя чем-то вроде главного министра у раджи, а оказалось, что Гоуришонкор всего-навсего заведует отделом образования.

«То же самое, что директор школы, — заключил отец. — Из всех благородных должностей самая мелкая!» А он лелеял надежду, что со временем, когда тесть уйдет в отставку, место министра займу я.

В это самое время к нам на праздник в честь бога Кришны приехали из провинции родственники. Увидев мою жену, они стали громко шептаться.

— Провалиться мне на этом месте, — заявила одна дальняя родственница. — А невестушка, пожалуй, старше меня.

— Пусть даже и моложе! Но зачем, скажи на милость, было брать жену из чужих мест! — заявила другая.

— Чего зря говорить, — взволнованно сказала моя мать. — Невестке нет и одиннадцати, двенадцатый год ей пойдет только в фальгуне. Но в местах, где она жила, едят много хлеба из бобовой муки, вот она и выросла такая большая.

— Нет, милая, мы еще не ослепли, — возразили тетки. — Верно, ее родители вас обманули.

— Я сама видела ее гороскоп. — На этот раз мать не солгала. Но там указывалось, что Хоймонти семнадцать лет.

— Бывает, и гороскоп подделывают, — не сдавались родственницы.

В самый разгар спора в комнату вошла Хоймонти.

— Сколько же тебе лет, внученька, — спросила одна из старух.

Мать подмигнула Хоймонти, но та не поняла и сказала:

— Семнадцать.

— Да ты же не знаешь! — воскликнула мать.

— Я точно знаю, что мне семнадцать лет, — стояла на своем Хоймонти.

А родственницы подталкивали друг друга.

— Все-то ты знаешь! — разозлилась свекровь на непонятливость невестки. — Твой отец сам сказал, что тебе одиннадцать.

— Папа? — удивилась Хоймо. — Не может быть!

— Еще удивляется! Отец сам сказал мне, а она «не может быть». — И мать снова подмигнула Хоймонти.

На этот раз Хоймонти поняла, но твердо сказала:

— Папа не говорил, что мне одиннадцать лет.

— Значит, я вру! — взорвалась мать.

— Мой отец всегда говорит правду, — упорствовала Хоймонти.

Тут мать разразилась таким потоком брани, что, казалось, свет померк вокруг.

Взбешенная, она пошла жаловаться отцу на глупость невестки и на ее упрямство. Отец не замедлил вызвать Хоймонти к себе.

— Имей в виду, — сказал он, — не велика честь досидеться до семнадцати лет в девках, и нечего об этом трубить повсюду. — Увы, в голосе его, всегда нежном и ласковом, когда он обращался к Хоймонти, теперь слышался металл.

— Что же я должна отвечать, когда спросят, сколько мне лет?

— Врать не надо, — ответил он. — Скажи: «Не знаю, свекровь знает».

Хоймонти молча выслушала отца, и он попял, что совет его бесполезен.

Я же совсем растерялся, не зная, как помочь горю жены. В тот злополучный день, ясный, будто зимнее небо на заре, взгляд жены затуманился. Как испуганная лань, всматривалась она в мое лицо, будто хотела сказать: «Я знаю, вы все мне чужие!»

В тот день я купил Хоймонти томик английских стихов в дорогом переплете. Она взяла книгу и, не заглянув в нее, положила на колени.

— Хоймо, — сказал я, беря ее за руку, — не сердись на меня. Я знаю, что ты права, и никогда не оскорблю твоей честности.

Хоймонти ничего не ответила, лишь слабая улыбка тронула ее губы. Тому, кого всевышний наделил такой улыбкой, — говорить нет нужды!

С тех пор как дела моего отца пошли в гору, в доме у нас, дабы закрепить милость всевышнего, без конца устраивали богослужения. Хоймонти никогда не принимала в них участия. Но вот однажды ей велели все подготовить к очередной церемонии.

— Расскажите, что нужно делать, ма, — попросила она свекровь.

Все знали, что Хоймонти росла без матери, и никто не поразился ее просьбе. Но все это было сделано нарочно, чтобы лишний раз упрекнуть ее.

— Какой ужас! Не иначе, как она воспитывалась в семье безбожника! Теперь, конечно, богиня Лакшми отвернется от нас! — раздались вопли со всех сторон.

Воспользовавшись случаем, заговорили в обидном тоне и об отце Хоймонти. Молодая женщина молча сносила все оскорбления. Никто не видел, чтобы она плакала. Но сейчас из глаз ее потоком хлынули слезы.

— А знаете, у нас отца все называли святым человеком, — сказала она, вставая.

В ответ раздался оглушительный хохот:

— Ничего себе святой!

Теперь, обращаясь к Хоймонти, все в доме говорили «твой святой отец». Мои родственники знали, как больнее всего ранить Хоймонти.

Тесть мой, и правда, не был ни правоверным индусом, ни христианином, но был ли он безбожником — не знаю. Просто он никогда не думал о религии. Дочери он много читал, много рассказывал, но никаких советов относительно веры не давал. Как-то Бонмали спросил его об этом.

«Учить тому, чего сам не понимаешь, значит — учить лицемерию», — признался он.

На женской половине дома у Хоймонти была всего одна искренняя подруга — моя младшая сестренка Нарани. За свою любовь к Хоймо ей пришлось снести немало упреков. Обо всем, что происходило, я узнавал от нее. Хоймонти ни разу не пожаловалась мне. Она стыдилась говорить об этом, но не за себя стыдилась.

Все письма отца Хоймонти показывала мне. Они были коротки, но полны остроумия. Показывала она мне и свои письма отцу. Она не была бы счастлива со мной, если бы я не интересовался ее отцом.

Хорошо, что в письмах Хоймонти не было и намека на жалобу. От Нарани я знал, что письма жены время от времени вскрываются.

Не найдя ничего предосудительного в письмах Хоймонти, родители мои не успокоились. Видимо, им было досадно, что жену мою нельзя ни в чем обвинить.

— Подумать только! Так часто пишет письма! — говорили они. — И кому! Отец для нее все, а мы что, чужие?!

За этим следовало много неприятных слов в адрес невестки. Не на шутку встревоженный, я сказал Хоймонти:

— Никому, кроме меня, не давай своих писем. Я буду отправлять их по дороге в колледж.

— Почему? — изумилась Хоймонти.

Я смущенно молчал.

— Вот увидите, и на этот раз Опу не повезет, — предрекали дома. — Где уж ему теперь сдать экзамены на бакалавра искусств. Но не его тут вина...

Что верно, то верно. Виной всему была Хоймонти. Она была повинна в том, что ей семнадцать лет, что я люблю ее, что по милости всевышнего в каждом уголке моего сердца теперь пела флейта.

С каким удовольствием послал бы я ко всем чертям степень бакалавра, но ради Хоймонти я поклялся сдать экзамены, и сдать хорошо. Сдержать клятву было не так уж трудно, во-первых, потому, что моя любовь к жене была огромна, как само небо, я не замкнулся в узкий мирок страсти, а во-вторых, я мог вместе с Хоймонти читать те книги, которые необходимо было прочесть к экзамену.

И вот засучив рукава я принялся за учебу. Однажды, воскресным полднем, я сидел в гостиной и, прокладывая себе дорогу в книге о взглядах Мартина Лютера на природу человека, усердно водил синим карандашом, словно плугом.

Как раз напротив комнаты, где я сидел, в северном углу двора виднелась лестница, ведущая на женскую по-

ловину дома. У одного из окон я заметил Хоймонти, она сидела, повернувшись лицом к западу. Там в розовом цвету стояли деревья канчон.

Будто кто-то с силой ударил меня в самое сердце. Беззаботность моя вмиг исчезла. Ничего подобного я еще не видел.

Вся поза Хоймонти выражала безмолвное, глубокое страдание. Она сидела, безвольно опустив руки на колени, головой прислонившись к стене. Распушенные волосы, перекиннутые через плечо, спускались на грудь. Я почувствовал, как заныло сердце.

Жизнь моя была заполнена до краев. И вот неожиданно совсем рядом я увидел бездонную пропасть человеческого отчаяния. Сумею ли я помочь?

Мне-то ведь не пришлось ни от чего отказываться: ни от своих родных, ни от своих привычек. А Хоймонти бросила все и приехала сюда. Трудно даже представить себе, что это для нее значило. В нашей семье на нее градом сыпались оскорбления: я страдал вместе с ней. Но Хоймонти за семнадцать лет жизни в горах привыкла к свободе, не то что я. Она стала чистой, искренней и сильной! Даже я не в силах был понять, до чего жестоко обошлись с Хоймонти, вырвав ее из того светлого мира, потому что не испытал этого на себе.

Хоймонти медленно гнула. Я мог дать ей все, кроме свободы, — да и была ли она у меня. Вот почему Хоймонти с тоской вглядывалась в небо, видневшееся сквозь оконную решетку, словно хотела поведать ему о своем горе. Просыпаясь иногда по ночам, я замечал, что Хоймонти нет рядом со мной, и находил ее на крыше: она лежала, подложив руку под голову, и смотрела на звезды.

Я отложил книгу о Мартине Лютере и задумался: как быть? С самого детства я так робел перед отцом, что никогда ни о чем не просил его. Но в тот день я решился:

— Жене нездоровится. Пусть съездит к себе домой.

Отец был раздосадован. Он не сомневался, что это Хоймонти все подстроила, и тут же прошел на женскую половину дома.

— Ты больна, невестушка? — спросил он Хоймонти,

— Нет.

Ее ответ, как и мою просьбу, отец счел вызовом.

Видя Хоймонти каждый день, мы не замечали, как она тает. Но однажды к нам зашел Бонмали. Увидев ее, он испуганно воскликнул:

— Господи! Хоймо, девочка, что с тобой! Ты не больна?

— Нет, — ответила она.

Через дней десять после этого неожиданно приехал Гоуришонкор.

Бонмали, разумеется, написал ему о Хоймонти.

Прощаясь с отцом, Хоймонти сдержала слезы, но сейчас, когда он нежно взял ее за подбородок, она заплакала. Гоуришонкор не в силах был вымолвить ни слова, он даже не спросил, как она себя чувствует. Что-то в лице дочери до глубины души поразило его.

Не выпуская руки отца, Хоймонти провела его к себе в спальню. Ей так много нужно было сказать ему! Вид у отца был нездоровый.

— Поедешь со мной, дочка? — спросил Гоуришонкор.

— Поеду, — покорно прошептала Хоймонти.

— Ну вот и хорошо, я все улажу.

Если бы тесть не пребывал в таком волнении, то, переступив порог нашего дома, сразу бы понял, что ничего не добьется. Отец мой, сочтя его неожиданное появление оскорбительным, не сказал ему ни одного любезного слова.

Тесть помнил, как не раз мой отец заверял его, что при желании он всегда может взять дочь к себе погостить. Он даже представить себе не мог, что может быть иначе.

— Ничего не могу сказать, сват, — ответил мой отец, покуривая трубку, — один раз может дома...

Я знал, что означает эта ссылка на дом, и понял: ничего не выйдет. Так оно и случилось.

— Невестке нездоровится! Вот уж неправда! — возмутились родители.

Тесть пригласил к Хоймонти врача.

— Вашей дочери необходимо переменить климат, — сказал тот. — Иначе она может опасно заболеть.

— Опасно заболеть может каждый, — посмеялся мой отец. — Что за диагноз!

— Но это очень известный врач, — попробовал возразить тесть, — Его заключение...

— Повидал я таких докторов на своем веку — перебил его отец. — За деньги адвокат любой закон тебе подведет, а доктор любую справку выдаст.

Тесть так и застыл на месте, а Хоймонти поняла: просьбу отца отвергли самым унижительным образом.

— Я уеду с Хоймонти, — не выдержав, заявил я отцу.

— Вот как! — загремел отец. Остановить его было уже невозможно.

Кое-кто из друзей спрашивал меня потом, почему я не поступил так, как хотел. Ведь тогда бы ничего не случилось. И правда, почему? Не будь я скован предрассудками, я не принес бы истину в жертву обычаю, не погубил бы самого близкого мне человека. Знайте, среди людей Айодхьи, которые понудили Раму испытать Ситу, был и я. Был я и с теми, кто из века в век прославлял за это Раму. Не кто иной, как я, ко всеобщему удовольствию, однажды написал в еженедельник хвалебную статью на подобную же тему. Кто знал, что настанет время, когда еще раз уже кровью сердца мне суждено будет описать гибель Ситы!

И вот снова настал час прощания отца с дочерью. Как и в прошлый раз, они улыбались.

— Если ты снова приедешь ко мне на такое короткое время, я закрою дверь на засов! — шутила Хоймонти.

— Придется мне захватить отмычку, — улыбнулся Гоуришонкор.

С тех пор я никогда не видел на лице Хоймонти улыбки.

Нет сил описать то, что произошло потом.

Говорят, будто мать ищет для меня невесту. Быть может, когда-нибудь я и поддамся ее уговорам, может быть... ничего не поделаешь!



ВИШНУИТКА

Я отношусь к числу писателей, которые никогда не изображают людей в радужном свете, потому-то люди и меня рисуют черными красками. Я ни разу не слышал лестных отзывов о себе, хотя говорят обо мне много.

Даже самые легкие удары по одному и тому же месту вызывают боль во всем теле. Человек, с детства привыкший к брани, становится мнительным, перестает замечать окружающее и замыкается в себе. А что может быть мучительнее?

Поэтому иногда мне приходится искать уединения. Всеисцеляющая рука природы лечит раны, нанесенные людскими наветами.

Вдали от Калькутты у меня есть убежище, где я спасаюсь от мук самоанализа. Тамошние жители никак не могут составить обо мне какого-нибудь определенного мнения. Они видят, что я не любитель наслаждений — я не привез с собой в деревню пороков Калькутты, но в то же время и не йог — даже при весьма отдаленном знакомстве со мной во мне узнают состоятельного человека; я не путешественник, хотя люблю бродить по дорогам, — брожу я бесцельно, иду куда глаза глядят. Никто не заподозрил во мне человека семейного, потому что я всегда был один. Словом, меня не могли отнести ни к одной из категорий людей и, в конце концов, утратили ко мне всякий интерес, что меня вполне устраивало.

Вскоре, однако, я узнал, что есть в деревне человек, которого я все еще занимаю. По крайней мере, он не считал меня чужаком.

Впервые я встретился с ним как-то вечером в месяце ашарх. Утром прошел дождь, и везде были заметны его следы — как слезы на ресницах. Я стоял на высоком берегу пруда и смотрел, как черная корова щиплет траву. Ее гладкая шерсть блестела на солнце. Я смотрел на нее и думал, как расточительна цивилизация, придумавшая столько портняжных мастерских лишь для того, чтобы скрыть тело от солнечного света.

Вдруг я увидел, что какая-то женщина средних лет поклонилась мне. В сари она держала цветы. Вынув два цветка, она отдала их мне:

— Возьми, тхакур! — сказала женщина, почтительно сложив руки.

И исчезла.

От изумления я даже не успел хорошенько ее разглядеть. Ничего особенного не произошло, но этот случай так на меня подействовал, что даже корова, мирно щипавшая траву и отгонявшая хвостом мух, показалась мне существом необыкновенным. Может быть, это смешно, но душа моя исполнилась благоговения. Я склонился в поклоне перед этим божеством, полным простой радости жизни, затем сорвал ветку манго с молодыми побегами и покормил корову, чем, как мне казалось, умилировал бога.

На следующий год я приехал в эти места в месяце магх. Было еще холодно. Я сидел в комнате на втором этаже и писал. В окно, выходящее на восток, вливались лучи утреннего солнца, приятно согревая меня. Вдруг вошел слуга и доложил, что меня хочет видеть вишнуйтка Анонди. Имя было мне незнакомо, и я рассеянно ответил:

— Проси.

Женщина вошла и приветствовала меня низким поклоном. Я узнал в ней свою случайную знакомую. Она была в том возрасте, когда о красоте говорить уже не приходится, чуть выше среднего роста, довольно полная и немного сутулая, видимо, от частых поклонов. Держа-

лась она независимо, с чувством собственного достоинства. Прежде всего обращали на себя внимание ее глаза, будто светившиеся изнутри и необыкновенно пронизательные.

Я вздрогнул от ее взгляда.

— Зачем мне являться сюда, к подножью твоего трона? Разве не довольствовалась я тем, что видела тебя там, у дерева?

Так вот оно что! Значит, она все время наблюдала за мной. В последние дни я действительно никуда не выходил из-за простуды и любовался вечерним небом с крыши дома.

Помолчав немного, женщина промолвила:

— Учитель, вразуми меня.

Я растерялся и сказал:

— Видишь ли, я никому не даю наставлений и сам их не принимаю. Я лишь молча созерцаю. В эту минуту, например, я вижу тебя, а ты видишь и слышишь меня.

Женщина вдруг просияла и быстро произнесла:

— Верно, верно, божье слово не только на устах, оно везде и во всем.

— Да, — сказал я, — и когда человек молчит, он всем своим существом внимает вездесущему богу. Для того я и приезжаю из города, чтобы услышать его.

— Я давно это поняла, — заметила женщина, — и потому пришла к тебе.

На прощание она снова низко поклонилась мне. Рука ее коснулась носка на моей ноге, и я видел, что это ее озадачило.

На следующий день я поднялся на крышу еще до восхода солнца. К югу, за тамарисковыми деревьями до самого горизонта тянулись поля. На востоке к деревне подступала бамбуковая роща. За рощей зеленел сахарный тростник — за тростником каждое утро восходило солнце. Вынырнув из густой тени деревьев, дорога сворачивала в поле. Вдоль дороги шли селения.

Молочно-белый туман, как покрывало вдовы, окутал деревья, и из-за него нельзя было определить, взошло ли солнце. Вдруг я увидел, что по деревне движется как-то пятно. Оказалось, это моя вишнуйтка. Она шла, подвывая браслетами с бубенчиками и напевая песенку.

Но вот туман поднялся, как поднимаются после сна веки, и над встрепенувшейся деревней выплыло холодное солнце.

Я сел за стол, чтобы поскорей отправить посыльного к редактору. В это время на лестнице послышались шаги и пение. В комнату вошла вишнуйтка, поклонилась мне и уселась поодаль на полу. Я взглянул на нее.

— Вчера я приобщилась к тебе, — промолвила женщина.

— О чем это ты? — Я ничего не понимал.

— Вчера я тут у дверей ждала, пока ты поешь. Потом, когда слуга вынес посуду, я съела все остатки. Что там было, я так и не разобрала.

Я опешил. Не секрет, что я ездил за границу, и нетрудно догадаться о моем тамошнем меню. Вернувшись домой, я не совершал обряда очищения. Правда, мясо и рыба не привлекали меня, что же касается касты моего повара, то лучше было об этом не распространяться. Заметив мою растерянность, вишнуйтка проговорила:

— Если бы я не отведала твоей пищи, мне незачем было бы приходиться сюда.

— Но, узнав об этом, люди перестанут тебя уважать, — сказал я ей.

— А я сама обо всем рассказала. Такая уж я — что поделаешь.

Я ничего не знал о семье этой женщины, знал лишь, что ее мать живет в достатке. Мать слыхала о том, как люди почитают ее дочь, и хотела, чтобы та жила с ней, но Анонди не соглашалась.

— Чем же ты живешь? — спросил я ее.

Анонди сказала, что один из ее почитателей дал ей в пользование участок земли, который кормит не только ее, но и других, — всем хватает. Она усмехнулась.

— Я все бросила и живу на подаяние. Почему это, скажи мне?

Спроси она меня об этом в городе, я пустился бы в рассуждения, как дурно жить на подаяния. Но куда девались мое красноречие и мой пыл. Я не мог разглагольствовать перед вишнуйткой и промолчал.

Не дожидаясь моего ответа, она сама заговорила:

— Нет, нет, это очень хорошо. Подаяние священо.

Я понял ее. Милостыня напоминает о том, кто ежедневно оделяет всех пищей. А когда живешь в семье, то забываешь о нем.

Мне хотелось что-нибудь узнать о ее муже, но она о нем не заговаривала, а расспрашивать я не решался.

Вишнуйтка не любила ту часть деревни, где жили благородные представители высших каст. «Они ничего не дают богу, — говорила она, — а берут от него больше всех. Бедняки же почитают бога и умирают от голода».

Я знал немало о пороках этих благородных и посоветовал ей:

— А ты поживи среди них, наставь этих грешников на путь истины, вот и послужишь богу.

В свое время я часто слышал такие благие советы, да и сам любил иногда преподать их другим. Вишнуйтку мое предложение не смутило.

— Ты считаешь, что и среди грешников есть бог? — спросила она, подняв на меня свои блестящие глаза.

— Да, — ответил я.

— Конечно, пока они живы, бог с ними. Но что мне за дело до этого? Мой бог не среди них.

Она поклонилась мне. Смысл ее слов заключался в том, что важно не само утверждение, а только истина. Бог вездесущ — это просто слова; он становится для меня истиной там, где я вижу его проявление.

Я, разумеется, не принимал того почитания, которое мне выказывала вишнуйтка, но и не отвергал его, пусть некоторые читатели учтут это обстоятельство.

Веяние времени коснулось и меня. Я читал «Бхагавадгиту» и был вхож в дома ученых, где слушал много глубокомысленных рассуждений о религии. Именно слушая и ничего не наблюдая, я и жил. Только теперь, когда эта вероотступница заставила меня обратить свой взгляд на грешную землю, передо мной раскрылась истина. Поклоняясь, она поучала меня. Это было просто паразитально.

Когда на следующий день вишнуйтка пришла ко мне, она застала меня за работой.

— Зачем, мой тхакур, ты без нужды изнуряешь себя? — сердито спросила она, совершив пронам. — Когда бы я ни пришла, ты пишешь.

— Людям бесполезным нельзя сидеть сложа руки, не то они погибнут, — ответил я ей, — вот тхакур и нагружает их всякими бесполезными делами.

Мое хладнокровие выводило ее из терпения. Получив разрешение, она тотчас же поднималась наверх, но при поклоне рука ее неизменно касалась носка на моей ноге; а когда она хотела поговорить со мной, я обычно что-нибудь писал.

— Учитель, — проговорила она, — сегодня утром, когда я проснулась, мне представились твои стопы. Да, да, только босые. О, какие они прохладные, нежные, как лотос! Мне показалось, будто я приникла к ним головой. Мне было так хорошо! Может быть, мне больше не приходить сюда? Господин мой, может быть, это наваждение? Скажи!

В это время вошел садовник, чтобы поставить в вазу свежие цветы.

— Как! А эти уже не годятся? — заволновалась вишнуйтка. — Тогда дай их мне, дай же!

Она взяла цветы и некоторое время нежно, пристально глядела на них. Потом подняла голову:

— Ты не смотришь на эти цветы, вот тебе и кажется, что они увяли. А ты погляди и больше уже не сможешь заниматься своими писаниями.

Она бережно завязала цветы в край сари, потом почтительно коснулась рукой лба:

— Я уношу с собой моего тхакура.

Женщина дала мне понять, что держать цветы в вазе еще не значит любить их. Я подумал, что отношусь к цветам, как к нерадивому ученику, которого наказывают, выставляя на всеобщее обозрение.

Вечером, когда я отдыхал у себя на крыше, снова пришла вишнуйтка и уселась у моих ног.

— Сегодня я разнесла твои святые цветы по домам. Бени Чоккроборти посмеялась надо мной. «Глупая, — сказала она, — кого ты считаешь? Ведь все считают его дурным человеком». Послушай, это правда?..

На мгновение сердце у меня сжалось. Злые языки опасны и на расстоянье.

— Бени думала, что стоит ей дунуть, и она погасит огонь моего поклонения. Но ведь это не светильник, а целый костер! Учитель, за что они ругают тебя?

— Очевидно, есть за что, — ответил я. — Быть может, когда-то я хотел украсть у них ум.

— Но в человеческом уме столько яду! Зачем же он тебе понадобился?

— Ты права, и все же я поддался соблазну, значит, должен быть готовым к возмездию. Я сам восстановил людей против себя. И чтобы очистить меня от скверны, спаситель время от времени устраивает мне встряски.

— Значит, наказывая, милосердный тхакур избавляет от наказания. В конце концов, все дело в терпении.

Над темной кровлей зажглись и погасли звезды: вишнуйтка рассказала мне о своей жизни.

— Мой муж человек простой. Некоторые даже считали его глупым, но я-то знаю, что умный именно тот, кто умеет просто смотреть на вещи.

Все шло у него как по маслу. Со всем он управлялся, и с хозяйством, и с домом. Он торговал рисом и джутом и никогда не оставался в убытке. А все потому, что он не жадный. Необходимое у него было, а на большее он не зарился.

Свекор умер незадолго до моей свадьбы, а вскоре после свадьбы умерла и свекровь. Я осталась полной хозяйкой в доме.

Муж непременно должен был кому-нибудь поклоняться. Стыдно сказать, он даже меня почитал. Но я так считаю: смыслил он больше меня, зато говорить, как я, не умел. Он поклонялся своему гуру. И не просто поклонялся, он любил его как-то особенно.

Гуру был моложе его и очень хорош собой.

Вишнуйтка помолчала, потом тихонько запела, глядя куда-то вдаль:

Рожденное зарею и амритою,
О, как прекрасно тело неприкрытое!

— Со своим гуру муж мой дружил в детстве и с тех пор душой и телом был предан ему.

Гуру тоже считал мужа человеком недалеким и не упустил случая посмеяться над ним. Чего он только не делал со своими друзьями!

Я уже не застала гуру — после нашей свадьбы он уехал в Бенарес учиться. И мы все время посылали ему туда деньги.

Когда гуру возвратился, мне было лет восемнадцать.

В пятнадцать лет у меня родился ребенок. Я не умела обращаться с младенцем, к тому же меня тянуло к подругам. Ребенок меня раздражал.

Поистине ужасно, когда появляется ребенок, а материнские чувства еще не проснулись! Гопал мой увидел, что мать не заботится о нем, рассердился и ушел. С тех пор я повсюду ишу его!..

Отец обожал мальчика и очень страдал от моей беспечности. Но никогда и словом не обмолвился об этом. Так и молчал о своем горе. Он лучше любой матери ходил за ребенком. По ночам ему жаль было будить меня. Он вставал, разогревал молоко, кормил ребенка, а потом укачивал. Я же понятия ни о чем не имела. Во время праздника Пуджи, когда в помещицьем доме устраивались торжества, муж обычно говорил мне: «Ты иди, а я посижу, мне не спится». Он нарочно так говорил, чтобы я могла спокойно уйти из дому.

Но как ни странно, больше всех мальчик любил меня. Он так и льнул ко мне, словно понимал, что каждую минуту я могу от него убежать. Он всегда этого боялся и был беспокойным даже со мной.

На пруд мне приходилось брать его с собой, и это меня злило. На берегу ждали подруги, а я должна была следить за малышом.

Это случилось в месяце срабон. С утра стали набегать тучки, а к полудню заволокло все небо. Я собралась купаться, малыш расплакался. Тогда я попросила нашу стряпуху Нистарини присмотреть за ним. «Я только сбегая окупнусь разок», — сказала я.

У пруда не было ни души. В ожидании подруг я решила поплавать. Пруд был очень старый. Говорят, какая-то царица приказала вырыть его, потому он и называется

«Царским морем». Никто, кроме меня, не решался переплыть его. Тогда как раз прошли дожди и вода поднялась высоко. Я была уже на середине пруда, как вдруг раздался крик: «Мама!» Я оглянулась. Гопал спускался по каменной лестнице к воде. «Нельзя! Не ходи», — крикнула я, но он, смеясь, продолжал спускаться. Я похолодела от страха и закрыла глаза, я словно оцепенела. Малыш поскользнулся, и смех его навсегда умолк. Я подплыла к берегу, вытащила из воды ребенка, который так спешил к своей матери, но он не позвал: «Мама!»

Сколько слез пролил он из-за меня! И вот пришло возмездие. Теперь он преследует меня день и ночь.

Одному богу ведомо, что творилось тогда в душе моего мужа. Хоть бы он отругал меня! Но он не умел говорить, он мог только терпеть.

Я совсем обезумела от горя. Как раз в то время в деревню вернулся гуру. Он стал ученым. Муж просто боготворил его, не смел рта при нем раскрыть, кто бы подумал, что они в детстве дружили.

Муж попросил гуру утешить меня в моем горе. Гуру читал мне шастры — не думаю, чтобы они очень подействовали на меня. Но голос гуру был мне отрадой. Ведь голос — это бальзам, посланный господом для исцеления души. А голос этого человека мог бы порадовать самого бога.

Священный трепет, который внушал гуру моему мужу, заполнял весь наш дом, как мед соты. Гуру была посвящена вся наша жизнь. И я наконец почувствовала облегчение. Теперь в образе моего гуру я чтילה самого бога.

Каждое утро я просыналась с мыслью о том, что к нам придет гуру и будет есть у нас, а потом я приближусь к нему, съев остатки его пиши. Я чистила овощи, и пальцы мои, казалось, пели от радости. Но сердце мое жаждало чего-то большего — я ведь не брахманка и потому не могла сама готовить и подавать ему.

О, он вмещал в себе целый океан мудрости. А я, простая женщина, даже пищей не могла я ублажить его!

Моя преданность гуру радовала мужа, и он стал относиться ко мне с еще большим почтением. Когда же он заметил, с какой охотой гуру наставляет меня, то решил,

что счастливее его нет на свете. Прежде, думал он, гуру презирал его за глупость, зато теперь восхищается умом его жены.

Так прошло лет пять.

Так прошла бы и вся жизнь, если бы в наш дом не забрался вор. Я его не заметила, да заметил всеведущий. С тех пор все пошло кувирком.

Это случилось утром в месяце фальгун. В мокром сари шла я с купанья по тенистой дороге. Вдруг на повороте, у мангового дерева, мне повстречался гуру с полотенцем через плечо. Он бормотал молитвы.

Сгорая от стыда, я хотела пройти мимо, но он окликнул меня. Я остановилась, низко опустив голову.

— Какая ты стройная! — сказал гуру, глядя мне прямо в лицо.

В ветвях деревьев пели птицы, кусты были усыпаны цветами, на ветках манго раскрывались бутоны. Но мне казалось, что все вокруг охвачено каким-то безумием — будто небо обрушилось на землю.

Не помню, как добралась я домой. Не переодеваясь, вошла я в молельню, но глаза мои не увидели тхакура, его заслонили блики света, игравшие над тенистой дорогой.

В тот день гуру, как обычно, пришел к нам.

— Где Анди? — спросил он.

Муж пошел за мной, но нигде не мог меня найти.

О горе! Прежний мир исчез! Я искала и не находила моего солнца. Бог отвернулся от меня.

Не знаю, как прошел день. Вечером мне предстояло встретиться с мужем. В тишине ночи ум его становился ярким, как звезда. Я вдруг поняла, как тонко понимает все этот простой человек.

Обычно я задерживалась с домашними делами, но он никогда не ложился спать, ждал меня. Мы часто говорили с ним о гуру.

Было около трех часов ночи. Я вошла в спальню и увидела, что муж уснул прямо на полу. Я осторожно, стараясь не шуметь, улеглась у его ног. Он пошевелился, и нога его легла мне на грудь. Я приняла это как прощальный дар. Встала я, когда за окном едва забрезжил рассвет. Птицы еще спали.

В глубоком поклоне я склонилась к ногам мужа. Он торопливо поднялся и удивленно посмотрел на меня.

— Я ухожу от тебя, — сказала я ему.

Он молча смотрел на меня, вероятно, думая, что это ему снится.

— Заклинаю тебя, женись еще раз.

— Что ты говоришь? — недоумевал он. — Кто тебе велит уходить?

— Учитель, — ответила я.

— Учитель? Когда это он сказал тебе?

— Вчера утром я встретила его, когда шла с купанья.

— Но зачем он это сделал? — Голос мужа дрогнул.

— Не знаю. Спроси у него. Может быть, он тебе объяснит.

— Я скажу ему, что можно уйти от мирской жизни, но остаться в семье.

— Что ж, — проговорила я, — возможно, он тебя поймет, а я такого не понимаю. Наша жизнь с тобой кончилась.

Муж ничего не ответил, он сидел молча до тех пор, пока небо не посветлело, и наконец проговорил:

— Послушай, пойдем к нему вместе.

Я сложила ладони:

— Нет, я не хочу его больше видеть.

Муж внимательно посмотрел на меня. Я опустила голову. Больше он ни слова не сказал. Но я знала — он все понял.

Два человека в этом мире любили меня больше всех на свете — мой сын и мой муж. В их любви и был мой бог, мой Нараян, потому эта любовь и не стерпела лжи. Один сам ушел от меня, другого я покинула. С тех пор я ищу правду, одну только правду.

Вишнуитка почтительно склонилась передо мной в глубоком поклоне.



ПИСЬМО ЖЕНЩИНЫ

Припадаю к стопам твоим!

Сегодня исполнилось пятнадцать лет со дня нашей свадьбы. До сих пор я ни разу тебе не писала — в этом не было необходимости. Мы всегда были рядом, и нам вполне хватало тех слов, что мы говорили друг другу.

Но сегодня я здесь, в священных местах, а ты — у себя в конторе. Ты ведь привязан к Калькутте, как улитка к раковине. Она целиком завладела тобой, оплела твой ум и душу. Поэтому ты и не взял отпуска. Так было угодно творцу, но мою молитву он услышал.

Я была средней невесткой в доме твоего отца. Но сегодня здесь, на берегу океана, после пятнадцати лет жизни с тобой, я поняла, что у меня есть иная связь с богом и миром. Поэтому я и осмелилась написать — это письмо уже не от средней невестки.

В детстве, когда лишь небо, предопределившее наши с тобой отношения, могло знать о моем жизненном пути, я и брат заболели тропической лихорадкой. Брат умер. Все женщины в деревне говорили тогда:

— Мринлал выздоровела потому, что она девочка! Будь она мальчиком, ей бы не выжить.

Да, Яма прекрасно разбирается в воровском искусстве: он берет себе то, что ценнее.

Я не умерла. Я жива! Я для того и пишу, чтобы вы все это поняли.

Мне было двенадцать лет, когда твой дядя и твой друг Нирод приехали к нам выбирать тебе невесту. Мы жили в глухой деревне, — даже днем там слышен вой шакалов. Чтобы добраться до нас от станции, нужно трястись двенадцать миль на деревенской повозке, а потом еще три мили ехать в паланкине. Пришлось им тогда помучиться! А наша бенгальская деревенская еда — это жалкое подобие еды твой дядя помнит до сих пор.

Жена твоего старшего брата была некрасива, и твоя мать решила исправить дело за счет средней невестки. Иначе зачем бы приехали твои родственники в нашу деревню? В болезнях и невестах в Бенгалии недостатка нет.

В тот день у моего отца сильно стучало сердце, а мать без конца повторяла имя Дурги. Как смогут они, деревенские жители, умиловить городское божество? Вся надежда на красоту девушки! О, девушка скромна, ее красота стоит ровно столько, сколько за нее предлагает покупатель. Да будь девушка хоть в тысячу раз красивее, ей никогда не побороть своей робости.

Страх домашних, страх всех деревенских передался и мне. Казалось, все силы неба и земли сторожили тогда двенадцатилетнюю девочку, готовясь выставить ее напоказ перед строгими судьями. В мире не было места, где я могла бы укрыться от этих судей. И вот заплакала флейта, вознося к небесам печальные звуки, и я ушла в вашу семью.

Подробно обсудив мою внешность, женщины пришли к выводу, что, в общем, я красива. Это известие огорчило жену твоего старшего брата. Но кому нужна была моя красота? Она бы ценилась, если бы ее создал из ила Ганги какой-нибудь деревенский житель. Но мою красоту создал Брахма себе на радость, и в глазах вашего благочестивого общества она ничего не стоила.

Вам потребовалось немного времени, чтобы забыть о моей красоте, зато приходилось на каждом шагу вспоминать о моем уме. Его не смогли уничтожить ни кухня, ни работа по дому, — он сохранился до сих пор. Моя мать всегда сокрушалась: ведь ум для женщины — большое несчастье! Если человек, обреченный на смирение, станет прислушиваться к голосу разума, жизнь постоянно будет наносить ему удары, пока не сломит его. Но что

я могла поделаться? Творец неосторожно наделил меня умом ббольшим, чем это требовалось для невестки в вашем доме. Кому же я могла отдать его излишек? Вы все издевались надо мной, награждая всякими прозвищами, но я вас простила, ведь грубость — признак слабости.

Было у меня занятие, о котором никто из вас не подозревал, — я писала стихи. Как бы плохи они ни были, их не могли сковать стены женской половины вашего дома, в них я была свободна, оставалась самою собой. Вам казалось нетерпимым во мне все то, что выходило за рамки ваших представлений о средней невестке. За все пятнадцать лет никто из вас не догадался, что я поэтесса.

Из первых впечатлений о вашем доме самым ярким было впечатление о коровнике. Он находился рядом с лестницей, ведущей на женскую половину дома. Днем коров выпускали во двор. Там же, в углу двора, стояла кормушка. По утрам слуги не успевали задать корма, и у кормушки, вылизывая ее, толклись голодные животные. У меня сердце разрывалось, когда я смотрела на них. Ведь я выросла в деревне! Когда я пошла к вам в город, эти две коровы и три теленка казались мне самыми близкими существами. Первое время я украдкой даже скармливала им свою еду. Потом, когда я подросла, родственники, большие охотники до шуток, заметили мою привязанность к животным и начали сомневаться в моей касте.

У меня родилась девочка, но сразу умерла. Уходя, она и меня звала с собой. Она могла дать мне жизнь и все великое, что есть в ней, всю ее правду. Я не была бы больше средней невесткой, я стала бы матерью! А мать принадлежит не только своей семье, но всему миру. Я приняла страдания, чтобы стать матерью, но не обрела свободы.

Помню, как пришел к нам врач-англичанин. Он был удивлен видом женской половины дома, но комната, в которой я родила, его возмутила. Еще бы! С наружной стороны вашего дома разбит сад. В передних комнатах нет недостатка в мебели. Зато женская половина словно изнанка шитья, тут все оголено, некрасиво, нет никакого убранства. Свет сюда едва проникает, а воздух проби-

рается украдкой, как вор; во дворе горы мусора. Пол и стены в комнатах сплошь в пятнах. Доктор думал, что мы страдаем от этого. Ничуть! Пренебрежение как пепел, который сохраняет под собой жар. Когда теряется чувство собственного достоинства, пренебрежение не причиняет боли. Женщина даже стыдится страдать. И если при ваших порядках женщине уготованы страдания — пренебрегайте ею как можно больше; забота о ней лишь усилит ее муки.

Во всяком случае, я никогда не думала, что пренебрежение может причинять страдания. Во время родов смерть стояла подле меня, но я не испытывала страха. Тяжело умирать тем, кто окружен любовью и заботой. А меня Яма взял бы так же легко, как легко вырвать пучок травы из рыхлой земли. Только стыдно так просто умирать.

Моя девочка зажглась, как вечерняя звездочка, и погасла. А я снова вернулась к своим коровам и телятам. Так бы и прошла моя жизнь, и никогда я не стала бы писать этого письма. Но ветер заносит на каменный настил семечко дерева ашот, в щели появляется росток, и, в конце концов, этот росток разрывает каменный панцирь. Так и в застывший уклад вашего дома залетела крупница жизни, посеявшая разлад.

После смерти своей матери-вдовы, Бинду, сестра старшей невестки, не стерпев притеснений двоюродных братьев, пришла в наш дом, к своей диди. «Только этого не хватало», — досадовали все. Но что поделаешь! У меня скверный характер. Вся душа моя потянулась к этой бездомной девочке. Прийти в чужой дом, вопреки желанию хозяев — что может быть оскорбительнее для человека! Как можно оттолкнуть того, кому пришлось так поступить!

Я поняла положение старшей невестки. Она очень любила сестру, потому и взяла ее к себе. Однако, заметив недовольство мужа, сделала вид, будто приход сестры ей неприятен и она готова избавиться от нее любым способом. Она не смела проявлять нежность к несчастной девочке, ведь она была преданной женой!

Это причиняло мне боль. Я видела, что старшая невестка нарочно плохо кормит и одевает Бинду, сделала ее

служанкой. Я не только страдала, мне было стыдно. Ведь она старалась показать вам всем, какое Бинду выгодное приобретение для семьи, — работает она много, а расходов на нее никаких!

Старшая невестка не обладала ничем, кроме благородного происхождения, — ни деньгами, ни красотой. Ты прекрасно знаешь, с каким трудом уговорили свекра согласиться на эту свадьбу. Диди и сама считала себя виноватой и старалась держаться как можно скромнее. Она играла в вашем доме такую незначительную роль!

Но ее хороший пример имел для нас плохие последствия. Я не могла терпеть безропотно все. Как бы я ни уважала человека, я не стану ради него хорошее считать плохим — ты в этом сам не раз убеждался. И я взяла Бинду к себе.

«Испортит она девчонку», — вздыхала диди. Она всем жаловалась на меня, будто я совершила какой-то дурной поступок. Но я твердо знала, что в душе она рада: теперь вся тяжесть вины будет на мне.

Бинду было лет четырнадцать, но старшая невестка говорила, что ей меньше. Помнишь, какой она была дурнушкой; если бы она упала и разбила себе лицо, люди стали бы жалеть не ее, а пол. Она была сирота, и, следовательно, некому было выдать ее замуж. Да и кто взял бы ее в жены?

Бинду пришла ко мне, трепеща от страха. Казалось, она боится своим прикосновением осквернить меня. Девочка была тихой, забитой, вечно жалась в сторонку — лишь бы не попадаться людям на глаза. Ведь даже в отцовском доме у двоюродных братьев для нее не нашлось угла. Везде она была лишней. Лишние вещи обычно теряются, потому что все о них забывают. Другое дело — лишний человек. О нем не забудешь, и именно потому для него не найдется места даже в мусорной яме. Не стану утверждать, что двоюродные братья Бинду очень нужны этому миру. Тем не менее живут они прекрасно.

Меня огорчило, что Бинду так запугана, и я постаралась как можно ласковее объяснить ей, что мне она не будет в тягость.

Однако я не была хозяйкой своей комнаты. И все оказалось не так просто.

Через несколько дней на теле у Бинду выступили какие-то красные пятна — возможно, это была потница. Но все подняли крик, что это оспа. Ведь речь шла о Бинду!

Пришел молодой, еще неопытный врач из нашего же квартала и предложил повременить дня два. Никто и слышать об этом не хотел. Бинду едва не умерла со стыда. А я заявила, что, если даже это оспа, я скорее предпочту жить вместе с Бинду в комнате, чем позволю взять ее от меня. Вы все готовы были меня избить, даже сестра Бинду предложила отправить несчастную девочку в больницу. Но к этому времени пятна на теле Бинду исчезли. Однако это еще больше вас встревожило. Конечно, утверждали вы, это оспа. Ведь речь шла о Бинду!

Беспризорные дети обычно растут очень крепкими, не болеют и редко умирают. Так было и с Бинду. Ничего серьезного у нее не оказалось. Я же еще больше убедилась в том, как трудно пожалеть человека, от которого все отвернулись. Чем нужнее ему сочувствие, тем больше терний на его пути.

Не успела Бинду привыкнуть ко мне, какстряслась новая беда. Она полюбила меня какой-то необыкновенной любовью. Никогда не встречала я ничего подобного, разве что в книгах, но там рассказывалось о любви мужчины и женщины!

Давно уже я забыла о своей красоте — а теперь мне напомнила о ней эта дурнушка. Она не могла на меня наглядеться.

— Диди, — говорила она, — я одна вижу, как ты красива!

Она обижалась до слез, когда я сама заплетала себе косы, — девочка очень любила перебирать мои волосы. Я никогда не наряжалась, только когда нас приглашали куда-нибудь. Но Бинду не оставляла меня в покое и каждый день занималась моим туалетом. Она просто помешалась на мне.

Около женской половины вашего дома, у самого забора, на краю канавы, каким-то чудом вырос габ. Однажды я увидела на дереве свежие листочки и поняла: пришла весна. Пришла весна и к этой несчастной девочке, рассеяв мрак в ее душе. Но из какого блаженного края

повеяло таким теплым ветром? Ведь не из соседнего же переулка!

Меня встревожила неумная сила ее любви, и я не раз сердилась на Бинду, но она и слышать ничего не хотела. Зато в ее любви я обрела самое себя, обрела свободу.

Вам всем досаждала моя привязанность к Бинду, мои заботы о ней. Сколько пришлось мне выслушать упреков! Однажды у меня пропал браслет, и вы не устыдились намекнуть, что тут не обошлось без Бинду. Когда же началось движение «свадеши» и полиция стала устраивать обыски, вы заподозрили в Бинду шпионку, подсланную полицией. У вас не было никаких доказательств, но ведь это была Бинду!

Слуги не желали прислуживать ей, а если им приказывали, девушка цепенела от смущения. Поэтому мои расходы возросли: я наняла для Бинду служанку. Это вам не понравилось. А ты, заметив, как я одеваю Бинду, перестал давать мне деньги на карманные расходы. Тогда я начала одевать ее в дешевое дхоти из грубой фабричной материи.

Я никому не разрешала ухаживать за собой, мыла посуду во дворе под краном, скормив остатки пищи телятам. Нельзя сказать, чтобы ты особенно обрадовался, застав меня однажды за этим занятием. Со мной можно было не считаться, не то что с вами. До сих пор эта простая истина не приходила мне в голову.

Бинду росла, и одновременно возрастала ваша ненависть к ней. Естественное явление ее роста вызывало у вас неестественное озлобление. Я и поныне не могу понять, как это вы ее не выгнали? Впрочем, причина ясна: в душе вы боялись меня. Брахма дал мне ум, — а ум нельзя не уважать.

Чтобы избавиться наконец от Бинду, вы решили обратиться за помощью к всевышнему. Бинду нашли жениха.

— Слава богу, — говорила старшая невестка, — Кали сохранила честь нашего рода.

Я не видела жениха, слышала только, что он хорош во всех отношениях. Бинду плакала, обнимая мои ноги:

— Диди, зачем выдавать меня замуж?

— Не бойся, Бинду, — утешала я ее, — твой жених хороший человек.

— Пусть он хороший, но за что он может полюбить меня?

Родственники жениха не заговаривали о смотринах, и это успокоило старшую невестку.

Ни днем, ни ночью не переставала Бинду лить слезы. Я-то знаю, как ей было тяжело. Я много вынесла, защищая эту девушку, но у меня не хватило смелости помешать ее свадьбе. Я не могла этого сделать. Что стало бы с ней, если бы я умерла? Ведь она девушка, и к тому же темнокожая. Нет, лучше было не думать о том, в чей дом она входит, что с ней будет. Мысль об этом терзала сердце.

— Диди, — сказала мне как-то Бинду, — до свадьбы осталось пять дней, что, если я умру за это время?

Я выбрала ее, но — видит небо, — уйди Бинду тогда без страданий из жизни, у меня бы камень свалился с души.

Накануне свадьбы Бинду пришла к сестре.

— Диди, я буду жить в коровнике, буду делать все, что мне прикажут! Припадаю к твоим ногам, не прогоняй меня!

Последнее время диди частенько украдкой плакала, и в тот день она тоже всплакнула. Но, кроме сердца, существует еще и закон!

— Знаешь, Бинду, — сказала она, — муж для женщины это все: вся ее жизнь. И потом, если уготовано судьбой несчастье, его все равно не избежать.

Да, другого пути нет: Бинду должна выйти замуж.

Я хотела, чтобы свадьбу праздновали у нас, но вы заявили, что это невозможно, — свадьба должна быть в доме жениха — таков обычай в их роде.

Я поняла: ваш бог не позволяет вам тратиться на свадьбу Бинду. И мне пришлось замолчать. Об одном вы не знали, — я хотела признаться диди, но промолчала, потому что она умерла бы со страху, — тайком я украсила Бинду некоторыми из своих драгоценностей. Я думаю, диди видела это, но притворялась, будто не замечает. Будьте великодушны: простите ее.

Перед уходом Бинду обняла меня:

— Значит, вы навсегда меня оставляете?

— Нет, Бинду, что бы с тобой ни случилось, я никогда тебя не покину.

Прошло три дня. Незадолго до этого арендатор прислал вам барана на мясо. Я спасла его от прожорливости родственников и поместила внизу, в кладовке для угля. По утрам я кормила его. Вначале я полагалась на слуг, но им больше хотелось съесть его, чем накормить.

На четвертый день, когда я пришла утром в кладовку, я увидела Бинду, съжившуюся в углу. Заметив меня, она молча обхватила мои ноги и разрыдалась.

Ее муж оказался сумасшедшим.

— Неужели это правда, Бинду?!

— Разве могла бы я так солгать? Он сумасшедший. Свекор не соглашался на свадьбу, но он боится свекрови, как Ямы. Он еще до свадьбы уехал в Бенарес. Свекровь против его воли женила сына...

Я опустила на кучу угля. Женщина не пощадила женщину!

— Она женщина, и все, — заявила свекровь, — пусть мальчик и сумасшедший, но он — мужчина.

Помешательство мужа Бинду не сразу было заметно. Но иногда он так возбуждался, что его приходилось запира- рать. В ночь после свадьбы все было хорошо, но на дру- гой день Бинду заметила, что он безумный. В полдень, когда Бинду ела рис, муж выхватил у нее тарелку и швырнул во двор. Он вообразил, будто Бинду — сама Раш- мони, а слуга украл у нее золотое блюдо и дал ей рис на своей тарелке!

Бинду чуть не умерла со страху. Когда ночью свек- ровь приказала ей идти к мужу, сердце у нее замерло. Но со свекровью не поспоришь — в гневе она теряет ра- зум, хоть и не сумасшедшая в буквальном смысле. Впро- чем, такие еще опасней. И Бинду, окаменев от ужаса, по- шла наверх. Поздно ночью, когда муж заснул, она тайком выбралась из дому и убежала ко мне. Подробно описывать все это незачем.

От гнева и возмущения кровь закипела у меня в жилах.

— Эта свадьба — обман, она не может считаться законной, — сказала я. — Бинду, ты, как и прежде,

будешь жить у меня. Пусть только посмеют взять тебя отсюда!

Но вы все тогда подняли крик:

— Бинду лжет!

— Она никогда не лжет! — возразила я.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю!

Вы попытались меня запугать:

— Если кто-нибудь из дома свекра обратится в полицию, мы попадем в беду!

— Суд не станет их слушать, — говорила я. — Бинду обманом выдали замуж за сумасшедшего.

— А ты думаешь, мы станем судиться? Зачем это нам?

— Я продам свои украшения и сделаю, что смогу.

— Побежишь к адвокату?

Я замолчала. Что мне оставалось делать? Разве только проклинать свою судьбу.

В это время пришел старший брат мужа Бинду и поднял во дворе страшный шум. Он угрожал, что пожалуется в полицию.

Не знаю, откуда взялась у меня сила, но я не выдала палачу его жертву.

— Хорошо, — сказала я, — пусть идут в полицию!

Я решила запереть Бинду у себя в комнате, но нигде не могла ее отыскать. Оказывается, она сама вышла к деверю: девочка поняла, что мне грозят неприятности.

Убежав из дома свекра, Бинду усугубила свое несчастье. Свекровь твердила одно: «Ведь не съел же ее мальчик! В этом мире такие плохие мужья, что по сравнению с ними сын мой — золото».

— Несчастливая ее судьба, — говорила старшая невестка, — но что я могу сделать? Мужчина ли, скотина ли, но ведь он — муж!

Вы, мужчины, любите повторять историю о прокаженном, которого верная жена на руках принесла к проститутке, и при этом не испытываете ни малейшей неловкости. Поэтому вас и возмутила Бинду, восставшая против своей судьбы. У меня сердце разрывалось при мысли о девочке, но за вас мне было мучительно стыдно.

Я простая деревенская женщина, но не могу примириться с вашими нравами. И зачем только Брахма наделил меня умом?!

Я твердо знала, что Бинду больше не придет к нам в дом, даже если бы ей грозила смерть. Но ведь я обещала никогда ее не бросать.

В Калькутте учится мой младший брат Шорот. Все вы знаете, с какой готовностью он участвует в каждом деле, где нужны добровольцы, — морит крыс в чумных районах или борется с наводнением во время разлива Дамодара, — из-за этого он дважды проваливался на экзаменах. Но это несколько не умерило его пыла. Так вот, я позвала брата и сказала ему:

— Шорот, устрой так, чтобы я могла получать известия о Бинду. Только помни, что сама она не осмелится мне писать, а если и напишет, письма ее все равно не дойдут до меня.

Шорот больше бы обрадовался, попроси я его украсть Бинду или проломить голову ее сумасшедшему мужу!

Когда я разговаривала с Шоротом, ты вошел и спросил:

— Что случилось? Опять какой-нибудь скандал?

— Да все то же. То, что я попала в ваш дом, но в этом ты сам виноват.

— Опять ты где-нибудь спрятала Бинду?

— Я бы и спрятала, но она не придет, не бойся.

Приход Шорота усилил твои подозрения. Я знала, никому из вас не нравились его посещения. Вы боялись, что за ним следит полиция: не дай бог, попадет в какую-нибудь историю и вас запутает! Поэтому я даже отказалась от церемонии бхайпхонта и никогда не приглашала брата к себе.

Ты сказал, что Бинду снова убежала и что деверь снова разыскивает ее. Сердце у меня сжалось: я понимала, какие муки терпит бедная девочка, но ничем не могла ей помочь.

Шорот ушел. Вечером он вернулся и сообщил мне:

— Бинду убежала к братьям. Те пришли в ярость и тут же отправили ее обратно в дом свекра. До сих пор никак не успокоятся. Мало того, что она поставила их

в дурацкое положение, так еще лошадей пришлось из-за нее нанимать.

Тут пришла тетка вашего отца и сказала, что отправляется на богомолье в Пури. Я заявила, что поеду с ней.

Вы обрадовались моему неожиданному благочестию и тотчас согласились. Кроме того, вы боялись, как бы я снова не наделала хлопот из-за Бинду. Со мной ведь одни неприятности! Я собиралась уехать во вторник, но вопрос о моем отъезде был решен еще в воскресенье. Тогда я позвала Шорота.

— Как хочешь, — сказала я, — но во вторник ты должен привезти Бинду к поезду, который пойдет на Пури.

Шорот просиял.

— Не бойся, сестра, — ответил он, — я поеду с ней до самого Пури, заодно посмотрю на Джаганнатху!

А вечером в тот же день Шорот снова пришел. Стоило мне взглянуть на него, как в груди у меня словно что-то оборвалось.

— В чем дело, Шорот? Что случилось?

— Нет, — ответил Шорот, — ничего...

— Ты не уговорил ее, — продолжала я допытываться.

— Теперь это не нужно. Вчера ночью она покончила с собой. Она подожгла на себе одежду. Мне сказал это их племянник, он говорил еще, что Бинду оставила тебе письмо, но они его уничтожили.

Вот и кончились страдания моей Бинду.

Все негодовали: что за новая мода — самосожжение?

А вы заявили, что это комедия. Пусть так. Но почему огонь ее сжигает сари бенгальских женщин, а не дхоти храбрых бенгальских мужчин? Об этом стоит подумать.

Несчастливая Бинду! При жизни она не отличалась никакими достоинствами, да и умереть не смогла так, чтобы ее похвалили, а лишь вызвала злобу.

Диди плакала, но ощущала некоторое облегчение. Как бы там ни было, все кончилось. Бинду умерла. Кто знает, что бы случилось с ней, останься она в живых!

Потом я уехала в Пури.

Живя у вас, я не испытывала лишений, не знала недостатка ни в пище, ни в одежде. Ты — неплохой человек, не то что твой старший брат, и мне не из-за чего было роптать на бога. Но если бы даже ты походил на

брата, то и тогда, пожалуй, жизнь моя была бы такой же, и я, как и старшая невестка, винила бы в своей судьбе одного бога. Поэтому не сочти мое письмо жалобой.

Я никогда больше не вернусь в дом № 27 в переулке Макхона Борала. Я видела Бинду, видела, как живут женщины в ваших семьях, хватит с меня!

Правда, позднее я поняла, что Бинду хоть и женщина, но бог не оставил ее своей милостью. Как ни была велика ваша власть над нею, ей пришел конец. Бинду победила судьбу. Смерть не позволила вам вечно топтать ее. Смерть выше вас! В этой смерти все величие Бинду! В ней она не бенгальская женщина, не сестра своих братьев, не обманутая жена сумасшедшего мужа. В своей смерти Бинду бесконечна!

Когда прозвучала флейта смерти, успокоив разбитое сердце этой девочки, грудь мою словно пронзила стрела. Я спросила бога:

— Почему самое ничтожное особенно живуче? Почему ваш дом, окруженный со всех сторон оградой, не сокрушим? Почему, как ни тянулась я за каплей нектара из чаши бытия, мне так и не удалось получить его — я не смогла переступить порог женской половины дома? Почему я должна была медленно умирать за этой ненавистой кирпичной оградой? Как ничтожна была моя жизнь в вашей семье! Как ничтожны ее законы, обычаи, изо дня в день повторяющиеся слова, — все эти оковы! Неужели этот сосуд, полный страданий, уцелеет, а мир радости будет разрушен?

Но вот раздались звуки флейты, возвестившие о смерти, — где она, стена, сложенная каменщиками? Где колючая проволока? Как смее вы держать человека в тюрьме? Смотрите, в руках смерти развеивается победное знамя жизни! Средняя невестка, не бойся! В мгновение ока спадут с тебя твои путы!

Теперь мне не страшен ваш переулок! Предо мной безбрежный голубой океан, надо мной — июльское небо.

Вы спрятали меня во тьме ваших обычаев и законов. Но пришла Бинду и отыскала меня. Смерть этой девочки разорвала на мне путы. Я стремилась к свету и поняла, что нет места, достойного меня. Тот, кто оценил мою красоту,

которой все пренебрегли, теперь смотрит на меня глазами неба. Средней невестки больше не существует!

Ты, может быть, думаешь, что я собираюсь покончить с собой? Не бойся, я не сыграю с тобой этой старой шутки! Мира-баи тоже была женщиной, и оковы на ней были не легче моих, но ей не понадобилось искать спасения в смерти. Мира-баи пела в своей песне:

Пусть отвергнул отец
И отвергнула мать —
Воля Миры тверда,
И ее не сломать.
И готова она
Ко всему, о творец!

Для того, чтобы жить, надо быть твердой. Я спасена.
Я буду жить!

Покинувшая дом ваш *Мринлал*.



ПОСЛЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Казалось, месяц срабон, самый дождливый из всех, за одну ночь постигло полное банкротство — на небе не осталось ни облачка.

Просто удивительно, что я провожу сегодняшнее утро так спокойно — сижу и наблюдаю, как поблескивают листья на сирисе, что стоит в самом конце моего сада у ограды из зеленого кустарника. Раньше меня зимой бросало в жар, а летом в холод при одной лишь мысли о возможном разорении. А сегодня, оказавшись на самом краю пропасти, я неожиданно освободился от всяких страхов, почувствовал неизъяснимое облегчение и обрел способность безмятежно наблюдать за всем окружающим. Сейчас, например, мое внимание привлекла ящерица, которая притаилась на ветке, подстерегая очередную жертву.

Сама по себе перспектива потерять все и остаться нищим была не так уж страшна, но последнее время меня мучило сознание, что я подрываю репутацию добропорядочного рода, передававшуюся из поколения в поколение. Мне даже приходила мысль о самоубийстве! Но сегодня, когда последняя завеса оказалась сорванной и доказательства моего позора, подобно скисшей сметане, вылезли из конторских книг и счетов и разлились повсюду, от суда до газет, я почувствовал облегчение. Слава богу, наконец все узнали, что я мошенник, и больше не нужно заботиться о семейной чести!

Я знаю, на суде будет сказано все, всплывут даже самые незначительные мелочи, но вот о главном моем преступлении там не расскажет никто. Это и понятно, ибо осудить за такое может только собственная совесть. Поэтому я и взялся за перо.

Когда-то в трудную минуту дед мой Удхоб Дотто выручил своего хозяина, пожертвовав для его спасения всем своим состоянием. С тех пор мы, бедняки, стали пользоваться ббльшим уважением, чем иные толстосумы. Мой отец учился в школе Дерозио. Он любил вино, но еще больше любил правду. Когда однажды он услышал, как мать рассказывает нам перед сном всякие небылицы, вроде сказок о шакале и цирюльнике, он запретил нам почевать в доме, и с тех пор мы спали в специальной пристройке во дворе, одновременно служившей классной комнатой. Стены ее были увешаны географическими картами, которые не только не сочиняли небылицы о бескрайних равнинах, но и развенчивали сказки о семи морях и тринадцати реках. Вообще наш отец отличался болезненной честностью, и нам без конца приходилось давать ему отчет буквально во всем. Однажды старший брат купил какую-то вещь на улице; отец заметил, что я играю с бечевкой, которой был перевязан пакет, заставил меня догнать торговца и вернуть ему даже эту несчастную бечевку.

В такой тюрьме добропорядочности мы были словно арестанты, закованные в кандалы честности. Даже слово «арестанты» не подходило к нам, потому что и арестанты — люди, а мы были не людьми, а какими-то эталонами. Мы не умели по-настоящему ни играть, ни озорничать; наши разговоры были только серьезными, речь — немногословной, смех — сдержанным, поведение — абсолютно безупречным. Пустота, которая в результате образовывалась в нашей детской жизни, заполнялась усердными похвалами окружающих. Все, начиная от нашего учителя и кончая бакалейщиком, вынуждены были признавать, что дети из семьи Дотто не забыли век праведности.

Но природу убить нельзя! Даже на мощеных дорогах она находит, пусть маленькую, щелку — и зеленые по-

беги пробиваются между камней, как знамена победы. Так и в юные годы, несмотря на то, что все дни лунного календаря были для нас великим постом, я ухитрился вкушать нектар запретного.

Среди домов, которые нам разрешалось посещать, был дом Окхила-бабу. К нему, как стороннику «Брахмо Самаджа», отец относился с большим доверием. Его дочь Онушуа, которая была лет на шесть моложе меня, я всячески опекал.

До сих пор не могу забыть густых темных ресниц на ее детском лице. Тень от этих ресниц как бы смягчала резкость ее черт. А каким мягким взглядом смотрела она на меня! И еще помню косы, сбегавшие по ее спине, и руки, — не знаю почему, они мне казались воплощением доброты, казалось, она все время хотела найти себе опору, доверить свои нежные пальцы чьей-нибудь надежной руке.

Было бы преувеличением утверждать, что в первую же встречу я увидел ее такой, какой я сейчас ее описываю. Но ведь и не постигнув всего, мы понимаем достаточно много! Воображение создает немало смутных картин, которые в один прекрасный день озаряются ярким светом бытия и вдруг предстают перед нами с предельной отчетливостью.

Душа Ону была открыта настежь. Она верила всему. Скучные сведения о вселенной, которые она получала от своей старой служанки, были недостойны занять место даже среди того учебного хлама, который заполнял нашу комнату. Вдобавок она сама забивала себе голову всяческими небылицами. Тут, как мне казалось, я был обязан показывать ей свое превосходство. То и дело я повторял: «Ты должна знать, Ону, что говоришь неправду, а это великий грех!» Когда я так говорил, тень ее ресниц становилась еще гуще. А сколько всякой чепухи рассказывала Ону своей маленькой сестренке! Чтобы заставить ее выпить молоко, она говорила: «А вон летит птица!» И хотя никакой птицы не было, она даже пыталась щелкать по-птичьи. Я строго останавливал ее:

— Всевышний слышит, что ты говоришь неправду, Сейчас же проси у него прощения.

Я был с нею строг, и она безропотно выслушивала все мои замечания. И чем более виноватой она себя чувствовала, тем большее удовлетворение я испытывал: человек, прошедший ради самоусовершенствования через все унижения, всегда ищет случая на ком-нибудь отыграться. Мне льстило, что Ону считает меня несравненно выше не только ее самой, но и всего остального человечества.

Время шло, я окончил школу и перешел в колледж. Жена Окхила-бабу мечтала выдать Ону за такого юношу, как я, да и сам я считал себя завидным женихом. И вдруг я услышал, что Ону сосватана за новоиспеченного бакалавра права. Разумеется, я знал, что мы люди бедные, но ведь наша бедность делала нам только честь. Однако отец девушки, видимо, думал иначе.

Так моя богиня была принесена в жертву, и жизнь скрыла ее от меня за одним из своих покрывал. Та, которая с детства была для меня самым близким человеком, скрылась в море незнакомых людей. Трудно рассказать, что я пережил в тот день. Мое самолюбие было уязвлено, и богиня была низвергнута. Я и раньше относился к Ону свысока, а теперь она стала казаться мне совсем ничтожной. И больше всего меня мучило то, что люди не оценили моих достоинств.

Как бы там ни было, я понял, что одной добродетелью многого не добьешься. И я дал себе слово, что заработаю столько денег, что Окхилу-бабу рано или поздно придется раскаяться в совершенной им ошибке. Я твердо решил сделаться преуспевающим дельцом.

Самое необходимое для делового человека — это полная уверенность в себе. Недостатка в самоуверенности, надо сказать, я никогда не испытывал. А это распространяется, как зараза, — если человек верит в себя, то и другие начинают верить в него. Так очень скоро окружающие поверили в мои незаурядные практические способности.

Стол и полки моего кабинета ломились от всякого рода деловой литературы. Я старательно осваивал все, что относится к ремонту домов, установке электричества и вентиляции, изучал цены на товары, постигал таинственные законы повышения и понижения рыночных цен, законы денежного обмена, правила составления смет и счетов.

Но прошло много дней, а я по-прежнему только говорил о работе, толком же ничего не делал. Когда кто-нибудь из друзей советовал мне стать пайщиком какой-нибудь компании, я отвечал, что ни одна компания не ведет свои дела честно, что везде полно ошибок и просчетов и что порядочному человеку связываться с теперешними дельцами просто невозможно. Когда же кто-нибудь из моих друзей начинал доказывать, что с моей непреклонной честностью успеха в делах не добьешься, я немедленно прекращал с таким человеком всякие отношения.

До самой старости я сумел сохранить репутацию умеющего прекрасно составлять планы, проспекты и разные схемы. Но судьба все-таки заставила меня оставить планирование и заняться настоящим делом. В основном это было вызвано тем, что после смерти отца мне пришлось заботиться о семье, но было и еще одно обстоятельство. Вот о нем-то я и хочу рассказать.

Был у меня одноклассник по имени Прошонно, отличавшийся ехидством и болтливостью. Он всегда находил предлог посмеяться над нашей потомственной добропорядочностью. Отец дал мне имя Шотедхон, что значит «настоящее богатство», и Прошонно все время острил, намекал на нашу бедность, что, мол, «все богатство, доставшееся тебе в наследство, заключается в твоём имени» и что лучше бы мой отец поступил наоборот, — оставил побольше денег, а меня назвал бы как угодно. Не скрою, я побаивался его злого языка.

Случилось так, что мы долго не виделись. За это время Прошонно побывал в Бирме, Лудхияне, Шри-Рангапаттанаме, где занимался всякого рода делами, порой довольно сомнительными. Неожиданно объявившись в Калькутте, он тотчас отыскал меня. Естественно, мне польстил такой знак внимания со стороны того, кто раньше удостаивал меня только насмешек.

— Дружище, у меня идея! — воскликнул Прошонно. — Готов пропахать носом дорогу между Боубазаром и Багбазаром, если в один прекрасный день ты не станешь вторым Моти Шилом или Дургочороном Лаха.

Кто не учился вместе с Прошонно, тому не понять, что означала в его устах эта клятва! К тому же он успел хорошо узнать жизнь, и ему можно было верить.

— Людей, которые хорошо разбираются в делах, я видел достаточно, — продолжал Прошонно, — но именно эти люди чаще всего попадают впросак, так как хотят добиться успеха, опираясь только на свой ум, и забывают, что над нами есть бог. Вот ты действительно драгоценный камень в золотой оправе — ты держишь высоко знамя чести и в делах тоже научился разбираться.

В то время как раз началось повальное увлечение торговлей. Всеобщее мнение было таково — страна не может стать независимой без торговли. Всем казалось, что достаточно иметь капитал, чтобы в один прекрасный день адвокат, агент, врач, учитель, студент и даже родители студента превратились в преуспевающих коммерсантов.

— Но ведь у меня нет денег, — остановил я Прошонно.

— Чудак! — воскликнул он. — Разве тебе ничего не досталось в наследство?

Я решил, что это очередная насмешка Прошонно.

— Я не шучу, — словно угадав мои мысли, сказал Прошонно. — Ведь добропорядочность — это золотой лотос Лакшми! В коммерции доверие важнее капитала.

С давних пор, когда еще был жив мой отец, местные вдовы имели обыкновение приносить в наш дом на хранение свои сбережения. На проценты они, разумеется, не рассчитывали, им было достаточно знать, что в нашем доме их не обманут.

Вот на скопившиеся таким образом деньги я и открыл свою контору. Я занимался перепродажей изделий местного производства. Продавал все, что удавалось достать, — ткани, бумагу, чернила, пуговицы, мыло. Покупатели налетали как саранча.

Но чем больше мы узнаем, тем больше убеждаемся, что ничего не знаем. Так и с деньгами, — чем их больше, тем больше их не хватает. И вот настал день, когда Прошонно заставил меня признать, что нецелесообразно тратить жизнь на столь мелкие дела. Вот международная коммерция — коммерция! А капитал, вложенный в

местную торговлю, не растет, только ходит по кругу, как бык, который крутит жернова.

Услышав от меня подобное признание, Прошонно так обрадовался, словно не сам подсказал мне это столь оригинальное и глубокомысленное суждение. После этого я показал ему расчеты на семь лет вперед, относящиеся к торговле льняным семенем по всей Индии, и несколько длинных листов, на которых четкими буквами, красными и черными чернилами было написано, куда и в каком количестве идет льняное семя, где какая на него цена, минимальная и максимальная, за сколько его можно скупить на корню и сколько за него дают в морском порту, какова возможная прибыль на каждом этапе, если удастся всю закупленную продукцию доставить к портам непосредственно от производителей, где можно сэкономить, где, наоборот, придется переплатить, в каком случае цена должна начисляться по возрастающей системе и в каком по нисходящей. Когда Прошонно увидел все это, ему осталось только в глубоком поклоне взять прах от моих ног.

— Мне всегда казалось, что я разбираюсь в этих делах, — признался он, — но сегодня я сдаюсь!

Однако и тут он не мог не добавить:

— Не забывай только мудрое изречение о том, что человек предполагает, а бог располагает. Как знать, может, и в твоих подсчетах таится ошибка.

Это задело меня за живое. Ведь каждая справка неопровержимо доказывала, что никакой ошибки нет и быть не может. А издержки, как бы велики они ни были, даже при самом строгом подсчете гарантировали прибыль не менее чем двадцать пять — тридцать процентов.

К тому времени, когда я из узкого канала мелочной торговли выплыл в океан большого бизнеса, Прошонно успел мне внушить, что это произошло исключительно благодаря моей настойчивости и поэтому я один за все в ответе. К тому времени капитал наш вырос, и если раньше женщины приносили нам деньги на хранение просто потому, что были уверены в нашей семейной добропорядочности, то теперь у них появился соблазн получить на них хорошие проценты. Чтобы вложить как можно больше денег, они даже начали продавать свои украшения.

Едва занявшись делами, я сразу же запутался. То, что так прекрасно выглядело на бумаге, в листах, исписанных красными и черными чернилами, на практике оказалось гораздо сложнее, особенно для порядочного человека. Очень скоро планы потеряли для меня всякую привлекательность, а работа тем более, так как в глубине души я начал понимать, что не способен заниматься этим делом. Однако открыто признать это я тоже не мог. А дело тем временем само собой перешло в руки Прошонно, хотя он все время твердил, что именно я являюсь единственным и полновластным хозяином. Я даже представить не мог, куда полным ходом катилось наше предприятие, державшееся на ловкости Прошонно и безупречной репутации моего рода.

Очень скоро я заплыл туда, откуда и берега не видать и где дна не достать. Еще не поздно было бросить тонущий корабль и во всем признаться. Я бы поступил, по крайней мере, честно, хотя и погубил бы свою репутацию порядочного человека. Вместо этого я начал выплачивать проценты на принятые деньги, но не из прибыли, которую якобы давало наше предприятие, а за счет тех же сдаваемых денег. А поскольку это давало мне возможность повышать процент, приток денег все увеличивался.

Женился я давно и всегда знал, что мою жену не интересует ничего, кроме домашних дел. Но вдруг я обнаружил, что и она, подобно мудрецу Агастье, старается хоть пригоршнями зачерпнуть свою долю из океана денег. Я и не заметил, как заразил этой страстью к золоту всю семью, весь дом. Даже прислуга стала вкладывать свои сбережения в мое предприятие. Как-то раз жена мне сказала, что продала часть своих украшений и хочет вложить полученные деньги в мое дело. Я, разумеется, отругал ее и сказал, что нет греха страшнее, чем алчность.

Был еще один человек, у которого я не мог взять денег.

Ону осталась вдовой с единственным сыном на руках. В свое время ее муж славился своим богатством не меньше, чем скупостью. Поговаривали, что у него было сто пятьдесят тысяч, а некоторые считали, что и того больше. Говорили также, что в отношении скупости Ону под

стать своему мужу. Я думал, что это вполне возможно: ведь у нее не было ни достойных друзей, ни соответствующего воспитания!

И вот однажды она сообщила мне, что я могу располагать ее капиталом. Соблазн был велик, да и нужда в деньгах немалая, однако моя боязнь встретиться с Ону была еще больше, и я не пошел к ней.

Но вот, когда приблизился срок уплаты по одному крупному векселю, ко мне явился Прошонно и сказал, что, если мы и на этот раз не воспользуемся деньгами дочери Окхила-бабу, все пропало. Я ответил, что скорее совершу кражу со взломом, чем возьму эти деньги.

На это Прошонно заявил:

— Как только ты потеряешь уверенность в своих силах, наше дело погибнет. Кто не рискует, тот не выигрывает!

Я не поддавался.

На другой день Прошонно сообщил, что с юга прибыл один известный астролог.

— Пойди и покажи ему свой гороскоп, — сказал он.

Семейные традиции Дотто и вера в гороскоп? Какая нелепость! Но в трудные минуты человек хватается за соломинку. Когда ему грозит зримая опасность, он ищет спасения в сверхъестественном. Разум не мог подсказать мне выхода, и я решил на этот раз довериться глупости. Захватив свой гороскоп, я отправился к астрологу.

От него я услышал, что нахожусь на краю пропасти, но что на этот раз Юпитер благосклонен и с помощью денег одной женщины он спасет меня и сделает очень богатым.

Имея все основания усомниться, не приложил ли Прошонно руку к этому предсказанию, я тем не менее гнал от себя сомнения. Когда я вернулся домой, Прошонно сунул мне в руки какую-то книгу и сказал:

— Раскрой наугад!

Книга раскрылась на странице, где по-английски было написано: «Небывалый успех в торговле».

В тот же день я отправился к Ону.

Еще при жизни мужа Ону страдала приступами малярии, и теперь ее состояние настолько ухудшилось, что врачи стали подозревать у нее туберкулез. На предложения

переехать в более подходящее место она отвечала одно и то же:

— Все равно я не сегодня-завтра умру, зачем же тратить деньги Шубодха!

Так, рискуя собственной жизнью, она оберегала будущее сына.

Увидев Ону, я сразу понял: болезнь сделала свое дело, Ону уже отрешилась от этого мира и, казалось, смотрела на меня откуда-то издалека. Ее тело, ставшее почти прозрачным, словно светилось изнутри, а душа, освободившись от всего плотского, стояла у врат смерти, озаренная небесным светом. Я увидел все тот же нежный сумрак ее густых ресниц, но теперь темные круги под глазами казались тенью уходящей жизни. Я стоял пораженный — передо мной снова была моя богиня!

Когда я вошел, на ее лице появилось выражение удивительного покоя.

— Со вчерашнего вечера, когда мне стало хуже, я все время думаю о тебе, — проговорила она. — Я знаю, дни мои сочтены. Послезавтра, в день благословения, скажу я тебе мое последнее слово.

Я ничего не сказал о деньгах. Позвал Шубодха. Ему тогда было лет семь. У него были материнские глаза и такой изможденный вид, словно мать-земля забыла вовремя дать ему силы и здоровье. Я посадил его к себе на колени и поцеловал в лоб. Он молчал и внимательно смотрел на меня.

— Как дела? — спросил Прошонно, когда я вернулся.

— Сегодня не было времени поговорить о делах, — ответил я.

— Смотри, до уплаты осталось всего девять дней!

После того, как я увидел Ону — этот лотос в озере смерти, — мое разорение перестало казаться мне столь устрашающим.

С некоторых пор я даже перестал проверять счета. Поскольку все равно берег был недосягаем, я в страхе закрывал глаза и с отчаяния подписывал все подряд, даже не пытаясь вникнуть в суть дела.

Утром в день благословения Прошонно принес выписки из счетов и буквально силой заставил меня ознакомиться с состоянием наших дел. Тут только я понял, какую серьезную течь дала ладья моего благополучия. Я понял также, что, если не запясть денег и не заткнуть с их помощью дыры, мы потонем.

Как и обещал, я отправился на праздник благословения, обдумывая по дороге, каким образом начать разговор о деньгах. Был четверг, но я чувствовал себя настолько подавленным, что даже этот день — день благосклонного ко мне Юпитера — внушал мне страх. Когда приходит беда, перестаешь верить в свое счастье. На душе у меня было худо.

Лихорадка Ону усилилась. Когда я вошел, она лежала, а возле ее постели на полу сидел Шубодх, вырезал картинки из английского журнала, наклеивал их в тетрадь.

Чтобы оттянуть тягостный момент, я пришел несколько раньше назначенного времени. Было условлено, что я приду с женой, но где-то в глубине души она, видимо, ревновала меня к Ону и придумала отговорку, чтобы не пойти. Я не настаивал.

— Где же твоя жена? — спросила Ону.

— Что-то неважно себя чувствует...

Ону вздохнула, но ничего не сказала.

Вся былая нежность моего сердца, растворившись в золоте осеннего неба, струилась сейчас над постелью больной. Сколько припомнилось мне в эту минуту! Даже самые незначительные эпизоды тех далеких дней показались мне намного значительнее моего надвигавшегося разорения. Я забыл о всех своих торговых расчетах.

После угощения эта уходящая из жизни путница начертила на моем лбу знак долгой жизни и взяла прах от моих ног. Я незаметно вытер слезы.

Потом она принесла и поставила у моих ног железный сундучок.

— Здесь все, что я сохранила для Шубодха, — сказала она. — Возьми это. Я хочу вручить тебе и сына. Теперь я спокойно могу умереть.

— Не говори так, Ону! И этих денег я не возьму. О Шубодхе я позабочусь, но деньги лучше отдай кому-нибудь другому.

— Что ж, я знаю, многие мечтают об этих деньгах. Ты, правда, хочешь, чтобы я отдала деньги этим людям? Я молчал. Ону продолжала:

— Я случайно слышала, как доктор сказал, что здоровье Шубодха не внушает надежд на долгую жизнь. С тех пор меня не покидает страх, что я переживу его. Но теперь я умираю, и умираю с надеждой, что доктор ошибся. Здесь сорок семь тысяч рупий в акциях компаний и сверх того еще кое-что. На эти деньги ты сможешь обеспечить Шубодху хорошее питание и лечение. А если всевышний заберет его к себе, употребите эти деньги в память о нем на какое-нибудь доброе дело.

Я сказал:

— Ону, ты веришь мне так, как я сам себе не верю.

Она улыбнулась. В моих словах она усмотрела только ложную скромность.

Когда пришло время прощаться, Ону открыла шкапушку и показала мне ценные бумаги и завещание. В нем говорилось, что, если Шубодх умрет бездетным или несовершеннолетним, весь капитал перейдет ко мне.

— Почему ты решила оставить все свое состояние мне? — спросил я.

— Потому что знаю, что твои интересы никогда не будут противоречить интересам моего сына.

— В таких серьезных делах, Ону, никому не следует доверять.

— Я полагаюсь на тебя и на бога, а что касается всяких дел, то это выше моего разумения.

Достав из шкапушки украшения, она сказала:

— Ну, а если Шубодх выздоровеет и женится, передай это вместе с моим благословением невестке. А изумрудное ожерелье пусть носит твоя жена.

Проговорив это, Ону наклонилась, чтобы взять прах от моих ног, и глаза ее наполнились слезами. Потом она отвернулась и быстро вышла. Это был ее последний пронам. Через два дня поздно вечером дыхание ее вдруг остановилось, и она умерла, даже не успев за мною послать.

Когда после праздника благословения я с железным сундучком в руках подъехал на коляске к своему дому, меня уже поджидал Прошонно.

— Надеюсь, новости хорошие?

— Никто не посмеет дотронуться до этих денег, — отрезал я.

— Но, послушай... — начал было Прошонно.

— Никаких «но»! Эти деньги не будут участвовать в моих торговых делах.

— В таком случае они пойдут на твои похороны!

После смерти Ону я взял Шубодха к себе, и он стал жить вместе с моим сыном Ниттедхоном.

Люди, читающие художественную литературу, полагают, что душа человеческая меняется очень медленно. Как бы не так! Чтобы разжечь трут, требуется много времени, зато потом огонь вспыхивает сразу. И все же, если я скажу, что уже очень скоро в моей душе проснулась неприязнь к Шубодху, у многих это вызовет недоумение. Я понимал, что Шубодх — сирота, к тому же очень болезненный. И помнил, что его матерью была Ону, — но что поделаешь! Его манера разговаривать, его походка, его игры скоро начали меня раздражать.

Все дело в том, что обстоятельства складывались как-то уж очень неблагоприятно. Да, я дал зарок не касаться денег Шубодха, но вышло так, что однажды я попал в безвыходное положение и взял. Сперва совсем немного... Это настолько лишило меня душевного равновесия, что я уже не мог смотреть в глаза Шубодху. Сначала я просто избегал его, а потом начал злиться. Меня стал раздражать характер мальчишки. Сам я по натуре человек очень деятельный и привык все делать быстро, у Шубодха же была препротивная манера не откликаться, словно спрашивают совсем не его. Часами он мог простаивать у решетки окна, выходящего на улицу. На что он там смотрел и о чем думал, — никому не известно! Мне это казалось невыносимым. Так как он провел много лет у постели больной матери, товарищей у него не было. В его одиноких играх воображение заменяло ему приятелей. Беда с такими детьми — они не умеют ни выплакать свое горе, ни забыть о нем. Из-за этого и мои вопросы доходили до него не сразу. Если ему что-нибудь поручали, он часто об этом забывал. Шубодх без конца терял свои

вещи, а когда его за это ругали, стоял и молча смотрел вам в глаза — этот бессловесный взгляд заменял ему слезы. Я стал подумывать о том, что это весьма плохой пример для моего сына. Ниттедхон, как назло, потянулся к нему с первой же минуты, а то, что характеры у них были совсем разные, только еще больше привязало их друг к другу.

Надо сказать, у меня фамильная склонность исправлять характеры окружающих; для этого у меня достаточно и умения, и терпения. Поскольку Шубодх не отличался деловитостью, я стал загружать его работой. И каждый раз, когда он ошибался, я заставлял его переделывать все снова и снова.

Другая его привычка, которую он унаследовал от матери, заключалась в том, что он без конца выдумывал всякую всячину и потом верил в свои выдумки. Так, например, дереву джамрул, растущему под нашими окнами, Шубодх дал какое-то странное имя, и жена рассказала мне, что, когда его никто не видит, он часто разговаривает с этим деревом. А сколько раз я пытался объяснить ему всю нелепость его выдумок, когда он, сидя на постели, воображал себя пастухом, а подушки — стадом коров! Однако это ни к чему не приводило. Чем усерднее я его воспитывал, тем больше ошибок он совершал. Едва завидев меня, он приходил в замешательство и переставал понимать самые простые вещи. Если ненависть сразу не подавить, она начинает разгораться в сердце даже без видимой причины. Если кого-нибудь три-четыре раза подряд безнаказанно назовешь дураком, то потом с еще большей легкостью назовешь и в пятый раз. У меня настолько вошло в привычку злиться на Шубодха, что я уже не мог сдерживаться.

Прошло пять лет. К тому времени, когда Шубодху исполнилось двенадцать, от принадлежавших ему ценных бумаг и украшений матери осталось всего несколько цифр в моей бухгалтерской книге.

Я успокаивал себя тем, что эти деньги Ону по сути дела завещала мне. Правда, Шубодх был жив, но походил скорее на тень, чем на человека. И так ли уж это нечестно потратить немного раньше то, что все равно будет твоим?

Я давно уже страдал ревматизмом, а в последние дни боли так усилились, что я оказался прикованным к постели. Когда энергичные люди моего склада обречены на неподвижность, они приводят в движение всех окружающих. В течение этих нескольких дней никто: ни жена, ни сын, ни Шубодх, ни прислуга — не знал покоя.

Случилось так, что в течение нескольких месяцев я не выплачивал процентов даже знакомым вдовам, которые ссудили мне деньги. Такого раньше никогда не бывало, женщины забеспокоились и стали настойчиво требовать выплаты. Я, в свою очередь, потребовал денег у Прошонно, но тот откладывал уплату со дня на день.

И вот настал последний срок погашения задолженности. В этот день с раннего утра у моего дома собралась толпа женщин. Прошонно не появлялся.

— Пойди позови Шубодха, — сказал я сыну.

— Он еще спит, — последовал ответ.

Я пришел в ярость. Подумайте только — спать до полудня!

Когда испуганный Шубодх явился, я приказал ему во что бы то ни стало разыскать Прошонно. Шубодх привык быть на побегушках и, надо сказать, научился справляться с такими поручениями довольно успешно: он всегда знал, где кого искать.

Но вот прошел час, два часа, три, а Шубодх все не возвращался. Тем временем собравшиеся женщины начали все откровеннее выражать недовольство. Как видно, я так и не смог выбить лень из этого мальчишки! Стоит позволить ему присесть, как его уже не поднимешь, а чтобы его растормошить, нужна целая неделя! Не раз он уже в пятом часу вечера залезал в постель, а наутро еле поднимался, причем двигался он так, словно у него спутаны ноги. Я называл его и прирожденным лентяем, и господином Лению. Пристыженный Шубодх молчал. Как-то я его спросил: «Какой океан самый большой после Тихого?» Он не мог ответить, и я ему подсказал: «Эты, Океан лени!» Шубодх вдруг заплакал. Это был первый раз, когда он плакал в моем присутствии. Он спокойно переносил и побои, и ругань, а простая насмешка его, видите ли, обидела!

Между тем время шло. Наступила ночь. В доме не зажигали огня. На мой зов никто не отозвался. Я не на шутку разозлился на своих домашних. И вдруг у меня возникло подозрение — Прошонно отдал деньги Шубодху, а тот, прихватив их, сбежал! Конечно, сбежал! Ведь ему в моем доме жилось несладко. Ему здесь некогда было бить баклуши. Я с детства считал, что безделие пагубно, особенно для детей, я не испытывал угрызений совести. Поэтому при мысли, что Шубодх мог сбежать с деньгами, я начал посылать ему вслед проклятья, называя его неблагодарным лицемером. Ведь если он в таком возрасте начал воровать, что же будет потом?! Как он мог научиться этому, живя в моем доме? В том, что Шубодх взял деньги, у меня уже не оставалось никаких сомнений. Мне безумно хотелось поймать его и задать ему хорошую трепку.

Неожиданно в мою темную комнату вошел Шубодх. К этому времени я был настолько взбешен, что не мог произнести ни слова.

— Я не получил денег, — проговорил Шубодх.

Я не просил его принести деньги, почему же он сказал, что не получил их. Сомнений не оставалось — он взял деньги и уже успел их где-то спрятать. У всех этих порядочных людей дети просто выродки!

С трудом прокашлявшись, я сказал:

— Сейчас же отдай деньги!

Он ответил вызывающе:

— Делайте со мной, что хотите, у меня их нет.

Я потерял над собою власть. Под рукой у меня была палка, и я изо всех сил стукнул его по голове. Он покачнулся и упал. И тут меня охватил ужас. Я стал звать его по имени — он не откликался. У меня не было сил встать и подойти поближе, чтобы взглянуть на него. Я пощупал ковер около себя — он был мокрый. Это была кровь. Она медленно расплзалась по ковру, и вскоре я со всех сторон был окружен кровью. Я взглянул в раскрытое окно... и встретил взгляд вечерней звезды. Я поспешно отвернулся — она показалась мне капелькой сандала, которым Ону запечатлела на моем лбу свое последнее благословение. Ненависть, которую я питал к Шубодху, мгновенно исчезла. Ведь этот мальчик — все, что было самого доро-

гого у Ону! Едва сойдя с материнских колен, он стал искать путь к моему сердцу, а я — что я наделал?! Как мог всевышний допустить это?! Как он не остановил меня? Зачем мне все эти деньги! Каким счастливым я мог бы быть, если бы бросил все свои дела и исполнил свой долг перед больным ребенком!

И тут во мне начал расти страх, что кто-нибудь сейчас войдет и застанет меня на месте преступления. Мне страстно захотелось, чтобы совсем не зажигали огней, чтобы эта тьма не рассеивалась и никогда не восходило солнце, чтобы непроницаемая мгла окутала вселенную и навсегда скрыла меня и этого мальчика.

Послышались шаги. Это полиция! Ей все известно! Я пытался что-то придумать в свое оправдание, но мозг отказывался повиноваться...

Дверь с шумом распахнулась, и кто-то вошел в комнату.

Я вздрогнул и открыл глаза. Солнце еще не заходило... Значит, я уснул, и Шубодх, войдя в комнату, разбудил меня.

Он целый день безуспешно искал Прошонно. И хотя Шубодх обошел все места, где тот мог быть, — Хаткхола, Боробазар, Белагхат, — он чувствовал себя виноватым. Только теперь я увидел, как красиво его лицо, какой добротой светятся его глаза.

— Подойди поближе, дорогой, дай я тебя обниму! — воскликнул я.

Шубодх стоял и ничего не понимал, уверенный, что я над ним смеюсь. Несколько мгновений он безучастно смотрел на меня, а потом вдруг потерял сознание и упал.

Куда только девался мой ревматизм! Я бросился к мальчику, поднял его, положил на свою постель. Поблизости оказался кувшин с водой. Но напрасно я смачивал его лицо и голову — он не приходил в себя. Пришлось послать за врачом.

Когда пришел врач, его поразило состояние мальчика.

— Это же крайняя степень истощения! — сказал он. — Не понимаю, как можно довести до такого!..

Я попытался объяснить, что Шубодху сегодня целый день пришлось быть на ногах.

— Дело не в одном дне. Думаю, что он давно уже чахнет, но на это никто не обращал внимания.

Врач привел мальчика в чувство, прописал ему тони-зирующее средство и диету. На прощание он сказал:

— Мальчика может спасти только чудо. Он совсем обессилел и последние дни жил лишь благодаря нервному перенапряжению.

Я забыл о своей болезни. Уложив Шубодха на свою постель, я день и ночь сам ухаживал за ним. Когда у меня не осталось денег даже на врачей, я достал шкатулку, где хранились украшения жены. Я попросил ее оставить только изумрудное ожерелье, а остальное заложил.

Но деньги — это далеко не все, что нужно для спасения человека. Я слишком долго разрушал жизнь мальчика. Поэтому, когда я от чистого сердца захотел наконец дать ему ту нежность, которой он был так долго лишен, он уже не смог принять ее. И так, с пустыми руками, ушел он туда, где уже была его мать.



ПРОЩАЛЬНАЯ НОЧЬ

1

— Тетя!

— Спи, Джотин, ночь уже.

— Ну, и пусть, не так уж много дней у меня осталось. Я велел Мони уехать... Забыл только, где теперь живет ее отец...

— В Ситарампуре.

— Да, верно, в Ситарампуре. Отошли туда Мони. Хватит ей за больным ухаживать. У самой здоровье слабое.

— Что ты! Разве согласится она оставить тебя в таком состоянии?!

— Да ведь врачи сказали, что она...

— Не знает, но и так видно. Помнишь, в тот день она без слез не могла слышать о поездке к отцу.

Говоря откровенно, тетя немного погрешила против истины. На самом деле вот какой разговор произошел у нее с Мони:

— Ты получила весточку из дому? Мне показалось, будто я видела здесь твоего старшего брата Онатха.

— Да, мама послала его сказать мне, что в следующую пятницу будет церемония первого кормления рисом моей младшей сестренки. Мне очень хотелось бы...

— Вот и хорошо, пошли золотое ожерелье, твоя мать будет рада.

— Но я хочу поехать туда сама. Я ни разу не видела сестренки!

— Неужели ты оставишь Джотина одного? Слышала, что сказал доктор?

— Сказал, что ничего опасного...

— Все равно, как ты можешь бросить сейчас Джотина?

— У меня три брата и одна-единственная сестра, очень славная девочка... Я слышала, что церемония будет торжественной... И если я не приеду, мама очень...

— Не мне судить твою мать, но я уверена, что отец твой рассердится, если ты уедешь от Джотина в такой момент.

— А ты напиши ему, что причин для беспокойства нет. И за время моего отъезда ничего...

— Уезжай, никому вреда от этого не будет, но уж если я стану писать твоему отцу, то напишу все как есть.

— Ладно, ладно... не пиши. Я поговорю с Джотином...

— Послушай, невестка, я много терпела, но попробуй скажи хоть слово Джотину. А отца тебе обмануть не удастся, он слишком хорошо тебя знает, — с этими словами тетя вышла.

Рассерженная, Мони бросилась на постель.

— Ты что надулась? — спросила, входя в комнату, подруга Мони из соседнего дома.

— Подумай только! Меня не пускают на церемонию первого кормления моей единственной сестры.

— Боже, о чем ты говоришь! Ведь твой муж тяжело болен!

— Но я ничем не могу ему помочь. В доме все молчат. У меня сердце разрывается от тоски. Не могу я так жить.

— Ведь ты добрая.

— Но я не могу притворяться, как все вы, и с грустным видом сидеть в углу, только бы обо мне плохо не подумали.

— Как же ты собираешься поступить?

— Уеду, никто меня не удержит.

— Что это ты так разошлась? Прощай, у меня дела.

Взволнованный разговором с тетей, Джотип чуть при-
встал и облокотился на подушку.

— Тетя, распахни окно и свет погаси, — попросил он.

Безмолвная ночь, как вечный странник, молча оста-
новилась у дверей комнаты больного. Звезды — свидетели
многих смертей — пристально вглядывались в лицо Джо-
тина. И вот в этом бесконечном мраке перед Джотином
всплыл образ его Мони. В ее больших глазах застыли
крупные капли слез.

Джотин затих, и тетя успокоилась: ей показалось,
будто он уснул. Но тут снова раздался его голос:

— Тетя! Вы все считали Мони непостоянной, чужой
в нашем доме. Но...

— Я ошиблась, Джотин. Человека сразу не узнаешь.

— Тетя!

— Спи, Джотин.

— Не сердись. Дай мне хоть немного помечтать, по-
говорить.

— Ну хорошо, говори.

— Сколько нужно времени, чтобы человек познал са-
мого себя. Как-то я подумал, что никто из нас не смог
понять души Мони, и примирился с этой мыслью. А вы все
тогда...

— Ты несправедлив, Джотин, я тоже примирилась.

— Душа — не ком земли, ее так просто не возьмешь.
Я всегда знал, что Мони все еще не познала самое себя.
Лишь когда на нее обрушится какое-нибудь несчастье,
она...

— Ты прав, Джотин.

— Вот почему меня никогда не огорчало ее легко-
мыслие.

Тетя ничего не ответила, только подавила тяжелый
вдох. Сколько раз Джотин проводил ночи на веранде и
даже в дождь не уходил в комнату. Сколько раз, в от-
чаянии обхватив голову руками, он лежал на кровати,
мечтая о том, чтобы Мони приласкала его. А в это время
Мони с подругами собиралась в кино. Тетя помнит, как
приходила обмахивать Джотина опахалом, а он в раз-

дражении отсылал ее. Сколько было боли в этом раздражении! Ей не раз хотелось сказать Джотину: «Не оставляй для этой девушки слишком много места в своем сердце... Пусть она научится просить и пусть поплачет, не получив желаемого...» Но стоило ли об этом говорить, если Джотин все равно ее не поймет. Он создал в своем воображении храм женщины-божества, и богиней в этом храме стала Мони. Он никак не мог примириться с мыслью о том, что чаша любви в этом храме для него всегда пуста, что надежды его рухнули. И он горячо молился, совершал жертвоприношения, уповая на милость создателя.

— Ты думаешь, что я не могу быть счастлив с Мони, — снова заговорил Джотин, — поэтому сердись на нее. Но счастье, оно — как звезды. Мрак не может их поглотить. Много ошибок совершил я в своей жизни, но разве сквозь них не пробилась лучи счастья? Не знаю почему, но сегодня радость наполняет мою грудь.

Тетя стала нежно гладить лоб Джотина. В глазах ее стояли слезы, но темнота скрыла их!

— Как она будет жить, ведь она так еще молода!

— Ну и что? И мы в этом возрасте, уповая на бога, посвящали себя семье. Большого счастья я не знаю.

— Душа Мони только начала просыпаться, а я...

— Не думай об этом, Джотин. Если душа просыпается, это уже счастье.

Джотин вдруг вспомнил песню, которую давно еще слышал от одного бродячего певца:

О уснувшая душа!
Пробудись: пришел любимый.
Все темно кругом. Ни зги.
Только слышатся шаги —
И проходит счастье мимо.

— Который час?

— Скоро девять.

— Всего? А мне казалось, что уже два или три. Ночь для меня начинается с наступлением темноты. Но почему ты так хотела, чтобы я уснул?

— Потому что вчера ты вот так же разговаривал до глубокой ночи.

— А Мони спит?

— Нет, она должна еще приготовить тебе суп.

— Значит, все это Мони.

— Ну да, это все она готовит. Совсем умаялась.

— А я думал, что Мони...

— Нужда заставит — всему выучишься.

— Сегодня мне очень понравился рыбный суп. Я думал, это ты его приготовила.

— Что ты! Мони ничего не дает мне делать. Даже твои полотенца и салфетки сама стирает: знает, что ты не выносишь грязи. А заглянул бы ты в свою гостиную! Там все блестит. Она бы и здесь навела порядок, только я не разрешаю.

— Но здоровье Мони...

— Да, врачи не рекомендуют ей часто навещать больного. Она чересчур впечатлительна и, видя твои страдания, сама может заболеть.

— И она слушает тебя?

— Разумеется! Мони меня уважает. Правда, несколько раз в день я должна сообщать ей о твоём здоровье. Это моя новая обязанность.

Словно слезы в вечно печальных глазах, на небе заблистали звезды. Джотин прощался с жизнью. Смерть уже протянула к нему из мрака свою щедрую руку, и Джотин с благодарностью и робкой надеждой вложил в нее свою, обессиленную болезнь.

Джотин вздохнул и беспокойно зашевелился.

— Тетя, — попросил он, — если Мони не спит...

— Сейчас позову, дорогой.

— Я задержу ее всего минут пять. Мне нужно сказать ей...

Тетя тяжело вздохнула и пошла за Мони. У Джотина взволнованно забилось сердце. Он никогда не умел разговаривать с Мони. Два инструмента не будут играть в унисон, если настроены на разный лад. Джотин часто

страдал от зависти, глядя, как непринужденно болтает и смеется Мони с подругами. Но в этом Джотин винил себя — почему он не умеет говорить о всяких пустяках? И не то чтобы не умеет. Разве не беседует он с друзьями о вещах самых незначительных? Но мужчин интересует совсем не то, что женщины. О серьезных вещах человек может говорить долго, даже не замечая, слушает ли его собеседник. А вот разговор о пустяках необходимо поддерживать. Одна флейта может играть очень чисто, но стоит вступить второй, настроенной на другой лад, как тотчас же слышится фальшь. Выйдут, бывало, вечером Джотин и Мони на веранду, обменяются двумя-тремя словами и умолкают. И тогда, кажется, будто само безмолвие вечера готово умереть со стыда. Джотин понимал, как хочется Мони убежать от него, как хочется ей, чтобы пришел еще кто-нибудь: втроем легче говорить.

Сейчас Джотин думал о том, как начать разговор с Мони. Но нужные выражения не приходили на ум, слова казались чересчур высокопарными. Джотин очень боялся, что те недолгие пять минут, которые Мони пробудет с ним, пройдут зря! А много ли осталось в его жизни таких мгновений?

3

- Ты куда-то собралась, невестка?
— В Ситарампур.
— С кем же ты поедешь?
— С Опатхом.
— Поезжай. Только не сегодня, прошу тебя. Можно ведь и завтра поехать.
— Но у меня уже есть билет.
— купишь другой.
— А я не признаю ваших счастливых и несчастных дней! Ничего не случится, если я уеду сегодня.
— Джотин хочет с тобой поговорить.
— Очень хорошо. У меня еще есть время. Сейчас пойду и скажу ему, что уезжаю.
— Ты не скажешь ему об этом.
— Ладно, не скажу. Но надеюсь, он не задержит меня. Церемония состоится завтра.

— Умоляю, послушайся меня хоть раз. Побудь сегодня с Джотином подольше.

— Не могу, поезд ждать не станет. Через десять минут за мной зайдет Онатх. До его прихода я могу побыть с Джотином.

— Нет, не надо. Уезжай так. О несчастная, тот, кому ты принесла столько горя, не сегодня-завтра умрет, но знай, этот день ты запомнишь на всю жизнь. Когда-нибудь ты поймешь, что есть на свете бог.

— Не проклинай меня!

— О боже, и зачем только ты существуешь? Грехам нет конца. Я бессильна что-нибудь сделать.

Немного помедлив, тетя вошла в комнату больного в надежде, что тот уснул. Однако Джотин взволнованно приподнялся в постели.

— Знаешь, что случилось? — спросила она.

— Что? Мони не пришла? Почему так долго?

— Молоко, которое Мони кипятила для тебя, убежало. Мони расплакалась, и я не могла ее успокоить, как ни старалась. Ей очень стыдно, что из-за ее небрежности ты остался без молока. Я долго ее утешала, а потом уложила в постель. Пусть немного поспит.

У Джотина слегка защемило сердце, когда он узнал, что Мони не придет, но в то же время он был рад этому. Он боялся, что появление Мони разрушит его мечты о ней. Так уже не раз случалось, и сердце Джотина сжималось от жалости к той нежной Мони, которая жила в его воображении.

— Тетя!

— Да, дорогой?

— Я знаю, что дни мои сочтены, но не сокрушаюсь об этом. И ты не страдай.

— Не буду, дорогой, не буду. Я ведь знаю, что счастье можно обрести не только в земной жизни.

— Верь, тетя, смерть кажется мне сладостной.

Всматриваясь в темное небо, Джотин вдруг представил себе свою Мони, облаченную в одежды смерти. Она — воплощение вечной Юности, она — Жена, она — Мать, она — сама Красота, сама Доброта. Как будто богиня Лакшми в знак благословения щедрой рукой рассыпала над ее головой звезды. Ему казалось, будто ночь откинула

свое покрывало и они впервые увидели друг друга, как во время свадьбы. Взгляд Мони озарил непроглядную тьму вечной любовью. Его жена, его маленькая Мони, сегодня владычица мира. Она восседает на звездном троне, там, где встречаются жизнь и смерть. Сложив молитвенно руки, Джотин подумал: «Наконец-то исчезло покрывало, разделявшее нас. Ты причинила мне много страданий. Но на этот раз, любимая, ты не обманешь моих надежд».

4

— Мне тяжело, тетя, но не так, как это обычно бывает. Кажется, будто страдания отделяются от меня. До сих пор они, как груженная лодка, были связаны с кораблем моей жизни, а сегодня эта связь оборвалась, и лодка унесла далеко в море все мои страдания. Я вижу эту лодку, но мне нет дела до нее. Вот уже два дня, как я не видел Мони.

— Положить тебе под спину еще подушку, Джотин?

— Мне кажется, что Мони тоже далеко от меня.

— Джотин, выней гранатового сока, у тебя пересохло во рту.

— Вчера я написал завещание. Я не показывал его тебе?

— А зачем показывать?

— Я остался сиротой. Это ты вырастила меня. Поэтому я хотел...

— Как можешь ты так говорить? У меня ничего не было, кроме этого дома и кое-каких вещей. Все остальное нажил ты сам.

— Но этот дом...

— Да и он уже не мой. Ты столько всего здесь понастроил!

— В душе Мони тебя очень...

— Разве я этого не знаю? Ложись-ка спать.

— Я все завещал Мони, но что принадлежит тебе, твоим и останется, тетя, чтобы она никогда не могла тебя попрекнуть.

— Зачем же ты тогда об этом думаешь?

— Я всем, обязана тебе, и, когда ты увидишь мое завещание, не подумай...

— Что ты, Джотин. Разве я такая злая? Если ты счастлив оттого, что завещаешь все Мони, то я счастлива вдвойне.

— Но и тебе я тоже...

— Послушай, Джотин, я могу рассердиться. Ты хочешь, чтобы деньги помогли мне забыть тебя.

— Ничего более ценного, чем деньги...

— Уже оставил, Джотин, много оставил. Ты заполнил собою мой пустой дом. Это счастье всей моей жизни, и больше мне ничего не нужно. Если даже я лишусь всего, то не стану роптать. Дом, имущество, лошадей, землю — все отдай Мони. Мне самой с этим не справиться.

— Ты скромна в своих желаниях, а Мони молода, поэтому...

— Не говори так, Джотин, не говори! Ты можешь оставить ей все богатство, но радости...

— Почему оно не принесет ей радости?

— Не принесет. Я знаю. Она вся высохнет от горя, свет будет ей не мил.

Джотин лежал молча, размышляя, видимо, над тем, правда это или неправда, счастье или горе, что после его смерти мир для Мони потеряет всякую прелесть. Звезды как будто шептали ему: «Все это правда. Мы наблюдаем уже тысячи лет, все в этом мире — суета, все — ложь».

С глубоким вздохом Джотин наконец промолвил:

— Мы не можем оставить после себя то, что имеет действительную ценность.

— Разве мало ты ей оставляешь, кроме денег и богатства? Неужели она не оценит этого? Пусть бог услышит мои молитвы, пусть вразумит ее.

— Дай мне еще сока. Я что-то не помню, приходила вчера Мони?

— Приходила, но ты спал. Она долго сидела у твоего изголовья и обмахивала тебя опахалом. Потом отнесла в стирку твоё бельё.

— Просто удивительно! Кажется, именно в это время мне снилось, будто Мони хочет войти в мою комнату и

никак не может открыть дверь. По-моему, тетя, вы напрасно не пускаете ее сюда. Мони не перенесет моей неожиданной смерти, пусть лучше она видит, как я умираю.

— Дорогой, накрой шалью ноги, они у тебя совсем холодные.

— Не люблю, когда меня укрывают.

— А знаешь, Джотин, эту шаль связала для тебя Мони. Вязала по ночам и только вчера кончила.

Джотин взял шаль, слегка помял ее и подумал, что она такая же мягкая и нежная, как душа Мони. Она в-очами, думая о нем, вязала эту шаль, в нее она вложила всю свою любовь, к ней прикасались нежные пальцы Мони. И когда тетя укрыла его шалью, он представил себе, что это сама Мони, не смыкая глаз ночами, согревает его.

— Послушай, ведь Мони не умела вязать. Ей это не пришлось.

— Стоит только захотеть, быстро выучишься. Я показала ей, как это делается. Вначале у нее не получалось, то и дело спускались петли.

— Подумаешь, петли. Не на парижскую же выставку нам посылать эту шаль, а укрываться — и так сойдет.

Джотину было очень приятно, что Мони много раз ошибалась. Бедная беспомощная Мони не умеет вязать, но терпеливо работает каждую ночь. Картина, которую он представил себе, наполнила его сердце жалостью и нежностью. И он снова помял пальцами шаль.

— Где доктор, внизу?

— Да, Джотин. Он будет ночевать у нас.

— Пусть только не дает мне своих таблеток. От них еще хуже. Я все равно не сплю, так пусть голова будет ясной. Знаешь, тетя, мы поженились в двенадцатую ночь месяца бойшакх. Завтра как раз наступает эта ночь. Снова в небе зажгутся звезды. Мони, наверное, забыла об этом, я хочу ей напомнить. Пожалуйста, позови ее хоть на несколько минут. Почему ты замолчала? Доктор

сказал, что я очень слаб и что... Но если я хоть немного поговорю с ней, мне не понадобится снотворное. Последние две ночи я не спал потому, что хотел излить перед ней душу. Не надо плакать, тетя. Никогда в жизни я не испытывал такого прилива душевных сил, как сейчас. Поэтому я и хочу видеть Мони. Может быть, сегодня мне удастся передать ей всю полноту чувств моего сердца. Мне так много надо ей сказать. Я давно собирался, но не мог, а теперь не хочу ждать ни секунды, позови ее. У меня осталось слишком мало времени. Перестань плакать, я не могу видеть твоих слез. До сих пор ты была так спокойна, что же случилось?

— О Джотин, я думала, что выплакала все слезы, но ошиблась. Я больше не в силах терпеть.

— Позови Мони. Я ей скажу, чтобы завтра ночью она...

— Иду, Джотин, иду. Шамбху будет около дверей, если тебе что-нибудь понадобится, позови его.

Тетя вошла в комнату Мони и села на пол.

— Приди, приди же, — запричитала она, — приди, чудовище. Выполни последнюю волю того, кто отдал тебе все. Он умирает, не убивай его раньше времени!

Джотин вздрогнул от шума шагов:

— Это ты, Мони?

— Нет, это я, Шамбху. Вы звали меня?

— Пойди позови свою госпожу.

— Кого?

— Госпожу.

— Она еще не вернулась.

— А где она?

— В Ситарамнуре.

— Она уехала сегодня?

— Нет. Три дня назад.

На мгновение Джотин почувствовал слабость во всем теле, в глазах потемнело. Он откинулся на подушки и сбросил лежавшую на его ногах шаль.

Наконец вернулась тетя. Джотин больше не заговаривал о Мони, и тетя решила, что он перестал о ней думать.

Вдруг он сказал:

— Помнишь, я рассказывал тебе сон, который видел недавно?

— Что же тебе снилось?

— Будто Мони хочет войти ко мне в комнату, но не может открыть дверь. Всю жизнь Мони стояла за дверью моего дома. Я много раз ее звал, но она не пришла.

Тетя ничего не ответила. «Мир иллюзий, — подумала она, — который я создала для Джотина, больше не существует. От несчастья не скроешься. Удара судьбы ложью не предотвратишь».

— Твою любовь я пронес через всю жизнь, она будет сопутствовать мне и в иной жизни. В своем следующем рождении ты будешь моей дочерью, вот увидишь, а я буду заботливым отцом.

— Значит, опять я стану девочкой? А может быть, мне лучше стать сыном?

— Нет. Ты войдешь в мой дом такой же красивой, какой была в детстве. Я даже представляю, как наряжу тебя.

— Хватит болтать, Джотин. Спи!

— И назову я тебя Лакшми-рани.

— Это имя устарело.

— Я знаю, но с тобой связана вся моя прошлая жизнь. И эту жизнь ты принесешь ко мне в дом.

— В твой дом я принесу заботы о моем замужестве, а этого мне бы не хотелось.

— Ты считаешь меня слабым? Хочешь оградить от забот?

— Я женщина, Джотин, слабая женщина, поэтому всю жизнь старалась оградить и тебя от забот. Но разве это в моих силах?

— Я многому научился в жизни, но ничего не успел сделать. В другой жизни я покажу, на что способен человек. Теперь я понял, что самосозерцание не что иное, как самообман.

— Зачем так говорить, Джотин? Себе ты ничего не взял, все отдал другим.

— Да, я с гордостью могу сказать, что никогда не пытался завоевать счастье силой. Довольствовался тем, что имел, и не желал чужого. Всю жизнь я чего-то ждал. И дождался лжи. Но может быть, теперь правда смиловится надо мной. Кто это, тетя, кто?

— Где, Джотин? Я ничего не слышу.

— Тетя! Пойди посмотри в той комнате, мне кажется...

— Нет, дорогой, там никого нет.

— Но я отчетливо...

— Успокойся, Джотин. Это пришел доктор.

— Когда вы с ним, он слишком много говорит. Вот уже несколько ночей он не смыкал глаз. Вы отдохните сегодня, а здесь посидит человек, которого я привел с собой.

— Нет, нет. Не уходи, тетя.

— Хорошо, я посижу здесь в углу.

— Сядь рядом со мной. Я буду держать твою руку. Этими руками ты меня вырастила, и пусть из этих рук бог возьмет меня.

— Хорошо, тетя останется, но при условии, что вы не будете разговаривать, господин Джотин. А сейчас пора принять лекарство.

— Пора? Это ложь. Уже поздно. А давать мне сейчас лекарство, значит, обманом утешать меня. Я не боюсь смерти. Здесь лечит сама смерть и докторам делать нечего. Скажи им, пусть уходят. Ты одна мне нужна, больше никто, никто.

— Вам вредно волноваться, господин Джотин.

— Тогда уходите и не волнуйте меня... Тетя, доктор ушел? Вот и хорошо. Садись сюда, на постель. Я положу голову тебе на колени.

— Ложись, мой дорогой, мой ненаглядный, поспи немного.

— Не заставляй меня спать. Если я усну, могу больше не проснуться. А мне надо бодрствовать. Ты слышишь шаги? Вот они ближе, ближе. Сейчас откроется дверь.

— Посмотри, Джотип, кто пришел. Ты только посмотри.

— Кто пришел? Сон?

— Не сон. Здесь Мони и ее отец.

— Кто ты?

— Разве ты не узнаешь? Это твоя Мони.

— Мони? Ей все же удалось открыть дверь?

— Удалось, мой дорогой, удалось.

— Тетя, не накрывай мне ноги шалью, не накрывай!

Эта шаль — обман, ложь.

— Это не шаль, Джотип. Это жена склонилась к твоим ногам. Благослови ее... Не надо так плакать, известка, у тебя еще будет для этого время... А сейчас лучше помолчи.



П Е З Н А К О М К А

I

Сейчас мне двадцать семь лет. Моя жизнь интересна не продолжительностью и даже не добродетелью, а одним событием, воспоминание о котором я бережно храню в памяти. Оно сыграло для меня такую же роль, какую играет пчела в жизни цветов.

История моя коротка, и я тоже буду краток. Те из читателей, кто осознал, что малое не значит маловажное, несомненно поймут меня.

Я только что сдал выпускные экзамены в колледже. Еще в детстве мой учитель имел все основания шутить надо мной, сравнивая меня то с цветком шимул, то с красивым, но несъедобным плодом макал, называть «прекрасным пустоцветом». Я очень обижался тогда, но с годами пришел к мысли, что, если б мне довелось начать жизнь сначала, я все же предпочел бы красивую внешность, даже при условии, что это будет вызывать насмешки учителя.

Какое-то время отец мой был беден. Потом, занимаясь адвокатурой, он разбогател, однако пожить в свое удовольствие ему так и не довелось. Лишь на смертном одре он впервые вздохнул с облегчением.

Когда отец умер, я был совсем маленьким, Мать одна воспитывала меня.

Она выросла в бедной семье, поэтому никак не могла привыкнуть к нашему богатству, да и мне не давала забыть о нем.

Меня очень баловали в детстве, и, кажется, именно поэтому я так и не стал взрослым. Даже сейчас я напоминаю младшего брата Ганеши, сидящего на коленях Аннапурны.

Надо сказать, что воспитывал меня дядя, хотя я был младше его всего лет на шесть. Как песок реки Пхалгу пропитан ее водой, так и дядя всецело был поглощен заботами о нашей семье. Все решал он один. И жил я очень беспечно.

Отцы, у которых дочери на выданье, должны согласиться, что женихом я был завидным. Я даже не курил. Говоря откровенно, быть пайнкой не составляет особого труда, вот я и был им. Я обладал завидной способностью во всем следовать советам матери, впрочем, не следовать им я был просто не в силах. Я был готов в любой момент подчиниться власти женской половины дома, а для девушки, выбирающей себе жениха, это немаловажное обстоятельство.

Многие знатные семьи выражали желание породниться с нами. Но дядя (на земле он был главным доверенным лицом бога, вершившего мою судьбу) имел на этот счет свое особое мнение. Богатые невесты его не прельщали. Пусть, решил он, девушка войдет в наш дом с покорно опущенной головой. Но в то же время деньги были его кумиром. И дядя рассудил так: отец невесты вовсе не должен слыть богачом, главное, чтобы он дал солидное приданое и в любой момент согласился оказать нашей семье услугу. К тому же он не должен обижаться, если в нашем доме ему вместо кальяна подсунут дешевую хукку из кокосового ореха.

В это время в Калькутту приехал в отпуск мой друг Хориш, который работал в Канпуре. И я сразу потерял покой, потому что он сказал:

— Есть одна замечательная девушка.

Дело в том, что незадолго до его приезда я получил степень магистра искусств и мне предстояли бессрочные каникулы: сдавать экзамены больше не нужно, а искать работу, служить — незачем. Я не привык думать о себе,

да и не хотел. Дома обо мне заботилась мать, а вне дома — дядя.

И в этой пустыне безделья возник мираж, заслонивший собою весь мир. Он возник в образе прекрасной девушки, созданной моим воображением. В небе мне чудились ее глаза, в дуновении ветерка — ее дыхание, а в шелесте листьев я ловил ее нежный шепот.

И вот, как я уже сказал, именно в это время приехал Хориш и сообщил: «Есть одна замечательная девушка...» Я задрожал, будто молодые листочки на веселом ветру.

Хориш был человеком веселым и обладал способностью интересно рассказывать, к тому же сердце мое жаждало любви.

— Поговори с дядей, — попросил я друга.

Никто не умел развлекать так общество, как Хориш. Везде он пользовался успехом. Дядя, недолго побеседовав с ним, уже не хотел его отпустить. Разговор происходил в гостиной. Дядю интересовала не столько сама невеста, сколько дела ее отца. Оказалось, все обстоит так, как ему и хотелось. Некогда полная чаша богатства их семьи сейчас опустела, но на дне кое-что осталось. Не имея средств жить так, как того требовала честь рода, они покинули родные места и уехали на запад страны. Девушка — единственная дочь, и отец, конечно, без колебаний отдаст ей в приданое все, что осталось от бывшего богатства.

Дядю это вполне устраивало. Только одно его смущало — девушке уже исполнилось пятнадцать лет.

— Не пользуется ли их род дурной славой? — беспокоился он.

— Совсем нет, — заверил его Хориш. — Просто отец не может найти достойного жениха. Женихи сейчас очень поднялись в цене, к тому же семья их разорена. Отец ждал, ждал, а тем временем девочка выросла.

Как бы то ни было, речи Хориша возымели свое действие, и дядя смягчился.

Переговоры о свадьбе прошли без осложнений. Весь мир, простирающийся за пределами Калькутты, казался дяде частью Андаманских островов. Только однажды он по какому-то особому случаю ездил в Канагар. Будь мой дядя Ману, он не преминул бы издать закон, строжайше запрещающий переходить даже Ховрский мост.

Мне очень хотелось самому взглянуть на девушку, но о поездке я и заикнуться не посмел. Для благословения невесты решили послать моего двоюродного брата Бину. На его вкус и здравый смысл я мог вполне положиться.

— Недурна, — заявил он по возвращении. — Чистое золото!

Обычно Бину был сдержан в своих оценках. Там, где мы восклицали «превосходно», он говорил «сносно». И я понял, что мой брак не посеет вражды между богами Праджапати и Камадевой.

II

Само собой разумеется, что свадьба должна была состояться в Калькутте. Шомбхунатх-бабу, отец невесты, прибыл в Калькутту, как и обещал Хоришу, за три дня до свадьбы. Мы встретились с ним, и он меня благословил. Лет ему было сорок или чуть побольше, однако волосы у него оставались черными, лишь в усах нет-нет да и проглянет седина. Шомбхунатх-бабу сразу же обращал на себя внимание своей красивой внешностью. Полагаю, что и я ему понравился. Но понять, так ли это, было трудно, — Шомбхунатх-бабу был неразговорчив. Процедит несколько слов и молчит. Дядя же болтал без устали. Как бы невзначай он все время подчеркивал, что по богатству и положению мы не уступаем другим именитым семьям города.

Когда дядя умолкал на мгновение, Шомбхунатх-бабу вставлял свое «угу» или «да». Будь я на месте дяди, это, несомненно, охладило бы мой пыл, но дядюшку поведение гостя несколько не смущало. Он решил, что Шомбхунатх-бабу человек робкий и вялый, что, впрочем, его очень обрадовало, так как излишнюю живость в родственниках невесты он отнюдь не считал достоинством. Когда Шомбхунатх собрался уходить, дядя небрежно простился с ним и даже не проводил его до экипажа.

О приданом договорились быстро. Дядя гордился своей исключительной ловкостью. Он не оставил никакой неясности. Все было оговорено: какая часть приданого будет дава деньгами, сколько будет украшений и даже

какого качества должно быть золото. Я не принимал в этом никакого участия, понимая, что переговоры о приданом — главное, хоть и самое неприятное в свадебных приготовлениях, и зная, что дядя не даст себя надуть. Его удивительная практичность была предметом гордости нашей семьи. При любых обстоятельствах, когда речь шла об интересах нашей семьи, дядя неизменно одерживал победу — это был общепризнанный факт. Хоть мы и не пуждались в деньгах, а семья невесты находилась в стесненных обстоятельствах, все равно надо было настоять на своем, — таков был обычай нашей семьи, и до других нам дела не было.

Посылку пасты из корня куркумы в дом невесты обставили очень пышно. Потребовался бы специальный человек, чтобы точно сосчитать, сколько людей участвовало в шествии. Мать и дядя посмеивались, мысленно прикидывая, сколько беспокойства доставят другой стороне угощение и подарки.

Наконец я отправился в дом невесты. Оркестр и певцы-любители производили такой шум, что казалось, будто слон с ревом топчет заросли лотосов богини музыки.

— Я напоминал витрину ювелирного магазина. Будущий тесть должен был получить ясное представление о моей стоимости.

Дяде не поправился дом, где должна была состояться брачная церемония. В саду не хватало места для всех участников шествия, да и особых приготовлений не было заметно. К тому же Шомбхунатх-бабу был холоден в обращении, не казался смущенным и, как всегда, молчал. Скандал разразился бы в самом начале, если бы не друг Шомбхунатха — адвокат, огромный, очень смуглый и лысый, с чадором, обвязанным вокруг талии. Приветственно сложив руки, запинаясь от избытка чувств, он беспрерывно кланялся и улыбался всем, начиная от музыкантов и кончая родственниками жениха.

Не успел я расположиться с гостями в доме, как дядя вызвал Шомбхунатха в соседнюю комнату.

Не знаю, что там произошло, но вскоре Шомбхунатх вернулся и позвал меня.

— Пройдите сюда на минутку.

Почти у всех людей есть свои слабости. Дядя, например, всегда боялся, как бы его не обманули. И сейчас он решил проверить, не фальшивые ли драгоценности у невесты. Ведь после свадьбы думать об этом будет поздно. Тем более, что подарки жениху и приготовления к брачной церемонии оказались весьма скромными. Поэтому дядя привел с собой ювелира.

Войдя в комнату, я увидел, что дядя сидит на кушетке, а ювелир с весами и пробирным камнем расположился на полу.

— Ваш дядя хочет проверить, не обманули ли его, — обратился ко мне Шомбхунатх-бабу. — Что вы на это скажете?

Я молчал, опустив голову.

— А что его спрашивать? — возмутился дядя. — Будет так, как я решил!

— Это верно? — спросил отец невесты, в упор глядя на меня. — Будет, как решил ваш дядя? Вы не станете возражать?

Я печально покачал головой.

— Хорошо, тогда присядьте. Сейчас я сниму украшения с дочери и принесу сюда.

— Онупому нечего здесь делать, — сказал дядя. — Пусть идет к гостям.

— Нет, — возразил Шомбхунатх. — Пусть останется.

Шомбхунатх принес завернутые в полотенца украшения и положил их на кушетку перед дядей. Это были старинные фамильные драгоценности, массивные и тяжелые, не то что современные безделушки. Взяв одну из них, ювелир сказал:

— И смотреть нечего. Чистое золото. Такого сейчас ни за какие деньги не купишь.

С этими словами он взял браслет с изображением головы мифического чудовища и без труда согнул его.

Дядя вынул блокнот со списком обещанных за девушкой украшений. После проверки оказалось, что по ценности и весу они намного превосходят обещанное.

Среди украшений были серьги. Шомбхунатх передал их ювелиру и попросил посмотреть.

— Это английский слав, в нем очень мало золота, — сказал ювелир.

— Возьмите их, — обратился Шомбхунатх к дяде и отдал серьги.

Эти серьги были подарком от нашей семьи невесте. Яркая краска залила лицо дяди. Ведь его не только лишили удовольствия поймать с поличным бедняка, но и самого поставили в неловкое положение.

— Иди к гостям, Онупом, — приказал он мне, нахмурившись.

— Погодите, — вмешался Шомбхунатх. — Я прикажу сейчас подать угощение.

— А как же смотрины? — воскликнул дядя.

— Не беспокойтесь. Идемте...

Этот робкий человек обладал огромной силой, и дяде пришлось подчиниться. Нельзя сказать, чтобы угощение было обильным, зато блюда были превосходно приготовлены, и все остались довольны.

Шомбхунатх и мне предложил поесть.

— Что же это такое? — заволновался дядя. — Как может жених есть до совершения свадебного обряда?

Оставив без внимания слова дяди, Шомбхунатх повернулся ко мне.

— А вы что скажете? Разве это предосудительно?

И на этот раз я не посмел послушаться дяди.

— Я доставил вам много хлопот, — сказал тогда Шомбхунатх. — Мы не богаты и не сумели достойно принять вас, извините. Уже поздно, и я не хочу вас больше утруждать. Сейчас...

— Сейчас мы вернемся к гостям, — поспешно сказал дядя.

— Сейчас я прикажу подать вам экипаж...

— Вы шутите?

— Шутили вы, у меня же не было ни малейшего желания забавляться.

Глаза дяди округлились от изумления, он не мог вымолвить ни слова.

— Я не отдам дочь в семью, где считают, что я способен украсть драгоценности моей девочки.

Ко мне Шомбхунатх, видимо, не считал нужным обратиться, потому что получил все доказательства моей полной ничтожности.

Рассказывать, что произошло потом, у меня нет ни малейшего желания. Наши гости учинили разгром, побили фонари и гордо удалились.

Отзвучала музыка, исчезли свадебные слюдяные фонарики, лишь звезды скупо освещали дорогу, когда я возвращался домой.

III

Дома все были вне себя от гнева.

— Что за надменный тип отец невесты! Ему присущи все пороки нынешнего века, никто теперь не женится на его дочери!

Но Шомбхунатх не жаждал выдать дочь замуж.

Пожалуй, во всей Бенгалии не сыщешь жениха, которого бы отец невесты перед самой свадьбой выгнал из дому.

— По воле какой злой планеты запятнали позором такого богатого и достойного жениха, да еще в тот момент, когда гремела музыка и зажглись свадебные огни! — горестно причитали участники шествия, хлопая себя по лбу. — Свадьба не состоялась, а нас обманом заставили отведать угощений! Какая жалость, что нельзя вернуть их обратно!

— Я не прошу этого оскорбления, — горячился дядя, готовый поднять скандал. — Я буду жаловаться!

Но доброжелатели отговорили его от этого намерения, опасаясь, как бы мы не стали всеобщим посмешищем.

Трудно передать мой гнев. Я мечтал лишь о том, чтобы неожиданный поворот судьбы заставил Шомбхунатха униженно пасть к моим ногам и чтобы я мог отвергнуть его мольбы.

Но в сердце моем рядом с черным потоком ненависти струился светлый поток. Душа моя тянулась к той, незнакомой мне, девушке, и я не в силах был совладать с собой. Тогда нас разделяла только стена. Как описать мне ее, облаченную в алое сари, со знаками сандаловой пасты на лбу и краской стыда на лице? Какие чувства переполняли тогда ее сердце? Волшебная лиана фантазии склонялась ко мне, предлагая свои весенние цветы.

Ветер доносил их пряный аромат и шелест лепестков. Я уже готов был сделать один-единственный шаг к ней, как вдруг этот шаг оказался протяженностью в бесконечность.

Все эти вечера я ходил к Бину домой, чтобы расспросить его о девушке. Он был не многоречив, но каждое его слово, подобно искре, воспаляло душу. Из разговора я понял, что девушка необыкновенно хороша. Я никогда не видел даже ее портрета и очень смутно представлял себе ее. И душа моя, будто призрак, печально вздыхая, бродила у стены брачной комнаты.

От Хориша я узнал, что девушке показали мою фотографию. Вполне возможно, что я ей понравился. Сердце нашептывало мне, что моя фотография хранится у нее в шкатулке. Может быть, запершись в комнате, она открывает заветную шкатулку, склоняется над портретом и волосы двумя черными струями сбегают ей на щеки. Услышав за дверью шаги, она быстро прячет портрет в свободный конец благоухающего сари.

Шли дни. Вот и год миновал. Дядя не решался больше заводить разговор о моей женитьбе. Мать решила повременить, пока все забудут о моем позоре, а затем снова попытаться женить меня.

Слышал я, что руки моей бывшей невесты добивались женихи с положением, но она поклялась никогда не выходить замуж. Душа моя наполнилась ликованием. И я погрузился в мечты. В своем воображении я видел, что девушка забывает поесть и причесаться и день ото дня худеет. Отец с тревогой наблюдает за ней. И вот однажды он застаёт ее плачущей в своей комнате. «Что с тобой, дорогая?» — спрашивает он. «Ничего, папа», — говорит девушка, торопливо утирая слезы. Но ведь она единственная и к тому же любимая дочь Шомбхунатха. Отец не может оставаться спокойным, когда дитя его увядает, будто во время засухи не успевший расцвести цветок. Смирившись, Шомбхунатх приходит к дверям нашего дома. Ну, а дальше? Черная ненависть, словно змея, притаилась в моей душе и, шипя, нашептывала мне: «Когда отовсюду съедутся на свадьбу гости, когда зажгутся огни, ты сбросишь с головы убор жениха и вместе с друзьями покинешь дом невесты». Но чувство, прозрачное, словно

слеза, обернувшись чудесным лэбедем, умоляло: «Отпусти меня, и я полечу, как некогда мчался в цветущий сад Дамаянти, и шепну твоей возлюбленной на ухо радостную весть». А что потом? Потом кончится темная ночь горя, хлынет живительный дождь, и лицо моей любимой расцветет. По эту сторону стены останется весь мир, а в ту заветную комнату войдет только один человек. Тут мечты мои обрывались...

IV

Мне остается рассказать совсем немного.

Я вез мать к святым местам, потому что дядя и на этот раз не решился переехать Ховровский мост. В дороге я вздремнул, но вагон трясло, и спал я беспокойно. На одной из станций я проснулся. Игра света и тени делала все похожим на сон. Только звезды на небе казались старыми знакомыми, а остальное, окутанное дымкой, было чужим. В тусклом свете фонарей окружающие предметы казались странными и далекими. Мать крепко спала. Купе едва освещала лампа под зеленым абажуром.

Чемоданы, коробки и другие вещи, разбросанные по полу, тоже казались нереальными.

И вот в этом необычном мире, в тишине этой удивительной ночи, раздался голос:

— Скорее сюда, в этом вагоне есть место.

Мне почудилось, будто я слышу звуки песни. Чтобы понять, как сладостно звучит бенгальский язык в устах бенгальской девушки, нужно, как сейчас, забыть о времени и пространстве.

Но услышанный мною голос был каким-то особенным. Ничего подобного я никогда не слышал!

По-моему, голос в человеке самое главное. По голосу вернее, чем по лицу, можно судить о душе. Я быстро открыл окно, взглянул, но никого не увидел. На темной платформе дежурный махнул фонарем, и поезд тронулся. Я так и остался у окна.

Я не знал, хороша ли собой та девушка, но сердцем чувствовал красоту ее души. Она как эта звездная ночь, окутавшая весь мир и в то же время недосыгаемая.

О голос незнакомки, в одно мгновение ты овладел моей душой. Ты чудо! Ты, словно цветок, появившийся из самых недр нашего бурного времени, и никакие ураганы не заставят тебя задрожать, не отнимут твоей нежности.

В стук колес я слышал песню. «Есть место, есть место», — звучало, как припев. Что есть? Какое место? Нет никакого места! Никто никого не знает! Или незнание лишь туман, иллюзия? И если разорвать его путы, знакомство станет бесконечным. Неужели еще вчера я не знал о существовании сердца, чьей непередаваемой красотой полон ты, о чарующий голос:

Есть место, — как эхо, в душе отдалось.
Сдержать не могу закипающих слез.
Спешу, тороплюсь на призыв.

Я провел беспокойную ночь: на каждой станции выглядывал в окно, — боялся, что незнакомка сойдет и я не увижу ее.

На следующий день нам предстояло пересест в другой поезд. Мы надеялись, что в вагоне первого класса будет немного народу. Но оказалось, что этот же поезд ждут солдаты с большим багажом. Какой-то генерал отправлялся в путешествие. О первом классе нечего было и мечтать. Положение осложнялось тем, что со мною была мать. Все вагоны были набиты битком. Мы ходили от двери к двери, но вдруг какая-то девушка из вагона второго класса крикнула:

— Садитесь к нам, есть место...

Я вздрогнул. Это был тот чудесный голос, тот же припев: «Есть место». Не мешкая ни секунды, мы с матерью влезли в вагон. Я даже не успел внести вещи. Такого беспомощного человека, как я, не сыщешь во всем мире! Но незнакомка не растерялась, она выхватила наш багаж из рук носильщика и втащила его в уже тронувшийся поезд. Правда, мой фотоаппарат так и остался на станции, но я о нем несколько не жалею. Право, не знаю, как описать все, что произошло потом. В душе моей на всю жизнь запечатлелась картина того счастливого дня. Но с чего начать и чем кончить? Мне не хотелось бы рассказывать все по кусочкам. Наконец я увидел

девушку, чей голос так меня порази́л. Я взглянул на мать — она дремала. Незнакомке было лет шестнадцать, семнадцать. Держалась девушка очень неприужденно. Она вся будто светилась каким-то внутренним мягким светом, и в ней не было никакой скованности.

Это все, что я сохранил в памяти. Не помню, какого цвета было на ней сари. Ее одежда и украшения не бросались в глаза и не могли затмить ее безупречной красоты. Девушка была подобна нежной, едва распутившейся туберозе, своей красотой затмившей куст.

С девушкой ехали три маленькие девочки. Она без умолку болтала и смеялась с ними. Я держал в руках книгу, но не читал, а прислушивался к их разговору. То была милая детская болтовня. И что самое удивительное — с этими малышками взрослая девушка будто сама стала маленькой. У девушки было несколько книжек с картинками. Дети упрости́ли ее почитать рассказ, который им особенно нравился. Они слушали его не раз. Но я понимал их настойчивость. Голос знакомки, будто прикосновение волшебной палочки, придавал каждому слову какой-то особый смысл. Да и все, к чему она прикасалась, оживало. И дети невольно поддались ее очарованию. Свет ее озарил и меня, и солнце моей жизни засияло ярче. Для меня знакомка стала олицетворением бескрайнего неба и вечной неутомимой жизни.

На одной из станций девушка купила жареной чечевицы и вместе со своими маленькими спутницами, не смущаясь, принялась ее есть. Я очень стеснителен по природе и не смог попросить у девушки горсть чечевицы! Почему я не протянул руку и не признался в своем желании? Я очень раскаивался в своей робости.

В душе моей матери боролись противоречивые чувства. Ей не нравилось, что девушка без всякого стеснения ест при мужчине жареную чечевицу. Но в то же время что-то мешало ей осудить знакомку. Наконец мать пришла к выводу, что девушка дурно воспитана. Ей очень хотелось заговорить со странной спутницей, но она не могла преодолеть своей привычки сторониться чужих людей.

В это время поезд подошел к станции. Здесь его ожидала большая группа лиц, которые должны были сопровождать генерала. Мест не было. И все эти люди столпились у нашего вагона. Моя мать замерла от страха, я тоже встревожился.

За несколько минут до отхода поезда дежурный по станции прикрепил карточки с написанными на них именами в изголовье наших полок.

— Эти места заказаны, — сказал он мне. — Вам придется перейти в другой вагон.

Я вскочил с излишней торопливостью.

— Мы не уйдем отсюда, — сказала на хинди незнакомка.

— Придется, — серьезно ответил дежурный, не удостоив вниманием взволнованную девушку, и позвал начальника станции — англичанина.

— Я очень сожалею, но... — обратился тот ко мне.

Я стал звать носильщика. Но незнакомка вскочила со своего места, глаза ее пылали от гнева.

— Вы останетесь! — негодуяще воскликнула она. Затем обратилась по-английски к начальнику станции:

— Это неправда, места не заказаны!

Она сорвала карточки и, изорвав их, бросила на платформу.

В это время к нашему вагону подошел английский генерал. Он дал знак вестовому внести его багаж, но, заметив гневное лицо нашей спутницы и услышав ее слова, отозвал начальника станции в сторону. О чем они говорили, не знаю. Но поезд был задержан: к нему прицепили еще один вагон. Девушка и дети снова принялись за жареную чечевицу, а я, сгорая от стыда, смотрел в окно.

Наконец поезд прибыл в Канпур. Девушка собрала вещи. Ее и детей встретил слуга, говоривший на хинди. Тогда моя мать не выдержала.

— Скажите мне ваше имя, — попросила она.

— Колени, — ответила девушка.

Мы с матерью вздрогнули.

— А ваш отец...

— Он врач, его зовут Шомбхунатх Сен, — Девушка вышла из вагона.

Э П И Л О Г

Презрев запрещение дяди, ослушавшись мать, я приехал в Канпур. Я встретился с Колени и ее отцом. Моя покорность и мольбы смягчили сердце Шомбхунатха.

Но Колени сказала:

— Я не выйду замуж!

— Почему? — спросил я.

— Так велела мне мать...

Проклятье! Неужели и у нее есть дядя?

Но затем я понял: то была родина-мать. После расстроившейся свадьбы девушка дала обет посвятить свою жизнь женскому образованию.

Но я не впал в отчаяние. Голос незнакомки и по сей день звучит в моем сердце, словно призыв свыше. Он позвал меня в мир. Слова «есть место», которые я услышал впервые той темной ночью, стали припевом в песне моей жизни. Тогда мне было двадцать три года, сейчас — двадцать семь. Я не перестал верить, но порвал со своим дядей. Моя мать не смогла отказаться от меня — я был ее единственным сыном.

Вы думаете, я все еще надеюсь жениться на ней? Нет! Просто душой моей овладели слова «есть место» и вселяющий надежду нежный голос незнакомки. Конечно, место есть. Проходит год за годом, а я живу здесь, в Канпуре, вижу с ней, слышу ее голос, помогаю в работе. И сердце подсказывает мне, что я завоевал место в ее жизни. О незнакомка, знакомство с тобой не имеет конца! И я доволен судьбою, я нашел свое место в этом мире.



ОТШЕЛЬНИЦА

I

Месяц бойшахк был на исходе. К ночи жара спала, но по-прежнему стояло безветрие — даже листья бамбука не шевелились, и только звезды мерцали в небе — так пульсирует кровь в висках, когда голова раскаляется от боли. Лишь в третьем часу ночи подул наконец слабый ветерок.

Шороши спала на голом полу у раскрытого окна, железный ящик, покрытый одеждой, служил ей изголовьем. Видно было, что она с великим усердием исполняет данные обеты.

Шороши вставала в четыре часа утра, совершала омовение и шла в молельню. Молилась она до самого вечера, до тех пор, пока не приходил пандит Видьяротно. Здесь, в молельне, она читала с ним священные гимны. Шороши изучала санскрит и была полна решимости прочесть в подлиннике Веданту с комментариями Шанкары и философские труды Патанджалы. Ей шел двадцать третий год, но она была далека от всех домашних дел. Почему так случилось, — об этом и пойдет наш рассказ.

Характер Макхона-бабу отнюдь не соответствовал его имени. Смягчить его было невозможно. И вот отец принял такое решение: — пока его сын Барод не сдаст экзамен на степень бакалавра, пусть живет врозь со своей молодой женой.

Барод был человеком легкомысленным и отнюдь не проявлял склонности к серьезным занятиям. Как пчела, он жаждал собирать мед с цветов жизни, но трудолюбие пчел, с которым те строят свой улей, ему было совершенно чуждо. Он надеялся, что после женитьбы сможет проводить время в свое удовольствие, подкручивать усики да покуривать сигареты, уединившись на мужской половине дома. Но, как на зло, именно после женитьбы отец вознамерился во что бы то ни стало устроить счастье сына на свой лад.

Школьный учитель прозвал Барода отшельником Гаутамой. Разумеется, не благочестие Барода послужило тому причиной. Отшельником он называл Барода за то, что тот обычно не отвечал на вопросы. А если и отвечал, то в его ответах было столько коровьего мычания, что ученый пандит решил, что его ученик вполне достоин имени Гаутамы.

У директора школы Макхон выяснил, что Барод может успешно продвигаться вперед только при условии, если его будет тянуть за собой не жалея сил школьный учитель и одновременно подталкивать сзади учитель домашний. Вскоре все репетиторы, известные своим умением переправлять незадачливых учеников через океан знаний, стали по вечерам с десяти до десяти тридцати заниматься с Бародом.

Подвиги, на которые ради самоусовершенствования обрекали себя великие аскеты древности, были уделом одиночек и поэтому по своей строгости намного уступали коллективному подвижничеству учителей Барода. Аскеты былых времен стремились добыть огонь знаний, а наши мученики тшили хотя бы подогреть своего ученика ко дню экзаменов. И надо сказать, грели они Барода изрядно. Поэтому, когда после всех перенесенных страданий он все же провалился, сознание, что он сумел опозорить столь почтенных господ, принесло Бароду истинное удовлетворение. Однако Макхона-бабу даже такой страшный конфуз не обескуражил. На следующий год он нанял других учителей и договорился с ними так: он регулярно платит за уроки, а в случае если Барод сдаст экзамены первой ступени, они получают дополнительное вознагражде-

ние. Барод, несомненно, провалился бы и на сей раз, если бы не решил для разнообразия позабавиться и не принял вечером накануне экзаменов по совету деревенского лекаря слабительные пилюли. Милостью Дханвантари ему не пришлось идти за очередным позором в экзаменационную комнату, а сидя дома, он, естественно, не смог выполнить задания.

Поскольку действие слабительных пилюль началось с точностью, с которой выходят самые солидные периодические издания, Макхон-бабу, разумеется, догадался, что тут не обошлось без специальной подготовки. Не требуя объяснений, он заявил Бароду, что тот должен готовиться к экзаменам в третий раз. Так срок его каторжных работ был продлен еще на год.

Однажды Барод, обидевшись, демонстративно отказался от еды. В результате за ужином ему пришлось съесть двойную порцию.

Барод боялся Макхона, как тигра, но отчаяние придало ему смелость, и в другой раз он заявил:

— Пока я здесь, с моей учебой ничего не выйдет!

— Куда же ты хочешь ехать, чтобы невозможное стало возможным? — спросил Макхон.

— В Англию! — был ответ.

Макхон постарался объяснить сыну, что причину его неудач следует искать не в географии, а в его голове. Но Барод в свою защиту привел пример, когда его одноклассник — один из самых отстающих, — приехав в Англию, сумел там сразу же сдать выпускные экзамены. Макхон сказал, что он ничего не имеет против того, чтобы Барод поехал в Англию, но прежде он должен сдать экзамены на бакалавра.

Что за напасть! Ведь сумел же Барод родиться без этих экзаменов, сумеет без них и умереть. Так на же тебе, откуда ни возьмись между рождением и смертью вырос, словно гора Виндхья, этот экзамен! И неужели именно здесь ему придется споткнуться?! Разве этим в железном веке занимался мудрец Агастья. Разве он сбрил волосы для того, чтобы сдавать экзамены на бакалавра?!

Тяжело вздохнув, Барод воскликнул:

— Один раз, второй, третий... Но уж это последний!

С этими словами он, полный решимости, засучил рукава и снова взялся за книги, испещренные карандашными пометками.

Сразил его неожиданный коварный удар. Однажды, когда он собрался в школу, оказалось, что Макхон продал автомашину. — Два года я тратил на тебя деньги, — заявил он. — Больше тянуть эту лямку не желаю!

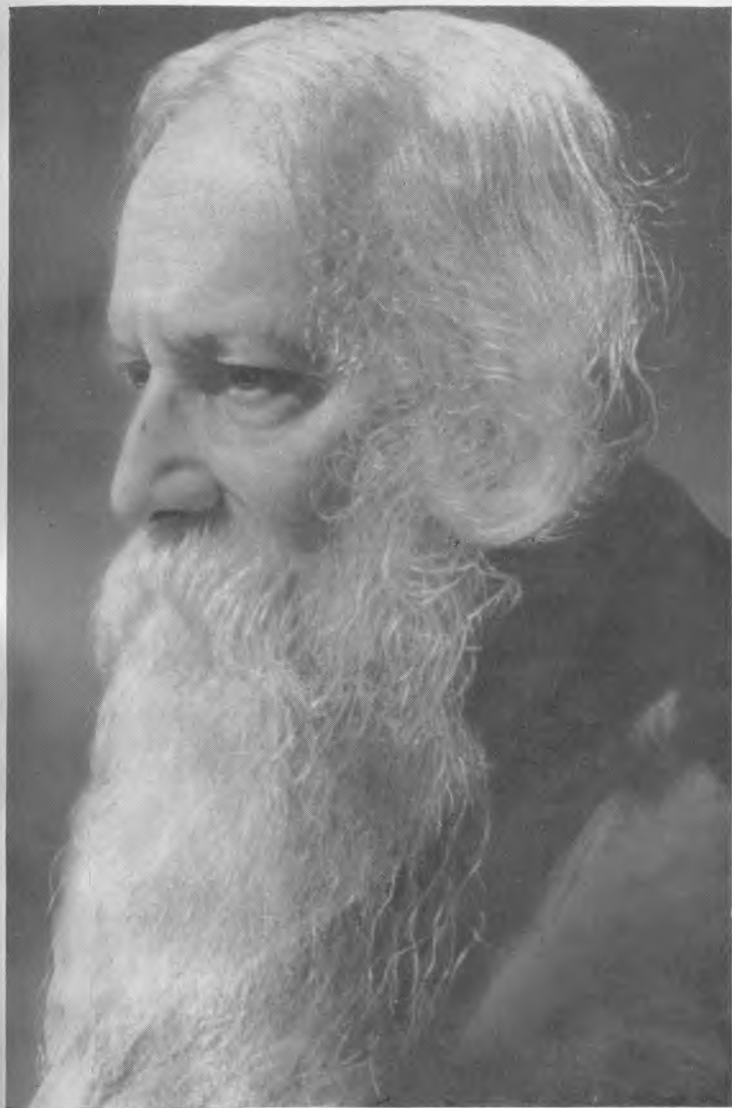
Бароду, разумеется, ничего не стоило пойти в школу пешком, но как он после этого будет выглядеть в глазах окружающих!

В конце концов, после долгих раздумий Барод решил, что в этом мире, кроме смерти, ему остается единственный путь, не зависящий от того, сдаст он экзамены или нет, — путь, на котором можно обойтись без супруги, наследника и богатства. Для этого достаточно сделаться отшельником! Немало сигарет Барод выкурил тайком, пока обдумывал свое решение. И вот однажды пришедшие для занятий учителя не обнаружили своего ученика. По комнате были разбросаны лишь разорванные на мелкие части учебники, да на столе лежал прижатый стаканом листок бумаги с запиской:

«Я стал отшельником, и машина мне не потребуется.

Шриджукто Бародасвами».

Макхон-бабу не торонился с поисками. Он был уверен, что Бароду все равно придется вернуться и что в данном случае требуется одно — оставить двери курятника открытыми. Так он и сделал, только велел убрать обрывки бумаги. По-прежнему в углу комнаты стоял глиняный кувшин с надетым на узкое горлышко выщербленным по краям стаканом; по-прежнему на сиденье потерятого кресла валялась обложка старого атласа, прикрывая пятна от раздавленных клопов и самые обычные дырки; по-прежнему возле стены стоял железный сундук, на котором было выгравировано имя Барода, а на полке теснились потрепанный англо-бенгальский словарь, «История Индии» Хоропрошада Шастри с вырванными страницами и множество тетрадей. Если бы потрясти эти тетради, из них посыпались бы изображения английских таи-



Р. Тагор в Шантиникетоне

1935

цовщиц с сигаретных коробок фирмы Огдена, и, разумеется, только полной потерей рассудка можно объяснить тот факт, что Барод не прихватил их с собой в обитель саньсяи.

Так обстояло дело с нашим героем. Что же касается героини, то Шороши ко времени замужества было всего тринадцать лет. В доме отца ее все до последнего дня называли девочкой; так девочкой она и вошла в дом свекра. Слуги и те не стеснялись при ней обсуждать поведение Барода! Сверковь постоянно хворала и даже думать боялась о том, чтобы изменить заведенные мужем порядки. К тому же сестра Макхона была человеком непримиримым и обычно не жалела в адрес Барода самых резких слов. Для этого у нее была своя причина. С незапамятных времен в семье существовал обычай, по которому женщины их рода приносились в жертву злему духу какой-нибудь очередной знатной семьи. Так тетка Барода в свое время досталась отъявленному курильщику гашиша, чьим единственным положительным качеством было то, что он прожил сравнительно недолго. И поэтому, искренне жалея Шороши, она называла ее жемчужным ожерельем, намекая на известную поговорку об ожерелье, доставшемся обезьяне. При этом она забывала, что живое жемчужное ожерелье тоже может страдать, и безжалостно твердила:

— Не понимаю, зачем только брат тратит столько денег на учителей? Бьюсь об заклад, что экзаменов ему все равно не сдать!

Шороши тоже была почти уверена, что Барод экзаменов не сдаст, но ей очень хотелось, чтобы он их сдал и чтобы тетка утихомирилась. Когда после первого провала на экзаменах Макхон снова нанял армию учителей, тетка заявила:

— Выброшенные деньги! Моему племянничку ничто не поможет!

С той самой поры и стала Шороши мечтать о том, как Барод в один прекрасный день обнаружит вдруг свои незаурядные способности и тем поразит скептически настроенный мир. Она мечтала о том, как он станет первым среди первых, о его славе, которая будет расти изо дня в день и принесет ему, в конце концов, такую извест-

ность, что однажды сам вице-король пошлет за ним своего гонца. И надо же случиться, чтобы именно в это время как гром среди ясного неба обнаружилась история со злосчастной слабительной пилюлей! Это было бы не самое страшное, если бы у домашних не возникли кое-какие подозрения. Теперь тетка говорила:

— Полюбуйтесь, на экзамены ума не хватает, а на это хватило.

Гонец вице-короля, разумеется, не явился, и Шороши должна была, опустив голову, сносить насмешки окружающих. Разумеется, эти насмешки по поводу столь удивительно своевременного действия слабительной пилюли не могли не заронить сомнения и в душу Шороши.

И вот Барод исчез. Шороши надеялась, что хоть теперь домашние поймут, что произошло несчастье, и раскаются. Но на семью даже уход Барода из дома не произвел впечатления. Все твердили одно и то же:

— Никуда он не денется, скоро сам вернется!

А Шороши молилась про себя: «Боги, сделайте так, чтобы они ошиблись! Сделайте так, чтобы они еще пожалели о своих словах!»

И вот всевышний услышал мольбу Шороши — ее желание исполнилось.

Со дня исчезновения Барода прошел месяц, но это ни в ком не вызвало беспокойства. Когда же прошел еще месяц, Макхон встревожился, хотя и не показывал виду. Правда, при встрече с невесткой на его лицо набегали тучи, однако лицо тетки по-прежнему напоминало безоблачное небо в ясный летний день. Сама же Шороши вздрагивала каждый раз, когда видела у входной двери мужчину, — а вдруг это вернулся Барод!

Прошел третий месяц, и тетка принялась ругать Барода за то, что он заставлял семью волноваться. И то слава богу, — уж лучше злость, чем забвение! Постепенно в родственников вселились страх и беспокойство. Когда в безуспешных поисках прошел год, даже тетка заговорила о том, что Макхон был излишне строг. Когда же прошло два года, на защиту Барода встали уже все соседи. Они говорили, что к занятиям у него, возможно, склонности не было, но юноша он был исключительно порядочный. И чем больше проходило времени со дня исчез-

новения Барода, тем больше в сердцах людей укреплялась слепая вера в его безупречность, — даже в то, что он никогда не курил! А школьный учитель Барода заявил, что дал ему прозвище мудреца Гаутамы только потому, что уже тогда, по его мнению, у Барода созрело решение стать отшельником.

Тетка, по крайней мере, раз в день принималась ругать своего брата за упрямый характер:

— Зачем нужны были Бароду все эти занятия? Денег у него и без того достаточно и собой он не урод какой-нибудь! Золото был, а не мальчик!

И сердце Шороши, несмотря на все невзгоды, стало наполняться гордостью за мужа, который, будучи образцом святости, столько натерпелся от родственников.

А тем временем изболевшееся отцовское сердце Макхона перенесло всю свою нежность на Шороши. Единственной его заботой стало благополучие невестки. Он был рад исполнить любое ее желание, не считаясь ни с трудностями, ни с затратами, — словно хотел такой самоотверженностью искупить перед нею свою вину.

II

Шороши исполнилось пятнадцать лет. Когда она оставалась одна, глаза ее нередко наполнялись слезами. Привычная и однообразная жизнь семьи стала все больше угнетать ее: она задыхалась в четырех стенах! Каждая вещь в комнате, каждая половица на веранде, все эти выстроенные вдоль перил кадки с цветами — все стало ее раздражать. И вскоре кровать, вешалка, шкаф и прочее — вся мебель, заполнявшая ее комнату словно для того, чтобы подчеркнуть пустоту ее жизни, стала вызывать у нее жгучую ненависть.

Единственным местом, где она себя чувствовала хорошо, был подоконник: теперь только то, что было по ту сторону окна, казалось ей родным. Поистине, «дом — это то, что снаружи»!

Однажды часов в десять утра — когдастряпня на кухне была в самом разгаре и с женской половины доносился грохот посуды, — свободная от всех домашних

забот Шороши сидела у окна, устремив взгляд в чистое небо. Вдруг она увидела, как с возгласом «Слава всевышнему!» под деревом у ворот их дома остановился странствующий отшельник — саньяси. Шороши охватило такое волнение, что она задрожала, как натянутая струна вины, и бросилась к тетке.

— Тетя! — закричала она, — Приготовьтесь покормить святого саньяси!

С этого все началось, и вскоре прислуживать саньяси, кормить их и ублажать, стало целью жизни Шороши. Макхон был этому только рад: наконец-то у него появилась возможность исполнять прихоти невестки! Проникшись энтузиазмом, он заявил, что в доме необходимо устроить комнаты для святых гостей. И хотя с некоторых пор доходы Макхона уменьшились, он одолжил денег из расчета двенадцати процентов годовых и вложил их в это благородное дело.

А саньяси приходило все больше и больше. Макхон, разумеется, понимал, что большинство из них не было настоящими саньяси, и у него не раз возникало желание вытолкать их в шею, особенно когда они начинали бранить еду или комнаты, в которых жили, возводя на хозяев заведомую напраслину. Но стоило ему встретиться взглядом с Шороши, как он тотчас забывал о своем намерении и почтительно склонялся перед своими гостями. Ох, как тяжело искушаются грехи!

Когда приходил очередной саньяси, его приглашали на женскую половину дома. Там с ним беседовала тетка, а Шороши стояла в дверях и приглядывалась к незнакомцу. Делалось это для того, чтобы Шороши могла спокойно рассмотреть пришельца, — а вдруг она его узнает! Всякое бывает. Правда, на фотографии, которая хранилась у Шороши, Барод был снят совсем еще ребенком, и трудно было представить, как он должен выглядеть сейчас, — с бородой и длинными волосами, посыпанными пеплом. Шороши не раз казалось, что в очередном саньяси есть что-то схожее с Бародом, и сердце ее начинало учащенно биться, но потом она убеждалась, что и голос у него совсем не такой, и нос совершенно не тот.

И каждый раз, когда Шороши рассматривала очередного гостя, ей казалось, что она не стоит у двери своей

комнаты, а ищет Барода по всей вселенной. Эти поиски мужа приносили ей истинную радость, они наполнили смыслом ее юную жизнь, занимали все ее время с утра до вечера. Если раньше она никогда не появлялась на кухне, то теперь приготовление пищи для саньяси стало ее любимым занятием. Ни на минуту в ее душе не гас светильник надежды. Каждый вечер она ложилась спать с мыслью, что завтра, быть может, придет ее долгожданный гость. Так же как творец лепил образ прекрасной Тиллотамы, Шороши создавала в своей душе прекрасный образ Барода из лучших черт приходивших к ней саньяси. Она была уверена, что жизнь его, отданная служению великим идеалам, непорочна, дух его свят, знания глубоки, подвижничество сурово. Кто может остаться к нему равнодушным?! Из всех саньяси только он один достоин поклонения. Особенно гордилась Шороши тем, что даже ее свекор теперь этого не отрицает.

Саньяси приходили, однако, не каждый день, и такие промежутки были невыносимы. Постепенно Шороши научилась заполнять и эту брешь. Она решила, что может совершать обряды аскетизма, не покидая дома. Теперь она спала на полу, подстелив только одеяло, ела очень мало, да и то одни фрукты, и носила одежду из коричневого шелка-сырца с красной полосой. Чтобы показать, что она замужем, Шороши красила пробор киноварью. С разрешения свекра она начала также заниматься санскритом и за несколько дней уже выучила наизусть санскритскую грамматику «Мугдха-бодху».

— Вот что значит врожденный ум! — восхищался ею пандит.

Шороши решила, что, чем усерднее она будет выполнять обряды аскетизма, тем полнее будет слияние ее души с душою мужа — саньяси. Соседи преклонялись перед ней, и возле дома Шороши иной раз собиралась целая толпа жаждущих получить благословение столь набожной женщины. Даже тетка, исполненная трепетного благоговения, совсем приумолкла.

Но Шороши-то знала, что ее душа, в отличие от ее одежды, еще не стала аскетической. Вот и сегодня утром легкий ветерок, принесший прохладу, нашептывал

ей какие-то неясные слова. Вставать не хотелось, но она заставила себя подняться и взяться за работу. Ей бы посидеть у окна, молча прислушаться к звукам флейты, льющим из глубины сердца! Душа ее, казалось, с каждым днем пробуждается, и даже шелест кокосовых деревьев отдается в ней. Напрасно учитель старался объяснить ей санскритские гимны, — Шороши отвлекали звуки, врывающиеся в открытое окно: шуршание сухих листьев, далекий, резкий крик коршуна, который словно разрывал на части небо, усталый скрип колес — наверное, кто-то ехал на повозке вдоль пруда. Все это никак не походило на аскетизм. Но что поделаешь! Бесконечный мир вокруг нее был миром горячей жизни, его первобытное дыхание, овеянное жаром крови самого Брахмы, согревало вселенную, возникшую много раньше, чем все санскритские веды и веданта. Кровно связанная с этим миром всеми его цветами, звуками и запахами, она не могла закрыть свое сердце пред его посланцами, не могла преградить им путь колючим кустарником своего подвижничества.

Значит, надо было сделать коричневым цвет одежд еще темнее! И Шороши попросила учителя обучить ее системе йогов.

— Я думаю, тебе необязательно следовать всем их правилам, — сказал пандит. — Что же касается знаний, то они сами упадут тебе в руки, подобно спелым плодам.

Постепенно похвалы окружающих — а дело дошло до того, что даже прислуга в доме стала ее боготворить, — разбудили тщеславие Шороши, и она находила глубокое удовлетворение в том, что ей поклоняются как святой. Поэтому и теперь она не могла признаться, что еще не достигла совершенства, и смолчала.

Тогда она обратилась к Макхону:

— Кто может научить меня системе йогов?

— Зачем тебе это? — удивился Макхон. — По пути служения всевышнему ты и без того ушла так далеко, что едва ли кто-нибудь может тебя догнать.

И тем не менее Макхону пришлось подыскать ей учителя-йога. Как на грех, и человек такой нашелся. Макхон был уверен, что большинство современных бенгальцев в общем такие же, как он сам, — едят, спят и верят в то, что в мире нет никаких «чудес», кроме скандальных

историй, случающихся с другими. Но на поверку в Бенгалии нашлись люди, которые в округе Кхульна на берегу реки Бхойроб основали лесную обитель саньяси. Необходимость в такой обители подтверждалась тем, что кто-то увидел ее во сне на рассвете первого дня после полнолуния. Сама Сарасвати благословила это начинание. Если бы она явилась собственной персоной, то и это не могло бы вызвать большего энтузиазма, чем ее появление в образе индийской сороки, на хвосте которой было ровно три пера — белое, зеленое и оранжевое. Никто не сомневался, что три пера, так же как и другие явления, например, стиль возвышенный, умеренный и низменный, три веды: «Ригведа», «Яджурведа» и «Самаведа»; созидание, существование и разрушение; вчера, сегодня и завтра, — олицетворяли тройственность мира сего. Перед лицом столь недвусмысленных указаний свыше обитель была немедленно основана. Среди первых ее подвижников были двое юношей, которые оставили колледж, будучи уже выпускниками, и помощник судьи, в душе которого воцарился удивительный покой, когда он завещал в фонд обители свою пенсию и определил туда своего сироту-племянника прислуживать саньяси.

Вот из этого-то леса и взяли учителя для Шороши. Макхону же пришлось сделаться заочным членом этой аскетической организации. Подобные саньяси-«надомники» были обязаны отчислять на нужды обители шестую часть своих доходов. Однако в зависимости от степени уважения, на которое претендовал такой человек, эта цифра колебалась, подобно ртутному столбу градусника. Макхон, когда нужно было определять свою долю, почему-то всегда ошибался, и обязательно в сторону уменьшения. Ущерб, который наносили обители подобные ошибки, всегда восполняла Шороши. У нее уже не осталось ни украшений, ни вообще чего-нибудь ценного, а вскоре и деньги, которые она ежемесячно получала на расходы, последовали за украшениями.

Однажды домашний врач, осмотрев Шороши, сказал:

— Что вы делаете, дада? Ведь так она может умереть!

— Я все понимаю, но что же мне делать? — пролепетал перепуганный Макхон.

Теперь Макхон терялся в присутствии Шороши. Только однажды он осмелился сказать:

— Так ты себя совсем изведешь!

Шороши ответила улыбкой. Подобные опасения могли тревожить лишь людей, привязанных к этой мирской жизни.

III

Со дня исчезновения Барода прошло двенадцать лет. Шороши уже исполнилось двадцать пять. Однажды она спросила пандита, обучавшего ее системе йогов:

— Как мне узнать, жив мой муж или нет?

Учитель закрыл глаза и молча сидел так минут десять. Потом, открыв глаза, воскликнул:

— Он жив!

— Но как вы узнали?

— Этого тебе пока не понять, но одно ты, разумеется, понимаешь, а именно, — если ты, будучи женщиной, смогла так далеко продвинуться по пути служения всевышнему, в этом заслуга твоего мужа, который самоотверженно выполняет обряды аскетизма. Даже находясь далеко, он сумел сделать тебя своей сподвижницей.

Шороши затрепетала от радости. И сразу ей представилось, как Шива совершает свои подвиги, а Парвати, перебирая четки из семян лотоса, терпеливо ждет его.

— А могу я узнать, где он сейчас? — спросила Шороши.

Учитель улыбнулся.

— Принеси зеркало, — сказал он.

Шороши принесла зеркало и по совету учителя долго и пристально в него смотрела.

— Видишь что-нибудь? — спросил пандит.

Шороши неуверенно ответила:

— Да, как будто что-то виднеется, но что — не могу разобрать...

— То, что ты видишь, белое?

— В самом деле, белое.

— Не напоминает ли это снег на горных вершинах?

— Конечно, снег! Просто я никогда не была в горах, поэтому сразу не поняла...

Таким вот странным путем вскоре ей удалось увидеть самого Барода, который сидел обнаженный на снегу в непроходимых горах Лончу. И разве не удивительно, что свет аскетизма доходил до Шороши из такой дали!

Оставшись в тот день одна, Шороши долго не могла справиться с волнением. Еще бы, ведь ее днем и ночью согревал свет аскетизма! Если бы они с Бародом жили под одной крышей, у них могли бы быть раздоры и ссоры, а тут, находясь друг от друга на таком расстоянии, они связаны неразрывно! Эта мысль наполняла Шороши радостью. Она поняла, что ее аскетизм должен стать еще строже. Несмотря на то, что уже наступил холодный месяц поуш, она решила отказаться от одеяла. И когда по ночам она зябла от ветра, ее утешало, что этот ветер прилетает к ней с горы Лончу. В такие минуты она неподвижно сидела, скрестив на груди руки, а из глаз ее струились слезы.

Однажды после полудня взволнованный Макхон позвал к себе Шороши.

— Я не хотел тебе говорить, — начал он, — думал, что все обойдется, но больше тянуть с этим нельзя. Дело в том, что мой долг уже превысил мое состояние и со дня на день могут конфисковать мое имущество.

Лицо Шороши засветилось от радости. Она не сомневалась, что это дело рук ее мужа. Он сделал Шороши своей сподвижницей, и он же, конечно, освободил ее от последних остатков брениго имущества. Гора Лончу послала не только северный ветер, но и этот долг! Муж благословлял ее на подвиг.

— Чего нам бояться, отец? — спросила с улыбкой Шороши.

— А где же мы будем жить?

— В лесу, вместе с отшельниками, — ответила Шороши.

Макхон понял — обсуждать с ней имущественные дела бесполезно. Он ушел на веранду и с горя молча закурил.

Как раз в это время возле дома остановился автомобиль. Одетый в европейский костюм молодой человек

ловко соскочил с подножки и, войдя в комнату Макхона, поздоровался без всяких церемоний:

— Привет! Неужто не узнаете?

— Кто это? Неужели ты, Барод?

Да, это был он! Как оказалось, Барод нанялся матросом и отправился в Америку. Теперь, спустя двенадцать лет, он вернулся, но уже в качестве коммивояжера компании стиральных машин.

— Если тебе нужна стиральная машина, — обрадовал он отца, — устрою совсем дешево!

И он достал из кармана иллюстрированный каталог,



ПЕРВЫЙ НОМЕР

Я даже не курю. Но мной владеет одна всепоглощающая страсть! Страсть к чтению, в сравнении с которой меркнут все страсти в мире. Моим девизом стали строки:

Он хочет жить, а не существовать,
И дома он не расстаётся с книгой.

Человек, у которого любовь к путешествиям намного превышает материальные возможности, с жадностью просматривает расписание поездов, так и я в юности, когда у меня не было денег, с упоением читал книжные каталоги. Мой дальний родственник, брат тестя моего брата, скупал без разбора все новинки и очень гордился тем, что и по сей день ни одна книга у него не пропала. Во всей Бенгалии, вероятно, не встретишь второго такого везучего человека. Ведь среди всех вещей, постоянно переходящих из рук в руки, как, например, деньги, жизнь, зонтик, утерянный каким-нибудь рассеянным, бенгальские книги занимают первое место.

Поэтому можно себе представить, что получить у этого счастливого ключи от книжных шкафов было невысказано. В детстве я с братом ходил в гости к его тестю и чувствовал себя, как нищий во дворце, когда подолгу со слезами на глазах рассматривал запертые на ключ книжные шкафы. Из-за своей неутолимой страсти к чтению я постоянно проваливался на экзаменах в школе.

Но это дало мне одно неоспоримое преимущество. Мне не пришлось ограничиться теми устарелыми знаниями, которые давал университет. Я плыл по безбрежному океану мудрости. Ко мне ходят различного рода бакалавры и магистры искусств, которые по сей день не могут выбраться из темниц викторианского века. Подобно птолемеевскому мирозданию, они будто навсегда пригвождены к восемнадцатому—девятнадцатому векам. Поэтому не только нынешним студентам, но и сыновьям их и внукам суждено почтительно, как во время религиозной церемонии, двигаться по замкнутому кругу знаний. Колесница их мысли, с трудом одолев Милля и Бентама, дотаскилась до Карлейля и Рескина и застряла в пути. Студенты обязаны слушать только лекции своих преподавателей и не смеют даже мечтать о чем-нибудь другом.

Между тем та, чужая нам литература, в зависимость от которой мы поставили свое духовное развитие и которую неустанно пережевываем будто жвачку, не остается неизменной, она идет в ногу с жизнью своей страны. Я, разумеется, не мог жить чужой жизнью, но старался в своем духовном развитии не отстать от нее. Я сам выучил французский, немецкий, итальянский языки, брался даже за русский. Я взял билет на экспресс современности, идущий со скоростью более шестидесяти миль в час. Поэтому, не вникая глубоко в учения Хаксли и Дарвина, я не боялся судить о Тэннисоне, и лишь врожденная скромность удержала меня от погони за дешевой славой на страницах наших ежемесячных журналов. Я не стал рулевым в лодке, на борту которой начертаны имена Ибсена и Метерлинка.

Мечта моя сбылась — я собрал вокруг себя тех, кто способен оценить меня. Я убедился, что и в Бенгалии есть люди, которые, учась в колледже, все же не остаются равнодушными при звуках вины Сарасвати. Сначала ко мне приходили по одному, по два человека, а потом собралась целая группа.

Второй моей страстью были разговоры, или, выражаясь высоким стилем, — дискуссии. Я внимательно следил за всеми диспутами на страницах периодических и непериодических изданий, всегда поражаясь тому, как

могли они быть столь незрелыми и в то же время так устареть. Мне часто хотелось влить в эту затхлую атмосферу свободную мысль, но писать было лень. Поэтому я радовался каждому, кто выслушивал мои сокровенные мысли.

Кружок мой рос. Я жил в тихом переулке в доме номер два, но мои друзья стали называть меня «неповторимым», а кружок мой «Обществом неповторимых».

Познания членов моего кружка всегда оказывались кстати. Утром, например, один из них забегал с только что вышедшей в свет английской книгой, заложенной в каком-нибудь месте трамвайным билетом.

За разговорами мы не замечали, как шло время. Наступали сумерки, и появлялся другой член кружка с конспектами лекций колледжа. Он просиживал до глубокой ночи и даже не думал уходить. Я говорил до изнеможения. Однажды мне пришло в голову, что хороший художественный вкус способствует не только деятельности мозга, но и красноречию. В то же время я понял, что человек, жертвующий собой ради того, чтобы утолить жажду знаний других, ставит себя в незавидное положение. В мире существуют гигантские гончарные круги знаний и человеческой мысли, на них появляются открытия, которые, будто глиняные горшки, проходят обжиг временем: одни становятся прочнее, другие рассыпаются. В какой-то поэме я прочел, что Шива прекрасно видел, когда Дурга хмурила брови, но у Шивы было три глаза, а у меня всего два, да и то ослабевшие от чрезмерного чтения. Приказывая жене состряпать угощение в самое неподходящее время, я не замечал, хмурила ли она брови. Но со временем она свыклась с тем, что в нашем доме неурочное бывает ко времени, а неприемлемое приемлемым. Часы для нас не существовали, а наше бедное хозяйство было открыто всем ветрам. Мои скромные средства утекали лишь в одном направлении — в книжные лавки. Жена, пожалуй, лучше меня объяснила бы, каким таинственным образом удавалось ей сводить концы с концами, потому что наше хозяйство, как голодный пес, питалось жалкими крохами со стола моей любимой и прожорливой собачки.

Таким, как я, людям совершенно необходимо рассуждать вслух о различных научных проблемах. Но не для

того, чтобы самому делать научные открытия или помогать в этом другим — нет, просто я мыслил вслух — это был мой способ усвоения нового. Будь я ученым или профессором, моя разговорчивость показалась бы чрезмерной. Тем, кто трудится в поте лица, не нужно заботиться о своем аппетите, бездельникам же приходится нагуливать аппетит. Прежде мое «Общество неповторимых» заменяла жена. Она часами тихонько слушала, как шумно я усваиваю знания. Она носила сари только фабричной марки, и украшения ее не отличались ни чистотой золота, ни массивностью, зато в рассуждениях ее мужа, например, о евгенике, учении Менделя или математической логике, не было и намека на фальшь. Мой кружок лишил жену возможности слушать мои ученые разговоры, но она почему-то ни разу не пожалела об этом.

Жену мою звали Онилой. Право, не знаю, что означает это имя, верно, и тесть мой этого не знал. Но оно ласкает слух и, я думаю, полно смысла, и, что бы на этот счет ни говорили словари, мне кажется, жена моя была любимой дочерью своего отца, иначе он не дал бы ей такого имени. Когда скончалась мать Онилы, тесть мой выбрал для себя самый приятный способ окружить заботой полуторагодовалого Шороджа — вторично женился. Насколько моему тестю повезло в женитьбе, можно заключить хотя бы из того, что за два дня до своей смерти он сказал Ониле, держа ее за руку:

— Я ухожу, дорогая, ты единственный человек, кому я могу доверить Шороджа.

Не знаю точно, сколько тесть оставил своей второй жене и ее детям. Ониле же он тайно вручил семь с половиной тысяч рупий с таким наказом:

— Истрать эти деньги на образование Шороджа.

Поведение тестя немало удивило меня. Умный, практичный, он никогда не поступал необдуманно. Я же был уверен, что самым достойным человеком, которому следовало поручить воспитание Шороджа, был я сам. Просто уму непостижимо, почему он выбрал для этой роли Онилу. Даже не будь он уверен в моей безукоризненной честности, ему и тогда следовало бы доверить мне эти деньги. Впрочем, он был всего лишь преуспевающим дельцом

викторианского века и не мог в полной мере оценить меня.

Уязвленный до глубины души, я решил не заводить об этом разговора, думая, что Онаила первая это сделает: ведь без моей помощи ей все равно не обойтись. Но Онаила ни словом не обмолвилась, и мне показалось, что она просто робеет. И вот однажды я как бы невзначай спросил:

— Ты что-нибудь сделала для Шороджа?

— Наняла учителя, потом он ходит в школу, — ответила жена.

Я намекнул, что согласен сам заниматься с мальчиком. Как-то я пытался втолковать Онаиле сущность некоторых новейших методов обучения. Онаила выслушала молча. Тогда впервые у меня родилось подозрение, что жена меня не уважает. Колледжа я не кончал, и, вероятно, она считает, что я не имею ни права, ни опыта давать подобные советы. Оно и понятно. Разве могла она оценить должным образом мои взгляды на происхождение и эволюцию человека или распространение радиоволн?! Возможно, даже она считала, что ученик второго класса разбирается в этом лучше меня. Еще бы! Ведь в школе учителя таскают этих олухов за уши, стараясь вбить в их тупые головы какие-то знания.

В раздражении я повторял себе, что доказывать женщине собственное превосходство — значит отказаться от своего главного достоинства — способности научно мыслить.

Как правило, все действия семейной драмы идут за спущенным занавесом, но в конце пятого акта занавес вдруг поднимается. В те дни я был увлечен теориями Бергсона и интеллектуализмом Ибсена, обсуждал их с моими «неповторимыми» и считал, что светильник жертвенности еще не зажегся на алтаре жизни Онаилы.

Однако сейчас, оглядываясь на прошлое, я отчетливо вижу, что бог — создатель, творец всего живого, целиком овладел и душой и помыслами Онаилы. Ей, старшей сестре, приходилось вести с мачехой упорную борьбу за маленького брата. Земля, которую держит на себе змей Васуки из пуран, неподвижна.

Но мир страданий, которые тяжким бременем легли на плечи молодой женщины, вечно менялся под градом ударов. Одному лишь богу известны муки, терзавшие Оницу, вечно занятую хлопотами по дому. Во всяком случае, я ни о чем не догадывался. Я и не подозревал, сколько переживаний, отвергнутых усилий, униженной любви, тайного беспокойства живут рядом со мной под покровом молчания. Я считал, что главным в жизни Оницы стали банкеты в честь «неповторимых». Но сейчас я понял, что самым родным и близким человеком для Оницы был брат, из-за которого она столько выстрадала. Моей помощью пренебрегли, и я перестал интересоваться судьбой мальчика.

Тем временем в доме номер один по нашему переулку поселился жилец. Этот дом был построен известным калькуттским ростовщиком Удхобом Боралом. Его сыновья и внуки не пожалели сил, чтобы спустить все его состояние. Род пришел в упадок. В живых остались только две вдовы, да и те никогда не жили в особняке, поскольку он был очень запущен. Изредка кто-нибудь снимал его для свадьбы или других празднеств. На этот раз в нем поселился помещик из Нороттомпура раджа Шитаншумаули.

Кстати, я мог и не заметить этого неожиданного вселения. Дело в том, что, подобно Карне, родившемуся в доспехах, я появился на свет в кольчуге рассеянности, очень прочной и массивной, она служила мне надежной защитой от ругани, шума, сутолоки.

Нынешние богачи страшнее стихийных бедствий, потому что они противоестественны. У человека должно быть две руки, две ноги и одна голова. Если же число ног, рук и голов превосходит положенное, это уже не человек, а демон. От основания века демоны стараются выскочить из своих естественных пределов и ужасным шумом и бесцеремонностью доставляют беспокойство как брэнному, так и небесному миру. Не заметить их совершенно немыслимо, хотя в этом нет особой необходимости. Они — болезнь земли, их побаивается сам Индра.

Вскоре я понял, что Шитаншу не человек, а сущий демон. Я никогда не мог себе представить, что один человек может производить столько шума. Со своими экипажами,

лошадьми и целой армией слуг он казался чудовищем о десяти головах и двадцати руках. И огонь, изрыгаемый этим чудовищем, воспламенил стену, отгораживающую мой научный рай от остального мира.

Первая моя встреча с Шитаншумаули произошла на углу переулка. Главное достоинство нашего переулка заключалось в том, что там мог безнаказанно прогуливаться даже такой, как я, рассеянный человек, который ничего не замечал вокруг. Я мог идти по переулку и рассуждать сам с собой о рассказах Мередита, о поэзии Браунинга или о стихах какого-нибудь современного бенгальского поэта, не опасаясь попасть в катастрофу. Но в тот день я внезапно услышал за спиной громкий окрик. Оглянулся и увидел пару огромных гнедых лошадей, запряженных в открытую двухместную коляску. Ее владелец сам правил, а кучер сидел рядом с ним. Бабу изо всех сил дернул вожжи. Я отпрянул к табачной лавке и спасся просто чудом. Бабу был вне себя от гнева. Еще бы! Не мог же он, беспечно правивший своей колесницей, простить столь же беспечно пешехода!

Я уже пытался объяснить подобные явления. Пешеход — человек обыкновенный, у него всего две ноги. У того, кто правит парой лошадей, их, по крайней мере, восемь, и он уже демон. Он занимает чересчур много места, отсюда и проистекают бедствия. Бог двуногого человека бессилен перед восьминогим чудом.

По законам природы я со временем должен был забыть и экипаж, и его владельца, потому что в нашем удивительном мире бывают вещи поинтересней, их и следует хранить в памяти. Но, увы, сосед производил гораздо больше шума, чем это полагается человеку обыкновенному. Так, о моем соседе, живущем в доме номер три, я при желании мог не вспоминать месяцами, но забыть хотя бы на миг о существовании соседа из первого номера было немыслимо!

По ночам его лошади, а их было около десятка, весьма музыкально барабанили копытами по деревянному настилу конюшни, нарушая мой сон. По утрам же, когда его конюхи, а их тоже было около десяти, начинали скрести лошадей, мое доброе расположение духа бесследно улетучивалось. К тому же его носильщики паланкина

были уроженцами Ориссы или Бходжпура, а привратники принадлежали к касте рыбаков Западной Бенгалии, и ни один из них не питал склонности к тихим и вежливым беседам. Таким образом, новый жилец хоть и жил в доме совсем один, умудрялся производить шум бесчисленными способами.

Итак, новый сосед бесспорно был демоном. Он ни от чего не испытывал беспокойства, как сам Равана, которого даже не тревожил храп его собственных двадцати носов. Но войдите в положение его соседа. Небесный рай прежде всего поражал красотой своих пропорций, а дьявол, нарушивший райский покой и благодать, — несоразмерностью. И вот этот дьявол, оседлав мешок с деньгами, атаковал жилище обыкновенного человека. Его лошади, можно сказать, наступают на пятки скромного пешехода, а он, видите ли, приходит еще в ярость!

Однажды вечером никто из моих «неповторимых» не зашел ко мне, и я сидел, погрузившись в чтение книги о природе морских приливов и отливов. Вдруг что-то перелетело через ограду и стукнулось о переплет моего окна. То был меморандум моего соседа — теннисный мяч. Притяжение луны, биение пульса земли, самые древние системы стихосложения мира, — все разом вылетело у меня из головы. Сосед не мог быть мне ничем полезен, и в то же время невозможно было не думать о нем. Через минуту примчался, запыхавшись старый Одждо, мой единственный слуга. Мне никогда не удавалось его дозваться, мой истошный крик не оказывал на него никакого действия. Он неизменно говорил, что работы много, а он один. А сейчас я стал свидетелем того, как он без лишних напоминаний схватил мяч и помчался в соседний дом. Оказалось, что за каждый доставленный мяч ему платили четыре пайсы.

Вскоре я убедился, что разбит не только мой оконный переплет — нарушено душевное равновесие моих слуг. Меня не удивляло, что с каждым днем росло презрение Одждо к моей ничтожной особе, но вот и председатель «Общества неповторимых» Канайлал стал тянуться к соседнему дому. И все же я был уверен в преданности Канайлала. Но вот однажды я увидел, как он, обо-

гнав старого Одждо, схватил мяч и со всех ног побежал к соседу. Я понял: он ищет повода для знакомства, и я усомнился в бескорыстной дружбе, которой нас учит веданта. Да, одной амритой такой сыт не будет!

Я пытался зло вышучивать первый номер, говорил, что под его богатыми одеждами скрывается духовная пустота, но это было так же безнадежно, как стремление тучи закрыть собой все небо. Однажды Канайлал заявил, что мой сосед совсем не пустой человек, он бакалавр искусств. Канайлал и сам был бакалавром, поэтому, чтобы не обидеть его, я промолчал.

Вдобавок ко всему первый номер обладал еще и музыкальными талантами. Он играл на корнете, эсрадже и виолончели. Я не причисляю себя к знатокам музыки, которые презирают пение. Но мне кажется, что пение все еще нельзя отнести к высокому искусству. Когда человеку не хватает слов, когда он нем, он прибегает к песне — когда человек не в состоянии мыслить, говорить разумно, он кричит. Доказательством тому служат люди, и поныне находящиеся на низшей ступени развития, — им доставляет удовольствие издавать всевозможные звуки. Но вот я стал замечать, что, по крайней мере, четверо из моих «неповторимых», стоит им услышать виолончель первого номера, уже не в состоянии сосредоточиться на новом разделе математической логики.

Как раз в то самое время, когда члены моего кружка стали тянуться к первому номеру, Онаила сказала мне:

— Какой у нас беспокойный сосед! Давай переедем в другое место.

Я был несказанно рад.

— Видите, как бесхитростны женщины! — сказал я своим коллегам. — Они не способны осмыслить того, что требует доказательств, но быстро понимают очевидное.

— Такое, как, например, злой дух, появление души усопшего брахмана, величие праха от его ног, воздаяние за почитание супруга и тому подобное, — пошутил Канайлал.

— Да нет, — возразил я. — Вас ослепило великолепие первого номера, но Онилу не обманули его пышные одеяния.

Жена несколько раз заводила разговор о переезде. Я жаждал переехать, но было лень бродить по калькуттским переулкам в поисках нового дома. И вот, в один прекрасный день, я увидел, что Канайлал и Шобиш играют в теннис у первого номера.

Потом до меня дошли слухи, будто Джоти и Хорен посещают музыкальные вечера первого номера и снискали там всеобщее восхищение — один своей игрой на фисгармонии, другой умением владеть барабанами, а Орун исполнил шуточных песен. Пять лет я знал этих людей, но не подозревал в них таких талантов. Я полагал, что основная страсть Оруна — сравнительное изучение религиозных систем. Где мне было догадаться, что он мастер петь шуточные песни!

Говоря откровенно, при всем моем презрении к первому номеру, в душе я завидовал ему. Не смешно ли? Я, который умел мыслить, выносить суждения, мгновенно схватывать суть явлений, решать сложнейшие проблемы, — завидовал какому-то Шитаншумаули!

По утрам первый номер гарцевал на великолепном скакуне, с какой удивительной ловкостью управлялся он с поводьями! Я, вздыхая, глядел на него, воображая и себя на таком скакуне. К сожалению, я никогда не отличался ловкостью.

Я не любитель музыки, но не раз ловил себя на том, что украдкой подсматриваю в окно Шитаншу, когда он играет на эсрадже, и восхищаюсь его искусством. Инструмент в его руках казался женщиной, которая щедро дарит все свои сокровища возлюбленному. Вещи, дома, животные, люди легко подчинялись Шитаншу, подпадая под его власть и обаяние. И я не мог не считать это свойство Шитаншу редкостным даром. Ему ничего не нужно добиваться, все дается ему без труда, словно по мановению волшебной палочки.

Когда мои «неповторимые» один за другим стали поддаваться соблазнам первого номера, я понял, что единственное средство спасти их — это переехать в другой дом. И вот однажды утром явился маклер и сообщил, что в районе Боронагора и Кашипура есть подходящий для меня дом. Вопрос был решен, и я пошел сказать жене, чтобы она готовилась к переезду. Но не нашел ее ни в

кладовке, ни на кухне. Она сидела в спальне у окна, прильнув лбом к оконной решетке. Заметив меня, она встала.

— Завтра переезжаем на новую квартиру, — сообщил я.

— Давай подождем до пятнадцатого, — неожиданно попросила Она.

— Почему? — удивился я.

— Скоро будет известно, как Шородж сдал экзамены. Я очень волнуюсь, мне не до сборов.

Образование Шороджа было одним из многих вопросов, которые я никогда не обсуждал с женой. Итак, неожиданно для меня пришлось отложить переезд на несколько дней. За это время я узнал, что Шитаншу скоро уезжает путешествовать в Южную Индию, таким образом, тень, нависшая над вторым номером, сама собой исчезнет.

Но вдруг поднялся занавес, и начался пятый акт жизненной драмы. Накануне того памятного дня Она ушла к мачехе и, вернувшись лишь на следующий день, заперлась у себя в комнате. Она знала, что вечером в честь полнолуния у меня соберутся «неповторимые» и надо приготовить угощение. Я постучал к ней, чтобы обо всем договориться. В ответ — ни звука.

— Ону! — крикнул я тогда.

Спустя несколько минут Она отперла дверь.

— У тебя все готово для вечера? — спросил я.

Жена молча кивнула.

— Не забудь про пончики с рыбой и соус из чернослива, их любят все.

Выйдя из комнаты, я увидел Канайлала.

— Сегодня приходите все пораньше, Канай, — сказал я ему.

Канай удивился:

— Неужели мы соберемся сегодня?

— А почему бы и нет! — весело ответил я. — Все готово от книги новых рассказов Максима Горького и критических замечаний Рассела на учение Бергсона до пончиков с рыбой и соуса с черносливом.

Канай остолбенело смотрел на меня.

— Не надо сегодня, «неповторимый», — помолчав, проговорил он.

В конце концов, я добился от него, в чем дело. Накануне вечером мой шурин покончил с собой. Шорудж провалился на экзаменах и, не снеся упреков мачехи, повесился на своем чадоре.

— Откуда ты узнал об этом? — спросил я Канайлала.

— Первым номер сообщил.

Опять он! А произошло это вот как. Узнав о несчастье, Онаила не стала дожидаться экипажа, а, взяв с собой Одждох, вышла на улицу и по дороге в дом отца наняла извозчика. Ночью Шитаншумаули, узнав обо всем от Одждох, тотчас же помчался за ней, потом съездил в полицию и, взяв на себя все хлопоты, связанные с кремацией тела, оставался с Онаилой до самого конца.

Взволнованный, прошел я на женскую половину дома. Я предполагал, что жена заперлась у себя в комнате. Но на этот раз она готовила соус из чернослива на веранде перед кухней. По выражению лица Онаилы я понял, что сегодня ночью рухнула вся ее жизнь.

— Почему ты мне ничего не сказала? — с укором спросил я ее.

Онила взглянула на меня и промолчала.

Я съежился от стыда, потому что, спроси она меня «что могло это изменить», я не знал бы, что ответить. Что бы ни случилось в семье, горе или счастье, я всегда терялся.

— Брось все, Онаила, — сказал я, — никто не придет.

— Почему? — спросила она, глядя на грудку очищенного чернослива. — Я столько наготовила. Неужели все выбрасывать?

— Но мы не можем сегодня заниматься чем бы то ни было.

— А вы не занимайтесь. Будьте просто моими гостями.

Слова Онаилы несколько успокоили меня. «Не так уж сильно она переживает, — подумал я. — Значит, возымели свое действие мои беседы с ней.

Жена моя не могла похвастать ни способностями, ни образованностью, она далеко не все понимала, но в обаянии ей нельзя было отказать.

Вечером у нас собралось всего несколько человек. Кайнайлал не пришел. Не пришли все, кто играл в теннис у первого номера.

Я знал, что на рассвете Шитаншумаули уезжает, и они приглашены к нему на прощальный ужин.

Никогда еще Онаила не подавала такого роскошного угощения. Будучи человеком расточительным, я все же не мог не отметить про себя, что денег была потрачена уйма.

Гости разошлись лишь в половине второго ночи. Утомленный, я отправился спать.

— Пойдем? — сказал я жене.

— Я прежде уберу посуду.

Проснувшись я около восьми утра. Под очками, которые я накануне положил на маленький столик в спальне, лежал листок бумаги. На нем рукой Онаилы было написано: «Я уйду. Не ищи меня. Это бесполезно».

Я ничего не мог понять. Тут же на столике стояла жестяная шкатулка. Я открыл ее. В ней были сложены все украшения жены вплоть до браслетов (не было лишь железного браслета и браслета из ракушек). Здесь же, в шкатулке, лежала связка ключей, завернутые в бумагу рупии и мелкая монета — все, что осталось от расходов за месяц. Там же я нашел блокнотик со списком посуды и вещей, счета прачке, бакалейщику и молочнику — словом, все, кроме ее адреса.

Постепенно я понял, что Онаила ушла навсегда. Я обошел весь наш дом, потом дом тестя — Онаила исчезла. Я никогда не задумывался над тем, что должен делать человек в моем положении. Сердце у меня разрывалось от горя. Неожиданно взгляд мой остановился на соседнем доме с плотно закрытыми окнами и дверьми. У ворот, покуривая трубку, сидел сторож. Страшное подозрение обожгло душу: в то время как я весь ушел в изучение новейшей логики, старое, как мир, человеческое вероломство расставило сети в моем доме. О подобных явлениях я в свое время читал у таких крупных писателей, как Флобер, Толстой, Тургенев, и с наслаждением тщательно исследовал их суть. Но мне и не снилось, что когда-нибудь такая банальность может случиться со мной.

Когда первое потрясение прошло, я попытался поверхностно, будто незрелый философ, разобраться в случившемся. Смеясь над собой, я вспомнил день нашей свадьбы. Я думал о том, сколько пропадет напрасно надежд, усилий, чувств, сколько дней и ночей, лет прожил я слепым, совершенно не замечая, что жена моя — живое существо. А стоило мне прозреть, как все лопнуло, будто мыльный пузырь. Я так и не научился понимать то, что из века в век, преодолевая жизнь и смерть, остается неизменным.

Оказалось, что против обрушившегося на меня гора вся моя философия оказалась бессильной, во мне пробудилась моя первобытная душа и, истомленная жаждой, заметалась, рыдая. Я мерил шагами крышу, долго бродил по веранде, по опустевшему дому. Потом зашел в комнату, где так часто жена в одиночестве сидела у окна, и, словно обезумев, стал лихорадочно перебирать ее вещи. Дернул ящик у зеркала, перед которым Онала причесывалась, и оттуда вывалилась пачка писем, перевязанных алой шелковой лентой. Письма были от первого номера.

В сердце вспыхнуло пламя, я хотел сейчас же сжечь их. Но, причиняя мне невыносимые страдания, эти письма в то же время манили к себе. Я бы на месте умер, если б не прочел их.

Я перечитывал письма раз пятьдесят. Первое письмо было склеено. Онала, наверное, сначала разорвала его, а потом бережно наклеила на лист бумаги. Вот оно:

«Я не опечалюсь, если ты разорвешь это письмо, не прочитав. Мне просто нужно излить душу. Я смотрел на мир широко открытыми глазами и вот впервые, в свои тридцать два года, увидел то, что поистине достойно созерцания. С глаз моих спала пелена, словно ты прикоснулась к ним волшебной палочкой. Прозрев, я увидел тебя и понял, что ты, несравненная, самое совершенное создание тобой же созданного мира. Я уже получил то, что мне причитается, больше мне ничего не надо, хочу лишь, чтобы ты слышала мою хвалу тебе. Будь я поэтом, я не стал бы писать этого письма, а заставил бы весь мир громко повторять мои стихи, славящие тебя. Знаю, ты не ответишь, но пойми меня правильно. Не думай, что я мог

бы причинить тебе страдания, и молча прими мое поклонение. Если мне достанется хоть капля твоего уважения, я буду счастлив. Я не стану называть своего имени, оно известно тебе».

Ни в одном из двадцати пяти писем я не нашел и намека на то, что Онаила отвечала на них. Любой ее ответ прозвучал бы диссонансом, волшебная палочка потеряла бы свою силу, смолкли бы гимны.

Удивительно! Восемь лет провел я с Онаилой бок о бок и только сейчас, прочитав письма чужого человека, понял, каким она была сокровищем. Да, я действительно был слеп. Я получил Онаилу из рук жреца, но оказался не в состоянии заплатить всю цену сполна, чтобы получить ее из рук всевышнего. И потому, что для меня всегда важнее было мое «Общество неповторимых» и новейшие теории логики, я не замечал жены и не смог завоевать ее сердца. И если другой, посвятивший Онаиле свою жизнь, завладел ею, кому я пойду жаловаться?!

В последнем письме Шитаншу писал:

«Я ничего не знаю о твоей жизни, но вижу, что душа твоя страдает. Это для меня огромное испытание. Мои руки, руки мужчины, не хотят оставаться в бездействии. Они стремятся вырвать тебя из-под власти неба, спасти от пустоты твоей жизни. Но боюсь, что и горе твое принадлежит только тебе. А разделить его с тобой я не вправе. Жду до рассвета. Если за это время твое небесное послание разрешит все мои сомнения — на все решусь! Ураган страсти гасит светильник на нашем пути. Но я обуздаю свое сердце и буду повторять: «Будь счастлива!»

Видимо, все сомнения рассеялись и пути этих людей сошлись. По сей день письма Шитаншумаули звучат как заклинания моей души.

Шло время, я больше не увлекался чтением. Сердцем моим владело одно мучительное желание — еще хоть раз увидеть Онаилу, я ничего не мог поделать с собой. И вот я узнал, что Шитаншумаули живет в горах Маисури.

Я поехал туда, несколько раз видел Шитаншу, он прогуливался один, Онилы с ним не было. Может быть, он бросил ее, обесчестив? Не в силах оставаться в неведении, я пошел к нему. Нет нужды пересказывать весь наш разговор.

— Я получил от нее одно-единственное письмо, — сказал Шитаншу. — Вот оно.

Он вынул из кармана покрытую эмалью золотую коробочку для визитных карточек, достал листок бумаги и протянул мне. «Я уйду. Не ищи меня. Это бесполезно».

Тот же почерк, те же слова, то же число и та же половинка голубого листка, вторая половина хранится у меня,



ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

I

До сих пор бабочка — посланец бога свадьбы — не прикасалась к моему челу, но настало время, — мне исполнилось шестнадцать лет, — и она прилетела ко мне. Я потерял покой, едва заснув, просыпался и больше уже не мог смежить глаза. Надо сказать, что некоторые из моих друзей к тому времени давно успели жениться, и только я, безнадежно отстав, все еще прикидывал да взвешивал, как мне скоротать свою одинокую жизнь.

Выпускные экзамены я сдал, когда мне было всего четырнадцать лет. В то время для вступительных экзаменов, так же как и для женитьбы, возраст не имел значения. Учеба давалась мне легко и не угнетала ни разум, ни тело. Так же как мышь без разбора грызет что попало, не думая о том, съедобно это или нет, так и я с самого детства привык читать все, что попадалось под руку. Поскольку книг, не рекомендованных учебной программой, намного больше рекомендованных, в окружавшей меня книжной космической системе солнце внешкольного чтения сияло в миллионы раз ярче школьной премудрости. Несмотря на это и вопреки пессимистическим предсказаниям моего учителя санскрита, экзамены я сдал вполне благополучно.

Отец мой работал помощником судьи, и жили мы тогда то ли в Шатокираи, то ли в Джаханабаде, что-то вроде этого. Должен с самого начала предупредить, что место

и время действия, равно как и имя невесты, вымышлены, поэтому тех, у кого любопытство преобладает над художественным интересом, ждет горькое разочарование.

Однажды отец уехал куда-то для очередного расследования, и мать в его отсутствие решила устроить в нашем доме очередную молитву. Для того чтобы приготовить участникам молитвы еду, а также рассчитаться с ними по окончании церемонии, ей нужна была помощь какого-нибудь брахмана. Свои услуги предложил мой учитель санскрита. Мать за это была ему крайне признательна, чего совсем нельзя сказать о моем отце.

На сей раз я оказался в числе других подарков, предназначенных брахману в оплату за его услуги. Произошло это следующим образом. Для поступления в колледж мне пора было ехать в Калькутту, и все придумывали, чем бы утешить мать, опечаленную предстоящей разлукой с сыном. Все сошлись на том, что если в доме появится маленькая девочка-невестка, то в заботах о ней время пролетит для матери незаметно. Для этой роли вполне подходила дочь моего учителя Кашишори — совсем юная и очень тихая девочка. Главное выяснилось, что и гороскопы наши совпадают. Немалую роль играло также желание матери исполнить святой долг — освободить брахмана от дочери.

Когда мать слегка заколебалась, намекнув, что неплохо было бы взглянуть на девочку, господин учитель заявил, что его дорогая половина уже привезла дочку вчера вечером. Согласия матери не пришлось долго ждать — милость девочки в сочетании с ее добротой быстро сделали свое дело. Мать заявила:

— Девочка, правда, не очень хорошенькая, но это не беда, — главное, что у нее спокойный нрав.

Постепенно все эти разговоры дошли и до меня. Подумать только — дочь моего учителя, от которого я не ждал ничего, кроме каверзных вопросов о склонениях и спряжениях, станет моей женой! Меня поразила невероятность всего этого. Словно в сказке, непривлекательная грамматика, сбросив покров ужасных правил, превратилась в волшебную принцессу.

Как-то вечером мать позвала меня к себе в комнату,

— Господин учитель прислал нам манго и много всяких сладостей, — сказала она. — Попробуй-ка!

Мать знала, что я могу съесть зараз пятьсот штук манго и еще ровно столько же. Поэтому она решила проложить дорогу к моему сердцу с помощью вкусных вещей. Когда я вошел к матери, то увидел, что на коленях у нее сидит Кашишори. Разумеется, я уже не могу вспомнить подробностей, но одно помню очень хорошо — на ней было калькуттское атласное сари, представлявшее собой нагромождение голубых и красных лент, вокруг головы у нее была уложена коса. Помню также, что у нее была смуглая кожа, очень густые брови и неподвижные глаза, напоминавшие глаза какого-то домашнего животного. Других частей лица я не помню — в мастерской творца его, видимо, еще не изваяли, сделав только предварительные наметки. Как бы там ни было, это была вполне нормальная девочка.

Меня распирала гордость. Еще бы, ведь это нечто, закутанное в расшитое блестками сари, принадлежит мне, я ее господин, ее повелитель! В жизни ничто не дается без труда и усилий, а тут от меня ничего не потребовалось, — стоило мне пошевелить мизинцем, и волей небес я превратился бы в жениха.

Своих родителей я видел изо дня в день и поэтому знал, что значит иметь жену. Я обнаружил, что отец, которого раздражали всякие священные церемонии, праздник Савитри тем не менее встречал с радостью. Мать, безусловно, любила отца, но не это приносило ему самую большую радость. Наибольшее удовлетворение он испытывал от сознания, что мать, никогда не зная, на что он может рассердиться, втайне его побаивалась. Это льстило его мужскому самолюбию. Боги, возможно, и не придают большого значения почитанию, которым они постоянно окружены, но для человека такое почитание лестно, потому что доступно не всегда и не всякому.

К чарам девочки я остался равнодушным, но сознание, что уже в четырнадцать лет я мог стать чьим-то богом, приятно волновало кровь. В тот день я ел манго с особым чувством собственного достоинства, и это чувство не позволило мне съесть все, — три штуки я оставил, чего

раньше со мной никогда не случалось и о чем я сожалел весь остаток дня.

Кашишори скорее всего не понимала, какие отношения устанавливаются между нами, — она поняла это несколько позже, когда переехала в наш дом. При виде меня она от смущения старалась забиться в какой-нибудь дальний угол. Это мне очень нравилось! Значит, мое появление оказывает какое-то влияние на окружающих — получать такие подтверждения из области органической химии было бесконечно приятно. Ведь до сих пор никто не испытывал при виде меня ни страха, ни смущения. Своей робостью Кашишори только подтверждала, что она исключительно и полностью принадлежит мне.

Несколько дней я не мог прийти в себя от того, что так быстро превратился из обычного мальчика в столь уважаемую персону. Я мысленно с удовольствием ставил себя на место отца и вспоминал, как он отчитывал мать, когда еда была ему не по вкусу или когда она затевала очередное моление. Я воображал, как Кашишори, по примеру моей матери, будет с готовностью переделывать все, что вызовет у меня недовольство. Я представлял, как делаю ей щедрые подарки, — начиная с крупных банкнот и кончая бриллиантовыми украшениями. Воображение рисовало мне такую картину: все сидят за завтраком, а Кашишори, отказавшись от еды, примостилась у окна и краем сари вытирает слезы, — и я не могу сказать, что подобная картина вызывала у меня слишком большое страдание.

Отец считал, что детей нужно с самого раннего возраста приучать к самостоятельности. И действительно, уборка собственной комнаты и уход за одеждой входили в мои неперемennые обязанности. Вместе с тем в моей памяти встают и другие картины нашей повседневной жизни. Об одной из них, не представляющей собой ничего оригинального, так как подобная картина наверняка имела место и в семейной жизни отца, — я и хочу сейчас рассказать.

Как-то в воскресенье после обеда, удобно устроившись на тахте и вытянув ноги, я просматривал газеты. В руках у меня была длинная трубка. Когда я задремал, трубка упала на пол. Я позвал Кашишори, которая в это

время на веранде сдавала прачке белье. Она быстро вошла в комнату и подала мне трубку.

— Послушай-ка, — сказал я, — в шкафу, в моей комнате налево, на третьей полке стоит толстая английская книжка в голубом переплете. Принеси мне ее!

Кашишори принесла книгу в голубом переплете.

— Но это же не та, та гораздо толще и на корешке надпись золотыми буквами.

Тогда она принесла зеленую книгу. Разозлившись, я с шумом бросил ее на пол. Кашишори вся съежилась, из глаз ее потекли слезы. Мне пришлось пойти за книгой самому — она оказалась не на третьей полке, а на пятой. Я взял книгу и лег, ничего не сказав Кашишори об этом недоразумении. Опустив голову, она пошла на веранду и как ни в чем не бывало продолжала сдавать белье, а я все никак не мог успокоиться — ведь ее бестолковость испортила мне весь отдых!

Итак, отец был занят расследованием по делу о какой-то краже, а моя жизнь протекала по-прежнему. Правда, глаголы, употребляемые господином учителем при обращении ко мне, очень быстро из повелительного наклонения перешли в сослагательное и форма их стала чрезвычайно дружественной.

Но вот отец закончил свои служебные дела и вернулся домой. Я знал, что мать задолго начала готовиться к встрече с отцом. Она решила исподволь, постепенно подготовить его к предстоящему событию. Помочь в этом должны были самые любимые кушанья отца, которые на этот раз мать готовила с особенным старанием. Надо сказать, что отец презирал господина учителя за его жадность.

Разговор с отцом мать начала с того, что слегка по критиковала господина учителя, но зато изрядно похвалила его жену и дочь. К сожалению, старания матери были сведены на нет хвастовством господина учителя, который от радости не мог держать язык за зубами и не упустил случая каждому сообщать, что со свадьбой все решено и осталось только выбрать благоприятный день и что один знакомый чиновник обещал ему уступить для свадьбы пустующее помещение. Каждый предлагал ему свою помощь. Группа адвокатов из конторы отца выразила готовность внести на свадьбу определенную сумму, а

третий сын директора начальной школы господина Бирешора, ученик третьего класса, написал в честь предстоящего бракосочетания целую поэму, где была и луна, и лотосы, и тому подобное. Господин директор — отец мальчика — выходил с этой поэмой к воротам своего дома и заставлял каждого проходящего выслушивать ее с начала до конца, так что вскоре все односельчане заговорили о его талантливом ребенке.

Поэтому понятно, что, когда отец вернулся, он узнал торжественную новость, не успев даже дойти до дома. За этим последовали слезы матери, которая с горя отказалась от еды, суматоха среди домашних, беспричинное увольнение слуг, отказ отца от одного судебного процесса, который был в самом разгаре, неоправданные наказания подсудимых по другому процессу, изгнание господина учителя и, наконец, его отъезд вместе с обладательницей косичек и украшенного блестками сари. В довершение всего еще до окончания каникул меня разлучили с матерью и отправили в Калькутту. Я совсем сник и походил на проколотый футбольный мяч, которому уже не подпрыгнуть в небо, сколько его ни бей.

II

Такова была моя первая неудача на брачном поприще. После этого прикосновение бабочки ни разу не приносило мне удачи. Мне не хочется рассказывать обо всем, поделюсь лишь некоторыми эпизодами этой бесславной истории.

Мне еще не было и двадцати лет, когда я сдал экзамены на магистра, завел себе очки и отрастил усы настолько, что мог их даже подкручивать. Отец в то время работал то ли в Рампурхате, то ли в Ноакхали, то ли в Барашоте. До сих пор я плавал в океане слов, за что и был удостоен драгоценного ученого звания, но теперь настала пора пуститься в океан деловой жизни. Отец начал перебирать в памяти своих начальников, но оказалось, что самый главный начальник умер; другой, что поменьше, получив пенсию, уехал в Англию, третий, еще поменьше, переехал в Пенджаб; большинство же тех, кто



«Женщина»

Художник Р. Таюв

еще жил в Бенгалии, давали поначалу всяческие обещания, а когда дело доходило до выполнения, забывали о них. В те далекие годы, когда мой дед по отцовской линии был помощником судьи, на семейственность в служебных делах смотрели не так строго — если отец уходил на пенсию, его место занимал сын, и так далее. Но настали плохие времена, и отец беспокоился, не придется ли его отпрыску слететь из высокопоставленного государственного курятника на более низкий насест, скажем, в какую-нибудь торговую контору. Но тут он вспомнил о единственной дочери одного богатого брахмана. Брахман был подрядчиком и зарабатывал всякими окольными путями намного больше, чем об этом знали.

Я появился в деревне как раз тогда, когда брахман-подрядчик по случаю Нового года подносил нужным ему людям апельсины и разные иные подарки. Дом моего отца был как раз напротив его дома, нас разделяла только улица. Нечего и говорить, что сын помощника судьи, да еще со степенью магистра, был весьма подходящим кандидатом в зятья. Поэтому господин подрядчик при встрече со мной был настолько приветлив, что, кланяясь, доставал руками чуть не до земли. А то, что руки у него были длинные, он уже успел доказать — ведь добрался же он без особого труда до сердца помощника судьи! Правда, мое сердце оставалось для него пока недостижимым.

Тогда, в мои двадцать лет, мне казалось, что единственным богатством, к которому стоит стремиться, было драгоценное женское сердце. В моей душе ярко горело пламя идеализма. Слово «супруга» не было для меня разменной монетой. До сих пор в нашей стране семья накладывает на человека целый ряд ограничений, но я не мог примириться с таким положением, когда на словах за женщиной признают определенные способности и право иметь свое мнение, а на деле все ее права ограничивают заботами о семье. Я не мог согласиться с тем, что жена, которая должна быть моей вдохновительницей, окажется закованной в кандалы домашнего хозяйства и эти тяжкие кандалы будут тянуть ее назад. Поэтому я сделался рьяным приверженцем новоиспеченных пророков из колледжей, которых, на посмешище всей стране, называли новаторами. Они искренне верили, что традиции не дают

нам идти вперед и что только разрыв с ними приведет к прогрессу.

Таким был и я, Сриджукто Шоноткумар, когда передо мной, как перед будущим зятем, замаячил мешок с деньгами. Отец на это реагировал восклицанием: «Превосходно!» Я ничего не ответил, но про себя подумал, что неплохо бы узнать что-нибудь и о самой девушке. Когда же я приоткрыл глаза и уши, то увидел и узнал немало.

Оказалось, что девушка своей миниатюрностью и хорошеньким личиком напоминает куколку, — она казалась игрушечной, словно кто-то старательно нарисовал ей брови и прилизал на голове каждый волосок. Ее мать отличалась такой приверженностью к индуизму, что не принималась за приготовление пищи, пока не становилась от омовений в Ганге черно-синей, как каменный уголь. Ее всегда чрезвычайно смущал тот факт, что кормилица-земля терпит на себе такое количество разных каст; сама она по этой причине общалась в основном с водой, поскольку рыбы не могут быть мусульманами. Главным в ее жизни было следить за собственным телом и домом, а также за всем, что ее окружает, — одеждой, посудой, постелью. Ей и дня не хватало на это! Дочь свою она воспитала настолько безупречно, что та вообще не осмеливалась высказать свое мнение или чего-нибудь пожелать: любое приказание, каким бы трудным оно ни было, она выполняла, не требуя никаких объяснений. Она не надевала к столу хороших платьев, боясь их осквернить, прекрасно знала, каких людей нужно остерегаться, и могла наизусть прочесть санскритский гимн Ганге. Словом, эта девушка жила, отгородившись от всего восемнадцатью пуранами, и даже в Ганге омывалась, прячась от глаз людских. Моя мать питала к священным обрядам не меньшее уважение, но она не хотела, чтобы кто-то, почитающий их в еще большей степени, относился к ней свысока. Поэтому, когда я сказал:

— Ма, я совсем не гожусь такой девушке, — она ответила:

— Думаю, что и в раю для нее не нашлось бы подходящего жениха.

— Пожалуй, мне лучше от нее отказаться, — сказал я,

— Это еще почему? Неужели девочка тебе совсем не понравилась? Ведь она такая милостивая!

— Ма, ведь жена нужна не для того, чтобы ею любоваться, нужно, чтобы она была еще и умна.

— А откуда ты взял, что у нее нет ума?

— Если бы был ум, — ответил я, — она бы не смогла вести такой бездеятельный, бессмысленный образ жизни. Она бы не выдержала!

Мать расстроилась. Она знала, что отец уже дал согласие на этот брак, и также знала, что отец часто забывает о том, что и другие могут иметь свое мнение. Как знать, если бы отец не принуждал меня с такой яростной настойчивостью, я, возможно, со временем смирился бы с мыслью о женитьбе и начал бы ради денег поститься, совершать омовения на берегу Ганги и, наверное, заслужил бы себе вечное спасение. Если бы за это дело взялась моя мать, она бы не спешила и постаралась воздействовать на меня и, возможно, добилась бы успеха. Но отец избрал другой путь. Он ругал меня и попрекал, пока я, разозлившись, не заявил:

— С самого раннего детства ты приучал меня к самостоятельности! Почему же, когда дело дошло до моей женитьбы, моя самостоятельность тебе не по нраву?

Вряд ли кто-нибудь когда-либо добивался успеха с помощью логических построений, — разве только на экзаменах по логике. В жизни разумные доводы всегда действуют на людей, как масло на огонь. Отец почему-то считал, что раз он дал родственникам невесты слово, то я должен жениться, и нечего тут доказывать. Если бы я ему напомнил, что в свое время мать тоже дала согласие господину учителю и нарушение нашего слова повлекло за собой не только расстройство свадьбы, но и изгнание господина учителя, отец наверняка возбудил бы против меня уголовное дело. Он начал к месту и ни к месту внушать мне, что святость, вера в богов и исполнение обрядов намного важнее ума, самостоятельного мышления и собственных взглядов на вещи, он объяснял мне, как глубока и прекрасна поэтичность обрядов, как важна верность символам, как возвышен символизм религии.

Я сдерживал свой язык, но сдержать гнев души не мог. Мне хотелось ему сказать: «Если ты действительно

так считаешь, то почему выращиваешь в своем хозяйстве запретных кур, а не какую-нибудь другую птицу?» И еще я вспоминал, как отец без стеснения ругал мать за всякие религиозные церемонии, называя их бесполезными, и все лишь потому, что эти церемонии мешали ему отдыхать! Мать, конечно, тут же каялась в своих ошибках, кляла женскую глупость и, низко опустив голову, словно стараясь смягчить удар, принималась за приготовление угощений для брахманов. Но всевышний, увы, создал жизнь не по строгим законам логики, и поэтому, на нелогичного человека можно только сердиться — доказывать ему что-нибудь бесполезно! Всякого рода логические построения только увеличивают непонимание — об этом следует помнить каждому, кто вздумает проповедовать свои взгляды в обществе или в семье. Если лошадь решит, что запрягать ее в повозку несправедливо, и начнет лягать повозку, от несправедливости она не избавится, а только разобьет себе ноги. Но я в те времена со свойственной юности непримиримостью требовал логичности во всем. Логика помогла мне избавиться от старомодной девицы, но при этом я лишился поддержки отца.

— Можешь со своей самостоятельностью идти на все четыре стороны! — заявил он.

Я коснулся рукою праха у его ног и ответил:

— Как тебе будет угодно...

Присутствовавшая при этом разговоре мать заплакала.

Так я лишился денег, но поскольку, кроме отца, у меня была еще мать, время от времени почтальон приносил мне денежные переводы. Источник этот, правда, не походил на золотой дождь, а скорее на капли ночной росы, но он-то и дал мне возможность заняться торговлей. Начал я с семидесяти девяти рупий. Прибыль, которую сейчас дает мое предприятие, хотя и не так высока, как утверждает завистливая молва, но все же она не меньше двух миллионов.

Посланцы бога бракосочетаний продолжали меня преследовать. Со временем все дома, которые раньше были для меня закрыты, теперь приветливо распахнули свои двери. Я вспоминаю, как когда-то в юности, преисполненный честолюбивых планов, я осмелился потянуться сердцем к одной шестнадцатилетней девушке (боясь слишком

строгую оценку теперешних ортодоксальных читателей, я несколько изменил ее возраст), но оказалось, что родители присматривают для нее какого-нибудь чиновника, в крайнем случае, адвоката. Я же по их системе измерений находился намного ниже нулевой отметки.

А позже меня в этом доме не только угощали чаем, но и оставляли на обед и на ужин, после чего я играл с девушками в вист, прислушиваясь к их разговорам на изысканном английском языке. Но я, к сожалению, учился английскому по Расселсу и Эдисону Ситлу, и где уж мне было тягаться с этими девушками! Я не умел с нужной интонацией произносить разные восторженные восклицания, вроде: «О дорогая, о душечка, милочка!» Моих знаний английского хватало на то, чтобы что-нибудь купить или продать, но когда я думал о том, что мне нужно на английском двадцатого века объясняться в любви, исчезала сама любовь. И вместе с тем родной язык этих девушек был настолько беден, что того, кто попытался бы завести с ними беседу на прекрасном бенгальском, введенном в оборот еще Бонкимом, постигло бы глубокое разочарование.

Как бы там ни было, пришло время, когда и эти англизированные девушки стали для меня вполне доступными. Но тот волшебный мир, который рисовался мне, когда я заглядывал в него через замочную скважину, полностью исчез, когда дверь передо мной распахнулась. И тогда я подумал, что эти девушки, слепо подражающие английским манерам, ведущие пустой и бездеятельный образ жизни, тратящие дни и годы на всякие никчемные мелочи, недалеко ушли по уму от тех верующих девочек, которые целиком поглощены монотонным круговоротом однообразных и бессмысленных религиозных обрядов. Если те замирали от ужаса, когда замечали ошибки в обращении к старшим или при совершении обряда омовения, то эти начинали сомневаться в принадлежности к роду человеческому того несчастного, который неправильно произносил английские слова или не совсем верно держал вилку или ложку. Те — куклы местного производства, эти — заграничные; поведение тех и других определяется не их разумом, а механизмом привычек. В результате я потерял уважение к женщинам вообще и пришел к

выводу, что с их умом они просто не способны жить иначе, как в непрерывном круговороте обрядов либо среди поставленного на широкую ногу безделья. Где-то я читал, что есть бактерии, которые находятся в постоянном вращении. Но ведь человек не бактерия, он должен не вертеться без всякого смысла, а сознательно двигаться вперед! Разве даст всевышний свое благословение на брак с таким несколько исправленным вариантом бактерий?

Чем старше я становился, тем труднее мне было решиться на брак. В определенном возрасте человек может жениться и без особых раздумий. Правда, для этого нужно быть несколько опрометчивым, а я, к сожалению, не из таких. Кроме того, мне непонятно, каким образом здравомыслящая девушка вдруг ни с того, ни с сего согласится стать моей женой. Говорят, что любовь слепа, но в такой ситуации не стои́т полагаться на слепоту. Тут и двух глаз мало! Вот когда появится третий, который будет трезво смотреть на меня, я поверю, что он сможет во мне что-то разглядеть. У меня, без сомнения, есть немало достоинств, но ведь нужно время, чтобы их обнаружить, — с первого взгляда немного увидишь! У меня, например, курносый нос, но этот недостаток полностью компенсируется моим умом. Тем не менее нос виден с первого взгляда, а ум создатель постарался запрятать довольно глубоко. Словом, каждый раз встреча со взрослой девушкой, которая после чрезвычайно кратковременного знакомства со мной отвечает согласием на первое же мое предложение, уменьшает мое уважение к девушкам вообще. Я бы на месте такой девушки заставил господина Шоноткумара сделать курносым носом глубокий вдох и похоронить навек свои планы, а заодно и самоуверенность.

Таким образом, моя лодка, свободная от супружеского груза, плыла благополучно, но до пристани пока не добралась. Итак, жены у меня не было, и поэтому, наряду со своими торговыми делами, я все больше внимания уделял устройству своего быта. Иногда я даже забывал, что время не стоит на месте и моложе я не становлюсь. Но вскоре произошло событие, напомнившее мне об этом.

Приехав по поводу некоей тяжбы на слюдяной рудник в один из городов Чотонагура, я встретил там господина

учителя, сын которого работал на этом руднике. Поселился я в доме на опушке того самого леса, где на берегу реки жил господин учитель.

Тогда я своим богатством был уже известен на всю Бенгалию. Господин учитель сказал, что всегда верил в мое блестящее будущее. Возможно, но в таком случае он это очень искусно скрывал. А вообще-то мне неясно, на чем он основывал свои предположения. Может быть, все незаурядные личности отличает то, что, будучи студентами, они не знают, где писать зубное «ш», а где церебральное?

Кашишори жила в доме отца, и поэтому я смог ее навестить. Хотя жена учителя умерла несколько лет назад, окруженный внучками, он не чувствовал одиночества. Не все они были его собственными, двое были внучками его покойного брата. Присутствие этих детей скрашивало закат его жизни. Девочки резвились вокруг него, словно рыбки в бурной реке, бегущей по гальке, — то и дело слышался их журчащий смех и громкие всплески веселья.

— Как поживаете, господин учитель? — спросил я его.

Он ответил:

— Ваши английские книги пишут, что у Сатурна есть лунный венец. Так вот эти дети и есть данный мне в утешение лунный венец.

То, что я увидел в его бедном жилище, заставило меня еще острее почувствовать мое одиночество. Я понял, что сгибаюсь под бременем забот. Господин учитель не чувствует своих лет, я же их чувствую очень хорошо. Когда я говорю, что чувствую свой возраст, то имею в виду то, что с годами я стал самостоятельным, избавился от нужды, но эта свобода принесла с собой пустоту, которую нельзя заполнить ни деньгами, ни славой. Жизнь не дает мне радости, я лишь коплю материальные ценности, о бесполезности которых мы привыкли забывать. И когда я увидел дом господина учителя, я понял, наконец, насколько пусты мои дни и одиноки ночи. Учитель был уверен, что я намного счастливее его, но это вызывало у меня только усмешку. В его мире царил счастье! И если мы не сможем создать себе такой же мир, мы останемся висеть между небом и землей, словно мифический герой

Тришанку. Различие между господином учителем и мною в том и состоит, что он нашел свое счастье, а я нет.

Развалившись в кресле, я курил и думал о том, что каждый мужчина имеет свое высшее божество: в детстве — мать, в юности — жену, в зрелом возрасте дочь или невестку, и, наконец, в старости — внучку или внука. Выходит, что именно женщина помогает мужчине обрести полноту жизни. И падо же, чтобы именно здесь, в безлюдном шумящем лесу, мной овладела эта мысль! Я старался вообразить себе остаток моей жизни, и та безысходная пустота, которая предстала перед моим мысленным взором, заставила сжаться мое сердце. Я представил себе, как, устав от блуждания по этой пустыне, изнемогая под тяжестью накопленных денег, я не знаю, где преклонить голову, чтобы спокойно умереть. Мне стало ясно: больше медлить нельзя!

Мне перевалило за сорок — и мои пятьдесят подкарауливают меня на каждом углу, чтобы отобрать у меня последнее достояние молодости, — я уже отсюда вижу костлявые жадные руки! Но пора кончать разговоры о разбое, пора подумать и о жизни. Прожитого не изменишь, но еще есть время перекинуть мост к новой жизни.

Я должен был оттуда поехать по делам в один из городов на западе Бенгалии. Мне необходимо было переговорить с состоятельным бенгальским ростовщиком по имени Бишопоти. Человек он был чрезвычайно осторожный, и, чтобы договориться с ним, требовалось немало времени. И вот, когда однажды, потеряв всякое терпение, я решил про себя, что с ним дела не сделаешь, и уже велел слуге укладывать вещи, Бишопоти пришел ко мне и сказал:

— У вас обширный круг знакомств, вы могли бы при желании выручить одну вдову.

Дело заключалось в следующем.

Некий Нондокришно до переезда сюда работал в Берали директором бенгало-английской школы, и работал неплохо. Поэтому все недоумевали, почему такой достойный и образованный человек вдруг, бросив все, приехал сюда в захолустье и согласился на столь низкую плату. В Берали он славился не только тем, что успешно готовил учеников к экзаменам, но и тем, что принимал участие во всех благотворительных мероприятиях. И вдруг обна-

ружилось, что его красавица жена принадлежит к низкой касте. По существующим обычаям, если даже тень такой женщины падает на воду, эта вода становится непригодной для питья и вообще теряет свои священные свойства. Когда окружающие начали высказывать Нондокришно свое неодобрение, он заявил, что она действительно из низкой касты, но тем не менее она его жена. Тогда стали интересоваться, как мог быть заключен подобный брак. Тому, кто задал подобные вопросы, Нондокришно заявил:

— Вот вы дважды женились, каждый раз с благословения Вишну, и, как видно, ни разу не были счастливы. Мое бракосочетание происходило не перед изваянием Вишну, и все же всевышний знает, что мой брак намного законнее вашего, — это подтверждает каждый день, каждая минута нашей жизни. А больше мне нечего вам сказать!

Ясно, что получивший подобные разъяснения едва ли мог быть удовлетворен. А поскольку он оказался одним из тех, кто умеет делать людям гадости, Нондокришно пришлось оставить Берали и поселиться в этом городишке, где он сделался адвокатом. Нондокришно был человеком на редкость принципиальным — он мог голодать, но в защиту несправедливости не выступал никогда. И если сначала из-за своего характера он испытывал одни неприятности, то потом был вознагражден. Начальство прониклось к нему доверием, он построил дом и, наконец, устроил все свои семейные дела. Но тут, как на зло, начался страшный голод. Страна буквально вымирала. Когда Нондокришно однажды заявил судье, что кое-кто из тех, на кого возложена обязанность оказывать помощь населению, занимается воровством, судья только руками развел:

— Где теперь найдешь честного человека?

— Если доверите, я возьмусь за эту работу, — предложил Нондокришно.

И он взвалил на свои плечи груз, который оказался настолько тяжелым, что однажды вечером бедняга скончался под деревом где-то посреди поля. Доктор сказал, что смерть наступила от разрыва сердца.

Все это мне было известно, и однажды, сидя в нашем клубе и будучи в весьма приподнятом настроении, я воскликнул:

— Люди, которые, подобно Нондокришно, немногого добиваются в жизни и умирают, не оставив после себя ни денег, ни громкой славы, именно такие люди помогают поднять жизнь на более высокую ступень!..

Не успел я договорить, как почувствовал, что лодка моего красноречия вот-вот сядет на мель, и слова застыли на моих губах. Дело в том, что один из присутствующих — состоятельный и достопочтенный человек — читавший до сих пор газету, посмотрел на меня поверх очков и воскликнул:

— Bravo, bravo!

Но оставим это. Я узнал, что вдова Нондокришно живет вместе со своей единственной дочерью в этой же деревне. Девочка родилась в праздник огня — Дивали, и поэтому отец дал ей имя Дипали, что значит «Луч света». Поскольку вдова была отвергнута обществом, ей пришлось собственными силами и растить дочь, и учить ее. Сейчас девушке двадцать пять лет. Здоровье матери неважное, да и возраст почтенный; и если она умрет, — а это может случиться в любую минуту, — девушка останется абсолютно одна. Вот почему господин Бишопоти и попросил меня:

— Вы бы сделали благое дело, если бы подыскали для девушки жениха.

Я всегда относился к Бишопоти с некоторой неприязнью, поскольку считал его человеком расчетливым, сухим и эгоистичным. Но когда я увидел, как он изо всех сил старается помочь этой оставшейся без отца бедной девушке, сердце мое дрогнуло. И я вспомнил рассказы о том, как в древности вынимали из желудка умершего зерна злаков и предавали их земле, а потом из этих зерен вырастали побеги. Наверное, и в куче пепла, оставшегося после сожжения, не может исчезнуть присущая человеку доброта!

— У меня есть жених, — сказал я Бишопоти. — Уверен, что он согласится. Получите согласие невесты и назначайте день свадьбы.

— Но ведь он еще не видел девушки.

— Это неважно.

— Может быть, жених рассчитывает получить хорошее приданое? Но ведь его вообще нет. Даже если мать умрет, он получит всего-навсего дом, да еще какую-нибудь мелочь.

— Жених сам достаточно богат, так что об этом можете не беспокоиться.

— Может быть, вы назовете его имя?

— Этого я пока что не сделаю, — ведь осведомленность о личности жениха никогда не была гарантией удачи в таком деле.

— Но матери-то надо его как-то описать!

— Скажите, что у него, как у любого другого, есть и недостатки и достоинства. Недостатки его не столь велики, чтобы всерьез тревожиться, а достоинства не так уж значительны, чтобы привести в восторг. Насколько мне известно, родители его знакомых девушек весьма к нему благосклонны, мнение же самих девушек, как всегда, остается тайной.

Когда я увидел, какой благодарностью после всего услышанного преисполнился Бишопоти, мое уважение к нему выросло еще больше. И я готов был уступить ему и подписать даже те деловые бумаги, из-за которых мы так долго спорили и которые, из-за назначенных им цен, были мне совершенно невыгодны.

На прощание Бишопоти сказал:

— Передайте жениху, что, конечно, далеко не все выгодно для него в этом браке, но что касается самой девушки, то лучшей ему нигде не найти.

«Если царицей моего сердца я сделаю девушку, отвергнутую обществом, — думал я, — она сумеет оценить это и будет скромной в своих желаниях. Девушка же с большими претензиями будет требовать все больше и больше. Светильник Дипали предназначен для простого жилища, и поэтому для него не будет разорным осветить мой дом».

Однажды вечером, когда я уже при свечах просматривал английскую газету, мне сообщили, что меня хочет видеть какая-то девушка. Дома не было ни одной женщины, и я слегка растерялся. Не успел я подыскать нужные извинения, как девушка вошла в комнату и вежливо

поклонилась. Я не решался ни взглянуть на нее, ни что-либо сказать.

— Меня зовут Дипали, — услышал я.

Голос был очень приятный. Когда я набрался храбрости и взглянул на нее, то увидел лицо, преисполненное ума и нежности. Она была с непокрытой головой, в светлой национальной одежде современного покроя. Пока я обдумывал с чего бы начать наш разговор, она сказала:

— Пожалуйста, не старайтесь устроить мою свадьбу!

Можно было ожидать всего, что угодно, но только не этого, и я продолжал думать, что она просто слишком польщена сделанным ей предложением.

— Но вы знаете, какому жениху вы отказываете? — спросил я.

— Любому!

В материальных вещах я, разумеется, разбираюсь больше, чем в психологии, а что касается женского сердца, то оно мне кажется сложнее даже бенгальского живописания. Но все же мне показалось, что эти слова не были до конца искренними. Поэтому я продолжал:

— Жених, которого я имею в виду, не заслуживает такого пренебрежения.

— Я вовсе не пренебрегаю им, — сказала Дипали, — но я не выйду замуж.

— Человек, о котором я говорю, относится к вам с большим уважением.

— И тем не менее не уговаривайте меня!

— Ну что ж, не буду. В таком случае, может быть, я смогу помочь вам устроиться на работу?

— Было бы очень хорошо, если бы вы устроили меня преподавательницей в какую-нибудь женскую школу и помогли уехать отсюда в Калькутту.

— Хорошо, у меня есть подходящее место. Я вас устрою.

Это была не совсем правда. Я ничего не знал о женских школах, но разве плохо организовать такую школу?

— Не могли бы вы зайти к нам и рассказать обо всем моей матери? — попросила Дипали.

— Завтра же утром зайду.

Дипали ушла. Я свернул газету, вышел на крышу и сел в кресло. Я смотрел на звезды: «Неужели это правда,

что именно вы — миллионы далеких созвездий — определяете судьбу человека и его брачные узы?!

Вдруг без всякого предупреждения на крыше появился средний сын Бишопоти, Шрипоти, И у нас произошел примерно такой разговор.

Шрипоти ради женитьбы на Дипали готов порвать с обществом. Отец заявил, что, если Шрипоти сделает этот ужасный шаг, он от него отречется. Дипали считает, что она не стоит того, чтобы кто-то ради нее подвергался таким страданиям и унижениям. Кроме того, Шрипоти с детства жил в богатом доме, и, по мнению Дипали, он не перенесет той бедности, которая ждет его, если он будет отвергнут обществом. Все это сейчас обсуждается, и ничего пока не решено. И в это самое время появляюсь я со своим женихом и окончательно запутываю и без того сложную ситуацию. Поэтому Шрипоти просит меня выйти из игры, так сказать, удалиться, как из пьесы удаляют лишний персонаж. На это я сказал:

— Коль скоро я вошел в игру, я из нее не собираюсь выходить, а если и уйду, то не иначе, как разрубив этот узел.

День свадьбы не был изменен. Заменен был только жених. Просьбу Бишопоти я таким образом выполнил, хотя это и не доставило ему особой радости. Просьбу Дипали я не выполнил, но сердце подсказывает мне, что она осталась довольна. Я не знаю, нашлось бы для нее место в школе или нет, но в моем доме место дочери было свободно, и она его заняла. Таким образом, я доказал Шрипоти, что не совсем бесполезен в их пьесе. Его семейный светильник загорелся в моем калькуттском доме. Я считал, что пробел, который образовался в моей жизни из-за того, что я вовремя не женился, можно заполнить только поздней женитьбой, но всевышний решил вознаградить меня и помог перешагнуть сразу через несколько ступеней. Сейчас в мои пятьдесят восемь лет в моем доме уже есть и внучка и внук. Правда, с Бишопоти мне пришлось порвать деловые отношения — дело в том, что жениха он до сих пор не переносит.



О Б Ы Ч А Й

У Читрагупты в списке грехов есть грехи намеренные и невольные. Невольные человек совершает незаметно для самого себя, намеренные — сознательно. Тот грех, о котором я собираюсь рассказать, именно такого рода. И прежде чем пускаться в объяснения с Читрагуптой, мне следует признаться в содеянном, тогда тяжесть вины будет меньше.

Это случилось вчера, в субботу. Недалеко от нас справляли какой-то праздник. В этот день мы ехали с женой Коликой на автомобиле к Нойонмохону на чашку чая.

Коликой, что означает бутон, жену мою назвал тесть, я тут ни при чем. Это имя ей не подходило, так как взгляды ее вполне сформировались. Во время бойкота английских тканей коллеги по партии стали почтительно называть ее «Поборница истины». Меня зовут Гиридро, что значит Гималаи. Членам партии я известен как муж Колики, и им совершенно все равно, что означает мое имя. Благодарение богу, кое-что из отцовского состояния перепало и мне, и члены партии вспоминают об этом во время сбора пожертвований.

Лишь при разных натурах супругов союз их бывает прочным. Сочетание сухой земли и потоков воды всегда благодатно. Я человек слабохарактерный, а у жены, напротив — характер твердый — уж она от своего не отступится. Это, собственно, и поддерживает мир в нашей семье.

Об одном только мы никак не можем договориться. Колика почему-то считает, что я не патриот. А я, сколько ни стараюсь, не могу разубедить ее в этом, тем более, что мой искренний патриотизм никогда не отвечал чисто формальным требованиям ее партии.

С детских лет я библиофил. Не пропускаю ни одной новинки. Даже враги не станут отрицать, что я не только скупаю книги, но и читаю их, а друзьям моим хорошо известно, что я еще люблю обсудить прочитанное. Собственно, из-за этого друзья и стали меня избегать. В конце концов, у меня остался один-единственный собеседник — Бонбихари, «Бродящий по лесу», с которым мы встречаемся по воскресеньям. Я прозвал его Конбихари — «Сидящий в углу». Бывало, мы засиживались до глубокой ночи. Это были тяжелые времена. Полиция подозревала в заговоре всякого, у кого обнаруживали «Бхагавадгиту», а наши индийские патриоты считали предателем любого индийца, который брал в руки английскую книгу. Меня они называли индийцем с европейской душой. Так как цвет Сарасвати — белый, то редко кто из истинных патриотов в те дни поклонялся ей. Прошел даже слух, будто воды пруда, в котором расцветают ее белые лотосы, не только не погасят губительного огня, но еще сильнее разожгут его.

Ни хороший пример моей жены, ни ее настоятельные требования не заставили меня надеть кхаддар, и вовсе не потому, что я предпочитаю эlegantный костюм. Напротив, как бы сильно я ни провинился перед национальными обычаями, в излишнем щегольстве меня упрекнуть нельзя. Я могу носить грубую, даже грязную одежду. Во времена, предшествовавшие духовному перевороту Колики, у нас с ней едва не дошло до полного разрыва, и все из-за моих привычек: я покупал на китайском базаре тупоносые туфли, забывал их чистить, считал сущим несчастьем надевать носки, а панджаби предпочитал носить без пиджака, причем не замечал, когда на нем отрывались пуговицы.

— Послушай, — говорила жена, — мне стыдно выйти с тобой.

— Что ж, — отвечал я ей, — иди одна, тебе ни к чему изображать преданную супругу.

Теперь времена переменились, но судьба моя осталась прежней. Колика все так же твердит: «Мне стыдно выйти

с тобой». Тогда я не признавал костюма ее прежних соратников, теперь не признаю формы ее новых друзей. В результате жена снова стыдится меня. Что поделасшь, такой уж я человек — приспособляться не умею и справиться с собой не могу. Но Колике нет до этого дела. Как поток старается увлечь большие камни, так и жена моя стремится каждому навязать свой вкус. И стоит ей натолкнуться на сопротивление, как она выходит из себя.

Вчера, перед тем как отправиться в гости, Колика в тысячу первый раз завела разговор о кхаддаре, причем тон ее не сулил ничего хорошего. Чувство собственного достоинства не позволило мне молча снести ее упреки, и поэтому я тоже в тысячу первый раз не преминул уколоть ее (какой только глупости не совершишь из-за своего дурного характера):

— Вы, женщины, закрываете данные вам богом глаза своим покрывалом, для вас главное — обычай. Вы предпочитаете поклоняться, а не мыслить. Вы бы охотно втиснули и вкусы и разум в узкие рамки обычаев. Носить кхаддар в нашей стране вошло в обычай так же, как надевать гирлянду или ставить тилак. Вот почему вы так ратуете за него.

Колика так и вскипела. Служанка, находившаяся в соседней комнате, наверняка подумала, что жена ссорится со мной из-за украшений.

— Видишь ли, — заявила мне Колика, — мы ничего не добьемся до тех пор, пока носить кхаддар не станет для нас таким же обычаем, как совершать омовения в Ганге. Поведение человека — это преломление его разума сквозь призму характера. Обычай же — это мысль, воплотившаяся в определенную форму. Обычай рассеивает все сомнения человека настолько, что даже во сне они не мучают его.

Это изречение Колика позаимствовала у Нойонмохона, только кавычки опустила, хотя считает, что оно — плод ее собственных раздумий.

Тот, кто сказал, что «у него нет врагов», был, разумеется, холост, ибо мое молчание лишь подлило масла в огонь.

— Вот ты, например, устами, то есть на словах, против кастового деления, — заявила мне Колика, — но как

выразил ты это на деле? Мы же, надевая белый кхаддар, тем самым как бы окрашиваем касты в один цвет, уничтожаем разницу в одежде.

Мне хотелось сказать: «Да, конечно, если я ем куриный суп, приготовленный мусульманами, то именно устами отвергаю касты, но дело в том, что в данном случае я не занимаюсь болтовней, а действую, и результат получается самый ощутимый. А ваш кхаддар — это лишь внешняя сторона проблемы, вы только прикрываете кастовые различия, а не уничтожаете их...» Но я промолчал — я ведь человек робкий. К тому же я знал, о чем бы мы с Коликой ни говорили, она все передавала — конечно, в собственной интерпретации — своим друзьям. У профессора философии Нойонмохона она вооружалась новыми доводами и потом с победным видом преподносила их мне. Глаза у нее блестели и, казалось, спрашивали: «Ну что, получил?»

Мне очень не хотелось отправляться к Нойопу. Я заранее знал, что за столом будет жарко, и не столько от горячего чая, сколько от яростных споров. Ведь будут обсуждаться такие вопросы, как: место обычая и свободного разума в культуре хинди, нормы поведения и суждения, насколько благотворны наши решения по этим вопросам для страны. А тут еще на постели меня ждала новая неразрезанная книга с золотым тиснением. Мне удалось только насладиться ее видом, раскрыть коричневый переплет я так и не успел, и неудовлетворенная страсть все больше томила меня. Но пришлось ехать, ибо противиться желанию Друбборты — значило навлечь на себя ураган слов, да и не только слов.

Не успели мы отъехать, как пришлось остановиться возле кондитерской толстого хиндустанца, известного своими отнюдь не диетическими сладостями. Это тут же, за водопроводной колонкой, рядом с домом под черепичной крышей. На улице собралась толпа. Шум стоял невообразимый. Не успели наши соседи-марвары, захватив все необходимое для ритуала, отправиться в путь, как что-то произошло. «Наверное, поймали какого-нибудь воришку», — подумал я.

Машина, сигналив, протиснулась сквозь толпу, и тут я увидел, что избивают старика подметальщика из на-

шего квартала. Я спросил — за что. Оказывается, закончив работу, бедняга вымылся под колонкой, сменил одежду и, взяв ведро и сунув под мышку метлу, пошел домой. На нем была клетчатая безрукавка, мокрые волосы тщательно расчесаны. С ним был внук — мальчик лет пяти. Оба красивые, стройные. И вдруг старик кого-то печально задел — в толпе это не мудрено. Тут все и началось. Мальчик плакал, просил: «Не бейте дедушку!» Старик оправдывался, умоляюще сложив руки: «Я не видел, не заметил. Простите меня». Из глаз несчастного текли слезы, бороду заливала кровь. Но его мольбы лишь распалили гнев сторонников ненасилия.

Затеять ссору с ними я не мог, поэтому решил взять подметальщика в машину и тем самым показать, что не принадлежу к числу этих фанатиков. Колика догадалась о моем решении и схватила меня за руку:

— Что ты? Ведь он подметальщик.

— Ну и пусть, — ответил я, — неужели за это его надо бить?

— Он сам виноват, — не унималась жена, — мог бы идти по краю улицы, ничего бы с ним не случилось.

— Говори, что хочешь, а я возьму его в машину.

— Тогда я выйду, — заявила Колика, — не могу же я ехать с подметальщиком. Пускай бы еще с чистильщиком, это другое дело, а с подметальщиком — уволь!

— Но ты же видишь, он вымылся, он чище многих других в этой толпе, — убеждал я.

— Пускай, — стояла на своем Колика, — но он подметальщик.

Она повернулась к шоферу:

— Поезжай!

Я потерпел поражение. Я трус. Нойонмохон оправдал случившееся с социологических позиций, но я не слушаю его доводов и потому не мог ему возразить.



[ХУДОЖНИК

Получив диплом об окончании Маймансингхской школы, Говинд приехал в Калькутту. Мать-вдова кое-что собрала ему на дорогу, но главным его богатством была непреклонная воля. Он решил разбогатеть во что бы то ни стало и готов был посвятить этому всю свою жизнь. Деньги Говинд называл не иначе, как монетой. В жизни для него имело смысл лишь то, что можно было увидеть, потрогать, понюхать. О славе он и не думал. Он мечтал о самых обыкновенных монетах, потускневших и грязных, которые все больше стираются, переходя из рук в руки на каждом базаре, которые пахнут медью, являя собой первозданное воплощение Куберы, и лишают людей покоя, превращаясь в серебро и золото, ценные бумаги и векселя.

По многим извилистым и грязным дорогам пришлось пройти Говинду, прежде чем он достиг надежной пристани на берегу бурного денежного потока. Таким пристанищем стала для него должность управляющего джутовой фабрики Макдугала, которого все звали Макдугалом.

Когда двоюродный брат Говинда, Мукунд, умер, поневоле прекратив свою любимую адвокатскую деятельность, после него осталась вдова, четырехлетний сын, дом в Калькутте и немного денег. Поскольку, кроме имущества, он оставил и долги, семья его жила очень скромно. Тем более предосудительным в глазах соседей выглядел

тот факт, что сын Мукундо, Чунилал, ни в чем не знал отказа.

Согласно завещанию Мукундо, Говинд был назначен опекуном этой семьи. С первых же дней он начал внушать своему племяннику, что самое главное в жизни — это уметь делать деньги.

Основным противником Говинда в этом вопросе оказалась мать мальчика, Шотёботи. И не то чтобы она возражала открыто, просто все ее поведение доказывало нечто прямо противоположное. С детства она увлекалась художественными поделками: из всего, что попадалось ей под руку — будь то цветы или плоды, куски ткани или бумаги, глина или тесто, листья или лепестки — она с увлечением мастерила удивительные вещи. Из-за этого у нее было немало неприятностей. Ведь подобное увлечение ненужными с практической точки зрения вещами — словно бурный осенний разлив, исполненный стремительности, но отнюдь не пригодный для переправы полезных грузов. Случалось, что Шотёботи запиралась в спальне и, поглощенная своим любимым занятием, забывала о приглашениях родственников. Родственники обижались, называли ее высокомерной, а что им можно было возразить? Что касается Мукундо, то он слышал, что и подобные вещи могут быть настоящими произведениями искусства, к которому он, надо сказать, относился с благоговением. И хотя он и мысли не допускал, чтобы его жена могла создавать такие произведения, вел он себя на редкость деликатно. Он прекрасно видел, как много времени тратит Шотёботи на свои занятия, но это не вызвало у него ничего, кроме снисходительной улыбки. И всякого, кто пытался осуждать его жену, он одергивал со всей решительностью.

В характере Мукундо была своя странность — хороший адвокат, он был очень плохим хозяином. Деньги, которые в значительном количестве поступали в дом благодаря его адвокатской деятельности, так же быстро расходились. Такое положение не слишком огорчало Мукундо — избавляясь от денег, он избавлялся от стольких забот! Сам он был человеком непритязательным, никогда не требовал особого внимания к своей персоне и никому не старался навязать свое мнение. Но когда дело касалось

Шотёботи, он не только пресекал все попытки домашних позлословить о ее занятиях, но и сам после работы нередко заходил на базар, чтобы купить ей красок, пестрого шелка или цветных карандашей. Придя домой, он тайком от жены раскладывал свои покупки на деревянном сундуке в ее спальне. Часто, взяв в руки какую-нибудь работу Шотёботи, он восклицал: «Да это же просто замечательно!» Однажды он перевернул вверх ногами рисунок, на котором был изображен человек, и, приняв его ноги за голову птицы, воскликнул: «Эту вещь, Шоти, обязательно надо сохранить, эта цапля вышла на редкость удачно!» Шотёботи относилась к оценкам мужа с той же снисходительностью, с какой он относился к ее занятиям, считая их милой детской забавой. Шотёботи прекрасно понимала, что ни в какой другой бенгальской семье она не смогла бы встретить подобное понимание, ни в каком другом доме не стали бы считаться с ее увлечением. Поэтому, когда муж старательно хвалил ее произведения, она от волнения едва сдерживала слезы.

И вот неожиданно счастью Шотёботи пришел конец. Перед смертью муж рассказал ей, что их хозяйство, отягощенное немалыми долгами, можно доверить лишь практичному человеку, который способен переправиться через реку и в дырявой лодке. Вот так и оказались Шотёботи и ее сын во власти Говинда, который с первых же дней дал понять, что главное в жизни — это деньги. В наставлениях Говинда было столько цинизма, что, слушая их, Шотёботи была готова сгореть от стыда.

Дух корысти с каждым днем все больше проникал в жизнь их семьи. Особенно огорчало то, что разговоры на эту тему были слишком откровенными; Говинд не старался прикрыться хотя бы видимостью порядочности. Шотёботи понимала, что такая обстановка портит мальчика, но ей ничего не оставалось делать, как терпеть. Люди с добрым сердцем и чувством собственного достоинства часто оказываются беззащитными, и грубому человеку ничего не стоит их обидеть.

Известно, что для того, чтобы что-то мастерить, нужен материал. Раньше все появлялось в доме без всяких просьб со стороны Шотёботи, и потому она об этом никогда не задумывалась. Теперь же, когда все эти ненуж-

ные для остальных членов семьи вещи стали строго учитываться, ее начала мучить совесть. Чтобы купить необходимый для работы материал, она, никому не говоря, стала экономить на собственной еде. Да и работала она теперь тайком, запираясь в своей комнате. Она знала, что открыто порицать ее никто не посмеет, но ей не хотелось встречать косые взгляды ничего не понимающих в этом людей. Теперь единственным свидетелем и ценителем ее работ стал Чунилал. Постепенно он и сам пристрастился к рисованию, и вскоре оно превратилось в настоящую страсть. Скрыть это было невозможно; жертвой нового увлечения становились не только листы из тетрадей, но и стены, разноцветные пятна украшали одежду, руки и даже лицо юного художника. Немало пришлось мальчику претерпеть от дяди за то, что бог Индра забыл внушить ему и его матери уважение к деньгам.

Но чем больше старался опекун, тем теснее становилось преступное сообщничество между сыном и матерью. Настоящий праздник наступал для них, когда хозяин фабрики увозил Говинда к себе за город. Они радовались как дети! Шотёботи лепила забавных зверушек — кошек, похожих на собак, рыб, которых трудно было отличить от птиц. Хранить фигурки было опасно, и поэтому перед возвращением господина управляющего приходилось все уничтожать. Так в творчестве этих двух художников господствовали бог-создатель Брахма и бог-разрушитель Рудра, но не было пока бога-хранителя Вишну.

Увлечение живописью было у Шотёботи в роду. Примером тому мог служить ее племянник Ронголал, племянник, который был тем не менее старше тетки. Ронголал довольно рано получил признание, хотя и получил его благодаря тому, что остряки подняли его картины на смех из-за их необычности. Когда же они поняли, что его столь непривычная манера отражает иное, чем у них мировоззрение, они начали против него шумную кампанию. Как ни странно, эти постоянные насмешки и упреки только способствовали росту его популярности. И тогда даже те, кто копировал его произведения, включились в эту кампанию, стараясь доказать, что художник он, мол, никудышный и даже о технике живописи не имеет ни малейшего представления.

И вот однажды этот раскритикованный художник, выбрав время, когда опекуна не было дома, пришел к своей тетке в гости. Ронголалу пришлось долго стучать, но когда, наконец, его впустили в комнату, он увидел, что по всему полу разложены рисунки — даже ступить негде. Разобравшись, в чем дело, Ронголал воскликнул, обращаясь к мальчику:

— Наконец-то я вижу свежий талант! Ведь в этих вещах нет ничего подражательного, они свежи и неповторимы, как неповторима сама природа! Обязательно покажи мне все твои рисунки!

Но откуда их было взять! Они исчезали, как исчезают мгла и туман, когда творец хочет залить небо яркой игрою света и тени нового дня. Перед уходом Ронголал заявил своей тетке:

— Заклинаю тебя, отныне сохраняй все! Я буду приходить и забирать рисунки и твои фигурки.

Господин управляющий сегодня задержался. С самого утра августовское небо затянуло тучами, льет дождь. Мать и сын забыли о времени, некогда им следить за стрелками часов! Сегодня Чунилал начал писать пейзаж с лодкой. Так и кажется, что речные волны, как стая крокодилов, вот-вот проглотят маленькое суденышко! Даже тучи готовы помочь им и грозно нависли над лодкой. Правда, крокодилы на картинке не похожи на обычных крокодилов, тучи нельзя назвать «сочетанием дыма, света, воды и воздуха», да и лодка такова, что, будь она построена на самом деле, ни одна страховая компания не решилась бы ее застраховать. Но ведь искусство есть искусство! Если всевышний создает то, что приносит ему радость, то почему не имеет на это права наделенный богатым воображением мальчик, такой же творец в этих четырех стенах?

Они не заметили, как отворилась дверь и вошел господин управляющий.

— Это что еще такое? — услышали они грозный окрик.

Мальчик побледнел и задрожал от страха. Еще бы, ведь теперь обнаружится причина, по которой Чунилал перепутал все даты на экзамене по истории! Безуспешно пытался он спрятать картину под своей курткой, этим он

только выдал себя. Когда же Говинд вырвал картину и увидел, что на ней нарисовано, то окончательно пришел в ярость.

— Это еще хуже ошибок в хронологии! — закричал он и разорвал картину на мелкие кусочки. Чунилал разрыдался.

Услышав плач сына, Шотёботи выбежала из молельни, где обычно проводила одиннадцатый день каждого лунного месяца. Глазам ее представилась картина — Чунилал на полу, рисунок разорван в клочки, а Говинд собирает эти многочисленные доказательства преступления, чтобы выбросить их, чтобы от них не осталось и следа.

До сих пор Шотёботи, помня о том, что Говинд стал хозяином дома по воле ее мужа, терпеливо сносила все его выходки. Но сейчас она воскликнула, дрожа от негодования:

— Зачем ты порвал картину Чунилала?

— Он что же, собирается бросить учење? Представляю, что из него выйдет!

— Пусть лучше станет нищим, — проговорила Шотёботи, — но пусть никогда не будет похожим на тебя! Я мать, и я хочу только одного — чтобы то богатство, которым его наградил всевышний, принесло ему больше радости, чем тебе все твои монеты!

— Не надейтесь, что я так спокойно откажусь от своих обязанностей, — отрезал Говинд. — Завтра же отправлю мальчишку в интернат, иначе он здесь совсем свихнется.

Утром Говинд ушел в контору. Дождь лил как из ведра, по улицам текли реки воды.

— Пойдем, сынок, — сказала Шотёботи, беря сына за руку.

— Куда, мама?

— Уйдем отсюда навсегда.

Когда они подошли к дому Ронголала, вода уже была им по колена. Они вошли в дом.

— Я поручаю его тебе, — сказала Шотёботи. — Спаси его от поклонения монете!



ПОХИЩЕННОЕ СОКРОВИЩЕ

I

Во времена, о которых повествуют эпические поэмы, жену приходилось добывать отвагой, и тот, кто ею обладал, получал не женщину, а сокровище. Я же свою жену завоевал, не обладая мужеством, только она поздно об этом узнала. Но после свадьбы я посвятил себя подвижничеству и изо дня в день расплачивался за свой обман.

Мужчина обычно забывает о том, что супружеские права нужно заслуживать снова и снова. Он получает жену, словно товар на таможене, предъявив документ об уплате пошлины, и по сути дела ничем не отличается от стражника, который обрел власть благодаря кокарде.

Супружество — песня всей жизни, припев у нее один, а мелодия изменяется с каждым куплетом. Это я узнал благодаря Шунетре. В ней скрыто все богатство любви с ее неиссякаемым величием, и весь день в доме звучит ее песня. Вернувшись как-то из конторы, я увидел, что для меня приготовлен шербет из ягод со льдом, и цвет его восхитителен. А рядом с ним на серебряной тарелочке — цветы, их аромат ощущаешь, еще не войдя в комнату. В другой раз я увидел чашку, полную сока и мякоти плода пальмиры, охлажденного в мороженице, и головку подсолнечника на блюде. Как будто ничего особенного, но все это говорило о том, что жена изо дня в день заново ощущает мое существование. Способность ощущать

новое присуща художникам, люди же обыкновенные идут проторенной тропой. У Шунетры дар любви, дар открывать все новые пути служения. Сейчас моей дочери Аруне семнадцать лет, то есть ровно столько, сколько было Шунетре, когда она вышла замуж. Сейчас Шунетре тридцать восемь, но она тщательно следит за собой. Для нее это все равно, что ежедневное жертвоприношение боже-ству, а божество — она сама.

Шунетра любит белые шантипурские сари с черной каймой. Она безропотно принимала упреки сторонников кхаддара, не принимала только самого кхаддара, хотя ей очень нравились тонкие индийские ткани.

— Меня восхищают наши ткачи, — говорила она. — Они художники и знают толк в сочетании цветов.

Шунетра отлично понимает, что любой цвет особенно выигрывает на фоне белого сари. Это и дает ей возможность незаметно обновлять свой наряд. И еще она понимает, что ее наряд пробуждает в душе моей безотчетную радость.

У каждого человека есть собственное «я», и все бесценное значение этой глубочайшей истины открывается в любви. В сравнении с ней фальшивая монета эгоизма ничего не стоит. Вот уже двадцать один год Шунетра приносит в дар мне сокровища любви. Каждый день на лице ее я читаю изумление. В сердце ее вселенной нахожусь я, поэтому в обычном мире я могу быть кем угодно. Любовь открывает необычное в обычном. В шастрах говорится: «Познай себя». Я с радостью познаю себя, когда другой познает меня в любви.

II

Отец мой был членом правления одного известного банка, и я стал его пайщиком. Не совсем таким, которых называют «пассивными». Меня насильно впрягли в конторскую упряжку. Эта работа не устраивала меня ни физически, ни духовно. Мне хотелось стать лесничим в лесном департаменте, жить на свежем воздухе и всласть поохотиться. Отец же заботился о моей карьере.

— Такое место, — говорил он, — не легко достается бенгальцу.

Пришлось сдаться. К тому же, как известно, мужчина, сделавший карьеру, очень ценится женщинами. Например, муж сестры Шунетры был профессором на государственной службе, поэтому женщины в их доме так возгордились. Если бы я стал забуревшим от жизни в лесу «инспектор-сахибом», носил бы пробковый шлем и устал бы полы в своем доме шкурами тигров и медведей, то от этого я потерял бы в весе и вместе с тем убавилась бы честь моего звания в сравнении с любимым из соседей-чиновников. А это, в свою очередь, нанесло бы ущерб женскому тщеславию.

Тем временем поток моей юности под влиянием неподвижной канцелярской жизни стал иссякать. Другой на моем месте смирился бы с этим, равно как и с увеличением собственного живота. Но я так не мог. Я знал, что Шунетра полюбила меня не только за мои достоинства, но и за красоту. Сплетенный творцом брачный венок, который я принес ей однажды, должен был радовать ее каждый день. Удивительно, Шунетра не старилась, я же быстро клонился к закату, росли только сбережения в банке.

Дочь Аруна воскресила в моей памяти рассвет нашей любви. Утро ее юности было окрашено в цвета зари нашей жизни, и вся душа моя исполнилась восторга. В Шойлене я видел возрождение своей молодости. Та же порывистость юных лет, та же неистощимая веселость, а временами, когда разбивались его дерзкие надежды, те же тревога и уныние. Он шел тем же путем, что и я в свое время, так же, как и я, придумывал всевозможные способы привлечь на свою сторону мать Аруны, а мною не очень интересовался. Аруна чувствовала, что отец ее понимает женское сердце. Время от времени она пристраивалась на полу у моих ног и молча сидела с глазами, полными слез. Откуда они, эти слезы!

В отличие от меня ее мать умела быть жестокой. Нельзя сказать, что она не разбиралась в сердечных делах дочери, но она была убеждена, что со временем все это уйдет, как утренние облака. Я был совершенно иного мнения. Если долго не есть, аппетит, разумеется, пропадет, а когда примешься за еду, то окажется, что к ней потеряян всякий вкус. Утренние песни не поют в полдень.

— Пусть сперва наступит возраст благоразумия и так далее и так далее, — говорят наставники. Но, увы, возрасту любви и возрасту благоразумия не суждено встретиться.

Вот уже несколько дней, как начался сезон дождей. Дождевая завеса смягчила очертания каменной и деревянной Калькутты, и резкий городской шум зазвучал приглушенно, как голос, в котором дрожат слезы. Жена знала, что Аруна в моей библиотеке готовится к экзаменам. Зайдя за книгой, я увидел, что дочь тихо сидит у окна, на лице ее влажная тень клонящегося к концу пасмурного дня. Она до сих пор не причесана, и восточный ветер роняет капельки дождя на ее распущенные волосы.

Я ничего не сказал Шунетре. Я тотчас же написал Шойлену письмо, приглашая его на чай, и послал за ним машину. Шойлен приехал. Нетрудно понять, что его внезапное появление не обрадовало Шунетру.

— Я не настолько силен в математике, — сказал я ему, — чтобы разобраться в современной физике, поэтому я и послал за тобой. Я хотел бы, насколько это возможно, разобраться в квантовой теории, мои знания давно уже устарели.

Само собой разумеется, наши занятия продолжались недолго. Я не сомневался, что Аруна без труда разгадала мою хитрость и подумала, что ни у кого еще не было такого идеального отца.

В самом начале беседы о квантовой теории зазвонил телефон. Я вскочил:

— Это по важному делу. Знаете что, поиграйте пока в настольный теннис, а я вернусь тотчас же, как освобожусь.

— Алло! — слышалось в телефонной трубке, — это номер двенадцать-ноль-ноль такой-то, такой-то?

— Нет, — ответил я, — это номер семь-ноль-ноль такой-то, такой-то.

Затем я спустился вниз и принялся читать старую газету. Когда стемнело, я зажег свет.

В комнату вошла Шунетра. Лицо у нее было строгое.

— Если бы метеоролог взглянул на тебя, он сообщил бы о приближении бури, — пошутил я.

Шунетра не отозвалась на шутку.

— Зачем ты поощряешь Шойлена? — спросила она.

— Потому что человек, который к нему равнодушен, незримо присутствует в его душе, — ответил я.

— Если прервать на некоторое время их встречи, это ребячество кончится само собой.

— Да разве могу я так жестоко расправиться с ребячеством? Дни идут, люди стареют, а ребячество уже никогда не возвратится.

— Ты не признаешь сочетаний звезд, а я признаю. Им не суждено быть вместе.

— Я не знаю закона сочетания звезд, но зато совершенно ясно, какое прекрасное сочетание представляют собой эти дети.

— Ты меня не поймешь. В момент нашего рождения нам свыше предопределен спутник жизни. Если же, ослепленные чувствами, мы изберем другого, то совершим неосознанный грех. В наказание на нас посыплются несчастья и беды.

— А как распознать своего спутника?

— Для этого существует документ, подписанный звездами.

III

Больше я не мог скрывать.

Мой тесть Аджиткумар Бхоттачарджо принадлежал к знатному роду пандитов. Воспитывался он в санскритской школе. Затем приехал в Калькутту, сдал экзамен по математике и получил ученую степень. Он глубоко верил в астрологию и был большим ее знатоком. Отец его замечательно владел логикой. По его мнению, существование богов следовало поставить под сомнение. У меня были доказательства, что и мой тесть не признавал богов. И вся его вера, оставшаяся таким образом не у дел, обратилась на звезды и планеты; это был тоже своего рода фанатизм. С самого детства планеты и звезды зорко стерегли Шунетру.

Я был любимцем профессора, который обучал и Шунетру, и поэтому мы с ней часто виделись. О том, что это принесло свои плоды, мне сообщили по беспроволочному

телеграфу сердца. Мать Шунетры звали Бибхаботи. Она была воспитана в духе старых времен, но, благодаря общению с мужем, ум ее остался светлым и свободным от предрассудков. В отличие от мужа она не верила в звезды и признавала лишь своего бога. Как-то раз муж стал шутить над ней, и она сказала:

— Ты бьешь челом перед стражей, а я почитаю самого раджу.

— Ты разуверишься в нем, — ответил муж, — твой раджа, что он есть, что его нет — все равно. А вот стража с дубинками — дело другое.

— Ну и пусть разуверюсь, — возразила жена, — зато я не стану кланяться страже.

Мать Шунетры очень меня любила и читала в моей душе как в открытой книге. Однажды, улучив минутку, я сказал ей:

— У тебя нет сына, а у меня — матери. Отдай мне свою дочь, я буду тебе вместо сына. Скажи: да, и я пойду умолять профессора.

— О профессоре потом, сынок, — сказала она, — сначала принеси мне свой гороскоп.

Я принес.

— Не суждено, — сказала она. — Профессор не согласится. А дочь профессора — ученица своего отца.

— А ее мать? — спросил я.

— Обо мне говорить нечего, — ответила она. — Я знаю тебя, знаю сердце своей дочери, и у меня нет желания устремляться к звездам, чтобы узнать еще что-нибудь.

Все во мне взбунтовалось. Как можно признавать столь нереальные преграды! Но ведь нереальное недоступно ударам. Как же я буду с ним бороться?

Между тем Шунетру усиленно сватали. Бывало, что гороскоп жениха не вызывал возражения звезд. Но дочь упрямо твердила, что замуж не пойдет и посвятит себя служению науке.

Отец не догадался, в чем тут дело, ему пришла на память Лилавати. Мать поняла и украдкой лила слезы. Кончилось тем, что однажды она сунула мне в руку какую-то бумагу и прошептала:

— Это гороскоп Шунетры. Покажи его астрологу, пусть исправит твой. Я не могу видеть, как дочь моя страдает понапрасну.

О том, что произошло потом, можно не говорить. Я освободил Шунетру из тенет гороскопа. Вытирая слезы, ее мать сказала:

— Ты сделал доброе дело, сынок.

С тех пор прошел двадцать один год.

IV

Ветер усилился, дождь лил не переставая. Я сказал Шунетре:

— Свет режет глаза, можно, я его погашу?

В темную комнату проник бледный луч уличного фонаря. Я усадил Шунетру на диван рядом с собой и сказал:

— Шуни, ты думаешь, я был предназначен тебе судьбой?

— Почему вдруг ты спросил об этом? Это и так ясно.

— А что, если мы поженились вопреки сочетанию светил?

— Да разве я не знаю, что это неправда?

— Мы столько лет прожили вместе, и у тебя никогда не возникали сомнения?

— Если ты будешь задавать мне пустые вопросы, я рассержусь.

— Шуни, мы с тобой нередко знавали горе. Наш первый ребенок умер, когда ему было восемь месяцев. Когда я едва не погиб от тифа, скончался мой отец. Потом старший брат подделал завещание и завладел всем имуществом, и сейчас служба — моя единственная опора. Любовь твоей матери была в моей жизни путеводной звездой. После Пуджи на пути домой она погибла вместе с мужем в волнах Мегхны. Профессор, человек неопытный в делах, наделал кучу долгов, и я взял их на себя. Быть может, все эти несчастья произошли по злой воле моей звезды? Знай все заранее, ты бы не согласилась стать моей женой?

Шунетра молча обняла меня.

— Разве жизнь наша не доказала, что любовь сильнее всех предвестниц бед? — спросил я.

— Конечно, доказала.

— Представь себе, что, милостью планет, я умру раньше тебя. Разве не восполнил я при жизни и эту твою потерю?

— Довольно, довольно, не говори больше ничего.

— Чтобы провести с Сатьяваном всего день, Савитри согласилась на вечную разлуку. И ее не страшила смерть. Шунетра промолчала.

— Твоя Аруна, — продолжал я, — любит Шойлена. Достаточно знать одно это, остальное неважно. Что ты скажешь, Шунетра?

Шунетра молчала.

— На пути моей любви к тебе встало препятствие, — продолжал я. — Так пусть никто не верит в зловещие предсказания какой-то планеты. Я не дам зародиться сомнению, подогнав цифры их гороскопов.

В этот момент на лестнице послышались шаги. Это спускался Шойлен.

Шунетра быстро поднялась с дивана.

— Ты что, Шойлен, — воскликнула она, — уже уходишь?

— Я немного задержался, — стал оправдываться Шойлен. — У меня не было часов. Уже так поздно.

— Совсем не поздно, — возразила Шунетра, — ты поужинаешь с нами.

Вот что называют поощрением.

В этот вечер я поведал Шунетре историю подправленного гороскопа. Она сказала:

— Лучше бы ты мне об этом не рассказывал.

— Почему?

— Отныне я буду жить в вечном страхе.

— Что же страшит тебя, вдовство?

Шуни долго молчала, затем проговорила:

— Нет, я не стану бояться. Если я покину тебя и уйду раньше, моя смерть будет для меня двойной смертью.



М И Н И А Т Ю Р Ы

1922





ДОРОГА

Дорога...

Вот она вышла из лесу, пробежала по полю и спустилась к реке под сень баньяна, что растет у причала, перепрыгнула на другой берег и, взбежав по разбитым ступеням набережной, свернула к деревне; затем она обогнула льняное поле, юркнула в тень манговой рощи и, миновав пруд, заросший лотосами, и ротхотолу, исчезла в неведомой дали, достигнув, паверно, какого-нибудь нового селения.

Сколько людей проходит по этой дороге, — кто обгоняет меня, кто идет рядом, а кто едва различим далеко позади; у одних лица скрыты покрывалом, у других они открыты; одни идут по воду, другие возвращаются с полными кувшинами.

Кончился день; спустились на землю тени.

Некогда мнилось мне, будто дорога эта — моя, всецело моя; теперь вижу: мне дано пройти по ней только один раз. Мимо того лимонного дерева, по берегу того пруда, по набережной Двенадцати Храмов, по той речной отмели, мимо молочной фермы, мимо житницы, — к знакомым взглядам, к знакомым речам, к знакомым лицам, — не вернуться мне к ним и не приветствовать их вновь. Это дорога, по которой можно идти лишь вперед, обратно пути нет,

Сегодня в сумерках, оглянувшись назад, я увидел, что дорога эта — словно давно позабытая книга песен, где слова — чьи-то следы, а мелодия — голос, зовущий вдаль.

Жизнь тех людей, что по ней проходили, дорога изобразила этой пыльной полосой, которая тянется от утренней зари до зари вечерней, от одних золотых врат к другим.

«О дорога, не оставляй всех ведомых тебе историй под покрывалом праха; я приложу ухо к твоей пыли — расскажи их мне!»

Но дорога указывает пальцем на черную завесу ночи и молчит.

«О дорога, все мысли, все желания стольких путников — где они?»

Дорога не отвечает, лишь молчаливым намеком пролегла она от восхода и до заката.

«О дорога, все шаги, цветочным дождем орошавшие твою грудь, — где они теперь?»

Но разве знает дорога конец свой, где живы все увядшие цветы и всегда звучат умолкшие песни, где в звездном свете, в неутешной скорби, вечно движется бесшумный хоровод огней?



ПАСМУРНЫМ ДНЕМ

Дела — весь день. Все время я среди людей! А к вечеру мне кажется: дела завершены и все исчерпано в беседах. Но недосуг подумать, что в глубине души заветного осталось...

С утра сегодня тучи свинцовым бременем легли на грудь небес. Сегодня снова я среди людей, и вновь передо мной дела. И не дает покоя мысль: «То, что сокрыто в недрах сердца, не выразить в словах!..»

Не властен ли над миром человек? Он переплыл просторы океана, он одолел заоблачные горы, он в сердце скал проник и в царстве вечной тьмы похитил жемчуг и рубины, — а вот поведать, что в душе его сокрыто, не в силах он.

Сегодня утром, пасмурным, дождливым, проснулись мысли пленные и бьются крыльями в ограду. И существо, которое во мне таится, молвит: «Где вечный спутник мой, тот, кто опустошит клубящиеся в сердце тучи, заставит их пролить дожди?»

Сегодня, утром пасмурным, я слышу, как речи пленные гремят засовом замкнутых дверей. И думаю: «Кто бросит мне желанный зов? Пусть пленницы перемахнут через ограду дел дневных и выйдут со светильней песен на свиданье с миром... Кто мне подарит долгожданный взгляд,

что претворит мои страдания в радость, в блеск лучей полдневных?.. Кто в этом мире попросит голосом, от века мне родным, и от меня в ответ получит дар, что предназначен только для него?.. Где, по каким дорогам мира бродит пищий-странник, который у меня возьмет сокровище заветных дум?»

Боль сердца моего сегодня облеклась в одежду желтую сапьяси. Она готова выйти на дорогу, далекую от повседневной суеты, дорогу, подобную эктаре с единственной струной, уже звенящей под шагами неведомого спутника души...



ОБЛАКОВ-ВЕСТНИК

Мне вспоминается день нашей первой встречи.

О чем тогда пела флейта?

Она пела: «Я встретился с тем, кто был далек мне». «Я уловил неуловимое, я задержал вечно ускользящее!»

Отчего же теперь не поет моя флейта?

Оттого, что не до конца постиг я извечную правду. Я думал, мы совсем близко, не заметил, не понял, что она еще далека от меня. Оттого, что познал я лишь одну грань любви — единенье, и не ведал другой ее грани — разлуки; не ведал стремленья увидеть далекого друга; близость встала меж нами преградой.

В необъятном пространстве, разделившем два сердца, — тишина, там не слышно речей. Только флейте дано развеять великое это молчанье. Но не звучат ее песни, если им нет простора.

Разделившее нас пространство заполнено мраком надвигающейся грозы, засорено мусором будничных слов, мелких дел, осколками вздорных иллюзий и тщетных надежд.

Порою в залитой лунным сияньем ночи веет прохладой; я пробуждаюсь, сердцу тесно в груди. И рождается мысль: я навеки утратил ту, что рядом со мною.

Чем завершится наша разлука? Соприкоснется ли вновь ее бесконечность с моею?..

Кто она, с кем говорю всякий вечер, освободившись от дел? В пей все заурядно; подобных ей — на земле тысячи тысяч. Я знаю ее так давно, что нового в ней не вижу и не ищу. И все же я чувствую: где-то в ней сокрыто то бесконечно загадочное существо, что лишь для меня пришло в этот мир.

Обрету ли я вновь его в безбрежном потоке желаний?..

Наступит ли день, когда в сумерках праздных, напоенных благоуханьем лесного жасмина, будут снова беседовать наши сердца?

Дождь словно окутал своим покрывалом небосклон на востоке. И вспомнились мне строки поэта Удджанини, почудилось, будто я посылаю к возлюбленной вестника.

Пусть летит моя песня! Пусть пронесется над бездною нашего отчуждения!

Пусть плывет моя песня против течения времен! Пусть достигнет далекого дня нашей первой встречи, дня, полного светлой тревоги, о которой тогда пела флейта, дня, пропизанного рыданьем нескончаемых летних дождей, дня, овеянного ароматами несчетных весен вселенной, вздохами дремной кетоки и веселыми взмахами цветущих ветвей дерева шал!..

Пусть, проливаясь дождем, она шелестит в листве кокосовых пальм, осеняющих берега безлюдных озер! Пусть достигнет песня моя слуха возлюбленной в час, когда, стянув узел волос и поправив сари, она суетится у домашнего очага!..

Сегодня бескрайний небосвод склонился над смуглой землей, окутанной синею дымкой лесов, и нежно шепнул ей:

— Я твой!

— Да разве это возможно? — удивилась земля. — Ты безграничен, а я так мала!

— Иль не видишь? — отвечал небосвод. — Стали тучи моими границами, я окружил тебя их пеленою.

Смутилась земля:

— Ты одет сияньем бесчисленных звезд, а в моем одеянье — ни единой искорки света!..

— Сегодня все потеряно мной — и луна, и солнце, и звезды, — и вот я припик к тебе!

— Мое сердце полно слезами и дрожит при любом дуновенье, а ты неподвижен...

— О нет! В глазах моих тоже слезы. Разве не видишь? Вот-вот они хлынут потоком, мрачно мое лоно — как сердце твое...

И тут излилась песня слез, заполняя пространство, разделившее небо и землю, — пришел конец их разлуке...

Пусть поет юный дождь вдохновенные гимны в честь обручения неба с землею, пусть прольется он и на нашу разлуку!.. Пусть все несказанное, что затаилось в сердце любимой, зазвенит, как струна пленительной вины! Пусть набросит любимая на темные пряди анчал, синий, как дали лесные! Пусть во взоре ее черных очей прозвучат все мелодии ливня! И да будет благословенна гирлянда бокула, вплетенная в косы любимой!..

Когда сумрак, сгустившийся в роше бамбука, задрожит от звона цикад, когда на холодном сыром ветру, затрепетав, угаснет пламя светильника, — пусть покинет возлюбленная свой мирок, так ей знакомый, и придет лесною тропой, овеянной влажным дыханием трав, в насто-роженную ночь моего одинокого сердца!..



ФЛЕЙТА

Речи флейты — речи вечных времен, волны священной Ганги, родившейся из волос всемогущего Шивы и омывающей грудь первозданной земли; словно дитя бессмертных богов спустилось с небес и с прахом мира смертных играет.

Я стою у дороги и слушаю флейту, и непонятное чувство сжимает грудь. Это чувство не похоже ни на одну из привычных мне радостей или печалей. Оно ярче знакомой улыбки, глубже моря изведанных слез...

И смутно брезжит догадка: обычное вовсе не истина, — истина — то, что неведомо нам. Но как проникла в душу такая странная мысль?.. Не ответить на это словами.

Сегодня с утра я слышу: в доме напротив флейта поет. Разве голос свадебной флейты подобен обыденным звукам, голосу будничной жизни?.. Тайное недовольство, утрата надежды, презрение, упреки, пустые раздоры, усталость, унынье, мелочность, опустошенность души, убожество мысли, нищета в пыльной одежде — разве это звучит в дивном пении флейты?..

Едва раздался влекущий напев, как соскользнула завеса привычного, закрывшая мир. Жених и невеста вечных времен встречаются благоприятным взглядом под алым покровом, — об этом поет флейта.

Но вот из вечности донеслась мелодия обмена гирляндами, я взглянул на невесту и вижу: на шее у нею сверкает золотое ожерелье, на ногах — браслеты; и почудилось, будто невеста стоит на лотосе радости среди озера слез...

Флейта воспевала ее как неземное создание; и девушка из давно знакомого дома предстала невестой в неведомом брачном чертоге.

— В этом истина! — вот что сказала флейта,



ВЕЧЕР И УТРО

Здесь на землю спустились вечерние сумерки. Бог солнца, где, за какими морями сейчас воссияла рожденная тобою заря?

Здесь в сумраке ночи трепетно раскрывает белые свои лепестки тубероза, подобная юной жене под покрывалом, что в смущенье стоит у входа в брачный чертог. А где-то расцвел цветок зари — золотой чампак. Где-то пробудились от сна, погасили светильник, зажженный с восходом вечерней звезды, и бросили наземь сплетенную накануне гирлянду белых роз...

Здесь затворяются двери хижин, громяхают засовы, — там широко распахнули окна домов. Здесь причалены к берегу лодки, спят глубоким сном рыбаки, — там ветром наполнились паруса.

Там люди покинули свой придорожный приют и пошли навстречу встающему солнцу. Лучи зари осенили чело их. Им предстоит долгий путь, — еще не настало время платить за паром, увозящий в вечность. Вслед им из окон жилищ смотрят черные глаза с надеждой и грустью. Перед ними развернулась дорога, словно алое письмо с приглашением: «Все готово для вас!» В лад биению их сердец гремят барабаны победы.

Здесь в пепельно-палевых отблесках вечерней зари люди отплыли во мглу на пароме уходящего дня.

Располагаются все на ночлег: иной в одиночку, иной со спутником утомленным. Что их ждет впереди, во мраке ночном, им неведомо, они лишь беседуют тихо о том, что случилось на дороге, оставшейся позади. Но прерываются их голоса. Они умолкают и задумчиво смотрят ввысь, в просторы небес, где появляются Семь Мудрецов...

Бог солнца, по левую руку твою сгущаются сумерки, по правую руку заря занимается, — соедини их! Пусть вечерние тени и утренние лучи обнимут друг друга! Пусть воедино сольются наш вечерний напев и утренний гимн дальних стран!



НАШ ПЕРЕУЛОК

Это наш переулок, тесный и узкий. Вьется каменной лентой среди высоких каменных зданий; то влево свернет, то вправо — словно потерял что-то и теперь ищет. И куда ни свернет, все на что-нибудь натывается.

А вверху, высоко-высоко над ним, протянулась полоска неба, такая же узенькая и кривая.

Однажды, с удивлением глядя на эту полоску, переулок спросил:

— Скажи мне, диди, кто ты? Как зовется твой синий город?

В полдень, лишь на один миг встретившись с солнцем, он восклицает в недоумении:

— Ничего не могу понять. Что это?!

Когда приходит время дождей, густая тень свинцово-серых туч ползет меж домов переулка, стирая с его поверхности слабые отблески света. Рождённый ливнем поток течет, извиваясь, по каменным плитам, и кажется, будто дождь, частой капелью играя на барабанах, заклинает змею. Скользко. То и дело цепляются друг за друга зонты. Вот струя воды прыгнула с крыши кому-то на зонтик, и он вздрогнул, словно в испуге.

— Как было хорошо, сухо! — в замешательстве говорит переулок. — И откуда вдруг эта потоками хлынувшая беда?

В месяце фальгуи, когда все живое ожидает прихода весны, южный ветер разгулялся, разбушевался у нас в переулке. Летит пыль, кружатся обрывки бумаги,

— Верно, какой-нибудь бог напился допьяна и буйнит, — ворчит переулок.

Каждый день по обеим сторонам переулка собираются целые кучи всякого мусора — тут и рыба чешуя, и зола, и очистки, идохлые крысы. Переулок знает: это и есть реальность. И никогда, даже случайно, не забредет к нему мысль: «Отчего все это так?»

Только осенью, когда косые лучи нежаркого солнца падают на верхние веранды домов, когда слышится зовущая в другие края мелодия бхойроби, в душе переулка пробуждаются какие-то новые чувства. «Есть, наверное, за этой грудой камней, — думает он тогда, — что-то великое и значительное».

Но время течет. Солнечный луч соскальзывает со ступы дома к его основанию — так соскальзывает с плеча хлопотливой хозяйки край сари. Часы бьют девять. Идет служанка с корзиною на бедре, скупив чуть не весь базар. Все вокруг заполняется дымом и запахами кухни. Люди спешат на работу.

И снова наш переулок думает: «Истина — это то, что здесь, на этой полоске из камня. То же, что представляется мне великим, — всего лишь мечта, сон».



ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Входя в вагон, она лишь чуть-чуть обернулась и бросила мне свой последний, короткий, как миг, взгляд.

Сумею ли я сохранить это мгновение?

Найдется ль в огромном мире место, где не летели бы так стремительно часы, минуты, секунды?

Неужели этот взгляд растает в сумерках, сольется с пепельно-серой далью, как сливаются с нею золотые отсветы пламенеющих облаков? Или его смоеет дождь, как смывает он золотую пыль с цветов нагкешора?

Неужели он потонет в море мелочей повседневной жизни, в несметном множестве суетных слов, в несчетных страданиях?

Единственный, мимолетный взгляд ее достался мне одному как бесценный дар. Я сохраню его. Я сохраню его в песнях, в ритмах стихов — в раю красоты бессмертной.

Власть раджи, сокровища богача — все преходяще в этом мире. Но не таится ль в слезе напиток бессмертия, который может даровать вечную жизнь даже мимолетному взгляду?

«Хорошо, — согласилась песня, — я готова принять этот дар. Мне нет дела ни до власти раджи, ни до сокровищ богача, мое нетленное богатство — в этих крупичках жизни, в этих мгновениях, из них я сплетаю гирлянду вечности».



ПОЛДНЕВНЫЙ ЧАС

Мне вспоминается тот далекий полдневный час. Потоки дождя то утихнут, усталые, то снова налетит порывистый ветер и подхлестнет их.

В комнате было темно. Мной овладели истома и лень. Я взял ситару, из-под пальцев моих полилась мелодия дождя, шумевшего за окном.

Она вышла из своей комнаты. Вернулась. Снова вышла, постояла немного. И опять тихонько ушла к себе. Она села у окна и, склонив голову, стала шить. Потом отложила работу. Ее задумчивый взор устремился в проемы между деревьями, едва различимыми сквозь пелену дождя.

Дождь перестал, смолкла и моя песня.

Она поднялась, поправляя волосы.

Вот и все. Только этот полдневный час, овевший песней, дремой, дождем и сумеречною мглой.

Легенд о раджах, падишахах, сказаний о славных сражениях — сколько угодно, они легко забываются. Но этот полдневный час, как драгоценный камень, надолго останется в хранилище времени. И никто не узнает о нем, кроме нас двоих.



НЕБЛАГОДАРНЫЙ

Она ушла на рассвете.

И сердце стало меня уверять: «Все это обман, иллюзия!»

А я отвечал ему гневно: «Разве не видишь? На столе шкатулка ее, она только что шила, на веранде букет сорванных ею свежих ароматных цветов, на постели раскрытый веер. Неужели все это иллюзия?»

Но сердце упрямо твердило: «Иллюзия!»

«Перестань, — уговаривал я свое неразумное сердце. — Видишь, книга заложена шпилькою, она не успела ее дочитать. Если и это иллюзия, то что же тогда правда?..»

И сердце замолкло...

Пришел старый друг.

Он пытался меня успокоить:

— Истинно то, что прекрасно. Прекрасное не исчезает. Вселенная вечно хранит красоту, словно редкостный жемчуг.

— Откуда ты знаешь! — рассердился я вновь. — Разве станешь ты отрицать, что тело прекрасно? Но вот его нет — оно куда-то исчезло!

И подобно тому, как младенец отталкивает мать, когда сердится на нее, я стал отвергать все, что мне дотеле служило отрадой. Я восклицал: «О, мир вероломный!»

Но что это?! Мне послышался укориженный голос:
«Неблагодарный!»

Я посмотрел в окно. Новорожденный месяц медленно поднимался по небосклону. Он глядел на меня сквозь ветви пушистого тамариска, и мне чудилось, будто это улыбка той, что ушла, играет в прятки со мною. Из тьмы, пронизанной звездами, до слуха вновь долетело: «Ты счел ложью мою любовь, лишь в разлуку поверил всем сердцем».



НЕ В ТОТ РАЙ ПОПАЛ

Это был самый настоящий бездельник. Дела его не занимали, только забавы да развлечения.

Налепит, бывало, на дощечку глины, набросает сверху морских ракушек, и чудится ему то стая птиц над морскими волнами, то стадо коров на холмистом поле, а то привидятся ему горы, — по склонам их мчатся вниз бурные потоки, сбегают исхоженные людьми тропы.

Родные постоянно бранили его. Он обещал оставить все эти глупости. Но... глупости не оставляли его.

Иной сорванец за весь год не заглянет в книжку, а экзамены каким-то чудом сдает отлично. Так было и с нашим бездельником.

Вся его жизнь прошла в бесполезных занятиях, однако после смерти, как это ни странно, его пустили на небо.

Но и там, в небесных краях, богиня судьбы не оставляет человека в покое. Случилось так, что посланцы Ямы поставили на бездельнике не ту метку и отвели его в рай деловых людей.

Всего в этом раю было вдоволь. Не было лишь досуга.

Мужчины здесь без конца твердили: «Ох! И вздохнуть некогда». Женщины, едва повстречавшись, спешили разойтись по домам: дела ждут. «Время — деньги!» — говорили они. Только и слышалось отовсюду: «Тяжко! Сил больше нет!» И произносились эти слова с наслаждением.

Даже гимн деловых людей начинался так: «Я устал, я замучен работой».

Наш бедняга никак не мог найти себе места в раю деловых людей. Он как потерянный бродил по дорогам, то и дело натываясь на спящих прохожих. Только расстелет свой чадор и сядет отдохнуть, как слышит окрик: «Эй ты, куда сел? Не видишь: засеяно?» И так с утра до ночи: посторонись да встань!

Одна молодая женщина каждый день ходила к райскому источнику по воду.

Легкая, торопливая поступь ее была подобна мелодии, слетающей со струн ситары. Волосы она небрежно стягивала узлом на затылке, и упрямые локоны спадали на лоб, пытаясь заглянуть в черные звезды глаз.

Райский бездельник обычно стоял поодаль, неподвижный, как дерево тамал на берегу стремительного потока.

Однажды женщина встретилась с ним взглядом. И почувствовала жалость — так принцесса проникается жалостью к пище, который стоит у нее под окном.

— Я вижу, у тебя нет никакого дела, — обратилась она к бездельнику с состраданием в голосе.

— Дела? Но у меня нет времени заниматься делами, — с тяжким вздохом промолвил бездельник.

Женщина не поняла его.

— Не хочешь ли ты помочь мне? — спросила она.

— Конечно, хочу.

— Чем же ты можешь помочь?

— Вот если ты дашь мне один из кувшинов, в которых носишь воду, я...

— Зачем тебе мой кувшин? Воду носить?

— Нет, я его разрисую.

— Что за глупости! — рассердилась женщина. — Нет у меня времени болтать тут с тобой! — и ушла.

Но разве деловой человек устоит против бездельника?

Каждый день встречались они у источника, и всякий раз бездельник твердил свое: «Дай мне кувшин, я разрисую его».

И женщина уступила, дала кувшин.

Бездельник стал выводить на нем пестрый узор. Когда он закончил работу, женщина взяла кувшин и залюбовалась рисунком; она поворачивала кувшин то в одну сторону, то в другую и все смотрела, смотрела.

— Что значат эти линии? — спросила она наконец, подняв в изумлении брови.

— Ничего, — ответил бездельник.

Женщина пошла с кувшином домой, тихая и задумчивая.

Там она села в укромном месте и снова стала любоваться рисунком. Ночью она не раз вставала с постели, зажигала светильник и молча рассматривала узоры. Она впервые увидела нечто, лишенное всякого смысла, значения.

На другой день, когда молодая женщина деловитой походкой направлялась к источнику, на пути ее неожиданно возникла преграда. Казалось, ноги ее шли-шли и вдруг задумались — и то, о чем они думали, не имело никакого смысла.

А бездельник уже стоял там, немного поодаль.

— Что тебе надо? — спросила в смущении женщина.

— Я хотел бы сделать для тебя еще что-нибудь.

— Что же?

— Хочешь, я сплету из разноцветных нитей шнур для твоих волос?

— Зачем?

— Да так.

Он сплел для ее волос шнур, яркий, красивый. И с тех пор молодая женщина каждый день подолгу сидит перед зеркалом, стараясь как можно искуснее вплести цветной шнур в свои волосы. А дела стоят, время идет.

И вот в раю деловых людей зазвучали песни и полились слезы любви, надолго отрывавшие всех от работы.

Это встревожило старейшин рая. Созвали совет.

— В наших местах, — заявили они, — такого еще никогда не случалось.

Тут посланцы Ямы признались в своем проступке:

— Это мы по ошибке привели сюда не того человека.

«Не-тот-человек» был призван на совет. И все поняли, какая страшная произошла ошибка, — ведь на нем был яркий тюрбан и сверкающий пояс!

— Ты должен вернуться на землю, — повелел «Не-тому-человеку» глава старейшин.

«Не-тот-человек» вздохнул облегченно, собрал свои кисти и краски и с готовностью сказал:

— Так я пошел.

— Пстой, и я с тобою! — воскликнула молодая женщина.

Глава старейшин растерялся. И не мудрено. Первый раз в раю деловых людей произошло нечто, лишённое всякого смысла.



ПРИДВОРНЫЙ ШУТ

Раджа княжества Канчи пошел походом па княжество Карнат. И одержал победу. Он нагрузил слонов сандалом, золотом и драгоценными камнями.

На обратном пути раджа заехал в Балешвар и совершил жертвоприношение; весь храм был залит потоками крови.

Облаченный в красные одежды, с гирляндю красных роз на шее возвращался раджа к своему войску. С ним — его любимый министр и шут.

Неподалеку от дороги, в манговой роще, ребятишки затеяли какую-то игру.

— Давайте посмотрим, — предложил раджа, останавливаясь.

Дети играли в войну.

— Кто у вас с кем воюет? — спросил раджа.

— Раджа Канчи и раджа Карната, — отвечали мальчишки.

— Кто же победил?

— Конечно, раджа Карната!

У раджи глаза налились кровью от гнева, министр помрачнел, а шут громко расхохотался.

Когда раджа со своим войском опять проходил мимо манговой рощи, дети все еще играли в войну.

— Привяжите этих мальчишек к дереву да выпорите хорошенько, — велел он.

Прибежали родители.

— Прости их, государь! Они еще малы и неразумны. Это ведь просто игра.

Раджа подозвал военачальника:

— Ну-ка, проучи эту деревенщину, чтобы они долго помнили раджу Канчи!

И раджа поехал дальше, в свой лагерь.

Вечером военачальник предстал пред ясные очи своего повелителя.

— О махараджа, — молвил он с низким поклоном, — теперь, кроме воя шакалов, ты не услышишь в этой деревне ни звука.

— Честь раджи спасена! — произнес министр.

— Владыка вселенной помог махарадже, — подхватил жрец.

А шут сказал:

— Отпусти меня, махараджа.

— Почему? — удивился раджа.

— Я не умею ни душить, ни резать, — отвечал шут. — Милостью божьей я умею только смеяться. Если же я останусь при дворе махараджи, то и смеяться разучусь.



ЛОШАДЬ

Работа по сотворению мира подходила уже к концу, когда гонг, призывавший обычно к отдыху, вдруг возвестил:

— В голове Брахмы зародилась новая мысль!

Творец призвал к себе хранителя сокровищ.

— Принеси-ка в мою мастерскую пять стихий, каждой понемногу, — хочу сотворить еще одно существо.

— О владыка, — почтительно сложив руки, отвечал хранитель сокровищ, — создавая слонов и китов, змей, львов и тигров, ты в пылу увлечения слишком щедро расточал богатства вселенной. Земли, огня и воды у нас почти не осталось; только ветра и воздуха — хоть отбавляй.

Четырехликий в раздумье покрутил все четыре пары своих усов.

— Хорошо, давай все, что у тебя есть в кладовых. Посмотрим.

На сей раз Брахма расходовал землю, огонь и воду весьма бережливо. Новой твари он не дал ни рогов, ни когтей, а зубами она могла только жевать, но не кусаться. Правда, из запасов огня он кое-что взял, поэтому сотворенное им существо могло пригодиться на поле брани, но страсти к борьбе ему не досталось.

Зато всемогущий творец все нутро своего создания накачал ветром и воздухом. И теперь душа его непрестанно стремится к свободе — лететь бы ветра быстрее,

унестись бы в беспредельное небо! Все — твари как твари: бегут, когда нужно, а эта мчится просто так, без всякой нужды, будто ей от самой себя хочется убежать. Существо это — лошадь. Она не станет ни хватать добычу, ни убивать, ей бы только мчаться и мчаться, чтобы слиться с тенью и исчезнуть бесследно в бесконечном пространстве. «Так случается, — говорят мудрецы, — когда в созданной всевышним твари слишком много ветра и воздуха».

Брахма был в восторге от сотворенного им существа. Всех животных он поселил в лесах и пещерах, а этому даровал поле, чтобы любоваться его стремительным бегом.

По ту сторону поля жил человек. Он все копил и копил добро, пока оно не стало для него тяжким бременем. Увидев мчавшуюся по полю лошадь, он тут же подумал: «Эх, обуздать бы ее, как она пригодилась бы мне в хозяйстве!»

И вот однажды человек расставил сети и поймал лошадь. На спину ей он воздрузил седло, взнуздal и стал стегать нещадно кнутом, а в бока вонзал шпоры. Правда, иногда он мыл и чистил ее, но в поле никогда не выпускал — чтобы не убежала, а запер в четырех стенах.

Никто не отнял у тигра леса, у льва — пещеры, а у лошади отобрали ее широкое поле и посадили в конюшню. О ветры и воздух, вы наделили эту тварь высоким стремленьем к свободе, но не смогли избавить ее от оков!

Когда лошади стало не в состоянии, она забила копытами в стену. Она изранила себе ноги, а стена... Впрочем, со стены осыпалась штукатурка...

Человек не на шутку разгневался.

— Какая неблагодарность! — вскричал он. — Я кормлю ее и пою, плачу конюхам, чтобы ни днем, ни ночью глаз с нее не спускали. Право же, трудно ей угодить!

И вот, стараясь угодить лошади, конюхи с таким рвением принялись за работу, что вскоре она уже не в силах была шевельнуться. Тогда человек сказал своим друзьям и соседям:

— Готов поклясться, во всем мире не сыскать такого верного и преданного существа, как эта лошадка.

— О да! — угодливо отозвались друзья и соседи. — Всегда спокойная, как вода в пруду. Такая же кроткая и мирная, как ваша вера.

Да оно и понятно. Ведь лошади не было дано ни настоящих зубов, ни когтей, ни рогов, а бить копытами не то что в стену, но даже в пустоту ей строго-настрого запретили. Чтобы хоть немного отвести душу, ей только и оставалось, что ржать, задрав голову к небу. Но это нарушало покой человека, да и соседи невесть что могли подумать — ржание лошади отнюдь не выражало любви и преданности.

Тогда появилось на свет множество всяких приспособлений, чтобы заткнуть лошади глотку. Но заставить лошадь совсем замолчать все же не удалось, и порой у нее вырывался сдавленный звук, подобный предсмертному хрипу.

Однажды этот звук долетел до ушей Брахмы и прервал его созерцательный сон. Глянул Брахма на землю, на открытое поле. Где же его лошадь?

И призвал к себе творец Яму:

— Твои проделки, конечно! Это ты стащил мою лошадь?

— О творец, — взмолился Яма. — Почему ты всегда подозреваешь меня? Обрати свой взор в ту сторону, где живет человек.

Творец посмотрел в ту сторону, где живет человек. И что же он увидел? Крохотный клочок земли, на нем высятся каменные стены, а за ними стоит лошадь и чуть слышно, устало похрапывает.

Вскипел Брахма.

— Если ты не освободишь мою тварь, — грозно крикнул он человеку, — я дам ей острые, как у тигра, когти и зубы, и уж тогда она не будет служить тебе!

— Неужели ты станешь поощрять кровожадность? — упрекнул его человек. — По правде сказать, твое создание недостойно свободы. Для его же блага, в ущерб себе я построил конюшню. Превосходную конюшню.

— Нет, ты отпустишь ее на свободу! — упрямо твердил всевышний.

— Ладно, отпущу, — согласился наконец человек. — Но не раньше, чем через семь дней. Если и тогда ты скажешь, что ей больше годится поле, чем конюшня, я сдаюсь: твоя взяла.

Что же, вы думаете, сделал человек? Он пустил лошадь в поле. Но крепко стреножил ее. Бедное животное стало передвигаться прыжками, нелепыми и смешными, — лягушка и та грациознее скачет.

Брахма живет высоко в небе. Как лошадь ковыляла, он видел, но пут на ее ногах не разглядел. В каком смехотворном виде предстало пред ним его создание! Творец даже покраснел от стыда.

— Да, ошибся я, видно, — пробормотал он.

Человек, сложив почтительно руки, сказал:

— Как повелишь мне теперь поступить с этой несчастной тварью? Если бы в твоих небесных владениях было поле, я, пожалуй, решился бы отправить ее туда.

— Что ты, что ты! — всполошился Брахма. — Забери ее, да поскорее, в свою конюшню!

— О владыка, — не унимался хитрец, — для человека эта тварь — тяжкое бремя!

— Так ведь на то ты и человек, чтобы принять это бремя, — отвечивал Брахма.



ПРИЗРАК

Пришла смерть за старым раджою. И все его подданные в страхе и горе воскликнули:

— Что с нами будет, когда ты покинешь нас?!

Услышав это, раджа и сам приуныл. «Ах, какая беда, — подумал он, — кто о них позаботится, когда меня не станет?»

Но, горюй не горюй, а от смерти все равно не уйдешь.

Тут на помощь пришли добрые боги.

— Ну что за беда? Пусть, — сказали они, — владыка ваш станет призраком, если вам так уж хочется таскать хомут на шее. Это человек умирает, а призрак бес смертен!

И подданные раджи перестали горевать и тревожиться.

Ведь больше всего беспокойства людям причиняют мысли о будущем. Когда же люди вверяют свою жизнь призраку, этому символу прошлого, они могут быть совершенно спокойны — теперь он должен думать о подданных раджи, теперь у него должна болеть за них душа... Но... у призрака нет ни головы, ни души, а стало быть, и думать ни о ком он не может, и душа у него не болит.

Ну, а если кто по дурной привычке сам пожелает о себе беспокоиться, тому призрак задаст хорошую трепку.

И не отвертись от него, не сбежишь, не пожалуешься, не найдешь на него ни суда, ни управы.

И вот жители страны, отдавшись на волю призрака, стали двигаться как во сне, с закрытыми глазами. Мудрецы так объясняли это: «Движение с закрытыми глазами и есть изначальное движение вселенной. Оно совершается по велению слепой судьбы. Так передвигались микробы, черви и все прочие первозданные твари земные; мы наблюдаем его и в настоящее время — в траве, на кустах и деревьях».

Поверив в сие изречение мудрецов, подданные призрака возомнили о своем изначальном высокородстве. И возрадовались.

Страной правил наместник призрака, старший смотритель тюрьмы. Стен этой тюрьмы не было видно. А потому жителям страны и в голову не приходило, что можно разрушить стены и выйти на волю.

Заключенные изнывали от непосильной, каторжной, но совершенно ненужной работы. От зари до зари кружили и кружили они вокруг маслобойной машины, но не могли выжать и капли масла. Только сил у них с каждым днем становилось все меньше, а покорности и смирения больше. Пусть они живут в нищете, пусть их терзают голод, болезни. Зато у них тишина и покой.

А вот в других странах было иначе. В других странах стоило призраку разбушеваться, как человек, беспокойный и смелый, усмирал его, звал на помощь заклинателя призраков. Здесь же ни у кого даже мысли такой не возникало. Здесь сам заклинатель был под пятою призрака.

Шли годы. Власть призрака не подвергалась ни малейшему сомнению. И люди вечно гордились бы тем, что их будущее, как ягненок, на привязи у призрака-прошлого. Молчит это будущее, онемело от страха, валяется в пыли, ненужное и бесполезное.

И все было бы хорошо, если бы... Почему-то все соседние страны не попали под власть призрака. Там все

машины работают на полную мощность, там выжимают масло, чтобы смазывать оси великой колесницы Будущего, и никто не выдавливает кровь из сердца, чтобы утолять жажду призрака. Там люди не терпят покоя, там жизнь бьет ключом!

В безмятежном царстве призрака только и слышалось: «Спит дитя, уснуло; тишина и покой в деревне».

Для малых детей эта песенка хороша, для нянек их — тоже. Для всей же деревни... Уснули селяне и не заметили, как на них враг напал, а в песне-то дальше пелось: «На родину враг напал».

Не стоит забывать этих слов. Ведь из песни слова не выкинешь!

И тогда титулованных мудрецов страны — широмони, чурамони и прочих — спросили: «Как это получилось?»

Тряхнув брахманской косичкой, мудрейшие отвечали:

— Призрак тут ни при чем, и народ винить не в чем; во всем виноваты завоеватели. Как посмели они напасть на нашу страну?!

— Да, конечно, — согласились все. И снова погрузились в безмятежный сон.

А жизнь шла своим чередом. По переулкам и закоулкам шныряли прислужники призрака, а по широким улицам и проспектам свободно разгуливали агенты отнюдь не призрачной власти. И в доме житья никакого не было, и из дому выйти нельзя — ни черным ходом, ни через парадную дверь. С одной стороны кричат: «Плати налог», и с другой — «Плати налог!»

«Но что мы дадим в уплату налога?»

Пока искали ответ на этот вопрос, со всех сторон — с севера и юга, с востока и запада — налетели заморские птицы и поклевали весь рис. Равнодушные ко всему на свете, подданные призрака даже не заметили этого. Правда, были в стране и беспокойные, не равнодушные люди, но их чурались, опасаясь, что придется совершать обряд очищения. Мудрецы и на этот случай отыскивали в



Сцена из драмы Р. Тагора «Поклонение танцовщицы» —
стенопись

Художник Нондолаал Бошу

священных книгах подходящее место: «Бесстрашие очищает душу. Страсти оскверняют ее. Сторонись людей, оскверненных страстями, и помни: «Воистину бодрствует лишь тот, кто спит!»

Изречение это наполнило восторгом сердца подданных.

Однако никакие изречения уже не могли помочь. Все тот же вопрос нарушал безмятежный покой страны призрака: «Что мы дадим в уплату налога?»

С кладбищ и мест сожжения трупов в реве и хохоте ветра донесся ответ:

— Душу, честь, совесть, кровь сердца!

Но вот беда — вопросов всегда возникает множество. Так и на этот раз, за первым вопросом тотчас же последовал второй:

— Вечно ли будет длиться власть призрака?

Вопрос этот возмутил дядюшек и тетюшек, напевавших колыбельные песни.

— Безобразие! — завопили они. — Отроду не слышали мы ничего подобного. Что же тогда будет с вечным сном?! С тем изначальным сном, что древнее всех пробуждений?!

— Так-то оно так, — возразили им. — Но как избавиться от заморских птиц и полчищ врагов?

— Будем заклинать их именем Кришны.

Но юное поколение отвергло этот устарелый путь.

— Нет, мы должны уничтожить власть призрака, чего бы нам это ни стоило!

— Молчать! — злобно вращая глазами, вдруг рявкнул наместник призрака. — Маслобойка еще не остановилась!

Окрик подействовал. Дитя страны замолчало, затем повернулось на другой бок и снова погрузилось в глубокий сон.

Короче говоря, старый раджа и не живет и не умер — он призрак. Он ничего не разрушает, но и нового не дает создавать.

Сейчас даже те, кто днем не решается слова сказать, в страхе перед наместником, по ночам, сложив молитвенно руки, шепчут:

— О повелитель, неужели тебе не пришло еще время покинуть нас?

— Глупцы, — отвечает им повелитель. — Меня не держат, но и не дают мне уйти. Отпустите меня, и я уйду.

— Но ведь страшно, владыка!

— В том и беда ваша!



КАК ОБУЧАЛИ ПОПУГАЯ

Жил-был попугай. Глупый-преглупый. Священных книг не читал, только и знал, что трещать, прыгая с ветки на ветку. Он и понятия не имел о том, что такое правила и законы.

— Не понимаю, зачем существуют такие птицы! — брюзжал раджа. — Только плоды в лесах поедают, а мы терпим убытки на нашем, на царском рынке. — И он отдал приказ обучить попугая всяким наукам и хорошим манерам.

Обучение попугая было поручено царским племянникам.

Всех пандитов страны призвали ко двору на совет. Долго обсуждали они вопрос: в чем причина невежества вышеупомянутой птицы.

И решили: все дело в том, что гнездо птицы, сплетенное из травинки и соломы, уж очень убого. Прежде всего надо соорудить ей красивую клетку.

Пандиты получили вознаграждение и, довольные, разошлись по домам.

Золотых дел мастер стал сооружать клетку из чистого золота. Клетка вышла на славу. Посмотреть на эту диковинку стекались любопытные со всех концов света. Одни качали головой:

— Зачахнут теперь науки.

— Ну и пусть чахнут, — говорили другие. — Зато какая чудесная клетка. Повезло птице!

Золотых дел мастер получил в награду целый мешок денег и, не чуя под собой ног от радости, поспешил домой.

Наконец решили приступить к обучению птицы.

— Однако для нашего дела, — прогнусавил пандит, засовывая в ноздрю табак, — потребуется немало книг.

Тогда племянники раджи созвали целую армию переписчиков и посадили их за работу. Переписчики день и ночь делали копии с книг, затем копии с копий, пока не выросла целая гора рукописей.

— Ну, теперь конец, — говорили те, кому довелось видеть это. — Пропали науки.

Переписчики вернулись домой с подарками, которых было столько, что пришлось везти их на повозках. С тех пор их семьи не знали нужды.

Драгоценная клетка доставляла племянникам уйму хлопот — то чинить ее надо, то чистить. Наблюдая, как моют, скребут и чистят клетку, люди говорили:

— А ведь лучше становится.

Между тем для обслуживания сего «храма наук» с каждым днем требовалось все больше мастеров и подмастерьев, а еще больше надсмотрщиков. И все, понятно, мечтали на этом руки нагреть.

Сказать по правде, мастера с подмастерьями и вся их родня набили сундуки всяким добром и зажили в полном довольстве в новых роскошных домах.

Многого недостает в нашем мире, зато хулителей всегда вдоволь.

— Клетка, — уверяли они, — все краше становится, а вот про птицу забыли.

Слова эти достигли слуха раджи. Приказал он тогда позвать племянников.

— Дорогие племяннички, — сказал он, — что это я слышу?

— Махараджа, — отвечали племянники, если ты хочешь знать правду, вели позвать золотых дел мастеров,

пандитов и переписчиков, вели позвать тех, кто чинил клетку, и тех, кто наблюдал за починкой. У хулителей подвело животы от голоду, вот они и возводят напраслину!

Раджа остался доволен ответом и пожаловал каждому из племянников золотое ожерелье.

Обучение продолжалось с блистательным успехом. И вот однажды раджа пожелал сам в этом удостовериться. В сопровождении свиты он направился к великому святилищу знаний.

Как только раджа приблизился к воротам святилища, затрубили раковины, горны и охотничьи рога, зазвучали гонги и тамтамы, загрохотали барабаны и литавры, заиграли флейты и дудки. Пандиты трянули своими косичками и, откашлявшись, заунывными голосами затянули мантры. Мастера, переписчики, надсмотрщики и несметные полчища их родни разразились приветственными кликами.

— Каково, махараджа? — спросили племянники с подобострастной улыбкой.

— Да, шуму немало, — согласился раджа.

— Только ли шуму? Немало и смысла во всем этом.

Радже все пришлось по вкусу. Выйдя из святилища знаний, он уже хотел взобраться на слона. Как вдруг к нему подскочил какой-то человек и спросил:

— Махараджа, а видел ли ты птицу?

Раджа вздрогнул от неожиданности.

— В самом деле, — спохватился он. — Птицы-то я и впрямь не видал.

Он вернулся и заявил пандитам:

— Хочу посмотреть, по какой системе вы обучаете попугая.

Ему показали. Раджа пришел в совершенный восторг. Еще бы! Система обучения оказалась настолько значительной, что птички за ней не было даже видно. Да, пожалуй, и смотреть на нее было незачем. Раджа и так убедился, что условия для ее обучения великолепные. В клетке ни воды, ни зерна, всюду только рукописи и книги, а в клюв птицы кончиком пера запикивают вы-

рваные из книг листы. Какие там песни, даже не пискнешь. Душераздирающая картина!

Влезая на слона, раджа приказал главному трепателю ушей хорошенько надрать уши хулителю.

А между тем птица, как и подобает всякому порядочному пернатому, медленно угасала. Все идет хорошо, решили воспитатели. Но такова уж птичья натура: утренние лучи пробуждали попугая, и он начинал беззастенчиво хлопать крыльями. Не раз люди видели, как он своим слабеньким клювом пытался сломать прутья клетки.

— Какая наглость! — узнав об этом, возмутился начальник городской стражи.

Тогда в ведомство просвещения пригласили кузнеца. Загудел огонь в горне, загремел молот. Была изготовлена железная цепь. Птице сковали крылья.

Племянники раджи сердито надулись, и лица их стали похожи на печные горшки.

— В нашем царстве птицы не только лишены здравого смысла, но даже не способны на благодарность. —

А пандиты, вооруженные каламом и палкою, снова принялись школить птицу.

Кузнец получил повышение по службе, у жены его прибавились новые золотые украшения, а начальник городской стражи за бдительность был пожалован почетной чалмой.

И вот попугая не стало. Никто не заметил, как и когда это произошло. Недобрую весть распространил все тот же злополучный хулитель.

— Нет больше птички, — сообщал он всем и каждому.

Раджа снова призвал племянников.

— Что я слышу, дорогие племянники!

— Ничего особенного, махараджа, — отвечали они, не моргнув глазом. — Воспитание попугая закончилось.

— Он по-прежнему прыгает? — любопытствовал раджа.

— Что вы?! — отвечали племянники,



Как обучали попугая
Художник Абаниндрнат Тагор

— Все летает?

— Нет.

— Поет песни?

— Нет, нет.

— Пищит, когда ему не дают зерна?

— Нет, повелитель!

— А ну-ка принесите мне птицу, я сам посмотрю.

Птицу припесли; за нею следовал целый кортеж — начальник городской стражи, глашатай и всадники. Раджа ткнул в птицу пальцем. Она — ни гугу. Только в животе у нее зашуршали-зашелестели листы бумаги.

А под ясным небом, на весеннем ветру плавно качались ветви, и свежее дыхание молодой листвы разливалось в расцветающей роще.



СПАСЕНИЕ

Одна женщина, тоскуя в разлуке с любимым, захотела вылепить его из глины. Образ, запечатлевшийся в ее душе, с каждым днем приобретал все более зримые очертания. Она долго и жадно смотрела на это подобие любимого ею человека, мысли ее уносились в прошлое, из глаз медленно падали горячие слезы.

Но вот образ, прежде такой отчетливый, начал меркнуть, словно заволакиваясь туманом. И лепестки памяти мало-помалу сомкнулись — так закрываются вечером лепестки лотоса.

Женщина сердилась на себя, ее терзал стыд. Она подвергала себя жестоким истязаниям, питалась только водой и плодами, ложем ей служила земля.

Когда женщина кончила лепить изваяние, оно уже совсем не походило на того, чей образ она силилась удержать в памяти. Да и едва ли оно было отражением какого-либо определенного человека. Чем больше старалась женщина, тем меньше и меньше оставалось сходства.

Тогда она принялась украшать свое божество, принесла ему в жертву сто один лотос, по вечерам зажигала светильник с благовонным маслом; светильник был золотой, масло дорогое.

Украшений с каждым днем становилось все больше, жертвенные приношения покрыли собой весь алтарь, изваяния почти не было видно.

Однажды к женщине подошел мальчик.

— Можно, мы поиграем здесь? — обратился он к ней с вопросом.

— Где?

— Вот здесь, возле твоей куклы.

Но женщина закричала сердито:

— Здесь никто никогда не будет играть!

Потом пришел другой мальчик.

— Можно, мы нарвем здесь цветов? — спросил он.

— Каких цветов?!

— Да вон, что растут на дереве чампак за той большой куклой.

Женщина прогнала мальчика.

— Никто не смеет прикасаться к этим цветам!

Пришел третий мальчик.

— Пожалуйста, — попросил он женщину, — возьми светильник, посвети нам...

— Какой светильник?!

— Да тот, что ты зажигаешь около твоей куклы.

Женщина и его прогнала.

Но ребяташки по-прежнему приходили в сад.

Женщина прислушивалась к их звонким голосам, с любопытством смотрела на их игры. Иногда она отвлекалась от своих печальных дум. Но тут же спохватывалась, и лицо ее заливала краска стыда.

Наступил день ярмарки.

Один старик, проходя мимо дома покинутой женщины, позвал ее:

— Пойдем с нами, дочка, на ярмарку.

— Никуда я не пойду, — огрызнулась женщина.

Пришла подруга и тоже позвала ее:

— Идем скорее на ярмарку!

— Не пойду, я занята.

Прибежал маленький мальчик.

— Возьми меня с собой на ярмарку, — пролепетал он.

— Нет, я не могу оставить свое божество, — ответила женщина.

Как-то ночью сквозь сон она услышала шум, подобный рокоту морского прибоя. Через деревню двигалась большая толпа — тысячи пришельцев из дальних и ближних краев; кто ехал на повозке, кто шел пешком, кто нес тяжелый груз, а кто шагал налегке.

Утром она проснулась и не услышала пения птиц, его заглушили песни путников. На миг и у нее вспыхнуло желание слиться с людским потоком. Но ее остановила мысль: «Ах нет, я должна поклоняться своему божееству». И она побежала в сад.

Но где же ее божеество?! Через то место, где стояло изваяние, теперь пролегла дорога. А по ней шли и шли люди.

— О, где же тот, кому я служила так преданно?

И в душе ее раздался голос:

— Он ушел вместе с людьми!..

Снова подбежал мальчик:

— Возьми меня с собой.

— Куда?

— Ты ведь пойдешь на ярмарку?

— Пойду, конечно, пойду.

И женщина зашагала по дороге. Она потеряла свое божеество, но вновь обрела его среди людей.



П Ъ Е С Ы

1933





ЧАНДАЛБА



Перевод

В. Гороновой и Ф. Мендельсона

*Стихи в переводе
Ф. Мендельсона*



СЦЕНА I

М а т ь. Пракрити! Пракрити! Куда она опять делась? Что творится с девочкой, не могу понять. Ни минуты не посидит дома. Пракрити!

П р а к р и т и. Да, мама, я здесь!

М а т ь. Где ты?

П р а к р и т и. Здесь, у колодца.

М а т ь. Что ты там делаешь? Ведь уже за полдень, и солнце палит, и земля такая горячая — не ступишь ногой! Все девушки давно вернулись с кувшинами в деревню, а ты? Смотри, даже вороны на ветвях амолоки разевают клювы от зноя! Чего ты сидишь без дела на самой жаре под солнцем бойшакха? Изжариться хочешь? Есть в пуранах рассказ о том, как Ума ушла из дому, чтобы ради Шивы принять мучения под палящим солнцем, — уж не ей ли ты подражаешь?

П р а к р и т и. Да, мама, ей.

М а т ь. Боги милостивы. Но ради кого ты страдаешь?

П р а к р и т и. Ради того, чей зов дошел до меня.

(Поет.)

Пусть останется в сердце имя того,
Кто позвал меня;
Никогда не забуду теперь его, —
Он назвал меня!
Он отверз немые уста мои,
Он узнал меня
И словами свежими, как ручьи,
Обласкал меня.

Мать. Что же это за слова?

Пракрити. Он сказал: «Дай мне напиться». Эти слова его все время звучат в моем сердце.

Мать. Боги, сжальтесь над нами! Он сказал тебе: «Дай мне напиться»? Кто это был? Кто-нибудь из нашей касты?

Пракрити. Да, он сказал, что он из нашего рода.

Мать. Но ты не скрыла от него своей касты? Ты сказала ему, что ты чандалка?

Пракрити. Да, я сказала ему. Но он ответил, что это неправда. «Если черной туче Срабона дать имя Чандал, что из этого? — сказал он. — Это не изменит ее природы и не замутит ее истоков. Не унижай себя, — сказал он. — Самоунижение еще больший грех, чем самоубийство».

Мать. Откуда у тебя эти слова? Уж не вспомнила ли ты какой-нибудь сон из твоей прежней жизни?

Пракрити. Нет, это явь моей новой жизни.

Мать. Не смей меня! Новая жизнь, подумать только! Когда это ты успела заново родиться, скажи на милость?

Пракрити. Это было в тот день. Гонг во дворце пробил полдень, и был палящий зной. Я купала у колодца теленка, того, что остался без матери. И вот подошел ко мне буддийский монах в своем желтом одеянии, остановился передо мной и сказал: «Дай мне напиться!» Мое сердце замерло. Вся дрожа, я поклонилась ему издали, не осмеливаясь подойти. Он весь светился, как небо на заре. Я сказала ему: «Я чандалка, и вода в колодце нечистая». Он ответил: «Я всего лишь человек, такой же, как ты, и всякая вода, которая освежает нас и утоляет жажду, одинаково чиста и свята». Впервые в жизни я услышала такое и впервые в жизни налила воды в подставленные пригоршни святого человека, к которому никогда не посмела бы даже приблизиться, даже коснуться праха с его ног.

Мать. О, несчастная, разве можно быть такой безрассудной? И как ты осмелилась? Ты дорого заплатишь за свою глупость. Разве ты забыла, какой ты касты?

Пракрити. Он только один раз подставил сложенные пригоршней руки, и я только один раз наполнила их водой. Воды было совсем мало, но казалось — в его ладонях бездонный и безбрежный океан. Он вместил в себе семь морей, и моя каста утонула в нем, и я омылась в нем и возродилась вновь незапятнанной.

М а т ь. Что с тобой в самом деле? Ты даже говоришь по-другому! Он зачаровал тебя, околдовал твой язык. Ты сама-то понимаешь, что говоришь?

Пракрити. Скажи, мама, неужели не нашлось для него больше воды во всем городе Сравасти? Почему из всех колодцев он выбрал этот колодец? Я поистине могу назвать тот день днем своего нового рождения! Он пришел, чтоб оказать честь мне, чтобы я утолила жажду Человека. Он совершил великий подвиг, и это ему зачтется. Где еще сумел бы он отыскать колодец, чтобы исполнить свой святой обет? Нигде! Ни один священный источник для этого не годился. Он сказал, что Джанаки купалась в такой же воде в начале своего лесного изгнания, что ей приносил эту воду Гуха, такой же чандал, как и я. Сердце мое до сих пор поет, до сих пор день и ночь я слышу его торжественный голос и эти слова: «Дай мне напиться, дай мне напиться...»

(Поет.)

Попросил он: «Дай воды мне, дай мне пить!»
Чем смогу я его жажду утолить?
Жаждет птица,
Ввысь стремится
К черной туче, полной влаги,
Но напрасно просит птица:
Дай воды мне!
Дай напиться!
Капля каждая во мраке,
Как под черным тяжким камнем, —
Не излиться,
Не пролиться, —
Власть такая не дана мне.
И, как в камень, он стучится:
«Дай воды мне! Дай напиться!»

Мать. Ах, дитя мое, просто не знаю, что и делать. Не нравится мне все это. Не понимаю я, чем он тебя заворожил. Сегодня я не узнаю твою речь, а завтра, быть может, не узнаю твоего лица. Его чары меняют даже душу!

Праkritи. Просто ты никогда меня по-настоящему не знала, мама. Только он разглядел меня, и только он поможет мне познать себя. И вот я смотрю на дорогу и жду. Гонг во дворце отбивает полдень, девушки с водою уходят домой, и только коршун один парит в высоте, да я с кувшином сижу у колодца у самой дороги.

Мать. Кого же ты ждешь?

Праkritи. Путника.

Мать. Какой путник придет к тебе, сумасшедшая девчонка?

Праkritи. Один путник, мама, один и единственный. В нем одном все путники, идущие по всем дорогам мира. Дни проходят за днями, а его все нет. Он не сказал ни слова, но он дал мне слово — почему же он до сих пор его не сдержал? Сердце мое — безводная пустыня, где воздух дрожит от зноя. И нет в нем влаги, ибо некому ее предложить, никто не приходит за ней.

(Поет.)

Жаждут глаза, жаждет душа,
Мологом сердце бьется в висках;
Так в знойный день, все иссуша,
Ветер горячий вьется в песках.

Вьется смерчами жгучий песок,
Буря срывает одежды с меня, —
Вырванный с корнем дивный цветок
Вянет и сохнет день ото дня.

Кто мне источник жизни закрыл,
Кто от родимой земли оторвал,
Сердце и тело мое иссушил,
В зной одиночества заковал?

Мать. Ничего я сегодня не понимаю из твоих речей. Ты словно опоенная. Скажи мне прямо, чего ты хочешь?

Пракрити. Я хочу его! Он явился совсем неожиданно и открыл мне истину, что даже моя услуга будет зачтена перед творцом. О, чудо из чудес! Значит, и я могу ему служить, я, цветок ядовитого дерева! Пусть же возвысит он эту истину, пусть поднимет цветок из грязи и упокоит на своей груди!

Мать. Поостерегись, Пракрити! Такие слова можно только слушать, но следовать им нельзя. Грязь, в которую бросила тебя злая судьба, крепче самого крепкого кирпича, — ее не разрубит ни один меч! Ты нечистая, неприкасаемая и не вздумай осквернить собой других. Знай свое место, и чем оно меньше, скромнее — тем лучше! Для тебя преступить предначертание — смертный грех!

Пракрити (поет)

Говорит цветок земли:
«Торжество мое
В том, что я служу тебе,
Божество мое!
Дай же мне забыть
Праха, где я рожден!
Телом скован я,
Дух освобожден.
На меня взгляни —
Лепестки дрожат...
Прикоснись ко мне —
Буду так же свят.
Подними меня из праха, —
Грязь смывается!
Мной сама земля тебе
Поклоняется».

Мать. Дитя мое, похоже, я начинаю кое-что понимать. Ты — женщина; служа мужчине, ты должна боготворить его и в то же время править им. Только женщины могут, пусть на миг, преступить закон касты: когда

завеса судьбы отдернута, они равны в своей царственности. Ты знаешь, у тебя был такой миг, когда царский сын охотился на оленей и остановился у этого самого колодца, — помнишь?

Пра крит и. Да, мама, помню.

Мать. Почему же ты тогда не ушла во дворец? Он забыл обо всем при виде твоей красоты!

Пра крит и. Да, он и в самом деле забыл обо всем и о том, что я тоже — человек. Он охотился на зверей и увидел только красивого зверя, которого захотел посадить на золотую цепь.

Мать. Он, по крайней мере, увидел твою красоту, хоть и забавлялся охотой. А что твой монах, разглядел он в тебе женщину?

Пра крит и. О мама, ты не хочешь понять, не можешь! Я чувствую, что за всю мою жизнь только он, он по-настоящему понял меня. Это так чудесно!

(Поет.)

Одним твоим глазам
Открылся облик мой, —
Ты сотворил меня,
Я создана тобой.

Благодарю тебя,
Благодарю тебя,
Перед тобою ниц
Боготворю тебя!

Я юная заря,
Я света чистый луч,
Благословенный дар
Несущих влагу туч.

Благодарю тебя,
Благодарю тебя,
Перед тобою ниц
Боготворю тебя,

Я хочу его, я жажду его безмерно. Я хочу положить свою жизнь, как гирлянду цветов, к его ногам, — это не осквернит их! Пусть все дивятся моей смелости! С гордостью я скажу ему: «Я твоя служанка!» Потому что иначе я останусь беспомощной, жалкой рабыней, которую каждый может попирать ногами.

М а т ь. Твой гнев напрасен, дитя мое! Ведь ты родилась рабыней. Таково предначертание, — и кто может его изменить?

П р а к р и т и. Ах, мама, мама, прошу тебя, не оскверняй себя самоунижением, — твои слова неправда и великий грех. И в царских семьях немало рабов, но я — не рабыня; и среди брахманов рождается немало чандалов, но я — не чандалка.

М а т ь. Не знаю, что тебе и ответить, дочка. Ну, хорошо. Я сама пойду к нему и припаду к его ногам. «Ты вкушаешь пищу в любом доме, — скажу я ему. — Приди же в наш дом и прими из наших рук хотя бы чашу с водой!»

П р а к р и т и
(поет)

Нет, о нет, не хочу его звать я словами!

Позову его сердцем: скорей приходи!

И возьми меня всю, погаси это пламя,

Успокой эту боль в истомленной груди!

Для тебя одного я себя сберегаю,

Жду, когда ты придешь и мне скажешь:

«Я твой!»

И сольешься со мною, желаньем сжигая,

Как сливается Ганга с Джамуной-рекой.

Ты незванным пришел и надежду посеял,

Ты ушел, а надежда во мне все смелей!

И, довериться слову простому не смея,

Я зову тебя сердцем: «Приди поскорей!»

Какой толк от одного кувшина воды, когда вся земля рас- трескалась от засухи? Неужели туча не придет, не за-

кроет все небо и не изольется на землю благодатным ливнем?

Мать. Не понимаю, к чему все эти слова? Если туча придет, значит — придет, если не придет, значит — не придет, и пусть весь урожай сгорит на корню — туче до этого нет никакого дела! Что мы можем? Только сидеть и смотреть на небо.

Пракрити. Нет, это не для меня, я не могу просто сидеть и ждать. Ты знаешь заклятия, — пусть твои заклятия станут моими руками, чтобы я могла обнять его и завлечь сюда!

Мать. Что ты говоришь, несчастная! Неужели нет предела твоему бесстыдству? Ты играешь с огнем! Разве эти монахи — обыкновенные люди? Нет, нет, я не стану их заклинать! Стоит только подумать, как я вся дрожу.

Пракрити. Хватило же у тебя смелости заклясть царского сына!

Мать. Я не боюсь царя: он мог бы только посадить меня на кол. Но эти люди...

Пракрити. А я ничего больше не боюсь; боюсь только снова пасть, снова забыть самое себя, снова уйти в обитель мрака. Это было бы страшнее смерти! Ты должна привлечь его сюда! Если я говорю об этом так смело, разве это само по себе не чудо? А кто сотворил это чудо, как не он? И не предвещает ли оно новые чудеса? И не придет ли он, чтобы сесть со мной рядом, бок о бок, на край моего сари?

Мать. Но если я завлеку его, — ты знаешь, чего это тебе будет стоить? Готова ли ты? Ведь ты потеряешь все!

Пракрити. Да, потеряю все. Наследие всех жизней, рождений и возрождений, — все будет отпято. Но дай мне со всем этим покончить, — и тогда я обрету истинную жизнь. Для этого он мне и нужен. Пусть мне ничего не останется! Век за веком ждала я этого часа, и теперь, в этом рождении жизнь моя будет завершена. Разум говорит мне снова и снова — завершена! Потому я и услышала чудесные слова: «Дай мне напиток!» Теперь я знаю, что даже я могу утолять жажду. Все скрывали это от меня. Все, кроме него. И вот я сижу и жду его

прихода, чтобы отдавать, дарить, отдать все, что есть у меня!

Мать. Неужели ты утратила веру в богов?

Пракрити. Не знаю. Я почитаю того, кто чтит меня. Вера, которая оскорбляет, — ложная вера. Все словно стоворились, чтобы заставить меня молча и слепо поклоняться лжи. Но с того великого дня что-то мешает мне верить, как прежде. Я теперь ничего не боюсь. Читай же свои заклинания, и пусть монах придет к чандалке! Я сама его встречу, ибо никто не встретит его так, как я.

(Поэт.)

Я знаю того, кто знает меня,
Как утро знает зарю;
Тому, кто отдаст мне всего себя,
Я всю себя подарю.

Я знаю того, кто узнал меня,
Кто светом во мраке был,
Кто темную, низкую душу мою,
Как факелом, осветил.

Он встретил меня, коснулся меня,
И тьмы разомкнул кольцо, —
С тех пор и во мраке всегда предо мной
Сияет его лицо.

Мать. И ты не боишься навлечь на себя проклятие?

Пракрити. Проклятие тяготело надо мной всю жизнь. Яд убивает яд, — говорят люди, — так проклятие уничтожит проклятие. Ни слова больше, мама, прошу тебя. Начинай заклинания, ибо я уже изнемогаю.

Мать. Пусть будет по-твоему. Как его зовут?

Пракрити. Его имя — Ананда.

Мать. Ананда? Ученик самого Будды?

Пракрити. Да, это он.

Мать. О, сокровище мое, ты терзаешь мне сердце!
Свет очей моих, уступая тебе, я совершаю великое зло!

Пракрити. Какое же в этом зло? Я хочу привлечь к себе того, кто сам привлекает к себе всех. Разве это преступление?

Мать. Они привлекают к себе людей сиянием чистоты и добродетели. А мы хотим завлечь его чарами, заклинаниями, как зверя в западню, завлечь в грязь, в которой сами топчемся.

Пракрити. И пусть! Пока не загрязнишься — не очистишься.

Мать (*обращаясь к Ананде*). О божественный, твое всепрощение сильнее моего преступления. Я решилась оскорбить тебя, но я склоняюсь перед тобой и прошу: смилуйся надо мной, о пресветлый!

Пракрити. Чего ты боишься, мать? Ведь это не ты, а я пою твоими губами заклинания. Если мое чувство привлечет его ко мне и если это преступление — преступление совершу я! Я не признаю законов, в которых одни наказания и нет воздаяния за добро.

(*Поет.*)

Покарай меня, покарай!
Я — возвращенный в грязи цветок,
У твоих я склоняюсь ног, —
Покарай, но не отвергай!

Скверной чаша моя полна;
Эту чашу опустоши, —
И величье твоей души
Милосердной вместит она!

Я тебя завлекаю в сеть,
Ты высок, а я так низка,
Я грешна, а ты без греха
И сумеешь все претерпеть,

Ты сумеешь меня простить,
Все грехи мои отпустить,
Как цветы, их переплетет
Твоего всепрощенья пить,

Мать. Я дивлюсь твоей дерзости, Пракрити!

Пракрити. Ты называешь меня дерзкой! Подумай о том, что дерзнул сделать он! Как просто сказал он слова, которые никто не осмеливался мне сказать! «Дай мне напиться». Такие обычные слова, и обжигающие, как пламя! Они озарили всю мою жизнь, они отбросили прочь тяжкий черный камень, который так долго затворял родник моего сердца, и радость хлынула наружу. Забудь же свои страхи, — ты боишься потому, что не видела его. Все утро он собирал милостыню в нашем городе Сравасти, а потом пошел через поле, мимо места для сожжения трупов, прошел вдоль реки под палящим солнцем — и все для чего? Чтобы сказать три слова — «Дай мне напиться» — такой вот, как я. О, это слишком чудесно! Откуда столько милосердия, столько любви к самой ничтожной и недостойной? И чего мне страшиться после этого? «Дай мне напиться!» О, эта утоляющая жажду влага переполняет меня, и я должна излить ее или умереть! «Дай мне напиться». В тот же миг я поняла; во мне источник неиссякаемый, но кому рассказать об этом? И вот я зову его день и ночь, — почему же он не слышит? Не бойся, читай свои заклинания, — он все вынесет и простит.

Мать. Смотри, Пракрити, люди в желтых одеяниях идут по дороге через выгон!

Пракрити. Да, я вижу: это все монахи-буддисты. Слышишь, как они поют?

В отдалении слышно пение монахов:

Перед великим Буддой, океаном милосердия,
Перед владыкой мудрым, чистым и совершенным,
Перед Буддой, победившим все соблазны и страдания,
Перед Буддой несравненным склоняемся до земли.

Пракрити. О мама, взгляни, он идет, там, впереди всех! И даже не повернет головы и не посмотрит на наш колодец! Ну что ему стоило еще раз сказать: «Дай мне напиться»? А я-то думала, что он теперь не отвергнет меня, — создание своих рук, свое творение! *(Падает ниц*

и бьется головой о землю.) Пыль, грязь, прах — вот твое место! О, злосчастная, глупая женщина! Кто поднял тебя к свету, для чего расцвела ты на миг? Разве это милосердие? А теперь ты упала обратно в грязь и должна навсегда смешаться с грязью и прахом под ногами у всех, кто идет по дороге!

Мать. Дитя мое, дочка моя, забудь, забудь обо всем! Они вспугнули твой короткий сон и уходят прочь, — пусть уходят, пусть. Если что-либо мимолетно, чем быстрее оно уходит, тем лучше.

Пракрити. День за днем звучал во мне крик желания, час за часом сжигало меня пламя стыда, сердце пойманной птицей билось в груди, ломая крылья и разбиваясь насмерть — и это ты называешь сном? Этот сон впился зубами и когтями в мою душу и терзает, не отпуская? А они, не знающие ни привязанностей, ни радости, ни горя, недоступные земным страстям и уплывающие, как осенние облака, — значит, только они не спят и они единственная явь?

Мать. О Пракрити, я не могу видеть, как ты страдаешь! Встань, дочка, пойдем: я прочту заклинания и заставлю его прийти. Я заставлю его пройти по всей пыльной дороге к тебе. «Я ничего не желаю», — говорит он в своей гордыне. Я сломлю его гордость, и он придет, прибежит, рыдая и повторяя: «Я хочу, я хочу!»

Пракрити. Мама, твое заклятье древнее, как сама жизнь. А их мантра родилась лишь вчера. Эти люди — ничто перед тобой — узы их веры развяжутся сами собой под напором твоих заклинаний. Он обречен на поражение.

Мать. Куда они идут?

Пракрити. Куда? Никуда. Весь дождливый сезон они постятся и каются, потом снова выходят и бредут неизвестно куда. И еще называют это бдением!

Мать. Так чего же ты хочешь от меня, глупая девочка? Какой толк от моих заклинаний, если он уйдет так далеко? Как я заставлю его вернуться?

Пракрити. Куда бы он ни шел, — ты должна его вернуть! Расстояние для твоих мантр не преграда.

(Поет.)

Если даже до моря дойдет он,
Пусть вернется, ко мне вернется, —
Место в сердце моем найдет он.
Пыль дорожную с ног его смою
Я слезами, а не водою
Из колодца.

Если даже в горы уйдет он,
Пусть вернется, ко мне вернется, —
Здесь, в пещере, меня найдет он.
Закружу его, заморожу его,
Утомлю его, усыплю его, —
Не проснется.

Он не сжалился надо мной, и я не стану жалеть его. Читай свои заклинания, самые страшные заклинания, — пусть опутают его душу и разум, как сетью. Где бы он ни был, он не должен от нас уйти!

Мать. Не бойся, это в наших силах. Я дам тебе волшебное зеркало. Возьми его в руки и танцуй! Его тень появится в зеркале, и ты увидишь, что с ним и где он.

Пракрити. Смотри, мама, видишь тучи, грозовые тучи на западе? Заклятие сделает свое дело! Все его бесстрастные молитвы разлетятся, как сухие листья, гонимые ветром; светильник его погаснет, и он потеряет во мраке путь. Как птица, чье гнездо разметано бурей, падает, трепеща, на ночной темный двор, так и он беспомощно упадет у нашего порога. Раскаты грома звучат в моем сердце, молнии озаряют разум, волны, пенясь, вздымаются до небес, и я не вижу берегов этого океана.

Мать. Подумай еще раз хорошенько, пока есть время. А что, если ты вдруг испугаешься и остановишься на полпути? Сможешь ты выдержать до конца? Когда заклятье достигнет высшей силы, я не смогу его разрушить, иначе я умру. Помни: это пламя не погаснет, пока все, что должно сгореть, не станет золой.

Пракрити. За кого ты боишься? Разве он простой смертный? С ним ничего не случится. Пусть придет, пусть пройдет по огненному пути до конца. Я вижу впереди ночь разрушения, бурю слияния и блаженство падения.

(Поэт.)

Сердце глупое, не стучи:
Будет, будет гроза в ночи!
Тучи хмурятся, тьма сгущается,
Листья шепчутся, лес качается.
Где же суженый, гость желанный мой?
Не заблудится в темноте ночной?
В тишине ночной все слышнее гром,
Притаился лес, все молчит кругом,
Все в безмолвии ожидания, —
Как земля дождя, жду свидания!

СЦЕНА II

Пракрити. О, сердце мое не выдержит! Не хочу смотреть в зеркало, — мне этого не перенести. Как безжалостен ураган! Неужели мой владыка будет повержен в прах, неужели померкнет его сияющая слава?!

Мать. Даже теперь я могу попробовать снять заклятье, если только ты скажешь, дочка. Пусть нити жизни моей порвутся, пусть я умру — лишь бы спасти эту высокую душу!

Пракрити. Да, так будет лучше, мама. Сними заклятье, — я больше не могу... Нет, нет, не надо! Продолжай, — он уже совсем близко. Пусть дойдет до конца, — прямо в мои объятия! И тогда я заставлю его забыть все страдания, положив весь мой мир к его ногам. В полночный час придет путник, и я зажгу для него светильник от огня моего пылающего сердца. И там, среди огня, он найдет источник нектара, который омоет его усталое, воспаленное, израненное тело. И снова он скажет: «Дай мне напиться!» И будет пить из моря моего сердца. Да, так будет, этот час придет! Продолжай, мать, твори свои заклинания!

(Поэт.)

В своем горьком горе,
Утоплю твою горе,
Твои раны омою
Горючей слезою,
А слез моих — море!

Мой мир, все, что было,
Предам все소жжению,
От позора очищусь
И от униженья
И на том пепелище
К ногам твоим милым
Сложу как подарок
И муку, и горе.

Мать. Я не думала, что это будет так долго. Мои заклинания потеряли силу, дочка, и у меня самой уже не осталось сил.

Пракрити. Не бойся, мама, потерпи еще немного, совсем немножко! Теперь уже скоро.

Мать. Наступает месяц ашарх, и вот-вот начнется их четырехмесячный пост.

Пракрити. Они сейчас в Вайсали, в своем монастыре.

Мать. Нет в тебе жалости. Ведь это так далеко!

Пракрити. Не так уж далеко — семь дней пути. Пятнадцать дней уже прошло. Заклинания, наконец, отвлекли его от благочестивых размышлений. И он идет к нам, идет! Все, что было действительно далеко, неизмеримо, недостижимо для моих рук, — дальше луны и солнца, — теперь приближается, и с каждым часом все ближе! Он идет, и сердце мое содрогается, как скалы при землетрясении.

Мать. Я припомнила все заклинания, какие знала, — их сила могла бы вызвать самого громовержца Индру. Но он, этот человек, все еще не явился. Поистине мы боремся не на жизнь, а на смерть. Скажи, что ты видишь в зеркале?

Пракрити. Сначала туман затянул все небо, смертельно бледный, как тени богов, утомленных сражением

с демонами. Сквозь разрывы в тумане сверкало пламя. Потом туман собрался в багровые облака, похожие на воспаленные, кровоточащие раны. Так прошел день. На следующий день я взглянула в зеркало и увидела его, окруженного сиянием, а за его спиной — сплошную черную тучу, пронизанную змеями молний. Кровь застыла в моих жилах, и я бросилась к тебе, чтобы ты перестала заклинать... Но ты сидела, словно одеревенев, хрипло дыша и закатив глаза — без сознания. Казалось, тебя пожирало внутреннее пламя, и это пламя было похоже на огненную змею, которая шипела и корчилась в смертельной схватке с окружившим его сиянием. Я побежала к себе и схватила зеркало: сияние вокруг него исчезло, осталась только боль и невыразимая мука на его лице.

Мать. И это не убило тебя? Пламя его страданий так жгло мне душу, что я думала, больше не выдержу.

Пракрити. Мне казалось, там мучился не только он, но и я: призрак в зеркале был отражением нас обоих. В том страшном огне расплавились и смешались золото и медь.

Мать. И тебе не было страшно?

Пракрити. То, что я испытала, страшнее страха. Я увидела бога-творца, гораздо более ужасного, чем бог-разрушитель. Чтобы воплотить свою волю, он хлестал бушующими и рычащими языками пламени нечто лежащее у его ног в ларце из семи металлов — но что это было, Жизнь или Смерть? Мой разум мутился, не в силах вместить небывалую радость, — с чем сравнить ее? С великой радостью создателя, свободного от забот и печалей, от страхов и сожалений, когда он творит жизнь из первозданного хаоса, объятого искрометным пламенем? Я не могла усидеть на месте. Душа и тело просились в пляс, и я танцевала, танцевала, как острые языки огня танцуют над костром.

(Поет.)

О, великий, грозный и могучий,
Создающий все, Всеразрушитель,
Змеем огнепным, карающею тучей
Налети, круша и низвергая!



Сцена из драмы Р. Тагора «Карточное королевство»

Подними свой лук, суровый мститель,
Чтоб звенела тетива тугая,
Чтоб стрела летела за стрелюю,
Зло живое
Всюду настигая!

Мать. А как выглядел твой монах?

Пракрити. Его взор был неподвижно устремлен вдаль, и глаза сияли в сумраке вечера, как звезды. Мне хотелось убежать от самой себя, раствориться в пространстве.

Мать. Он видел тебя, когда ты плясала перед зеркалом?

Пракрити. Ах, не говори об этом, мне так стыдно! Снова и снова глаза его наливались кровью, словно он готов был проклясть меня. Снова и снова он подавлял в себе пламя гнева, и, наконец, его гнев обратился против него самого и, как огненное копьё, пронзил ему грудь.

Мать. И ты все это вынесла?

Пракрити. Я была поражена. Ибо я, твоя дочь, ничтожная из ничтожных, и он — слились воедино: его страдания стали моими страданиями. Какой священный огонь созидания соединил нас в этом дивном союзе? Кто смел об этом хотя бы мечтать?

Мать. И когда только кончится эта пытка?

Пракрити. Не раньше, чем утихнет моя боль. Он будет страдать, а пока страдаю я. Как он может достичь своей нирваны, пока я не достигла своей?

Мать. Когда ты в последний раз смотрела в зеркало?

Пракрити. Вчера вечером. За несколько дней до этого он вышел через главные ворота Вайсали, вышел поздно ночью, наверное, тайком, чтобы его не заметили другие монахи. Потом я иногда видела, как он переправляется через реки или переходит горы по крутым узким тропам. Я видела вечерний закат и его на пустынном поле, видела, как он бредет через полуночный лес. Когда занялся день, он еще более подпал под власть заклятия и, уже ничего не замечая вокруг, ни в чем не сомневался и не колебался. На лице его застыло полубессознательное выражение, тело обмякло, глаза были устремлены в одну точку, словно для него уже не суще-

ствовало ни истины, ни лжи, ни добра, ни зла, — только слепое бессмысленное и неудержимое стремление вперед.

Мать. Как ты думаешь, далеко он сейчас?

Пракрити. Вчера я видела его в деревне Патол на берегу Упали. Река вздулась от недавних дождей. Там стоит старое дерево, в ветвях которого роятся светлячки, а под ним — замшелый алтарь. Дойдя до алтаря, он вдруг задрожал и остановился как вкопанный. Это место было ему знакомо издавна: я слышала, что там великий Будда поучал царя Супрабхаса. И вот он сел и закрыл руками глаза... Я чувствовала, что чары заклятия могут вот-вот рассеяться, и в страхе отбросила зеркало, чтобы этого не видеть. С тех пор прошел целый день. Я не знаю, что было дальше, — я боялась узнать. Надежда сменялась отчаянием, отчаяние — надеждой — я вся истерзалась! Сейчас снова ночь, снова темно... По дороге, — слышишь? — прошел сторож, выкликая час, — должно быть, первый час пополуночи. О мама, времени осталось мало, так мало, — не теряй ни мгновения из этих ночных часов, вложи в заклинания всю свою силу!

Мать. Дитя мое, я не могу сделать больше того, что сделала. Заклятие ослабевает, и я тоже угасаю телом и душой.

Пракрити. Нет, нет, оно не может ослабеть теперь, ты не должна сдаваться! Но что, если он отвернулся от меня, что, если цепь, которой мы его связали, напряглась до предела и вот-вот порвется? Что, если он теперь ускользнет от меня в этой жизни и я никогда его больше не встречу? Тогда придет мой черед грезить, будто я возвратилась к своей жизни чандалки... Нет, я не вынесу снова такого надругательства! Молю тебя, мама, напряги еще раз все свои силы, обратись к заклятию первородной земли и разрушь самозабвенный мир этого человека.

(Поет.)

О, Мать-Земля, я — дочь твоя,
Из праха создана.
Я женщиною рождена,
Но права человеком быть
С рожденья лишена.

Я знаю, ты, Земля, свята,
Родная, ты, Земля, чиста,
Ведь в сердце у меня твоя
Святая чистота.

Но что творят со мной, гляди!
За что велят лежать в грязи,
За что тебя во мне казнят,
Покоясь на твоей груди?

Земля, спаси родную дочь!
Земля, ты мне должна помочь!
Вручи мне силу чар твоих, —
Она мне так нужна!

Дай отомстить мне за других,
О Мать-Земля! Я — дочь твоя,
Из праха создана.

Мать. Ты все сделала, как я тебе говорила?

Пракрити. Да. Вчера была вторая ночь новолуния. Я омылась в реке Гамбхире. На дворе перед домом я выложила круг из риса и цветов граната, из красного порошка и семи жемчужин. Я поставила желтые флажки, положила на поднос сандаловую мазь и гирлянды цветов, я зажгла светильник. После омовения я облачилась в сари, зеленое, как нежные рисовые ростки, и накинула шаль цвета золотистых цветов чампака. Я села лицом к востоку. Всю ночь я вызывала и созерцала его образ. На левую руку я надела амулет — шестнадцать золотых нитей, завязанных шестнадцатью узлами.

Мать. Тогда начинай свой призывный танец в волшебном кругу, и танцуй, призывай и танцуй, пока я буду творить заклинание перед алтарем.

Пракрити танцует и поет:

Как пчела на едва расцветший бутон,
Приходи ко мне,
Как луна восходит на небосклон,
Приходи ко мне,

Как жемчужина в раковину приоткрытую,
Приходи ко мне,
Как мелодия вины полузабытая,
Приходи ко мне!
Пусть уходит ночь, темнота и мгла, —
Приходи ко мне!
Я тебя, как рассвета в ночи, ждала, —
Приходи ко мне!
Приходи, как утренняя звезда,
Как заря, как роса на земной груди,
Приходи ко мне навсегда,
Приходи!

Мать. А теперь, Пракрити, возьми зеркало и смотри. Видишь, черная тень опустилась на алтарь? Сердце мое разрывается, я больше не могу. Взгляни в зеркало — долго ли еще ждать?

Пракрити. Нет, мама, я не стану смотреть, я буду слушать, слушать всем своим существом. Если он явится, я увижу его перед собой. Потерпи еще немного, мама, он обязательно, непременно явится. Тише! Слышишь? Слышишь, как забушевала буря, буря его приближения? Земля колеблется у него под ногами, и сердце мое бьется так, словно вот-вот вырвется из груди.

Мать. Он несет тебе проклятие, несчастная, а мне — гибель, ибо нити жизни моей обрываются одна за другой.

Пракрити. Нет, не проклятие он несет мне, а бесценный дар нового рождения. Молоты молний стучат в главные ворота Смерти; затворы уже разбиты, стены уже колеблются, и вся дождь моей прежней жизни рушится вместе с ними. Страх охватывает мой разум, но ритмы счастья пьянят душу. Мой Всесокрушитель, мой Бог — ты пришел! Я возведу тебя на трон из моего унижения и позора, из моих страхов и радостей!

Мать. Мой час уже близок, я больше не могу... Скорее посмотри в зеркало!

Пракрити. Я боюсь, мама. Он дошел почти до конца своего пути, — но что дальше? Что ждет его дальше? Что ему останется? Только я, несчастная, только я? И больше ничего? И это единственная награда за все его

страдания? Только я одна? Только я в конце мучительно страшного пути, — только я?

(Поет.)

Что в конце пути? Где конец пути?

Не увидеть и не дойти.

Все желанья мои и стремления —

Заблуждения.

Море слез вокруг, пустота в груди,

Непроглядный мрак

Впереди.

Как во сне плыву, а куда плыву?

Путеводная

Оборвалась нить.

Жажда все сильнее — чем ее залить?

Мне до пристани

Не доплыть.

Сорван парус мой,

Руль давно разбит,

А в конце пути

Только боль и стыд!

М а т ь. Сжался, жестокая, у меня нет больше сил... Взгляни в зеркало, взгляни скорей!

П р а к р и т и (*смотрит в зеркало и отбрасывает его от себя*). О мама, мама! Довольно! Сними заклятие! О демон ада, что ты наделала! Что ты наделала! Какое зло ты сотворила — и ты еще жива! Как страшно! Где блеск и сияние, кристальная чистота, небесный свет? Каким измученным и поблекшим пришел он к моему порогу! С поникшей головой принес он свое поражение, как непосильную ношу... Довольно, прочь все это колдовство, прочь! (*Разрушает магический круг и опрокидывает все на алтаре.*) Пракрити, Пракрити! Если ты в самом деле не чандалка, ты не унизишь героя. Слава ему, слава!

Входит А н а н д а.

О господин мой, ты пришел, чтобы спасти меня, и ради этого вынес такую муку. Прости меня, прости! Отшвырни ногами ту, что хотела унижить тебя. Я заставила тебя спуститься на землю — иначе как бы ты поднял меня к не-

бесам? О чистейший, прах загрязнил твои ноги, но ты испачкал их не напрасно. Покрывало моей несбыточной мечты вытрет их, и на них не останется ни пылинки. Слава тебе, господин мой!

Мать. Слава тебе, господин! Мои грехи и моя душа лежат у твоих ног, а моя жизнь угасает, достигнув берега твоего всепрощения. *(Умирает.)*

А н а н д а
(поет).

Перед великим Буддой, океаном милосердия,
Перед владыкой мудрым, чистым и совершенным,
Перед Буддой, победившим все соблазны и страдания,
Перед Буддой несравненным склоняемся до земли,



КАРТОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО

Перевод
Е. Смирновой-Бросалиной

Под редакцией
Ф. Мендельсона

Стихи в переводе
Ф. Мендельсона



ДЕЙСТВИЕ I

Царевич и Купеческий сын.

Царевич. Нет, больше не могу!

Купец. О чем ты, царевич? Что тебя тревожит?

Царевич. Как объяснить, что тревожит весной лебедей? Зачем они стаями летят к Гималаям?

Купец. Там их родина.

Царевич. Тогда зачем они ее покидали? Нет, нет! Это счастье полета, безотчетная радость странствий зовет их в путь.

Купец. И ты тоже хочешь улететь?

Царевич. Да, хочу.

Купец. Не понимаю тебя, царевич. Мне кажется, лучше сидеть в золотой клетке, к которой ты привык, чем лететь неведомо куда.

Царевич. Что ты хочешь сказать?

Купец. Ради сытой, спокойной жизни стоит посидеть и взаперти.

Царевич. Тогда, конечно, тебе меня не понять, нет, не понять!

Купец. Прости, никогда не умел понимать непонятное. Но скажи все же, что гнетет тебя?

Царевич. Эта придворная жизнь, унылая, однообразная!..

Купец. Унылая, однообразная? Вокруг столько роскоши, столько развлечений!

Царевич. Вот-вот! Порой кажешься себе каменным божком в золотом храме. От грома раковин и звона колокольчиков едва не глохнешь, каждый день одно и то же: жертвоприношения да богослужения, а радости никакой. Нестерпимо!

Купец. А по-моему, очень даже терпимо. И слава богу, что есть эти привычные жертвоприношения. Не будь их — что бы мы делали? Мы утоляем голод тем, что имеем, ты же мечтаешь о неведомых блюдах.

Царевич. День за днем эти удручающие славословия, всегда в одних и тех же скучных стихах!

Купец. А по мне, чем больше тебя хвалят, тем приятнее. Это никогда не надоедает.

Царевич. Не успеешь проснуться — музыканты и домашний жрец со своими священными травами и рисом уже тут как тут. Куда ни пойдешь — всюду стражи, как деревянные истуканы, всюду слуги. Только и слышишь: «Сюда, господин, направо, господин, налево, господин». С ума можно сойти!

Купец. Ну, ты ведь частенько едешь на охоту — а там, кроме диких зверей, тебе вроде никто не досажает.

Царевич. Диких зверей? Не удивлюсь, если узнаю, что здешних тигров опаивают опиумом. Все они словно дали обет ненасилия — до сих пор не видел, чтобы хоть один из них бросился на охотника.

Купец. А я вот не считаю это таким уж нелюбезным со стороны тигров. В охоте главное — видимость, блеск. И если сердце не замирает от страха, что в этом плохого?

Царевич. Как-то мне удалось с довольно большого расстояния застрелить медведя. Отовсюду неслись поздравления. Все кричали: «Вот это выстрел! Какая меткость!» А потом до меня дошел слух, что это было просто чучело. Я не снес такого позора и приказал кинуть ловчего в темницу.

Купец. Так ты же его облагодетельствовал! Темница рядом с покоями нашей государыни, и я в тот же день отправил ему из наших запасов три мана масла и тридцать три козы.

Царевич. Что ты хочешь сказать?

Купец. Я хочу сказать, что медведя соорудили по приказанию твоей матушки.

Царевич. Ах, вот как! Значит, все мы запутались в сетях лжи! В этой золоченой клетке у нас омертвели крылья. Жизнь превратилась в комедию, а я — в царственного шута. Ох, с какой радостью сбросил бы я этот пышный наряд! Гляжу, как люди работают в поле, и завидую; верно, за подвиги предков они родились крестьянами!

Купец. Спросил бы ты их, что они сами об этом думают. Эх, как хочется мне понять истинный смысл твоих слов. Ну-ка, Потролекха, попробуй разгадать тайные мысли царевича! Сейчас как раз самое время.

Появляется Потролекха.

Потролекха
(поет)

Сокровенное желание не скрыть,
В глубине безмолвных глаз не утаить,

Царевич

Нет, не скрыть, не утаить,

Потролекха

То прорвется флейты пеньем,
То во сне мелькнет виденьем,
То улыбчивым мгновеньем,
Тонким, словно нить...

Царевич

Нет, не скрыть, не утаить!

Потролекха

То жужжит, как шмель над розой,
То пронзает болью сладкой,
То из глаз исторгнет слезы,
И тогда в душе украдкой
Лотос расцветет столистый,
Встрепенется,
Покачнется,

И на зорьке золотистой
К свету повернется —
Ласку солнца пить.
Нет, не скрять, не утаить! ¹

Царевич. Да, признаюсь, есть у меня заветная мечта. То, о чем я мечтаю, скрыто за дальними далями. С берега неотрывно гляжу я на море, туда, где садится солнце. Вслед за солнцем пойду я искать свою судьбу и отыщу ее, даже если она скрыта надежнее всех сокровищ царства Ямы!

(Поет.)

Поплыву, поплыву торговать,
Хоть судьбы и не знаю.
Буду беден *опять*,
Если все потеряю.

Купец. Что я слышу? Торговать? Ты же повторяешь заклинание купцов!

Царевич
(поет)

Я корабль снаряжу,
Сотню добрых гребцов посажу,
Но к какому направлюсь я краю,
На какую страну укажу
И куда я пристану, не знаю.
В океане безмерном блуждая,
Может, вовсе пути не найду,
Не замечу во мраке звезду,
Поглотит меня бездна морская,
И родной не увижу я дом...
Но зато не умру в безысходной тоске,
Не умру от тоски на прибрежном песке,
На постылом песке золотом!

Купец. В океане безмерном блуждая, много не наторгуешь! Да и вообще непонятно, куда ты стремишься. Может быть, ты получил откуда-нибудь благоприятные вести?

¹ Здесь и далее перевод стихов Ф. Мендельсона.

Царевич. Да, получил. Первые лучи зари, ночные сновидения принесли мне чудесную новость!

Есть остров темно-зеленый
Среди синевы небывалой,
Рифами окруженный,
Птицами населенный.
Там птицы, пальмы и скалы,
Да в изумрудной чаше
Шепчется только ветер
С потоком, в тени журчащим.
Там все сокровища мира
В разнообразии пестром,
Там обрету я счастье,
Если найду тот остров.

Купец. Сокровища мира? Похоже, это совсем не то, что нужно купцам. Но все же, что это такое, растолкуй!

Царевич. Неведомое, неизвестное, новое!

Купец. Ах, новое! Новенькое? Наконец-то хоть одно понятное слово!

Царевич. Понятное? Оно пока и мне не совсем понятно, оно еще далеко и не обрело определенной формы.

(Поэт.)

О новое, неуловимое,
За пылью путей повседневных незримое,
Лишь в ветре весеннем
Да в миг пробужденья
Сквозь сон золотой
Ты скользишь надо мной,
Еле слышное, чуть осязаемое...

Купец. Да-а, такое сокровище снов золотых трудненько будет найти!

Царевич
(поэт)

Но пусть будет дозволено мне
Прикоснуться хотя бы во сне
К неизведанной новизне!

Где ее я найду?
Может быть, в небесном саду?
Или в чьем-то венке.
Или в песне неведомой вины,
Что звучит вдалеке?

Входит Царица - Мать.

Купец. Матушка-царица, ваш сын охотится за видениями, он мечтает найти сказочную страну.

Царица - Мать. Видения? Сказочная страна? Сын мой, ты снова стал маленьким мальчиком.

Царевич. О ма, я задыхаюсь в этом мире старцев, в этой тюрьме благоразумия!

Царица - Мать. Понимаю сынок. Тебе недостает одного — чтобы хоть чего-нибудь недоставало! Все доступное тебе опротивело. Ты хочешь чего-нибудь пожелать, а тебе это до сих пор не удавалось.

Царевич. Да, ма.

Сердце плачет, твердит одно:
«Дай мне то, чего не дано!»
А на все, что дано в ответ,
Отвечает с печалью: «Нет!»
«Нет и нет!» — повторяет оно.
Если все суждено потерять,
Все сумею вернуть опять.
Свет вечерней звезды всегда
Будит утреннюю звезду,
Словно шепчет звезде звезда:
«Посвети, когда я уйду!»
Так от века заведено.

Царица - Мать. Вижу, дитя: удерживать тебя — значит потерять. Тебя не привлекает бремя власти и не связывают узы лести. Ну что ж, затаю страх в душе и не буду тебе мешать. Дай отмечу твой лоб сандаловым белым тилаком, дай приколю к твоему тюрбану белые олеандры! Ну вот, теперь пойду приготовлю все для торжественного богослужения. А когда зайдет солнце, я обедаю твои глаза освященным каджалом, и зоркость не покинет тебя в пути. *(Уходит.)*

Ц а р е в и ч

Смотри, как волнуется море!
Над морем багряные тучи.
Подхватит нас ветер вскоре,
Подхватит нас вал могучий,
И мы поплывем за солнцем,
И плыть будем днем и ночью...
Над нами — синее небо,
За нами — лишь пены клочья,
Под нами — пучина моря
И дно — на последний случай!
Но в жалком углу до смерти
Томиться неужто лучше?
Нет, лучше в открытое море
Править, расправив плечи,
На радость или на горе
Неведомому навстречу.
Оно меня не обманет,
Оно меня не оставит
И дружескою рукою
К незримой цели направит,
И Новое мы отыщем!
Верю я беззаветно:
Кто прежде душой был нищим,
Станет богат несметно!

Д Е Й С Т В И Е П

Ц а р е в и ч. Ну что ж, от родных берегов мы уплыли и уже успели потерпеть крушение. Ладья наша пошла ко дну, но мы спаслись и вот снова ходим по твердой земле. Кажется мне, что здесь начнется новая глава нашей жизни.

К у п е ц. Эх, царевич, ты только и твердишь «новое» да «новое»! И чего ты рвешься к нему, — чего тебе не терпится? Я вот боюсь нового. Что ни говори, а со старым как-то спокойнее.

Царевич. Лягушке в заглушем колодце тоже покойно. Неужели тебе по праву такой покой? Пойми наконец: мы вырвались из пасти смерти! Сам Яма отметил нас своим тилаком и благословил на новую жизнь.

Купец. Мало тебе царского знака, который с рождения украшает твой лоб?

Царевич. Ах, этот знак — лишь милостыня слепой судьбы. Яма смысл его морской волной и повелел мне самому завоевать себе новое царство на новой земле.

(Поет.)

Мы достигли новой страны
И надеждой новой сильны:
Все здесь внове и все в начале!
Голос радости и печали
Оплетает меня, как сеть, —
Я от новой сердечной боли
Буду плакать, смеяться, петь...
Здесь возлюбленная, мне неведомая,
Ждет с гирляндой цветов невиданных,
Чтобы жаром ласк неизведанных
Разбудить меня и согреть.
Зазвенят, утонув в цветах,
Бубенцы на ее ногах;
Ветер южный, хмельной, влюбленный,
Юной свежестью напоенный,
Будет нежно каждую прядь
На плечах ее перебирать...

Купец. В песне, конечно, все очень красиво. Но скажи на милость, где здесь юная свежесть, нежность и прочее? Мы обошли весь остров и ничего такого не встретили. Можно подумать, что здесь вообще нет людей, а живут какие-то плохо обтесанные чурки. Сами плоские, ходят почему-то по четыре в ряд и так стучат, словно на ногах у них колодки из самого что ни на есть твердого дерева. Как же можно эту дурацкую страну величать новой землей?

Царевич. Неужели ты не видишь, что у них все это искусственное, наносное? Это же просто форма, пред-

писанная здешними пандитами. Мы сюда затем и явились, чтобы снять с них эту шелуху. Представь, как будет чудесно, когда сквозь нелепый внешний покров проглянут живые человеческие души!

Купец. Мы, торговцы, привыкли назначать цену только после того, как хорошенько разглядим товар, а ты собираешься покупать kota в мешке. Ну да ладно, посмотрим, вспыхнет ли под этим пеплом огонь. Что до меня, так я уверен: скорей мы оба лопнем, чем его раздуем. Вот, полюбуйся! Идут сюда. Вытанцовывают, будто исполняют какую-то пляску духов.

Царевич. Постоим в сторонке, посмотрим, что будет.

Входит отряд карт: Шестерка, Пятерка, Тройка и Двойка. Скрипучими голосами карты поют.

Карты поют:

Вверх — вниз,
Назад — вперед,
Шаг — ход,
Кругом поворот,
Сядем — встанем,
Опять посидим,
Направо — налево
Мы не глядим.
Сомкнись — разомкнись,
Парами — в ряд,
Вперед — назад,
Стой, отряд!

Купец. Видал? В красных и черных мундирах, ложатся, встают, садятся, шагают, — никакого смысла — ерунда какая-то! Ха-ха-ха-ха!

Шестерка. Что такое? Смех?!

Пятерка. Стыда у них нет — смеются!

Шестерка. Закона на вас нет — смеетесь!

Царевич. Ну, наш смех объяснить нетрудно. А вот как объяснить то, что вы тут делали? Какой во всем этом смысл?

Шестерка. Смысл? А зачем смысл? Главное, чтобы все было по Закону. Неужели непонятно? Вот сумасшедшие!

Царевич. А ведь это нелегко — опознать настоящего безумца. Как вы догадались?

Пятерка. Да по всему видно.

Царевич. Что же именно вы увидели?

Шестерка. А то, что ходить вы умеете, а правил не знаете.

Купец. А вы правила знаете — зато ходить не умеете.

Пятерка. Разве вам неизвестно, что Правила — вещь древняя, а ходьба — современная, новая, только что родилась, совсем еще дитя!

Шестерка. Сразу видно, что вас не воспитывал наш Господин Учитель. Наверное, никто вам не объяснил, что на дорогах бывают острые камни, ямы, колючки? Движение вообще — преопаснейшая штука. А значит, и ходьба — тоже.

Царевич. Так это страна Господина Учителя? Что ж, воспользуемся его высочайшим гостеприимством.

Шестерка. А кто вы такие?

Царевич. Мы чужестранцы.

Пятерка. Ну, теперь все ясно! Значит, у вас нет ни рода, ни племени, ни родных, ни близких, ни касты, ни масти — ничего нет.

Царевич. Да, да, вы правы, ничего. Все, что у нас есть, — перед вами. А сами вы кто?

Шестерка. Мы из славного, всемирно известного Карточного рода. Я Шестерка Варман.

Пятерка. А я — Пятерка Шарман.

Царевич. А вон те, что робко стоят в стороне?

Шестерка. Почернее — это Тройка Гхош.

Пятерка. Покраснее — Двойка Дас.

Купец. Откуда же вы взялись?

Шестерка. А было так. Брахма, утомленный сотворением мира, однажды зевнул. От его первого святого зевка в вечерний час мы и произошли.

Пятерка. Потому-то на всяких варварских наречиях нас и называют не Карточными, а Зевородными.

Купец. Чудеса!

Шестерка. В тот сумеречный час, — да будет он благословен, — отец наш зевнул сразу четырьмя устами...

Купец. Ой-ой-ой! Ну и что из этого вышло?

Шестерка. Тут и посыпались из его уст высокочтимые Пики, Бубны, Черви, Трефы. *(Кланяется.)*

Царевич. И все они — знатные, родовитые?

Шестерка. А как же! Самые ротовитые — изо рта появились.

Пятерка. Однажды, когда наш первый святой поэт Сокровищница Мастей проспал целый день, на него во сне снизошло вдохновение, и он написал свой первый стих. И сразу появилось столько карточных чинов, сколько строчек было в его первом стихе.

Царевич. О, прочтите хоть одну из этих строчек! Мы обязательно должны ее услышать.

Пятерка. Хорошо, только отвернитесь.

Царевич. Зачем?

Пятерка. Так велит Закон! Братец Шестерка, прочти священную мантру «Дон-динь, динь-дон» и подуй им в уши.

Царевич. Зачем?

Пятерка. Закон!

Карты поют:

Дон-динь, дон-динь,
Мы без дела сидим.

Динь-дон, динь-дон,
День проходит за днем,

Как приятно, дон-динь,
Мы без дела сидим!

Царевич. Не могу больше, посмотрю, что это они там делают.

Пятерка. Ах, он нарушил мантру! Осквернил ее!

Царевич. Осквернил?

Пятерка. Еще бы! Взгляд чужого упал на нашу мантру!

Царевич. Что ж теперь делать? Чем помочь беде?

Шестерка. Придется сжечь объединенную летучей мышью косточку плода габ и три дня этой сажеей мазать глаза. Но все равно, — небесное блаженство наших предков нарушено.

Царевич. Да, натворил я бед. Видно, в вашей стране нужно все делать с оглядкой.

Шестерка. А еще лучше совсем ничего не делать — так спокойнее.

Царевич. Как же так — ничего не делать?

Пятерка. А вот так. Не станешь ничего делать — сохранится спокойствие, — значит, будешь спокоен. Неужели непонятно?

Царевич. Пожалуй, нам это вовек не понять. Да, я вот еще о чем хочу спросить: что это вы делали, сбившись в кучу, там, над обрывом?

Шестерка *(с важностью)*. Воевали.

Царевич. И это у вас называется войной?!

Пятерка. Ну конечно. Война идет по строго заведенным правилам. Все делается тихо-мирно, по законам карточной игры.

(Поет.)

Мы картинки разные,
Чистые, опрятные, аккуратные.

Купец. Да какая же это война, если у вас ни различий, ни злости нет?

Шестерка. Различия есть: они — в нашем цвете, в масти то есть. А злость — зачем она?

(Поет.)

Хоть и война,
А злость не нужна.
Вот наш Валет, —
Добрей его нет!

Купец. А по мне, так в битве доброе оружие куда нужнее доброты!

Пятёрка
(поет)

И оружия нет, —
Только разный цвет;
Ни вражды,
Ни терзаний,
Ни прыжков,
Ни метаний!

Понимаете, чужеземцы?

Мы все правила знаем
И по ним различаем;
Кто нам в масть — тот нам свой,
Кто не в масть — тот чужой.

Вот вы — чужие. Но и вы, наверное, тоже откуда-нибудь произошли?

Купец. А как же! Когда отец наш Брахма в самом начале сотворения мира оттачивал солнце на точильном камне, в нос ему залетела искра. Он чихнул, и чих его был подобен грому! Вот от этого всесотрясающего чиха и пошло наше племя.

Шестёрка. Теперь понятно. Должно быть, потому вы такие ветреные да непоседливые...

Царевич. Да, да, мы не можем долго сидеть на одном месте, нас все время куда-то влечет!

Шестёрка. Вот и хорошо: по крайней мере, вы и здесь долго не задержитесь. Надеюсь, завтра к утру вас куда-нибудь унесет с нашего острова! Очень надеюсь!

Купец. Нас здесь ничто не удерживает. Только ты нам не грози!

А то как чихнем,
Так и с ног собьем!
Закрутим, завертим, все перевернем!
Дадим по шеям,
А то — по зубам!
Посмотрим, как это понравится вам!

Шестёрка. Но-но, потише! Скажите лучше, из какого вы рода?

Купец. Мы — чихатели, всесокрушатели!

Пятерка. Что-то мы не слыхали, чтобы так назывался какой-нибудь знатный род.

Купец. Возможно, возможно. Потому что вы вместе с зевотой вознеслись ввысь, выше небесного царства, а мы от чиха свалились вниз, в юдоль земного мытарства.

Шестерка. Понятно. Оттого, что отец наш небесный не сдержал своего чиха, вы и стали такими неугомонными!

Царевич. Вот сейчас ты изрек святую истину: мы и в самом деле неугомонные.

(Поет.)

Вестники юности неугомонные,
Вечно к неведомому устремленные,
Вечно в движении,
Вечно в сражении,
Словно цветеньем весны опьяненные,
Рушим преграды, пути срываем,
И хоть порою неправы бываем, —
Не отступаем!
Через пучины переплываем,
С жизнью и смертью в битвы вступаем,
Чутко внимаем тайному зову,
К новой земле устремиться готовы,
Бурям и грозам вызов бросаем
И о покое не помышляем!

Шестерка. Нет, нам такое не по праву!

Пятерка. Нет, у нас такое не пройдет!

Царевич. Не пройдет, так мы проведем!

Шестерка. А как же наши правила, наш Закон?

Царевич. Когда ломается закон загона, рождается закон пути. Иначе как же двигаться вперед?

Пятерка. Ой, братцы, что он говорит! Прямо так без смущения и ляпнул: «Вперед»!

Царевич. Но если не вперед, зачем тогда вообще двигаться?

Шестерка. И незачем. А если ходить, то только по Закону, по правилам,

(Поет.)

Правила наши строги:
Не думай, что впереди,
По сторонам не гляди,
Иди по торной дороге!

Ц а р е в и ч
(поет)

А вы на лес посмотрите,
На южных вершин отроги, —
Там нет никаких запретов,
Лишь горные мчат потоки!

К а р т ы
(все вместе)

Не гляди туда, не гляди!
Не ходи туда, не ходи!
Иди по торной дороге!

Пятёрка. Стойте! Приближаются раджа и рани.
Сегодня здесь назначен королевский прием, Возьмите по
тыквенной плети.

Царевич. Зачем?

Шестёрка. Таковы правила!

Входят Раджа, Рани, за ними Тузы, Валет
и т. д., согласно правилам этикета.

Царевич. Братец, дай-ка я порадую раджу привет-
ственной песней, а ты маши своей веткой.

(Поет.)

Слава карточному повелителю,
Слава сонного царства правителю,
Всех благих начинаний губителю!

Карты. Все испортил! Осквернил! Вот варвар! На-
рушил правила!

Раджа. Спокойно! Кто это?

Шестёрка. Чужеземцы.

Раджа. Чужеземцы? Ну, тогда Правила их не ка-
саются. Перетасуйте, поменяйтесь местами, и грех бу-

дет смывает. Вот так. А теперь — гимн Великого Собрания, наш национальный гимн!

Все
(поют)

И бубны, и черви, и трефы, и пики,
Мы движемся мерно под строгий папав,
Народ самый древний и самый великий,
Из полной колоды — от бубен до трэф.
То веером ляжем, то вновь соберемся,
То в куче безмолвно лежим до поры,
Не скажем ни слова и не улыбнемся,
Покорные вечным законам игры.

Правила старые, однообразные,
Славит наш карточный мудрый народ;
Игры бывают самые разные,
Мы же ни с места — ни взад, ни вперед!

Раджа. О чужеземцы!

Царевич. Что, государь?

Раджа. Кто вы?

Царевич. Посланцы из-за моря.

Валет. А что вы привезли нам в дар?

Царевич. То, что в вашей стране, — самая большая редкость.

Валет. Что же это?

Царевич. Мы привезли вам смуту!

Шестерка. Слышали, государь, слышали, что он сказал? Они хотят идти вперед! Вы даже не поверите: они смеются! За какие-нибудь два-три дня они все здесь взбаламутят!

Валет. Вряд ли. Атмосфера здесь такая затхлая и неподвижная, как нигде. Даже громы Индры не в силах ее всколыхнуть, — а о людях нечего и говорить!

Все (в один голос). Нечего и говорить! Нечего и говорить!

Валет. А все же не мешает подумать: вдруг легкомысленным иноземцам удастся это сделать?

Король. Да, над этим стоит подумать.

Валет. Возмущенная атмосфера чревата бурями. А начнется буря — перепутаются все правила. Тогда, чего

доброе, сам Великий Жрец Госвами — Десятка Пик станет звать всех вперед!

Пятерка. Дело может дойти до того, что, не дай бог, еще вспыхнет эпидемия смеха!

Раджа. О Валет Пик!

Валет. Что прикажете, государь?

Раджа. Ты ведь издатель?

Валет. Да, я редактор газеты «Светоч Острова Карт». Я — защитник цивилизации.

Раджа. Цивилизация! Это что за штука? Какое-нибудь растение вроде акации или настурции?

Валет. Нет, господин мой, это не акация и не настурция. Это так, новое слово. И сейчас наша цивилизация в опасности.

Все. Цивилизация, цивилизация, цивилизация!

Раджа. У тебя в газете ведь есть столбец для переводов?

Валет. Целых два больших редакционных столбца.

Раджа. Придется тебе погреть этими столбцами — да так, чтобы все остолбенели. Мы не потерпим, чтобы возмущали нашу атмосферу.

Валет. Нужен Чрезвычайный Закон!

Раджа. Что такое ты опять сказал? Чрезвычайный Закон?

Валет. Это тоже неологизм. Новое название Ушердального Закона.

Раджа. Хорошо, это потом. Чужеземцы, хотите что-нибудь еще сказать?

Царевич. Да, но только не вам.

Раджа. А кому же?

Царевич. Принцессам.

Раджа. Ну что ж, говорите.

Царевич
(поет)

Вы, прекрасные, как изваянья безгласные,
В сердце горе впустите, не будьте бесстрастные!
В сад цветущий войдите, —
Пусть слезы на ваших глазах
Заблестят, как роса на цветах!
Боль и радость в душе пробудите!

Рани. Что за беззаконие, что за легкомыслие!

Пятерка. Государь, их надо изгнать, изгнать!

Раджа. Изгнать? Рани, как ты считаешь? Ты промолчала? Слышишь, что я говорю? Отвечай! Изгнать их?

Рани. Нет, не надо!

Принцессы (*одна за другой*). Нет, не надо, не надо!

Раджа. Рани, в твоей душе творится что-то неладное.

Рани. Это дело моей души.

Валет. Принцессы, прекрасная госпожа, помните, в моих руках столбцы!

Все. Цивилизация, карточная цивилизация! Спасайте цивилизацию!

Валет. Введите Чрезвычайный Закон!

Раджа. Что это такое? Мы запомнили.

Валет. Да Ушедальный Закон.

Раджа. А, вспомнил. Госпожа, что ты скажешь? Мы, пожалуй, введем этот Чрезвычайный Закон?

Рани. А мы у себя в женских покоях введем свой Чрезвычайный Закон. Увидим, кто кого!

Принцессы и Дамы (*вместе*). Введем постоянное беззаконие!

Валет. Что тут происходит? Ах, цивилизация! Увы, цивилизация!

Раджа. Аудиенция окончена! Немедленно разойтись! Здесь оставаться небезопасно!

Все карты уходят.

Купец. Нет, мой друг, это становится невыносимым! Они прямо живой укор создателю. Среди них, того и гляди, сам засохнешь.

Царевич. Как? Неужели ты не замечаешь, что происходит в их сердцах? В этих куклах уже пробуждается душа. Я не двинусь отсюда, пока не увижу, чем это кончится.

Купец. Но ведь этот остров — царство живых мертвецов! Их умы разъела ржавчина правил.

Царевич. А ну-ка взгляни туда.

Купец. Твоя правда, друг, кажется, наше заморское заклинание подействовало! Жрец Девятка Пик разва-

лился под деревом и праздно благодушествует. Видно, здешний Господин Закон временно куда-то испарился.

Царевич. Да нет же, почтенный жрец с нетерпением ждет свою жену!

Купец. Ну, тогда не думаю, чтобы наше общество было ему сейчас приятно. Уйдем отсюда.

Уходят.

ДЕЙСТВИЕ Ш

Дама Пик паряется. Входит Бубновая Дама.

Бубновая дама
(поет)

Скажи, подружка, как его зовут?
Хоть шепотом мне имя назови!
В мелодии твоей влюбленной вины
Оно звучит признанием любви.
С благоуханным ветерком весной
Оно сливается,
И с трелью птицы на тропе лесной
Переплетается,
И опьяняет, как нектар хмельной.
Скажи, подружка, нечего скрывать!
Мы будем это имя повторять,
И в полнолуние, в тишине, одна,
Когда я буду тосковать без сна,
Я вспомню это имя, и в ночи
Оно, быть может, песней прозвучит.

Дама Пик. Послушай, сестрица, что произошло в нашем Карточном Царстве? Не иначе, как эти чужестранцы завезли к нам заразу безумия. Сердце ни минуты не знает покоя.

Бубновая Дама. И не говори, милая. Кто бы мог подумать два дня назад, что карты забудут свою касту и станут вести себя совсем по-людски. Ой, какой срам!

Дама Пик. Еще бы! Ведь человеческое — то же самое, что непристойное. А все паша Червоная Дама!

Неужели ты не заметила? У нее и походка уже не та — почти как у людей. Дошло до того, что она забыла свое место — стала не там, где положено. Скандал на весь Остров. Опозорила наше Карточное Царство.

Входит Трефова Дама.

Трефова Дама. Я все слышала. Бубновая Дама! Ты порочишь нас везде! Говоришь, будто мы пренебрегаем Законом: встаем, когда надо садиться, садимся, когда надо вставать.

Бубновая Дама. Да, говорю, ну и что? Ты лучше посмотри, как у тебя щеки пылают, красавица! Отчего бы это? А изгиб бровей — словно черная лиана в безлунную ночь — откуда он взялся? Такого век не знала наша Карточная страна! Думаешь, твой вид не бросается в глаза?

Трефова Дама. Ах, как страшно! А твои перешептывания с подружками под деревом — про это записано в священных книгах нашей любимой Карточной Страны? А бедяга Валет? Почему он никак не может найти себе пару и пропадает с тоски?

Пикова Дама. Увы, досточтимая Бубновая Дама, ваши правоучения ее не проймут. Все благонравие нашего Карточного Царства пропало. Подумать только, такое бесстыдство — и у кого? У карточной дамы!

Трефова дама. А что тут особенного? Я никого не боюсь и ничего не скрываю, как вы, — это не в моем характере. Тут недавно жена вашего Десятки принялась было меня срамить и даже обозвала человеком. Ну, так я ей прямо сказала, что я чувствовала бы себя счастливой, если бы вправду могла стать человеком вместо того, чтобы сохнуть в картах!

Дама Пик. Тише! Пожалуйста, тише! Ты что, не знаешь? Ведь уже и так шел разговор о том, чтобы лишить тебя касты.

Трефова Дама. Касты карт? Да я сама от нее откажусь — и незачем меня пугать!

Дама Пик. Горе нам! В жизни не слыхала такого богохульства! Смотрите на нее, она очеловечивается прямо на глазах! Уйдем скорее отсюда, достопочтенная Бубновая Дама. Не дай бог, кто-нибудь увидит, как мы с ней разговариваем, и тогда прощай наше доброе имя!

ДЕЙСТВИЕ IV

Лес. Входит Червонная Дама.

Червонная Дама
(поет)

В лес пришла цветы собирать,
Что со мной, не могу понять.
Я себя никак не пойму,
Сладких слез никак не уйму
И цветка не могу сорвать...

Входит Бубновый Король.

Бубновый Король. Оказывается, ты здесь, госпожа Червонная Дама? Я тебя давно ищу.

Червонная Дама. Зачем? Что от меня вам нужно?

Бубновый Король. Тебя вызывают на суд в Великое Собрание.

Червонная Дама. Скажи, что я потерялась.

Бубновый Король. Потерялась?!

Червонная Дама. Да, потерялась. Потому, что ту, которую ты ищешь, тебе действительно уже не найти.

Бубновый Король. Этого еще не хватало! Кстати, как ты забрела в лес? Ты же знаешь, нет такого закона, чтобы сюда ходить!

Червонная Дама. Верно, нет. Но скажи мне, по какому закону всегда безоблачное небо Карточного Царства сегодня покрыто облаками? А павлины? Наши павлины, которые до сих пор едва передвигали ноги, почему они сегодня кружатся в беззаконном танце, развернув веерами хвосты?

Бубновый Король. Подумать только! Раньше тебе даже дворик перед собственным домом казался далекой страной, а сегодня ты пришла в лес за цветами! Как тебе такое могло взбрести в голову?

Червонная Дама. Мне почудилось вдруг, что некогда, в прежней жизни, я была цветочницей. Восточный ветер донес до меня аромат садов из той жизни, и пчела из тех цветущих садов прилетела ко мне.

(Поет.)

Ко мне прилетела пчела.
О чем мне пела пчела?
Не о том ли, что в небесах
Расцвели цветы, как в лесах?
Может, весть о таких цветах
Мне пчела вчера принесла?
Как же дома мне усидеть,
Если сердцу хочется петь,
Если вся вереница дней
Долгим сном тоскливым была,
Если я обо всем забыла?
Чем она меня заворожила?
Видно, песней, как звонкой сетью,
Окружила и оплела.

Бубновый Король (*приходя в себя*). Ох, колдовство какое-то!.. А где другие? Их тоже вызывают в Великое Собрание. Неужели и они...

Червонная Дама. Да, все они здесь, у реки, под деревьями.

Бубновый Король. Но что они там делают?

Червонная Дама. То же, что и я, — собирают цветы, принаряжаются. Ну как? Нравится?

Бубновый Король. Словно покрывало спало, словно месяц вышел из-за туч! Ты стала совершенно другой.

Червонная Дама. Пятерка и Шестерка тоже пришли, чтобы нас образумить, — посмотрел бы ты, что с ними стало!

Бубновый Король. А что?

Червонная Дама. Бродят словно потерянные, вздыхают тяжко, даже пытаются что-то петь своими скрипучими голосами.

Бубновый Король. Петь?! Шестерка с Пятеркой — петь?

Червонная Дама. Поют. Правда, фальшиво, но поют. Я как раз причесывалась, но они мне помешали — вот и пришлось уйти сюда.

Бубновый Король. Ты причесывалась? Удивительно, как ты сумела? Кто тебя этому научил?

Червоная Дама. Никто. Взгляни, видишь: дождь наполнил водою сухое русло и вот ручей уже бежит и свивается в причудливые струи — кто его научил? Пойдем-ка лучше со мной, послушаешь Пятерку с Шестеркой.

Уходят.

Входят дамы.

Дамы

(поют и танцуют)

Незнакомую песенку кто-то поет, —
Прочь уводит она от докучных забот.
Словно в сумраке жизни забытой, одна,
Потеряв свою вину, блуждает певунья.
В ночь свиданий весеннюю, в ночь полнолунья,
К дальним звездам меня эта песня зовет.

(Уходят.)

Слова входят Червоная Дама и Бубновый Король.

Бубновый Король. Не могу я их осуждать! Мне самому хочется петь.

Червоная Дама. Смотри, как бы издатель Валет тебя не услышал, а то живо попадешь в его столбцы. Я его только что видела: шныряет, вынюхивает, что тут происходит.

Бубновый Король. Не знаю почему, но я теперь ничего не боюсь. Только прикажи — совершу ради тебя любой подвиг!

Червоная Дама. Ну хорошо, тогда спой, а еще лучше — принеси мне роз — они только что расцвели, и соком их лепестков я покрашу себе ноги.

Червоный Король. Все сделаю, красавица! Сегодня я понял, что наша жизнь в Стране Карт была просто сном. А теперь этот сон внезапно оборвался. Ветер моей прежней жизни разбудил меня. Песня жизни звенит у меня в ушах, слова ее дрожат на губах. Слышишь? Слышишь, милая, песню, которую я сложил в иной жизни?

В лесу души моей цветы
В багрянец жаркий красишь ты
Везде, где оставляешь след воздушною стопой.
Любовь и боль в моих словах, —
Как серьги их носи в ушах,
Как ожерелье их падень, как перстень золотой!

Червонная Дама. И эту песню сочинил ты сам?
Для меня? Как тебе удалось?

Бубновый Король. Так же, как тебе — твоя при-
ческа.

Червонная Дама. Знаешь, что мне сейчас почу-
дилось? Что я уже когда-то танцевала под эту песню.

Бубновый Король. Вспомнил! Я тоже вспомнил
об этом! Как я мог забыть!

(Поет.)

Ураганом подхвачена песня моя
Вихрем пляски твоей!
Мчится по морю бурному песни ладья,
То ныряя, то к небу взлетая,
Но я правлю без страха и знаю:
Если снасти и руль потеряю,
Все равно, все равно среди грозных зыбей
Не погибну, и выплыву я!

Я готов померяться силами с самим богом смерти!
Я так ясно представляю себе: вот ты поставишь мне на
лоб тилак победы и я отправлюсь в путь добывать сво-
боду для прекрасных узниц. Я ударю в барабан у ворот
неприступной крепости, и в ушах зазвучит песня, кото-
рую ты мне споешь в час прощания.

(Поет.)

Без тебя я глаз не сомкну,
Без тебя всю ночь не засну.
Ты идешь на смертельный бой,
Сердцем трепетным я с тобой.
Я тебя с победою жду,
А падешь — я с тобой паду.
Я твою судьбу разделю,
Потому что тебя люблю.

Червонная Дама. Да, мой герой, я с тобою! Со-единим наши судьбы, презрев все угрозы. Впереди хму-рые черные скалы — придется пробивать сквозь них путь. Если нам суждено сложить головы — что ж! Но пробить дорогу через эти скалы нужно непременно. Почему мы оказались здесь? Зачем? Эти бессмысленные дни, эти бес-плотные ночи, эти бесцельно бегущие мгновения!

Бубновый Король. Но хватит ли у тебя сме-лости, любимая?

Червонная Дама. Конечно, хватит!

Бубновый Король. И неизвестное не устршит тебя?

Червонная Дама. Нет, нет!

Бубновый Король. Теперь я уверен: даже из-ранив ноги, ты не захочешь свернуть с пути.

Червонная Дама. Когда-то, мне кажется, мы уже проходили по этим страшным местам. Ночью я шла впереди тебя с факелом, днем — с победным стягом. Так идем же снова! Нужно разбить эту стену безделья, выр-ваться из заколдованного круга равнодушия, сбросить с себя этот бессмысленный хлам.

Бубновый Король. Сбрось же его, разорви в клочья! Стань свободной, счастливой и чистой!

Уходят.

Входят Пятерка и Шестерка.

Шестерка. Ох, Пятерка, может, ты скажешь мне, что случилось?

Пятерка. Мне стыдно смотреть на себя. Эх, дурак ты, дурак, Пятерка! Чем ты занимался столько времени?

Шестерка. С чего это ты вдруг начал об этом спрашивать? Что с нами вообще произошло?

Пятерка. Вон идет пандит Десятка, спроси лучше у него.

Входит Десятка.

Шестерка. Послушайте, зачем мы проделывали всю эту ерунду — ложились, садились, падали, вставали?

Десятка. Молчи!

Пятерка и Шестерка *(вместе)*. Не будем мы молчать!

Десятка. Значит, и вы не боитесь?

Пятерка и Шестерка. Не боимся. Говори скорей, какой смысл того, что мы делали.

Десятка. Смысла нет, есть только правила.

Шестерка. А если мы им не подчинимся?

Десятка. Пойдете прямой дорогой в ад.

Шестерка. Ну и пусть!

Десятка. А что же вы будете там делать?

Пятерка. Сражаться с подлостью, если она там есть.

Десятка. Сражаться? Смотрите, какая заносчивость! И это в нашей-то мирной стране!

Пятерка. Такой мир давно пора нарушить, и мы это сделаем во что бы то ни стало!

Входит Червонная Дама.

Десятка. Слышишь, досточтимая госпожа? Они хотят нарушить тишь и гладь нашего огромного могучего царства!

Червонная Дама. Наше царство — как старое дерево: внутри все прогнило и омертвело. Его давно пора срубить.

Десятка. Фу, какой позор! И это говорит дама! Ты — женщина и должна охранять покой, а мы, мужчины, цивилизацию.

Червонная Дама. Вы долго нас обманывали, пандит. Теперь довольно. Ядом болтовни о покое вы и так отравили нашу кровь. Хватит с нас обмана!

Десятка. Конец света! От кого ты нахваталась таких мыслей?

Червонная Дама. От того, кого я призываю всем сердцем, от того, чью песню донес до меня ветер.

Десятка. Этого еще не хватало! Ветер донес до нее песню! Видно, и впрямь пропало Карточное Царство. Уйду поскорее. *(Уходит.)*

Шестерка. Укажи нам дорогу отсюда, красавица.

Пятерка. Тебе, наверное, известна мантра возмущения? Скажи ее нам.

Червонная Дама. Сам творец презирует нас за глупость. Встряхнитесь же, пробудитесь!

Шестерка. Ну да, встряхнитесь! Стоит пошевелиться, все кричат: «Осквернился, нарушил правила!».

Червонная Дама. Пусть кричат, пусть упрекают, — еще хуже молчать и гнить заживо!

Входят Пиковая Дама и Бубновая Дама.
Они собирают цветы.

Бубновая Дама. Ой, вон идет Дохолани — жена пандита Десятки. И укрыться нам негде.

Входит Дохолани.

Дохолани. Куда вы? Отчего прячетесь? Кто это — и узнать нельзя! Э, да это, оказывается, наша Бубновая Дама! А с ней кто? Никак, Пиковая Дама? Ой, умереть можно! Что за наряд? Оделись совсем как люди! И не стыдно вам?

Бубновая Дама. И ничего на нас нет особенного. Просто печаянно развязались завязки, и наше карточное одеяние упало.

Дохолани. Нити Страны Карт — крепкие нити. Узлы тысячелетней давности — и вдруг развязались?! Как это могло случиться?

Пиковая Дама. Во всем виноват ветер.

Дохолани. О чем ты говоришь? Да это же оскорбление для нашего Бога Легких Дуновений. Как может он развязывать и рвать узлы? Это же не сухие листья, которые облетают от малейшего ветерка!

Пиковая Дама. Разве ты не знаешь, сестрица, какую бурю поднял в Карточной Стране Бог Легких Дуновений?

Дохолани. Знаю, да молчу — не нашего ума дело. Прямо не верится, что это прежний кроткий Бог Легких Дуновений! Правда, где-то в книгах, помнится, написано, что у него есть сын — богатырь. Тот, кажется, никогда не знает покоя. Может, он вас и заморочил?

Бубновая Дама. Право, не понимаю, почему ты стыдишь именно нас? Неужели ты не замечаешь, что ветер-богатырь бушует по всей стране? Что он зажег огонь в сердцах всех обитательниц Карточного Царства?

Пиковая Дама. Люди из-за моря говорили, кажется, что этот буйный ветер — их предок.

Дохолани. Очень может быть. Они, видно, сами из буйного рода.

Бубновая Дама. Послушай, Доходлани, признайся честно — неужели ты по-прежнему спокойна? Нет, нет, не отмалчивайся, пожалуйста!

Доходлани. А вы никому не скажете?

Бубновая Дама. Клянусь, никому!

Доходлани. Сегодня под утро мне приснилось, что я стала человеком и даже хожу точь-в-точь как люди. Проснулась — думала, сгорю со стыда! А потом...

Бубновая Дама. Что потом?..

Доходлани. Ах, оставим это!

Пиковая Дама. Понятно. Птичке в клетке приснилось, будто она на свободе.

Доходлани. Тише, молчи, не то пандит Десятка услышит и наложит наказание. Это ведь такой грех! Хотя от сна невелика была радость...

Бубновая Дама. Да, сестрица, заморский ветер поднял в нашей Стране Карт целую бурю. Ничего мы не можем удержать, все он уносит.

Доходлани. Многие он, действительно, унес, но кое-что осталось. Покрывало слетело с лица, а вот эти неуклюжие колодки не так-то легко стряхнуть с ног!

Пиковая Дама. Ты права. Наши сердца в смятении, мы все еще не знаем, к какому берегу плыть. Уж на что Трефовая Дама горит желанием поскорее стать человеком, и то не может. Взгляни-ка, даже надела человеческую маску, — ее у нас в придворной мастерской сделали. Смотри, как странно она выглядит!

Доходлани. Теперь уж не разберешь, как мы сами выглядим. Вчера я стояла за деревом и случайно подслушала разговор чужеземцев. Так вот, Купец обозвал нас карикатурами на людей.

Бубновая Дама. Ой, какой стыд! А что сказал Царевич?

Доходлани. Он рассердился и ответил, что зато в нашей одежде проявляется какой-то вкус. «А если хочешь посмеяться, — добавил он, — лучше присмотришь к своим соплеменникам, которые подражают картам».

Пиковая Дама. Неужели это возможно? Быть человеком и подражать картам! Интересно, как они это делают?

Доходлани. Царевич говорил, будто они красными палочками красят себе губы, черными подводят брови и становятся совсем как размалеванные карты. Да, вот еще что смешно, на ноги они надевают кожу с копытами!

Бубновая Дама. Это еще зачем?

Доходлани. Чтобы быть повыше и не касаться ногами земли. Словом, все у них как у карт, — и подкрашивание и одевание.

Пиковая Дама. Это тоже, наверное, шуточки Бога Ветра! Карты смывают краску, чтобы уподобиться людям, а люди красятся, чтобы походить на карты. Что до меня, сестрица, то я решила узнать у Царевича Волшебное Слово и стать наконец человеком.

Бубновая Дама. И я!

Доходлани. Мне тоже хочется, только страшновато. Ведь, говорят, у людей столько огорчений, — не то что у карт!

Пиковая Дама. Ты говоришь об огорчениях? Но разве мы не извели горя, разве не коснулось оно наших сердец!

Бубновая Дама. И все равно я не хочу жить без этой пьянящей боли. Глаза все время застилают слезы, а почему — не знаю.

(Поет.)

Отчего глаза полны слезами?
Отчего так сердце смущено?
Знать, о чем-то вспомнило оно,
А о чем — не знаю.
Словно слово произнесено
Горькое, как горькое вино,
И стоит туман перед глазами.
Словно сердце бедное больно,
Равнодушным взглядом пронзено,
Знать, о чем-то вспомнило оно,
А о чем — не знаю.

Пиковая Дама. Ой, бежим отсюда, бежим. Редактор идет! Ославит в своей газете — потом и на улице не покажешься!

Доходлани. Да он не один, за ним целая толпа. Ну конечно, ведь сегодня большое собрание под старым деревом. Уйдем поскорее!

Уходят.

Входят Раджа и остальные.

Раджа. Здесь сегодня как-то неуютно. Чем это пахнет?

Пятерка. Цветами Кадамбы.

Раджа. Кадамба? Странное название. А что это за птица там распевает?

Пятерка. Я слышал, ее называют Гху-гху — лесной голубкой.

Раджа. Гху-гху! Дай ей какое-нибудь более приличное имя, скажем Бинти. Сегодня нам что-то трудно заниматься делами — в листве слышатся какие-то шепоты, в ветре — музыка. С великим трудом мы собираемся с мыслями. К тому же нашу супругу стало не удержать дома — все время танцует и кружится, словно одержимая. Подданные наши, вас сегодня не узнать! Никакого благолепия! Прямо не собрание, а какое-то дикое сборище.

Все. Мы не виноваты! Слетело с нас все благолепие! Упали все покровы да так и остались лежать в придорожной пыли!

Раджа. Редактор, как нам кажется, тобой тоже овладело какое-то странное легкомыслие.

Валет. Все утро я провел в лесу, чтобы выяснить имена беглянок, и меня, видимо, продуло новым ветром. Начал заполнять столбцы — а с пера стекают стихи. Я слышал, современные врачи называют такое стихотечение инфлюэнцей.

Раджа. Ну-ка, приведи для примера что-нибудь из этих стихов.

Валет

Если ветер не станет законы блюсти,
Цивилизацию нам не спасти!
Даже Десятка, хранитель Закона,
Правила знающий все назубок,
Тут ничего бы поделать не смог:
Край без законов — край обреченный!

Раджа. Хватит, вполне достаточно! Вставь их в учебник для школьников. И пусть все дети нашей страны учат их наизусть.

Шестерка. Но мы ведь не школьники, о раджа. Сегодня мы вдруг поняли, что давно повзрослели. Эти стишки нам не нравятся.

Пятерка. Чужестранцы, вы не могли бы прочесть нам что-нибудь из своих заморских стихов?

Царевич. Ладно, слушайте!

Весенний голос молнии и грома
Звучит в разверстых бурных небесах,
И вторит громовому разговору
Могучий стих, рожденный в недрах чаш.
Как птицы, опьяненные простором,
Взмывают ввысь на быстрых сильных крыльях
Стихи о неизведанном пути.
Все смутно в этих трепетных стихах!
В них свет и тень,
В них ночь и день,
Добро со злом
И с правдой ложь
Переплелись.
Стихи такие пламенем горят
На алтарях,
Они в глазах борцов суровых, мудрых,
Они по миру мчат на колеснице
Всесокрушающего Рудры!

Раджа. Ну, поняли вы что-нибудь?

Карты. Ничего.

Раджа. А все же, что вы чувствуете?

Карты. Как-то беспокойно стало.

Раджа. Это плохо. Вот вам для успокоения стихи из нашего святого писания:

Если ты всегда спокоен,
Яма в бок тебя толкнет
И подальше отшвырнет,
Скажет: «Смерти недостоин!»

Царевич. Ну как, полегчало? То-то же. Чужеземцы!

Раджа. Вот вы все время бродите по нашему острову, ныряете в воду, взбираетесь на горы, протаптываете тропы в джунглях — зачем вам все это?

Царевич. А зачем, дозвожь спросить тебя, государь, все вы только и делаете, что встаете, садитесь, ложитесь да переворачиваетесь с боку на бок?

Раджа. Таковы наши правила, таков наш Закон.

Царевич. Ну вот! А нами правит наше желание.

Раджа. Желание? И это здесь, в Стране Карт! Что вы скажете на это, подданные мои?

Пятерка и Шестерка *(вместе)*. Мы уже научились у него мантре желания.

Раджа. Это еще что такое?

Пятерка и Шестерка
(поют)

Как хотим — так живем,

Как хотим — так умрем!

Захочу — возьму,

Захочу — отдам,

Захочу — разрушу,

Захочу — создам.

Цепи разорвем — если захотим,

В рабство попадем — если захотим.

Как хотим — так живем,

Как хотим — так умрем!

Раджа. Прочь, все уходите отсюда сию же минуту! Червоная Дама, ты что, не слышала приказа? А ты, Трефовая Дама? Как вы все себя ведете? Что с вами вдруг стряслось? Горе нам!

Червоная Дама. Я хочу желать!

Другие Дамы. Желать! Желать!

Раджа. Что с тобой, рани? Почему ты вдруг поднялась со своего места?

Рани. Я не хочу больше сидеть.

Раджа. Нам кажется, супруга наша, что ты забываешься!

Рани. Тут и казаться нечему! Я и вправду забылась.

Раджа. Разве ты не знаешь, что волнение в нашем Карточном Царстве карается как самая тяжкая вина?

Р а н и. Конечно, знаю. Но я знаю и то, что эта вина для меня — самое большое наслаждение.

Р а д ж а. Что я слышу? Осуждение ты называешь наслаждением? Уж не забыла ли ты язык Карт?

Р а н и. Пора забыть этот язык, проклятый язык, на котором цепи зовутся браслетами...

Бубновый Король. А тюрьма — отчим домом!

Р а д ж а. Молчать!

Червоная Дама. Головоломки — святыми словами...

Р а д ж а. Молчать!

Червоная Дама. Зло — добром.

Р а д ж а. Молчать!

Червоная Дама. Глупец — мудрецом...

Р а д ж а. Молчать, говорят вам!

Пятерка. Мертвое — живым...

Р а д ж а. Замолчите же наконец!

Р а н и. А небесное блаженство — преступлением. Давайте скажем все вместе: «Да здравствует Желание!»

Все. Да здравствует Желание!

Р а д ж а. В таком случае отправляйся в пустыню, в изгнание, супруга наша!

Р а н и. О, счастье, значит, я спасена!

Р а д ж а. Постой, куда же ты?

Р а н и. В изгнание.

Р а д ж а. И ты бросаешь нас? То есть меня, я хотел сказать...

Р а н и. Нет, почему же?

Р а д ж а. Что же будет с нами, то есть со мной?

Р а н и. Я возьму тебя с собою.

Р а д ж а. Куда?

Р а н и. В изгнание.

Р а д ж а. А они — все мои подданные?

Все. И мы хотим в изгнание!

Р а д ж а. Что ты об этом думаешь, пандит Десятка?

Десятка. Изгнание отсюда — это хорошо, — вот что я думаю.

Р а д ж а. А как же все твои толстые книги?

Десятка. Да кину их в воду — и все тут!

Р а д ж а. А Чрезвычайный Закон?

Десятка. Он больше не нужен, я думаю.

Все. Не нужен, не нужен!

Рани. Чужестранцы, где вы?

Царевич. Мы здесь!

Рани. Скажите, получатся из нас люди?

Царевич. Конечно, получатся!

Раджа. А я, о чужестранец, я тоже могу стать человеком?

Царевич. Не уверен. Но рани, надеюсь, тебе поможет. Слава ей!

Все
(поют)

Разобьем оковы!

Разобьем оковы!

День настанет новый!

Страждущие души

Исцелим от боли,

Выпустим на волю!

Пусть в иссохшем русле

Снова жизнь играет,

Все переполняет!

Пой победы песню,

Песнь освобожденья, —

Нет ее чудесней!

А старье и мусор

Мы в пучину кинем, —

Пусть навеки сгинет!

Все слышней и громче

Радостные клики, —

Близок день великий!

Распахнем в Неведомое

Запертые двери,

Верим в счастье, верим!

Мы пойдем навстречу

Самой светлой нови,

И никто на свете

Нас не остановит!

КОММЕНТАРИИ

ТАГОР - НОВЕЛЛИСТ

Рассказы 1884—1933 гг.

Рассказы составляют очень важную часть художественного творчества Рабиндраната Тагора¹.

Создание первых, еще не вполне зрелых в художественном отношении рассказов относится к самому началу творческого пути Р. Тагора — второй половине 70-х годов XIX века. В июле 1877 года в № 1 журнала «Бхароти», издававшегося братом Р. Тагора — Джотириन्द्रонатхом, был опубликован первый рассказ Р. Тагора «Нищенка».

Большинство рассказов Тагор создал в 90-х годах XIX века. Они печатались во многих журналах, в том числе в журналах «Хитобади», «Шадхона». Работа над рассказами этого периода сыграла немалую роль в становлении реалистического метода писателя. К первой трети XX века относятся лучшие рассказы, написанные Р. Тагором — уже зрелым мастером. В 1940—1941 годах вышли два последние сборника рассказов: «Три друга», «Маленькие рассказы».

На всех этапах более чем шестидесятилетнего художественного творчества рассказ оставался любимым литературным жанром писателя. Особенно часто время действия в рассказах относится к концу XIX и началу XX веков — переломной эпохе в политической и экономической жизни страны.

¹ Рассказы Р. Тагора публиковались в первом, третьем и шестом томах; настоящим, десятым томом завершается их публикация в этом собрании сочинений.

Непосредственное знакомство с жизнью бенгальского крестьянства, после того как Тагор поселился в своем родовом имении, оказало влияние на идейное и художественное развитие писателя. Одним из первых в индийской литературе Тагор показал с реалистических позиций жизнь современной ему индийской деревни. «Из месяца в месяц, — писал Тагор, — я сочинял рассказы из сельской жизни. Я знаю, что до этого никто не писал так много о деревне».

С большой силой писатель-реалист Р. Тагор разоблачает в своих рассказах жестокую власть помещика в деревне («Разгаданная загадка», «Обменялись»). В сознании народа эксплуататоры — замин্দары и ростовщики — ассоциируются с фольклорными образами: «Тигр-замин্দар», «Крокодил-кредитор».

В «Семье Халдаров» писатель осуждает эксплуататорскую и паразитическую сущность помещичьей собственности. Помещик Монохорлал — один из героев рассказа — «истинный вельможа прежних времен». Его идеал «быть украшением того общества, к которому он принадлежал, причем украшением дорогим». Стоит ли думать о том, что вокруг трудятся сотни людей, ведь главное для Монохорлала «неизменно пребывать в безделье и покое». Управляющий именем Нилконтхо — достойный слуга своего господина. Будучи жестоким исполнителем воли помещика, Нилконтхо тем не менее не упускает случая поживиться за его счет.

Было бы, однако, неверным считать, что Р. Тагор вполне объективно представлял себе картину социально-классового размежевания в индийской деревне и пагубные последствия помещичьей эксплуатации крестьянства. Р. Тагор был выходцем из так называемой «старой», наследственной помещичьей семьи, и это, несомненно, сказывалось на стремлении писателя несколько идеализировать помещиков, показать, что остались еще «хорошие» помещики — помещики «старые» в отличие от «новых», молодых.

Такой подход имеет определенную классовую и историческую обусловленность. В конце XVIII — начале XIX века в Бенгалии, в результате жесточайшего английского колониального гнета, начался процесс быстрого разорения «старых», наследственных заминдаров, которые большей частью принадлежали к брахманской касте. Их земли переходили в руки «новых» помещиков, преимущественно купцов и ростовщиков. Социальные и морально-этические проблемы, связанные с этим процессом, стали темой многих произведений Тагора. Например,

в рассказе «Обменялись» Тагор создал образ торговца, купившего поместье «старого» заминдара. Этот «новый» помещик выступает в рассказе как персонаж резко отрицательный. В отличие от «старых» заминдаров, он не имеет ни малейшего понятия о хозяйстве, купил землю лишь для того, чтобы приобрести положение в обществе. Даже крестьяне-арендаторы с презрением относятся к новому хозяину за его «низкое» (то есть небрахманское. — А. Ч.) происхождение. Автор явно симпатизирует разорившемуся заминдару Койлашу Раю Чоудхури — герою рассказа «Бабу из Нойонджора», хотя описывает этого добродетельного помещика с грустной иронией.

Показателен в этом отношении и рассказ «Разгаданная загадка». Глава заминдарской семьи Кришногопал — «идеальный» помещик. С крестьян он не берет почти никаких налогов, брахманам и саньяси раздает землю и кончает тем, что бросает поместье и становится «святым» человеком. Ему писатель противопоставляет образ его сына — Бипинбихари, образованного «современного» молодого человека. Бипинбихари жестоко притесняет крестьян, отбирает розданные отцом земли. Крестьяне просят Кришногопала вернуться и спасти их от притеснений Бипинбихари. Но Кришногопалу уже не под силу вмешиваться в дела сына. К тому же он считает, что «современные молодые люди лучше знают, как нужно действовать по теперешним временам; и то, что было раньше, вероятно, не годится». С грустью пишет Тагор об ушедших в прошлое патриархальных, «идеальных» отношениях между помещиками и крестьянами. В этом проявились глубокие социальные противоречия в мировоззрении писателя.

В рассказе «Семья Халдаров» Тагор изображает принципиально новый для индийской литературы того времени социальный и моральный конфликт. Сын помещика, Боноярирал, вступился за крестьянина, которого по приказу отца преследует управляющий. Боноярирал остается одиночкой среди людей своего класса и, в конце концов, терпит поражение. Однако всей логикой повествования Тагор подчеркивает, что Боноярирал сумел подняться выше узкокорыстных интересов помещичьего класса, пойти наперекор отцу и любимой жене, выступить — пусть еще робко и непоследовательно — за социальную справедливость. Некоторые помещики действительно выступали в защиту интересов крестьянства. Первые представители нарождавшегося леворадикального революционно-демократического

течения в национально-освободительном движении Индии (в частности, в Бенгалии) уже в конце XIX — начале XX века выдвигали лозунги «крестьянской революции». Но эти идеи были чужды мировоззрению Р. Тагора.

Не признавая классовой борьбы, Р. Тагор, как одно из существенных положений своей во многом утопической концепции освобождения Индии, выдвигает идею о необходимости самим помещикам стать борцами за интересы крестьян, сделать их свободными и счастливыми. Так, в одном из своих выступлений начала XX века Р. Тагор обращается к помещикам-заминдарам: «Сделайте крестьян образованными и сильными настолько, чтобы землевладелец и подумать не смел несправедливо обойтись с крестьянами. Ведь землевладелец не лавочник, чтобы интересоваться своими мелкими барышами... Землевладелец за деньги покупает себе титул раджи, но право стать истинным раджей он должен заслужить у крестьян. Землевладелец — хозяин, друг и попечитель своих крестьян, от него зависит благополучие многих... Я обращаюсь к землевладельцам, призываю их сделать крестьян образованными и сильными, могущими защитить себя от тирании землевладельцев или любой другой, ибо ни закон, ни власть не могут гарантировать права крестьянству»¹.

Вместе с тем Р. Тагор и в своих политических выступлениях, и в литературном творчестве всегда оставался на стороне угнетенных. Особый гнев вызывал у писателя тот факт, что и полиция и суд находились в руках сахибов — английских колонизаторов, выступавших против крестьян вместе с помещиками и ростовщиками. В этом проявилась (как субъективная, так и объективная) антиимпериалистическая и антифеодалная направленность идеологии Р. Тагора.

Именно этой теме и посвящен рассказ «Свет и тени». Власть английского судьи в деревне настолько велика, что даже его слуги чувствуют свою полную безнаказанность. Перед ним трепещут и заискивают сами заминдары. А простой народ — крестьяне, рыбаки, матросы — до того запуганы властями, что боятся выступить свидетелями в суде против совершившего преступление англичанина, который ради собственного удовольствия стрелял в баркас. Да и не только страх движет ими.

¹ Р. Тагор, Собрание сочинений, т. X, Калькутта, 1950, стр. 518—519.

Крестьяне хорошо знают, что суд будет на стороне англичанина, хотя его забава стоила жизни одному из матросов.

Р. Тагор показывает, с каким страхом и ненавистью относились колонизаторы к национально-освободительному движению, к деятельности партии Индийский Национальный Конгресс, возглавлявшей освободительную борьбу в стране. Проявление патриотических чувств ассоциировалось у колониальных чиновников с «заговорщицкой» деятельностью «агентов Конгресса». Так, Шошибхушона, пытавшегося бороться с беззаконием колониальных властей, английский судья принимает за «агента Конгресса», хотя юноша никак не связан с деятельностью этой политической партии («Свет и тени»). Образ Шошибхушона весьма типичен для Индии того периода, ибо самые различные люди, порой очень далекие от политики, по честные патриоты, самой жизнью втягивались в национально-освободительное движение.

Разоблачая колонизаторов, Р. Тагор в то же время высмеивает ту часть индийской интеллигенции, которая пресмыкалась перед своими английскими хозяевами. Писатель создал целую галерею сатирических образов. Таков, например, преуспевающий адвокат Рамлотон Рай из рассказа «Одна ночь», который ради собственного удовольствия не прочь даже поболтать о тяжелом положении страны. Смех и презрение вызывает Нобендушекхор — сын выслужившегося перед англичанами райбахадра, когда родственники, издеваясь над его раболепием перед англичанами, заставляют его кланяться английским ботинкам, которые они в шутку выставили вместо изображений индуистских богов («Коронация»).

Раскрывая полное моральное ничтожество подобных людей, Тагор показывает, как, играя на непомерном самосмнении Нобендушекхора, некоторые «деятели» вынудили его дать деньги на поддержку Национального Конгресса и выступить в печати со статьей, содержащей критику колониальных властей. К своему ужасу, он видит, что за это от него отвернулись его английские хозяева. Надежда на титул райбахадра рухнула. Однако, вступив на путь «патриота», он под нажимом друзей продолжает идти по этому пути. «Так в суматохе и неразберихе он выскочил в лидеры страны», — иронически заключает Тагор.

Значение для самого Тагора подобного образа «лидера» становится особенно понятным, если вспомнить, с каким презрением клеймил писатель соглашательскую, антипатриотиче-

скую деятельность лидеров «умеренных» в Национальном Конгрессе, которые, по словам Тагора, видели «своих» лишь в людях с английским образованием, «всячески пытались завоевать сердце Англии, никогда не задумываясь над тем, что сердце Индии обладает большей ценностью». Он сурово осуждал их за стремление получить свободу для страны из рук колониальных властей. «Я никогда не соглашусь, что нет другого пути, кроме прошений. Я верю в мою страну, в ее собственные силы»¹.

В том же рассказе «Коронация» Р. Тагор показал и других деятелей Конгресса — истинных патриотов. Таковы свояченица Нобенду — Лабонно и ее муж Нилротон. Именно Лабонно и Нилротон доставляют Нобенду уйму «неприятностей». Поучительна и судьба брата Лабонно — Промотхонатха. Прожив в Англии около трех лет, он забыл о страданиях своей родины и возвратился домой в европейском платье. Его охотно приняли в местном английском обществе. Однако очень скоро Промотхонатх вновь ощутил всю меру презрения колонизаторов к его народу. Он сжег все свои европейские костюмы и перестал посещать англичан, что прежде почитал за честь.

Среди участников национально-освободительного движения весьма многочисленную и очень активную группу составляла молодежь. Этот факт нашел свое отражение в творчестве Р. Тагора.

В рассказе «Одна ночь» писатель создает типичный для Бенгалии конца XIX — начала XX века образ юноши из семьи управляющего заминдара. Молодой человек покидает дом и уезжает в Калькутту учиться. Его идеал — Мадзини и Гарибальди. Юноша участвует в деятельности различных патриотических организаций, которые вели работу по вовлечению в национально-освободительное движение все большего числа участников. Молодые люди, «голодные, под палящим полуденным солнцем, бродили от дома к дому с подписными листами, распространяя воззвания, готовили помещения для собраний» и в любой момент готовы были броситься в драку, чтобы защитить «честь своих вождей».

Однако не все выдерживали трудности борьбы. Многие уходили от участия в национально-освободительном движении и погружались в нескончаемый поток каждодневных забот. Таков и герой рассказа «Одна ночь», учитель. Он мечтал воспитать

¹ Р. Тагор, Избранное, Кулькутта, 1953, стр. 49—50, 53.

из своих учеников «полководцев для будущей Индии», по вскоре пришел к убеждению, «что предстоящие экзамены важнее будущего Индии», и от его «революционного» пыла через месяц-два не осталось и следа. В этом образе отразилась слабость только начавшего развиваться национально-освободительного движения. Нелегко был жизненный путь у тех, кто хотел бороться за свободу. Вместе с тем в этом рассказе отчетливо проявилась и позиция самого Р. Тагора, который не считал политическую деятельность подобного рода полезной. В своих публицистических выступлениях Р. Тагор называл такую деятельность «политической торговлей». С особой силой эти взгляды Тагора проявились в рассказе «Обычай», написанном в 1928 году, когда в Индии ширилось демократическое движение за отмену традиционного, освящаемого индуизмом статута неприкасаемых каст — наиболее угнетенной и бесправной части населения. Под видом обычной супружеской ссоры Р. Тагор раскрывает острый социальный конфликт. В образе жены — Колики Р. Тагор разоблачает политическое ханжество и демагогию тех деятелей Национального Конгресса, которые лишь формально стояли за равноправие неприкасаемых, в то время как сознание их было по-прежнему отравлено кастовыми пережитками. Вся их «борьба» сводилась зачастую к ношению белого кхаддара. И глубоко прав был муж Колики — человек далекий от политики, честный и глубоко порядочный, — утверждая, что такие действия лишь «прикрывают кастовые различия, но не уничтожают их». Доказательством тому служит тот факт, что друзья Колики из Национального Конгресса оправдали «с социологических позиций» ее отказ помочь избитому толпой религиозных фанатиков старику — неприкасаемому. В противовес политиканству многих конгрессистов, Тагор в конце XIX — начале XX века выдвигает свою теорию «созидательной деятельности». Он призывает «образованные классы» изучать жизнь народа, его обычаи, язык, историю, познать реальные его нужды — необходимость школ, больниц, дорог, снабжения водой. Тагор призывал молодежь посвятить жизнь служению народу, отправиться в деревню и помогать крестьянам.

В этой теории «созидательной деятельности», содержавшей передовые, прогрессивные, демократические идеи и рожденной справедливым отвращением Тагора к политической демагогии и беспринципности многих буржуазных лидеров Кон-

гресса, мы видим также элементы утопического подхода писателя к проблемам социального переустройства общества, попытку противопоставить просветительство политической борьбе, недооценку, скорее, даже непонимание необходимости и огромного значения массового политического движения наряду с благородным трудом на ниве просвещения. Вполне закономерно поэтому, что и в художественном творчестве симпатии писателя отданы не конгрессиистским политическим деятелям, а людям, ведущим в деревне подвижническую работу на благо народа. Это, по существу, герои-одиночки, никак не связанные с массовым движением, — люди типа доктора из рассказа «Оплошность», который бесплатно лечит крестьян, или молодого адвоката Шошибхушона («Свет и тени»). Вместе с тем писатель показывает, что эти герои-одиночки не в силах избавить народ от страданий и все их благородные усилия обречены на поражение.

Р. Тагор в своих рассказах одним из первых вводит в индийскую художественную литературу проблему растлевающего влияния на человека буржуазного предпринимательства. Образ буржуазного дельца, потерявшего всякий человеческий облик и готового пойти на преступление ради успеха своих биржевых операций, выведен в рассказе «Последнее благословение».

Скупость, подозрительность, презрение к любому бедняку, добывающему хлеб насущный своим трудом, стремление воспитать собственного сына в роскоши и безделье, — вот что характеризует процветающего индийского буржуа Одхорлала из рассказа «Учитель». В этом же рассказе писатель показал, как равнодушие и черствость, порожденные капиталистическим строем, доводят героя рассказа Хоролала до смерти. Здесь, быть может, впервые в индийской литературе, с огромной выразительностью звучит тема одиночества «маленького человека» в огромном капиталистическом городе.

Еще одна важная тема рассказов Р. Тагора — это губительная власть денег, уродующая человека, толкающая его на тяжкие преступления. Причем эта тема тесно переплетается с темой мучительного перехода индийского общества на путь буржуазного развития. Р. Тагор показал, что корысть способна подорвать и дружбу, и взаимное уважение, и родственные узы.

Дети перестают дружить только потому, что их семьи не могут поделить плоды лимонного дерева («Разрыв»); ученик крадет у своего учителя девьги, необходимые ему для поездки

в Англию («Учитель»); долголетняя дружба гибнет оттого, что один из друзей прельстился богатством другого, обворовал его и, в конце концов, довел до смерти («Обменялись»). Сын, стремящийся получить наследство, заставляет отца быть лжесвидетелем и становится причиной его гибели («Неразумный Рамканаи»); муж убивает жену, помешавшую ему стать незаконным обладателем чужого наследства («Старшая сестра»). В рассказе «Наследство» Р. Тагор скупыми художественными средствами создает зловещий образ своего рода индийского Шейлока — скупца Джоггонатха, который вместе со своими богатствами замуровывает собственного внука, ибо, по индуистским обычаям, этот гнусный обряд должен был обезопасить сокровища. Иногда Р. Тагор прибегает к приемам сатирического разоблачения, как, например, в рассказе «Золотой мираж», где жулик под личиной алхимика-саньяси обманывает доверчивых простаков, обуреваемых жаждой наживы.

Многие рассказы посвящены излюбленной теме Тагора — теме индийской женщины. Эта тема, традиционная для индийской художественной литературы, уходит своими истоками в народное творчество. Тагор воспел красоту и величие женской любви, ее преданность, бесстрашие, готовность пойти на любую жертву ради любимого человека. Вместе с тем огромной новаторской заслугой Р. Тагора явилось то, что он создал образ своей современницы, раскрыл трагическое положение женщины в индийском обществе, в семье. С передовых политических позиций своего времени Р. Тагор выступил против неравноправия и приниженного положения женщины в обществе, против ранних браков, против традиции, запрещающей браки между людьми разных каст.

Рассказы «Жених и невеста», «Хоймонти» и многие другие повествуют о ранних браках. Сосватанные родителями дети, подрастая, становятся друг другу совершенно чужими, и тем не менее по жестокому закону индуизма вынуждены жить вместе. В силу обычая давать жениху приданое, сватовство часто превращается в настоящий торг, глубоко оскорбительный для невесты, а затем для жены, на которую в семье мужа смотрят как на предмет купли-продажи («Расчеты»). Этой же теме посвящен рассказ «Незнакомка».

Все симпатии автора на стороне молодого человека, который идет на разрыв с отцом, отрекается от своей касты ради того, чтобы жить с любимой, чтобы спасти ее от религиозных

изуверов («Отречение»). Женитьба на любимой девушке из «низшей» касты приносит юноше счастье («Жених и невеста»).

Полной противоположностью этому благородному юноше является Мохит из рассказа «Судья». В молодости он толкнул на путь порока немало женщин, а ныне выступает «безупречным» отцом семейства, суровым блюстителем религиозной нравственности. И писатель отдает всю теплоту и любовь своей души «падшей» Кхироде, одной из жертв Мохита, осужденной на смерть тем самым обществом ханжей и лицемеров, которое и низвело ее до положения преступницы.

Огромное внимание уделяет Р. Тагор проблеме взаимоотношений супругов в семье. Писатель как бы говорит: нельзя превращать женщину в рабыню, оскорблять ее («Жертвоприношение», «Приговор»). Женщина должна быть равной в семье, иначе семья не будет прочной («Разоренное гнездо», «Первый номер»). Взаимная любовь и уважение приносят счастье обоим супругам («Мринмойи»).

С презрением пишет Р. Тагор о женщинах, для которых главное в жизни — богатство, украшения и наряды. Для таких женщин нет ничего святого («Исчезнувшее сокровище», «Прощальная ночь», «Преграда»).

В рассказах мы видим немало страниц, посвященных детям. Тонкий знаток детской психологии, Р. Тагор стремится показать, как важно с самых ранних лет воспитывать в детях чувство прекрасного, лишь в этом случае они вырастают настоящими людьми («Кабуливала», «Невозможное», «Беда»). Необыкновенно поэтичен образ Шубхи из одноименного рассказа. В этой немой девочке столько душевной красоты, глубины чувств, эмоциональной тонкости, что она надолго остается в памяти как своеобразный символ чистоты детской психологии. В то же время писатель с горьким сожалением говорит о том, как часто взрослые — и родители и учителя — больно ранят достоинство, самолюбие маленького человека, уродуют его неокрепшую душу («Каникулы», «Женушка», «Последнее благословение»). В рассказах «Учитель», «Сдержал слово», «Возвращение Кхокабабу» и многих других Р. Тагор показывает, как неразумное проявление любви к детям развивает в них эгоизм, надменность, пренебрежение к людям.

Все рассказы проникнуты любовью писателя к человеку, его решимостью бороться с темными сторонами жизни, стремлением сделать ее прекрасной. В этой связи следует упомянуть

и о такой очень существенной для Р. Тагора теме, как разоблачение лицемерия, ханжества и обмана, которые были присущи многим профессиональным служителям религиозного культа. Через рассказы проходят образы «жирных брахманов», «мудрых пандитов», которые наживаются на горе и невежестве народа, стремятся увековечить власть религиозного дурмана, обрекающего человека на положение раба («Отшельница», «Жертвоприношение»).

В этой статье мы попытались наметить лишь главные темы, получившие освещение в рассказах Р. Тагора, и уже один перечень тем свидетельствует о том, что рассказы Р. Тагора представляют собой своего рода энциклопедию жизни индийского общества, в особенности конца XIX — начала XX века. Главное же заключается в том, что Р. Тагор в своих рассказах неизменно выступает как истинный патриот и демократ, как новатор, который ввел в индийскую художественную литературу совершенно новый образ, образ «простого» народа, принес новые, социальные идеи.

Язык рассказов сыграл важнейшую роль в становлении нового стиля бенгальской реалистической прозы. В этом процессе творчество Р. Тагора, автора рассказов, занимает особое место, ибо писатель практически создал новый язык художественной литературы, преодолевая традиции старого, «романтического» стиля XIX века, для которого были характерны условность, цветистость, напыщенность. Р. Тагор совершил своеобразную языковую «революцию», обогатив художественную литературу бенгальским разговорным языком, лаконичным и ярким.

Р. Тагор писал: «Языка, необходимого для бенгальской прозы, не было, и мне приходилось создавать его частями, пластами... язык прозы возникал у меня в процессе написания рассказов»¹.

А. Чичеров

П О В Е С Т И

В прозаическом творчестве Р. Тагора повести «Сестры» и «Сад жизни» занимают особое место. В них автор отходит от характерных для его произведений социальных проблем и обращается к проблемам морально-этическим. Сложные политические и социально-экономические процессы, происходившие

¹ Р. Тагор, Собрание сочинений, т. XIV, Калькутта, 1953, стр. 538.

в индийском обществе, лишь изредка и ненадолго попадают в поле зрения автора, создавая скорее фон для развития действия, но вместе с тем и во многом определяя эволюцию характеров персонажей (Шошанко и Нирода из «Сестер», Шоролы и Ромена из «Сада жизни»). С удивительной тонкостью, без какой бы то ни было нравоучительной дидактики пишет Р. Тагор о неразрешимых противоречиях в семье, о неразделенной любви, о супружеском долге.

Героиня повести «Сестры» Шормила — воплощение доброты и порядочности, безграничной любви к мужу. В стремлении сделать счастливым своего мужа Шошанко она сумела перешагнуть через личную обиду и ревность. Но писатель показывает далее, как эта философия своеобразного самоотречения оборачивается тяжелой личной трагедией для самой Шормилы, теряющей любовь мужа, а Шошанко приводит к катастрофе, к крушению всей его жизненной философии.

В начале повести мы видим, как сложная инженерная работа увлекла и преобразила Шошанко. Слабый, пассивно относившийся к жизненным невзгодам и трудностям, Шошанко превращается в человека активного, творческого, полного веры в свои силы. Он трудится не ради наживы, а во имя того, чтобы принести людям пользу. Но вот в его благополучную жизнь входит любовь — неожиданно, нелогично на первый взгляд. На самом же деле такой поворот в ходе повествования вполне логичен. Любовь Шормилы, лишенная красоты и поэтичности, не могла заполнить жизнь Шошанко. Урмимала раскрывает перед Шошанко все обаяние молодости, будит давно уснувшее в нем чувство любви, он начинает понимать, что жизнь невысказима без красоты и счастья. Под влиянием чувства к Шошанко Урми, находившаяся в плену холодной расчетливости ее жениха Нирода, опять становится живым, непосредственным человеком.

Доктор Нирод — блестящий сатирический образ. Р. Тагор использует приемы гротеска, чтобы оттенить в его характере элементы ханжества и лицемерия, бездушия и черствости. «Европеизированный» специалист, Нирод с глубоким презрением относится к своей стране. Прикрываясь личиной неподкупности и «научного» подвижничества, он ловко устраивает свои дела.

Развязка повести не является одноплановым решением морально-этического конфликта. Писатель не осуждает Шошанко и Урми за их чувство, принесшее им столько радости. Но Шо-

шанко остается с Шормилой, а Урми уезжает, и этим Р. Тагор хочет сказать, что любовь не может заставить человека забыть о своем моральном долге перед семьей.

Той же идеей проникнута и повесть «Сад жизни». Только здесь она раскрыта не так глубоко и реалистично, как в «Сестрах». Чрезмерное увлечение писателя психоаналитическими приемами и некоторый налет модернизма сделали образы Адитто, Шоролы, Ромена несколько надуманными. Это особенно заметно на тех страницах, где речь идет о революционной деятельности Шоролы и Ромена, которая, надо сказать, не очень удачно введена в повествование.

Ниру постигла та же участь, что и Шормилу. Но как сильно отличаются друг от друга эти женщины. Пожалуй, единственное, что их сближает, это самозабвенная любовь к мужу. Но если Шормила безропотно смирилась с судьбой, то Ниру борется за свое счастье до конца жизни. Ревность и ненависть к сопернице одерживают в Ниру верх над всеми остальными чувствами.

Шорола получилась несколько искусственной и играет в повести роль «служебного» персонажа, то же самое во многом относится и к Ромену. Удались писателю образы няни Рошни и садовника Холлодора, написанные сочно, с юмором. Они как бы олицетворяют собой в повести реальную жизнь.

Следует отметить, что повести «Сестры» и «Сад жизни» написаны изысканно, блестящим литературным языком, гибким и образным.

СЕСТРЫ

С конца 1931 года в течение последующих четырех месяцев повесть публиковалась в журнале «Бичитро» (ноябрь — декабрь 1931 — февраль — март 1932). На русский язык переводится впервые.

Стр. 5. *Бошу Раджшекхор* (1880—1961) — бенгальский писатель, автор сатирических рассказов.

Стр. 9. *Хардвар* — город на Ганге в штате Уттар-Прадеш; центр паломничества. Здесь, на каменной лестнице, ведущей к реке, якобы отпечаталась стопа бога Вишну.

Тулси — священный базилик. Сок его иногда употребляется как лекарство.

Стр. 10. *Саржит-хаус* — гостиница для высокопоставленных правительственных служащих.

Стр. 11. *Магистр* — промежуточная научная степень между бакалавром и доктором (степень доктора индийские учебные заведения не присваивали).

Стр. 12 ...*Знаешь свою службу, которую ты, охотник до лучи, в шутку называешь Лучистаном, что рядом с Белуджистаном, а до остального мира тебе и дела нет.* — Здесь: игра слов. Лучи — пресные лепешки. Белуджистан — территория, населенная белуджами и входящая ныне в состав Ирана и Пакистана. Белуччи — скалка, которой раскатывают тесто.

Стр. 16. *Картик* — бенгальское название месяца, соответствующего октябрю — ноябрю.

Стр. 18. *Маколей* Томас Бабингтон (1800—1959) — английский историк, публицист и политический деятель. В 1834—1838 годах член Совета при вице-короле Индии. Прославился как хороший стилист. Между прочим, ему принадлежат известные слова: «Одна английская книга стоит больше, чем вся туземная культура Индии и Аравии вместе взятых».

Бёрк Эдмунд (1729—1797) — английский публицист и политический деятель. Его «Размышления о французской революции» (1790) содержат нападки на французскую буржуазную революцию 1789 года.

Стр. 20. *Больница будет достоянием божьим...* — Среди богатых людей Бенгалии существовал обычай выделять часть своего имущества как «достояние божье».

Стр. 24. *Калапахар* — военачальник бенгальского правителя — Сулеймана Карарани (XVI в.). Брахман, принявший мусульманскую веру, Калапахар проявлял особое рвение в уничтожении индуистских храмов.

Стр. 25. *Салливан* Артур Сеймур (1842—1900) — английский композитор. Его опера «Микадо» увидела сцену в 1885 году.

Стр. 38. *Дум-Дум* — пригород, ныне окраина Калькутты, где находится аэродром.

Нью Маркет — торговые ряды в Калькутте.

Стр. 39. *Царсванатх* — по преданию, один из основателей религии джайнизма.

Стр. 41. *Виктория Мемориал* — музей, находящийся к юго-востоку от площади Майдан в Калькутте.

Стр. 44. *Дарджилинг* — горный курорт в Западной Бенгалии.

Ману — имя четырнадцати мифических прародителей человеческого рода. Первый из них якобы является составителем знаменитого свода законов — «Законов Ману».

Стр. 45. *Бхаротчондро Рой* (1712—1760) — бенгальский поэт, автор поэм о богине Кали, куда вошла его знаменитая поэма о Бидде и Шундоре.

Стр. 48. *Бхимнаг* — калькуттский кондитер, славившийся своим умением готовить шондеш — лакомство из молока и сахара.

Стр. 49. *Отдам им последний долг по индускому обычаю...* — то есть предам сожжению.

Гал — город в штате Бихар. По преданию, возле этого города произошло «просветление» Будды.

Стр. 51. *«Мохон Баган»* — первая индийская футбольная команда, которая одержала верх над английскими футболистами.

Стр. 52. *Майдан* — огромная площадь в центре Калькутты, где проводятся спортивные состязания, демонстрации, парад войск.

Раджгондж — пригород Калькутты.

С А Д Ж И З Н И

Повесть первоначально публиковалась в ежемесячном журнале «Бичитро» (с сентября — октября по ноябрь — декабрь 1933 г.). Вышла в свет отдельной книгой в марте — апреле 1934 года.

Впоследствии Р. Тагор переделал эту повесть в драму, рукопись которой хранится в музее Тагора. На русский язык переведена впервые.

Стр. 61. *Рамакришна Парамаханса* (1835—1886) — индийский религиозный реформатор-философ, учитель Вивекананды Свами.

Стр. 64. *Мучкундо* — название дерева и его цветов.

Стр. 77. *Вритра* (Вритрасура) — демон, насылающий засуху и дурную погоду. Бог Индра ведет с ним якобы бесконечные сражения, и, когда он одерживает победу, проливается дождь.

Стр. 84. *Душшасана* — персонаж «Махабхараты», один из ста сыновей царя Дхритараштры. Когда Пандавы проиграли в кости свою общую жену Драупади, Душшасана срывал с нее одежды, но бог Кришна, который при этом присутствовал, снова надевал их на нее.

Стр. 87. *Чалта* — дерево со съедобными плодами.

Стр. 103. *Шрадханондо* — парк в Калькутте, где обычно происходили политические митинги.

Стр. 110. *Борал Окхойкумар* (1865—1918) — бенгальский поэт, автор сборника стихов «Желанвал» («Эша»).

РАССКАЗЫ

1911—1933

Сын Рашмопи. Рассказ впервые был опубликован в журнале «Бхароти» в сентябре — октябре 1911 года.

На русский язык не переводился.

Стр. 121. *Абхиманью* — герой «Махабхараты», сын Арджуны. Прорвался в расположение врага, но не сумел выбраться оттуда.

Стр. 124. *Пайош* — блюдо, приготовленное из риса, сахара, молока и изюма.

Стр. 128. *...В глазах Бхобаничорона поездка в Калькутту была не менее значительной, чем поход Рамы, который шел освободить Ситу...* — Рама и Сита — главные герои древнего эпоса «Рамаяны». Сита, жена Рамы, была похищена ракшасами (демонами) и увезена на остров Ланку (Цейлон). Рама, во главе большого войска, освободил свою жену из плена.

Стр. 134. *Шиялдохо* — вокзал в восточной части Калькутты. *Джамболан* — большое дерево из семейства миртовых. Плоды его употребляются в пищу.

Стр. 135. *Видно, на этот раз Калипод привез с собой драгоценности, похищенные у семи раджей...* — Намек на сказку о семи раджах, которые владели несметным богатством.

Сдержал слово. Рассказ появился на страницах журнала «Бхароти» в декабре 1911 — январе 1912 года.

Несколько раз переводился на русский язык: Тагор, Собрание сочинений, кн. 7, Португалов, М. 1915; Р. Тагор, Сочинения, т. 5, Гослитиздат, Л. 1956; Р. Тагор, Рассказы, Гослитиздат, М. 1957.

Стр. 147. *Радханатх* (супруг Радхи) — одно из имен Кришны, земного воплощения бога Вишну. Кришна, когда жил на земле, любил пастушку Радху. Их любовь — излюбленная тема индийской поэзии.

Стр. 148. *Лакхнау* — город в штате Уттар-Прадеш, центр индийской музыкальной культуры.

Стр. 152. *Аруна* — возница солнца, олицетворение восхода. *...А Индра! Чтобы добыть коня, он должен был взволновать целое море!..* — Когда по легенде, боги и демоны пахтали молочный океан, оттуда вышел белый конь Индры, бога неба, властителя рая,

Стр. 153. *Ганеша* — бог мудрости, сын Шивы и Парвати. Иногда его изображают едущим на колеснице, запряженной крысами.

Семья Халдаров. Рассказ был напечатан в журнале «Шобудж потро» (апрель — май 1914 г.).

Русских переводов нет.

Стр. 172. *Юдхиштхира* — герой «Махабхараты», старший из пяти братьев Пандавов. Будучи сыном Дхармы, бога справедливости, он отличался неукоснительной честностью.

Стр. 177. *Амару* (VIII в.) — индийский поэт, писавший на санскрите.

Чаур (Чор) — одно из имен индийского поэта Бильханы, писавшего на санскрите (XI в.).

Стр. 181. ...*Ведь старший сын должен совершить последний похоронный обряд.* — По индийским обычаям, старший сын должен поднести огопь к костру, на котором сжигают тело покойного.

Х о й м о н т и. Рассказ напечатан в журнале «Шобудж потро» в мае — июне 1914 года. На русский язык переводится впервые.

Стр. 197. ...*Знайте, среди людей Айодхьи, которые понудили Раму испытать Ситу, был и я...* — Айодхья — столица легендарного царства Рамы. Когда Рама освободил жепу из плена (см. прим. к стр. 128), он не хотел брать ее с собой, так как не верил в ее супружескую верность. Сита выдержала испытание огнем, но Рама по-прежнему сомневался в ней, а жители Айодхьи открыто обвиняли ее в измене своему супругу. Когда, спустя долгое время, она вернулась, ее снова подвергли испытанию. В подтверждение чистоты Ситы мать-земля разверзлась под ней и приняла ее в свое лоно.

В и ш н у и т к а. Рассказ впервые был напечатан в июне — июле 1914 года в журнале «Шобудж потро».

Русский перевод см. в книге «Свет и тени», «Мысль», Л. 1926 (под названием «Отшельница»).

Стр. 208. *Нараин* — имя бога Вишну.

П и с ь м о ж е н щ и н ы. Рассказ увидел свет в июле — августе 1914 года (журнал «Шобудж потро»).

Переводился на русский язык: Р. Тагор, Сочинения, т. 5, Гослитиздат, М. 1956; Р. Тагор, Рассказы, Гослитиздат, М. 1955; Р. Тагор, Рассказы, Гослитиздат, М. 1957.

Стр. 211. ...заметили мою привязанность к животным и начали сомневаться в моей касте. — Высшие касты в Индии обычно избегают прикасаться к животным.

Стр. 214. *Габ* — дерево с плодами, напоминающими хурму.

Стр. 219. *Бхайлхонта* — ежегодная церемония благословения брата. В этот день сестра готовит брату угощение и ставит ему на лоб знак тилака.

Стр. 220. *Пури* — город в штате Орисса, место паломничества. *Джаганнатха* (Повелитель Мира) — имя бога Вишну. Храм Джаганнатхи находится в Пури.

Стр. 222. *Мира-баи* (XVI в.) — раджпутанская поэтесса и религиозная проповедница-реформатор.

Последнее благословение. Рассказ печатался в журнале «Шобудж потро» (июль — август 1914 г.).

Переводится впервые.

Стр. 224. *Дерозио* Хенри (1809—1831) — преподаватель английской литературы и истории в Индийском колледже, сыгравший важную роль в развитии современной бенгальской литературы. Из его учеников образовалась группа «Молодая Бенгалия».

Стр. 227. ...*Готов пропахать носом дорогу между Боубазаром и Багбазаром, если в один прекрасный день ты не станешь вторым Моти Шилом или Дургочороном Лаха.* — Боубазар и Багбазар — торговые улицы в Калькутте. Моти Шил и Дургочорон Лаха — известные богачи того времени.

Прощальная ночь. Рассказ публиковался в сентябре — октябре 1914 года в журнале «Шобудж потро». Неоднократно переводился на русский язык: Р. Тагор, Новые рассказы, Пг. — М. 1923; Р. Тагор, Счастливая ночь, «Книжный угол», Пг. 1923; Р. Тагор, Маши, «Сеятель», Л. (1925?) под названием «Маши»; Р. Тагор, Сочинения, т. 5, Гослитиздат, М. 1956; Р. Тагор, Рассказы, М. 1957.

Незнакомка. Рассказ опубликован в журнале «Шобудж потро» (ноябрь — декабрь 1914 г.).

Переведен на русский язык: Р. Тагор, Сочинения, т. 5, Гослитиздат, М. 1956; Р. Тагор, Рассказы, Гослитиздат, М. 1957.

Стр. 258. ...*И я понял, что мой брак не посеет вражды между богами Праджapati и Камадевой.* — Праджapati (Брахма) —

бог-творец, покровитель брака. Камадева (Кама, Мадана) — бог любви.

Стр. 259. *Посылку пасты из корня куркумы в дом невесты оставили очень пышно...* — Куркума — травянистое растение из семейства имбирных. Из ее толстого корня получают желтую краску. Накануне свадьбы невеста умащает свое тело настоем из куркумы.

Стр. 263—264. *...чувство... обернувшись чудесным лебедем, умоляло: «Отпусти меня, и я полечу, как некогда мчался в цветущий сад Дамаянти»...* — Дамаянти — героиня одного из вставных сказаний «Махабхараты», широко известного у нас в переводе В. А. Жуковского «Наль и Дамаянти». Однажды царевич Наль послал Дамаянти златокрылого лебедя, чтобы лебедь поведал Дамаянти о любви царевича. Вернувшись, лебедь сообщил, что и Дамаянти любит Наля.

Отшельница. Рассказ напечатан в мае — июне 1917 года в журнале «Шобудж потро». На русский язык переводится впервые.

Стр. 269. *Шанкара* (Шанкарачарья; VIII—IX вв.) — один из создателей религиозно-философской системы веданта, которая имела наибольшее распространение у индусов.

Патанджала — йога (вероучение йогов), основанная Патанджали (II в. до н. э.).

Характер Макхона-бабу отнюдь не соответствовал его имени... — Макхон означает «сливки, масло», также «мягкий».

Стр. 270. *Гаутама* — мифический мудрец, который, по преданию, очень любил коров. Другой мудрец с тем же именем отличался молчаливостью.

Стр. 271. *Дханвантари* — врачеватель богов, якобы появился при пахтанье молочного океана. Его считают автором знаменитого древнего медицинского трактата «Аюрведа».

Виндхья. — По легенде, горы Виндхья некогда хотели подняться выше Гималаев. Но мудрец Агастья велел им смирить гордость. Поэтому-то они и стали такими невысокими.

Стр. 272. *Шастри Хоропрошад* (1853—1931) — индийский историк и литературовед.

Стр. 273. *...намекая на известную поговорку об ожерелье, доставшемся обезьяне...* — Поговорка «Жемчужное ожерелье на

шее обезьяны» означает, что человек недостойный получил награду.

Стр. 277. *Тиллоттама* — небесная дева, апсара необыкновенной красоты.

Стр. 280. *Парвати* — жена бога Шивы.

Первый номер. Рассказ печатался в июне — июле 1917 года в журнале «Шобудж потро». На русский язык переводится впервые.

Стр. 284. ...подобно птолемеевскому мирозданию, они будто навсегда пригвождены к восемнадцатому — девятнадцатому векам... — Птолемей (II в.) — греческий астроном, автор «Альмагесты». По его гипотезе движение звезд объяснялось их движением вокруг неподвижной земли.

...суждено почитательно, как во время религиозной церемонии, двигаться по замкнутому кругу знаний... — Здесь имеется в виду религиозный праздник, когда колесницу с изваянием бога провозят по улицам, расположенным вокруг храма.

Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский экономист и философ — представитель позитивистской школы.

Бентам Иеремия (1748—1832) — английский правовед и философ-утилитарист.

Карлейль Томас (1795—1881) — английский историк, философ и публицист.

Рескин Джон (1819—1900) — английский искусствовед, критик и публицист, последователь Т. Карлейля.

Хаксли Томас Генри (1825—1895) — английский натуралист, ближайший друг и сподвижник Чарльза Дарвина.

Стр. 286. *Мендель* Грегор Иоганн (1822—1884) — австрийский натуралист. Создатель учения о наследственности (менделизм).

Стр. 287. *Бергсон* Анри (1859—1941) — французский философ-идеалист.

Стр. 289. *Меридит* Джордж (1828—1909) — английский поэт и романист.

Браунинг Роберт (1812—1889) — английский поэт.

Жених и невеста. Рассказ появился в декабре — январе 1917 года в журнале «Шобудж потро». Переводов на русский язык не было.

Стр. 311. ...мы останемся висеть между небом и землей, словно мифический герой Тришанку... — Тришанку, мифический

царь, просил своего наставника Васиштху, чтобы тот вознес его на небо. Но мудрец не захотел исполнить его просьбу. Тогда Тришанку обратился к другому мудрецу — Вишвамитре. Боги не хотели пускать Тришанку на небо. После долгих споров было решено, что Тришанку будет висеть вниз головой па небе.

Обычай. Рассказ печатался в журнале «Пробаши» (июнь — июль 1928 г.). Есть русский перевод: Р. Тагор, Сочинения, т. 5, Гослитиздат, М. 1956.

Стр. 318. *Читрагупта* — по преданию, писец в царстве бога смерти Ямы, записывающий в свою книгу дурные и добрые деяния людей.

Стр. 319. *Кхаддар* — домотканое полотно, которое изготовляли и носили сторонники Ганди.

Панджаби — рубашка из тонкого полотна без воротника.

Стр. 320. «*У немого нет врагов*» — бенгальская пословица.

Художник. Рассказ появился в журнале «Пробаши» (ноябрь — декабрь 1929 г.). Переводится впервые.

Стр. 323. *Кубера* — бог богатства.

Стр. 327. *...гучи нельзя назвать «сочетанием дыма, света, воды и воздуха»...* — Цитируется поэма «Облако-Вестник» Калидасы.

Похищенное сокровище. Рассказ публиковался в журнале «Пробаши» (ноябрь — декабрь 1933 г.). Переводится впервые.

Стр. 334. *Лилавати* — сочинение индийского астронома и математика Бхаскары (XI в.).

МИНИАТЮРЫ

1922

В настоящем томе публикуется несколько стихотворений в прозе и небольших прозаических этюдов-миниатюр, напоминающих по своей манере сказки, притчи.

Среди этих произведений мы встречаем немало лирико-философских, которые затрагивают очень близкие к поэзии

Р. Тагора темы. Здесь и мотивы, навеянные знаменитой концепцией писателя — «дживан-девата» («божество жизни») — идеи, почерпнутые Р. Тагором из философии упанишад, согласно которой бог, человек и природа едины; здесь мы ясно ощущаем и огромное влияние идеологии вишнуизма, пантеизма. В лирическом стихотворении в прозе «Дорога» писатель сравнивает жизнь с дорогой, по которой проходит много знакомых ему людей. Писателю хочется узнать и понять все мысли, все желания путников, прошедших дорогой жизни, ибо этих людей нельзя уже вернуть назад, вновь их увидеть и говорить с ними. По дороге жизни «можно пройти только раз, обратного пути нет». Бесконечную в своем жизненном разнообразии и движении дорогу писатель поэтически сравнивает с песней, слова которой — следы, оставленные на дороге, а мелодия — голос, зовущий вдаль. Идеи вечного движения жизни, ее постоянного обновления ярко представлены в этюде «Вечер и утро». В другом этюде, «Прощальный взгляд», Р. Тагор сравнивает всегда молодую и прекрасную жизнь с песней, которой «нет дела ни до власти раджи, ни до сокровищ богача», ибо сама жизнь — есть «нетленное богатство». Это во многом материалистическое восприятие жизни, диалектики ее движения и развития составляет одну из важных черт философских взглядов Тагора, нашедших свое удивительно тонкое художественное воплощение во многих этюдах.

Однако «космические» философские проблемы, занимающие такое заметное место в темах миниатюр, не отдаляют писателя от главного объекта его творческого внимания — человека. Р. Тагора постоянно волнует возможность познания внутреннего мира человека, который сумел подчинить себе силы природы, но «поведать, что в душе его творится, — не в силах он» («Пасмурный день»). В «Облаке-Вестнике», «Неблагодарном» и «Флейте» Тагор отвечает на извечный вопрос: «Что есть истина?» Он страстно верит, что истина заключена в познании человеком жизни, что сама жизнь, в особенности красота человеческой любви, дает возвышенные примеры познания этой истины.

Писатель выступает за общность между людьми, за их сплочение, осуждает замкнутость, разобщенность, поклонение всевозможным идолам («Спасение»). Р. Тагор высмеивает рабскую психологию людей, под видом учености занимающихся стяжательством («Как обучали попугая»). В этой сказке, как и во многих своих публицистических выступлениях и статьях,

Тагор подверг критике современную ему систему образования, установленную в Индии колонизаторами.

Во многих произведениях «Миниатюр» Р. Тагор выступает как писатель-демократ, борец против социального зла, против идеологии войны, насилия, угнетения. Он обличает господствующие классы, погрязшие в кровавых преступлениях против народа, не щадящих при этом даже маленьких детей («Придворный шут»). В образе сказочной страны, созданной Р. Тагором в притче «Призрак», читатель без труда угадывает многие черты жестоко угнетаемой колониальной Индии. Писатель восстает против бездушной власти в этой стране, власти «смотрителей тюрем», против покорности и смирения людей, живущих в нищете, терзаемых голодом и болезнями. Р. Тагор клеймит позором колониальных правителей — «заморских птиц», которые грабят и угнетают народ. Он с надеждой говорит о молодом поколении, которое не сковано рабским страхом перед прошлым и решило уничтожить «власть призраков» и освободить свою страну.

Еще об одной теме «Миниатюр» следует сказать особо. Эта тема — роль искусства, его огромная творческая сила, которая преобразует мир «деловых людей» и помогает человеку все-сторонне познать жизнь, увидеть ее реальную красоту и величие («Не в тот рай попал»).

Отдельной книжкой «Миниатюры» изданы в 1922 году. Туда вошли короткие рассказы, притчи, сказки и стихи в прозе, написанные Тагором в период между 1917 и 1922 годами и публиковавшиеся в различных журналах того времени.

Для настоящего собрания из тридцати девяти произведений, составивших сборник «Миниатюры», заимствовано пятнадцать.

Редакция некоторых притч и стихотворений, вошедших в отдельную книгу и соответственно в наше собрание, отличается от первоначальной, печатавшейся в журналах.

Расположение всех перечисленных притч и стихотворений в нашем собрании повторяет структуру сборника 1922 года, первую часть которого составили стихотворения в прозе. Здесь Тагор впервые попробовал свое перо в жанре стиха в прозе. В 1932 году в предисловии к сборнику стихов «Снова» Тагор писал:

«Песни «Гитанджали» я перевел на английский язык прозой. Этот перевод был признан поэтическим. С тех пор меня пе-

отступно преследовала мысль, нельзя ли, отказавшись от слишком четкой рифмы, придать бенгальской прозе дух поэзии, как я это сделал в английском переводе? Помнится, я обратился с такой просьбой к Шоттендронатху, и он согласился. Но так и не сделал ни единой попытки. Тогда я попробовал сам; и написал несколько небольших вещичек, вошедших в «Миниатюры». Готовя их к печати, я не разбил фразы так, как это полагается в поэзии; причиной, видимо, был страх.

Затем под влиянием моих просьб на такую же попытку решился однажды Обониндронатх. Я думаю, что созданное им тогда вошло в сферу поэзии, не была лишь соблюдепа мера в словоупотреблении, он был слишком многословен. А потом и я опять отважился писать стихи прозой.

Это были стихотворения из цикла «Снова».

Некоторые из «Миниатюр» переводились на русский язык: «Восток», 1922, кн. 1, «Звезда Востока», 1947, № 4, «Октябрь», 1958, кн. 10.

Стр. 339. *Ротхотола* — место, где помещается колесница с изваянием бога.

Стр. 344. *Удджаини* — столица легендарного царя Викрамдхиты, при дворе которого жил Калидаса.

Стр. 346. *...волны священной Ганги, родившейся из волос всемогущего Шивы...* — Существует легенда о том, что Ганга была некогда низведена с неба. Чтобы спасти землю, Шива подхватил реку на свое чело. В память об этом событии волосы Шивы увенчаны изображением Ганги.

Стр. 368. *Широмони, чуромони* — титулы пандитов (ученых брахманов).

ПЬЕСЫ

1933

В 1933 году были опубликованы пьесы «Карточное королевство» и «Чандалка». Еще в 1892 году Р. Тагор написал рассказ «Карточное королевство», который позднее переработал в пьесу.

Появление этих пьес в начале 30-х годов не случайно. Написаны они в обычной для Тагора-драматурга романтически-условной манере, когда все события носят несколько символический характер и лишены конкретно-исторической основы,

Несмотря на очень разные сюжеты, обе пьесы близки по идее. В них Р. Тагор выступает против религиозных предрассудков и догм, против разделения общества на «высших» и «низших». Эти идеи в обстановке нарастания нового революционного подъема в стране в конце 20-х — начале 30-х годов были не абстрактными идеями, а своеобразным откликом писателя на усиление политической борьбы в стране, выражением его стремления расширить национально-освободительное движение, придать ему еще более демократический характер. Они во многом были созвучны передовым идеям национально-освободительного движения, борьбе за единство антиимпериалистических сил.

«Чандалка» — одна из наиболее популярных пьес Р. Тагора. Сюжет пьесы во многом сходен с известной буддийской легендой о любви девушки из касты неприкасаемых и одного из ближайших учеников Будды. Однако Тагор не пошел по пути слепого копирования этой легенды. В соответствии со своим демократическим мировоззрением, он отбросил многие мотивы, связанные с религиозным возвеличиванием всеислия Будды, сделав главным содержанием своей пьесы идею победы жизни, чистой любви над религиозным фанатизмом, идею борьбы против идеологии кастового рабства и покорности судьбе. Героиня пьесы Пракрити — девушка из касты неприкасаемых. Но она восстает против традиций, обрекающих ее на жизнь в грязи, на тяжкую долю социального рабства. «Самоуничтожение — еще больший грех, чем самоубийство», — говорит она матери, которая пытается образумить дочь, напомнить ей законы касты. Она отвергает веру в кастовые законы, ибо эта вера лишь унижает человеческое достоинство.

И закономерно то, что буддийский монах пробуждает в Пракрити гордость и готовность бороться с рабскими традициями, ибо в буддизме было много демократических идей протеста против кастового неравенства. Эти же идеи были близки, в частности, вишнуизму, идеологии бхакти, которая оказала значительное влияние на формирование мировоззрения писателя.

В сказочной стране карт жизнь развивается по предписаниям пандитов, которые гласят — «Главное, чтобы все было по закону». У подданных повелителя страны карт своя философия жизни: лучше совсем ничего не делать, так спокойнее. В этом гротесковом образе отчетливо проступают некоторые отрицательные черты индийского общества, которые мешали развитию освободительной борьбы. На протяжении всей пьесы писа-

тель стремится подчеркнуть вред идеологии бездействия, благодушия. Посителем этой идеологии выступает в начале пьесы купец, который не желает никаких перемен в жизни. Его идеал — «сытое и спокойное» существование.

Искусственное карточное королевство разрушается под ударами жизни, под воздействием новых социальных идей. В образе карточного королевства вставала перед читателем угнетенная и порабощенная Индия. Поэтому ясной по своему смыслу аллегорией звучат слова: «Наше королевство как старое дерево — внутри все прогнило и омертвело. Такое дерево давно надо срубить». Побеждает ветер правды и перемен, побеждает идеология, которая возвышает человека, делает его хозяином своей судьбы. Полны глубокого патриотического смысла заключительные строки пьесы:

Разобьем оковы!
Разобьем оковы!
День настанет новый!

.
Верим в счастье, верим!
Мы пойдем навстречу
Самой светлой нови,
И никто на свете
Нас не остановит!

Сила воздействия и огромные идейные достоинства художественного творчества Тагора-драматурга, как и писателя и поэта, заключались в том, что он всегда был с народом, жил теми проблемами, которые волновали страну.

Пьесы «Чандалка» и «Карточное королевство» на русский язык переводятся впервые.

Ч А Н Д А Л К А

Стр. 385. *Ума* — супруга Шивы.

Стр. 386. *Чандалы* — низшая каста в Индии, занимающаяся сжиганием трупов и другими «презренными» работами.

Стр. 387. *Джанакки* — имя Ситы («Рамаяна»), как дочери царя Джанака.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Р. Тагор на Цейлоне (1934).
2. Р. Тагор в Джорашанко (1934).
3. Р. Тагор в Шантиникетоне (1935).
4. «Женщина». Художник Р. Тагор.
5. Сцена из драмы Р. Тагора «Поклонение танцовщицы» — стенопись. Художник Нондодал Бошу.
6. Иллюстрация к притче «Как обучали попугая». Художник Абанидрапат Тагор.
7. Сцена из драмы Р. Тагора «Карточное королевство».

СО Д Е Р Ж А Н И Е

СЕСТРЫ. Повесть. Перевод В. Карпушкина	7
САД ЖИЗНИ. Повесть. Перевод Е. Бросалиной-Смирновой	61

РА С С К А З Ы

1911—1933

Сын Рашмони. Перевод С. Цырина	115
Сдержал слово. Перевод Е. Алексеевой	147
Семья Халдаров. Перевод И. Товстых	165
Хоймонти. Перевод И. Товстых	185
Вишнуйтка. Перевод Е. Алексеевой	198
Письмо женщины. Перевод Е. Алексеевой	209
Последнее благословение. Перевод Л. Чевкиной	223
Прощальная ночь. Перевод В. Лоскутова	241
Незнакомка. Перевод И. Товстых	255
Отшельница. Перевод Л. Чевкиной	269
Первый номер. Перевод И. Товстых	283
Жених и невеста. Перевод Л. Чевкиной	299
Обычай. Перевод Е. Алексеевой	318
Художник. Перевод Л. Чевкиной	323
Похищенное сокровище. Перевод С. Цырина	329

М И Н И А Т Ю Р Ы

1922

Дорога. Перевод М. Тубянского	339
Пасмурным днем. Перевод Евг. Быковой и Евг. Бируковой	341
Облако-Вестник. Перевод Евг. Быковой и Евг. Бируковой	343
Флейта. Перевод Евг. Быковой и Евг. Биру- ковой	346
Вечер и утро. Перевод Евг. Быковой и Евг. Бируковой	348
Наш переулок. Перевод Евг. Быковой	350
Прощальный взгляд. Перевод Евг. Быковой и Евг. Бируковой	352
Полдневный час. Перевод Евг. Быковой и Евг. Бируковой	353
Неблагодарный. Перевод Евг. Быковой и Евг. Бируковой	354
Не в тот рай попал. Перевод Евг. Быковой	356
Придворный шут. Перевод Евг. Быковой	360
Лошадь. Перевод Евг. Быковой	362
Призрак. Перевод Евг. Быковой	366
Как обучали попугая. Перевод Евг. Быковой	371
Спасение. Перевод Евг. Быковой	378

П Ъ Е С Ы

1933

Чандалка. Перевод В. Гороновой и Ф. Мен- дельсона	385
Карточное королевство. Перевод Е. Бросалиной- Смирновой	409
Комментарии	443
Список иллюстраций	469

Рабиндранат Тагор
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 10

Редактор С. Хохлова
Художественный редактор Г. Клодт
Технический редактор Ж. Примак
Корректоры Р. Пунга и А. Юрьева

*

Сдано в набор 1/IV 1965 г.
Подписано в печать 3/VI 1965 г.
Бум. 84 × 108¹/₃₂. 14,75 печ. л. = 24,8 усл.
печ. л. 21,94 уч.-изд. л. + 6 вклеек = 22,24 л.
Тираж 93 500. Зак. 1385. Цена 60 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой
Главполиграфпрома
Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати.
Измайловский пр., 29

60.